

Василий Чернышев

ЛЮБОВЬ
КАК
ВСЕМИРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ
ОЧАРОВАНИЕ ЛЮБВИ

Посвящается N



© В. И. Чернышев, текст. 2017
© «NAPISANO PEROM». 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОПРАВДАНИЕ ГРАФОМАНА

26 сентября 2014. Вчера около полуночи поставил последнюю точку в третьей книге Записок редактора «Инобытие как миф», думая, что теперь сделаю перерыв, перечитаю множество книг по философии, а потом уже, как минимум через год, возьмусь и за собственную «Философию...».

Но вдруг вспомнил Гегеля, написавшего «Жизнь Иисуса», мало-выразительную книгу (правда, писал он ее в юности, еще не сложился в Гегеля); потом вспомнил Ницше, написавшего весьма слабого «Анти-христианина» – вот два опыта рассмотрения философиями религиозного Мифа. Так, может быть, мне тоже начать с «Жизни Иисуса», в надежде написать лучше, чем они?

А потом буду писать комментарии к тем философам, которых буду перечитывать... А потом будет видно...

Какая-то страсть подгоняет меня, не дает уходить в отпуск, и, может быть, не спроста – вдохновение не приходит ведь по заказу, а пока до сих пор писалось легко и появлялись новые идеи. Вдруг, если я сделаю большой перерыв, вдохновение иссякнет?

Плана и одушевляющей идеи для этой книги у меня нет, но, возможно, это будут пока только наброски к ней, конспекты того, что я читаю, в помощь самому себе?... А потом будет видно...

Следовательно, не буду откладывать писание в дальний ящик, разделаясь с насущными делами и примусь за новую книгу.

Есть еще одна важная задача, ее мне не исполнить, потому что это задача для историка, даже для *метаисторика* типа Даниила Андреева. Надо для нее хорошо знать историю двадцатого столетия, русскую историю, владеть материалом и в сочинениях историков, современников, и материалом исторических документов, и при этом надо быть Метафилософом. Эта задача связана с тем, что все крупнейшие катастрофы двадцатого столетия имели причину не в социальных или национальных противоречиях, а вызваны были трансцендентной волей неких демонических сил. Сначала необходимо было уничтожить Россию и русский народ, частично эта задача решалась как будто руками инородцев, но и русские играли в этом общем деле не меньшую роль, ибо «сладостно отчизну ненавидеть», как писал Печорин; затем евреи уничтожались руками немцев (и некоторые считают, что к этому были причастны и сионисты, стремившиеся очистить еврейский народ и сплотить его, и в СССР были опубликованы об этом даже исследования); наконец, и немцев следовало в чьих-то интересах хотя бы ослабить, для этого уже погибающий русский народ был сделан Победителем (на час).

Подлежит ли эта задача ведению будущей «Философии...» или это должна быть совсем другая, вовсе не моя книга? Скорее всего. Но я хотя бы должен обозначить сию важнейшую метаисторическую Идею, ибо сомнительно, чтобы мы поняли натекающее на нас будущее, не разобравшись в недавнем прошлом.

29 сентября 2014. Разброд, смятение, тоска... Надо ли писать, зачем писать, и что именно надо писать, если все же еще рано поставить точку в моем писательском деле? А смятение именно из-за того, что я уже не знаю, относить ли меня к «цеху писателей», необходимы ли мои книги, существенны ли они, так как носят они характер разговора с самим собою или с воображаемым, не действительным читателем по поводу литературы и отчасти философии, но не представляют собою ни самостоятельные литературные произведения хотя бы и непонятого, не определенного жанра, ни собрание публицистических статей, ни исследование философского или литературного характера. Если читатель «Войны и мира» и добирается до Толстовских статей, то либо пролистывает их, не принимая всерьез, либо недоумевает, но относится к ним как к причудам общепризнанного гения – но зачем ему мои собственные недоумения и серьезные по их поводу возражения? Многие ли добираются и до статей Стендаля об искусстве, а тем более до его «Трактата о любви», разве он ими привлекает читателя?

Разброд, смятение, тоска...

К тому же, хотя и говорил я, что не нужны мне ни слава, ни почести, что не нуждаюсь я даже в читателе – но так ли это? Разве не мечтал я в детстве (а потом в юности) стать известным писателем; разве не мечтал я потом уже в зрелости *жесть Глаголомь сердца людей?* Не хотел ли я, не надеялся ли если не разбогатеть благодаря своим книгам, то по крайней мере иметь от них не разор, а прибыль? Правда, не один я страдаю, и мои подруги, талантливые писательницы, не имеют от своих книг прибавка, и разве я их не убеждаю словами Пушкина не только не требовать наград, но даже и не мечтать о них?

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе.

И все же... и все же...

И я почти человек, и почти ничто человеческое и мне не чуждо (ибо и я не только Миф, не только литературный герой, не только самонамеченный самозванный философ, не только "самовлюбленный эгоцентрист", но и страдающий сомневающийся человек), поэтому и сокрушаюсь, надеюсь, мечтаюсь...

Надо ли мне писать еще и о философии то, что написал я о литературе?

Вот если бы я уже до этого состоялся как литератор или как философ, то мне простилось бы и то, что я еще и о них пишу тоже, как равный о равном; но ни литератора ни философа из меня не получилось, и кто же мне разрешал с литературой и философией обращаться на "ты" и писать на них критику?!

Многие вопросы мучают меня сильнее даже, чем теорема Ферма – но ответить на них еще труднее, чем доказать эту теорему. Почему русский народ так безжалостно отнесся к своей родине и к самому себе, почему он не возненавидел тиранов, истреблявших народ, а возлюбил их, почему он и теперь бредет по краю пропасти и не пытается найти спасение? И **что делать?** И что мне написать, чтобы хоть что-нибудь из этого понять, что-нибудь объяснить?!

30 сентября 2014, вторник. Разброд, смятение, тоска...

Иван Александрович Ильин, русский философ-националист православного толка, эмигрант, умерший в Швейцарии в 1954 году (и, кстати, залог за жительство за него внес Рахманинов, и он же дал денег Сикорскому на постройку его вертолета, и он же всемерно помогал сражающейся с Гитлером России, и помогал десяткам русских эмигрантов!), ввел в оборот само понятие и выражение «Мировая закулиса», на которых мы основываем целые теории мирового заговора против России. Вот и я пишу, что «крупнейшие катастрофы двадцатого столетия... вызваны были трансцендентной волей неких демонических сил» – может быть, «мировой закулисы»? Сионистского центра, мирового правительства, империалистов США? Ненавидящей нас Европы?

Россия из Киевского княжества, ютившегося рядом со степью с юго-востока и с дремучими лесами с северо-востока превратилась в великую всемирную империю, простиравшуюся от Вислы до Тихого океана, от Балтийского моря до пустынь Монголии, от Закавказских долин до Ледовитого океана – и вдруг «все смешалось в доме Облонских», наступило злополучное двадцатое столетие и великая империя рухнула. Маленькая островная Британия процветала, крошечный Лихтенштейн процветал, Швейцария богатела, Франция и из оккупации воскресла, разгромленная Германия, ужата в тесных границах, соперничает с Америкой, разгромленная Япония опережает технологически чуть ли не весь остальной мир – а вот надо же, неведомая Закулиса вцепилась мертвой хваткой в Россию, взрастила в ней большевиков, эсеров, анархистов, Пятую колонну, диссидентов, сионистов, либералов, коммунистов, антикоммунистов, бандеровцев, хохлов, националистов, космополитов... и терзает Русь, раздирая ее на клочья и раздаривая клочья всем, кто «сколько проглотит», по выражению ЕБН, русского, из Политбюро!

Надо объяснить, чтобы и «трансцендентная воля», и Инобытие, и Империя игв, и ЧК и КГБ не превратились под моим пером в жалкие осколки всеильного «Эха Москвы», а собственная воистину трансцендентная морская Болезнь России не свелась к зловредным козням Чубайса и К^О.

Что с Россией и русским народом произошло и происходит, я, увы, не знаю. Но не объяснит мне на картах случайная вокзальная цыганка ни мою судьбу, ни судьбу России, если ее не пойму я сам. Как и судьбу двенадцати ее народов, гибнущих, к цыганке не надо ходить, вместе с Российским Титаником.

Если падает уровень образования и культуры и нравственности, то он падает и у чукчей и у русских, и у евреев. Ибо мы говорим на одном языке, читаем одних поэтов, история у нас тоже одна, от поля Куликова до Бородина и Рейхстага, от «Слова о разорении Батыем Рязани» до Аввакума и Толстого, от Радищева до Солженицына, от Жуковского до Хлебникова и Маяковского, от Пушкина до Есенина, от «Гавриилиады» до «Проебола» Веры Полозковой, от Тредьяковского до Андрея Платонова, от «Капитанской дочки» Машеньки до прелестной героини романа «Обнаров» Натальи Троицкой, от Багратиона и Барклай-де-Толли до Корнилова, Колчака и Деникина, от Трезини, Растрелли и Камерона, Антокольского, Бенуа, Куинджи и Левитана до Малевича, Кандинского, Татлина и Филонова...

У человека есть душа и тело, и у народа тоже, и не ограничивается личность того и другого ни только телесным, ни только душевным.

Так все великие реки представляют из себя целые системы рек, и что в Волге волжского, а что в ней от Камы и Оки, не определит ни националист ни космополит. Да, судьба распорядилась так, что и моя родная Бирюса *всего лишь* приток Ангары, и Сибирь – азиатская только часть России – но я почему-то не испытываю от того чувства неполноценности. Все самодостаточные не чувствуют ущербности, все неполноценные в своей ущербности вният других. Никто не сомневается в том, что французы существуют, а корсиканцы они или бретонцы, эльзасцы или лотарингцы, гасконцы или бургундцы, важно было только при СТАНОВЛЕНИИ. Так должно быть и в русском народе и в русском человеке, и если даже, *поскребя русского, отскребешь татарина*, так бог с ним, так тому и быть! *Отскребясь от всех, мы пропадем вместе со всеми!* Перед нами стоит одна общая задача – *русское возрождение*, всей речной русской системы, вместе со всеми притоками. Вот ведь целую жизнь я прожил с моими *русскими из русских*, и лучше их русских я не видел, но «по совместительству» Казимир и Теодор Адамович, выдающиеся ученые, были поляками, Сергей Сергеевич немцем, иные евреями, иные белорусами, а те украинцами, финнами, была даже шведка, Валентина Ивановна, и сравнить ее по природной русскости, красоте и мягкости могу только с Инной, дочерью Евы в нынешнем поколении. Ослабление России, унижение и засорение и растрление ее языка (которому, кстати, учила меня на уроках литературы немка) разве не беда наша общая, разве внуки Моисея или Авраама меньше от того страдают, чем внуки Ивана Калиты? Разве они станут от того богаче, что невежественные будут говорить вульгарно? Разве это апостол Павел, еврей из евреев, как он сам себя называл, засорил наш язык, разве это только евреи были в Комитетах бедноты, обиравших крестьян, и разве Тухачевский, убивавший тамбовских младенцев и травивший их газами, был еврей?

Нет, это не значит, что плоть я совсем отрицаю, только личность не определяется одной только плотью, и даже всеильный, казалось бы, Пол не всецело ее определяет. Вот, например, по матери я наполовину женского рода – но значит ли это, что я наполовину мужчина и наполовину женщина? Отчего же вы говорите о том или другом, что он русский наполовину или на четверть? Нет, если и я, рождённый женщиной, все же мужчина, то и Шестов и Ильин – русские философы, и Екатерина – русская императрица, и Пушкин, правнук Ганнибала и сын «полунемки», величайший русский поэт, *русский из русских*. Этническое, племенное и родовое немаловажно при возникновении и становлении нации, но когда река уже вырвалась на просторы, то далее она свободно вбирает все те реки вместе с их притоками, которые встретились ей на пути. Одни русскими *родились*, другие *стали*, кого судьба вознесет в народе, мы не знаем. Но значение имеет только культура, историческая память, любовь, труд на благо отечества, чувство сопричастности к целому а не к осколкам. Таковы Пушкин и Гоголь, Даль и Фет, Тургенев, живший во Франции, Брюллов – в Италии, Даниил Андреев, *живший* в советской тюрьме, Варлам Шаламов, *живший* в лагере, да и я сам, *живший* в психушке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**Рождество и жизнь,
смерть и воскресение,
проповедь и деяния
Иисуса Христа.**



Тюремный сумасшедший дом на Арсенальной,
где я провел два с половиной года
(а перед тем полгода в тюрьме Большого дома на Литейном)

ГЛАВА ПЕРВАЯ ОДИНОЧЕСТВО

1. Вечерняя заря

30 сентября 2014 года. Осень еще обещает радовать, еще приеду в деревню докопать картошку и достроить сарай.

И это единственное меня утешает. Я так и не знаю, надо ли писать еще новую, четвертую, книгу в своем «Романе с литературой» (отнеся к литературе и философию), я так и не знаю, надо ли о чем-нибудь еще писать и о чем именно, но ведь не одно же литературное тщеславие мною движет?! И не ради почестей и славы начинал я писать. Я верил, что у меня есть Миссия, порученная мне Высшими силами. Быть может, еще не всё решено и в моих отношениях с народом, с историей, с Богом, с литературой.

Возможно, это было только первое сражение в моей личной войне за Россию, я его проиграл, но я не пленен, и хотя ранен, и тело мое болит, да болит и душа, но наступает ночь, враг тоже утомился, у него и без меня хватает врагов, и мнимых и действительных, и не такое уж важное значение придает он мне, чтобы отважиться перейти черту, отделяющую закат от ночи.

Закат меня приютил и укрыл. При свете потаенного костра обдумываю я, как мне быть дальше. И не броситься ли мне очертя голову в подготовку к новым сражениям. И не взяться ли мне очертя голову за новые Записки, пока еще черновые, необходимые пока хотя бы для того, чтобы осмотреться?

Логика не адекватна Действительности. Дискретность числа и непрерывность меры, составляющие единство в понятии Количества, в приложении к Действительности приводят к неустранимым противоречиям. Пространство не исчислимо с помощью натурального ряда и не измеримо с помощью Предела и континуума. Таково же и Время. А Бог и вовсе не находится внутри этого мира, ибо, быть может, весь этот мир содержится в нём.

Следовательно, мне еще нужно время, чтобы встретиться с волхвами и философами и послушать, что они обо всём этом думают. Быть может, я еще подготовлюсь и к новой битве...

2. Народ-богоносец

Русский народ не тождествен населению, населяющему пространства России, его нынешним поколениям, среди которых я живу, и тем, которые я отчасти захватил, он в большей степени сродни своей меньшей части, рассуждающей, исследующей и творящей, хотя, если сравнить эту меньшую часть с человеческой душой, то ведь и у человека есть тело, и у народа тоже, и нельзя сказать, что только душа важна, а тело не важно. Но были ведь и еще по крайней мере сорок поколений, живших до нас, создавших и этот русский язык, и эту культуру, и эту историю, мы не имеем права считать народом и Россией только тех, кто живет теперь.

Но этот народ поклонялся за свою тысячелетнюю жизнь многим богам, и прав ли Достоевский, объявляя русский народ Богоносцем, мы уже знаем, мы уже видели, как народ разметал христианские храмы – как и дворянские поместья. На свете среди народов, которые приютила Европа, несомненный народ-Богоносец только один, это евреи.

Но если Иисус Христос воистину Бог, то с кем же тогда остались евреи, распяв Бога?

Я не буду судить предвзято, исходя из истины как из мне данного откровения и из него выводя истину. Поэтому в нескольких следующих главах я последую за Иисусом из Назарета от Его Рождения до Его распятия и Воскресения.

А потом последую и в более отдаленное время, к античным философам, а далее будет видно.

Но спешить я не буду, еще и закат не догорел, и ночь впереди...

Может быть, я еще долго буду сидеть в молчании, глядя на всполохи огня, прежде чем открыть философские книги.

3. *Есть ли утешение?*

1 октября 2014 года. Увы, «октябрь уж наступил, Уж роица отряхает Последние листы с нагих своих ветвей»... Правда, к счастью, в Пушкинскую эпоху его Первое октября наступало только тринадцатого числа, так что по-пушкински еще пока сентябрь, и стоят пока «в багрец и в золото одетые леса».

Спрашивал у милки за завтраком: *есть ли утешение?* Тургеневский Базаров говорит, что «вот умру, и лопух вырастет» – и это меня не утешает.

Утешает ли *воскресение?* К этой жизни меня привязывает Семья и все, что ей предшествует и сопровождает, девушки, влюбленности, любви, стихи, и то, что «я помню чудное мгновенье» – и всякое *чудное* помню.

Привязывает Народ, любовь к нему и ненависть, желание изменить его судьбу, *спасти народ!* В основном продолжаю писать для этого, а не для Бога, славы, даже не для себя самого. (И вместе с народом есть еще множество людей, моих друзей и знакомых, которые мне дороги и на которых хочу повлиять).

Но и Культура и само по себе Творчество меня тоже привязывают к миру.

А Воскресение? Если бы оно продолжило меня... Но воскреснув молодым, я буду чувствовать разочарование, опыт моей жизни и ее результаты, некоторое все же поумнение, и семью и друзей мне терять жалко. Воскреснув старым, я буду чувствовать сожаление и усталость – сожаление о том, что пора цветения уже не повторима, усталость от того, что уже и теперь надоели мне ежедневные тяготы и болезни, а потом я и вовсе от них закисну... А если я очнусь с нуля и забуду все, что было, то что толку с такого воскресения? Впрочем, оно может быть и совсем не предвидимо, ни с чем не соотносится из того, что мне известно, но о таком я не буду и рассуждать, все же я исхожу из духовного опыта, а не из фантазий...

Говорили с милкой еще и о том, что *писание книг* я избрал в качестве увлечения (или призвания?) удачно, не так накладно, как многое другое.

Рыбалка бессмысленна, да при ней еще и пьянки; ухаживание за девушками тоже требует денег, на цветы, на мороженое, на билеты в театр, а то и на кафе (меня, правда, иногда сами девушки в кафе приглашают – чудеса!); сочинение музыки дороже всего, чтобы познакомить слушателей с своими сочинениями, надо снять зал, нанять музыкантов, позвать слушателей... Для представления живописных творений тоже надо снять зал... А книгу я печатаю в нескольких экземплярах и раздаю знакомым, разумеется, бесплатно, зато сама книга стоит не дорого – а потом еще слушаю похвалы при встрече или по телефону, к тому же таким образом я и за девушками ухаживаю, так как книги эти я дарю в основном девушкам, которые мне нравятся.

Не сетуйте на жизнь, писатели и поэты, пишите и печатайте и раздавайте свои книги друзьям! Это лучше, чем «соображать на троих»...

4. Прежде чем комментировать Евангелия

Существует или не существует Чудо? Я думаю так (на основании своего духовного опыта и свидетельства Культуры, которая во мне отпечаталась все же не меньше, чем плуг крестьянина в почве), что его существование или несуществование не является научным фактом и не может быть проверено экспериментально, чудо всегда единично и не повторяемо именно так, как происходит, в другой раз оно будет происходить иначе. Прошлым летом, когда в меня летела стропила, какая-то сила меня приподняла над землей, так что я развернулся в воздухе, отлетел метра на два и врезался в землю больным плечом. Но стропила меня не коснулась и я остался жив. Как это произошло, я не знаю, жена, стоявшая рядом, видела и стропилу и меня, отлетающего от нее, но что произошло и каковы причины происшедшего, она тоже не знает. Разные обстоятельства приходят мне на ум – но они не опровергают главного: произошло нечто подобное тому, как пуля попадает в крест, в медальон, в монету, лежащую в кармане, в черт его знает во что попадает, но человек остается жив. Чудо, в большинстве случаев, это то, что очевидно не нарушает законы природы, но происходит не ожидаемым образом, не как обычно... Но, не спорю, возможен и глас с неба, и явление архангела, и передвижение горы – но в тех случаях, где чудо может обойтись без явного «наперекор», оно именно так и происходит, чтобы не смущать слабые умы.

Итак, в том, что чудо существует как *истечение* инобытийного мира в наш естественный (по большей части естественный), я не сомневаюсь. Но чудо – это явление не естественного мира, и нелепо его подтверждать доказательствами или опровергать. Вот почему в этих главах я не собираюсь ни опровергать ни подтверждать истинность христианского учения, как и раньше. Я с некоторых пор НЕ христианин, но я и не АНТИхристианин, мне просто не подходит христианство, многое в исторической практике церкви мне чуждо и даже враждебно, клерикализм мне отвратителен... Но я не все отвергаю и в самом христианском учении.

Ибо и я религиозен, как бы ни смущали читателей некоторые мои идеи. В частности, я оспариваю, что возможно доказывать бытие божье, ибо Бог постигается не через науку. Там, где возможно доказательство, не может быть веры, ибо и в то, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, мы *не*

верим, ибо безусловно сие знаем. Бог доказательства отрицает веру и делает ее бессмысленной, тем самым оставляя человека без Веры и без Бога, ибо Бог, следующий только из теорем, ущербен. Но философские рассуждения, объясняющие нам нашу веру и наши сомнения (а вера не может обходиться без сомнений), правомерны. Уж, казалось бы, кого я лучше знаю, чем себя самого, однако в то, что я еще сумею подняться на литературный Олимп, я только верю (сомневаясь), но рассуждая, пытаюсь помочь своей вере.

Правда, сам я в Бога не столько верю, сколько *знаю*, что Он существует, но *знаю*, однако, не в силу научных доказательств и научного знания, а из непосредственного духовного опыта, из общения с Ним.

Представьте себе, что вы смотрите на величественное и прекрасное сооружение, восторгаетесь его мощью и красотой – разве не видите вы в нем замысел, волю и творчество зодчего, и сомневаетесь в том, что оно не само по себе появилось, случайно, а именно было замыслено и сотворено? Вот так я вижу и чувствую красоту и целесообразность всего мира, и духовного и природного, и даже мысленно представляю гармонию Космоса, я чувствую присутствие Бога в восходах и закатах, дожде и снеге, в любви, соединяющей людей, во вражде даже, их развединающей (ибо не все совместимо и не всех надо любить), я чувствую присутствие Бога в сожалении и сочувствии...

Бог присутствует в этом мире, хотя Он и не часть его, и часто его оставляет. Россия уже около ста лет оставлена Богом, хотя не хуже мы были других, которых Он еще не оставил. Почему Он оставил Россию и почти всех нас, я не знаю, и что надо делать, чтобы он вновь стал к нам не безучастен, я тоже не знаю, в отличие от сонма тех, кто почти всё знает про мир, а уж про Бога знает всё досконально. «Ну, это просто...» – говорят они обычно, а затем добавляют какую-нибудь, как правило, чепуху, объясняющую их простоту. Нет, я умнее этих людей, я почти как Сократ, кое-что знаю, но по большей части ничего основательно и несомненно. Впрочем, кое что знаю, поэтому и пишу свои книги для размышляющих и не совсем легковверных...

5. Странности Пришествия Иисуса Христа

Вот теперь, достаточно объяснившись о своих намерениях, могу приступить и к Евангелиям, но все же есть еще кое-что важное, лежащее не в самих Евангелиях, а в контексте христианского Мифа.

Христос родился от Марии-девы в Вифлееме (Назарете), находящегося в Галилее, представлявшей из себя нечто вроде нашей Украины по отношению к Великороссии, даже язык там в ходу был арамейский (то есть *малороссийский*).

Но все же это был Израиль, и человек там жил по закону Моисееву, и Библия была священной книгой, и Бог был тот же, что и в Иерусалиме – но еще важнее, что Он *был*, тот Бог, который призрел на народ Израиля и избрал его Себе как народ Завета. Для чего же нужно было нести в этот мир Новый Завет, новый Миф, нового Бога? Оправдываясь, Христос говорил, что Он пришел не отменить старый Закон, а лишь подтвердить его – хорошо же подтверждение, которое внесло смуту в сердца многих из народа, и позволило потом упрекать евреев, говоря, что «жиды Христа распяли»!

Кроме того, в центре иудаизма была семья и народ, и рождение детей, Христос же объявил все, что связано с деторождением, грехом.

Не могло быть две веры у одного народа – ожидающей прихода Мессии, – и утверждающей, что Он уже пришел, да притом в составе трех Богов, Отца и Сына и святого Духа. Новый народ, который создался из христиан, как-то соединил трех в одного, но иудеи осилить Троицу не смогли.

Так к иудеям ли пришел Иисус Христос, хотя и заявлял Он, что пришел только к Своему народу, племени иудейского, и только затем апостол Павел переименовал многое и оказалось, что пришел Иисус Христос (сам того не ожидая) действительно не к евреям?

В связи ли с этим, или в силу антиеврейских настроений в среде христиан, но и Чемберлен, написавший катехизис арийской расы – «Основания девятнадцатого столетия», и многие другие стали всерьез утверждать, что и апостол Павел не совсем еврей, а полукровка (хотя, как многие считают, это не отменяет еврейства, а Ленин даже утверждал, что достаточно иметь хотя бы каплю еврейской крови – как он сам – чтобы быть стопроцентным евреем), и даже Иисус Христос тоже отчасти не еврей, ибо, возможно, отцом его был грек, но не Бог, и именно этим объясняется ненависть христианства к женщине и враждебное отношение Его самого к своей матери и семье). Очевидно для верующего, что если Иисус Христос Бог, то он уже не только не еврей, но и не грек, более того, даже и не человек, а лишь на время принявший естество человека, и рассуждения о национальности Бога приличны только атеистам. Что же до апостола Павла, то традиция уходит от своего народа уже давняя, и не только среди евреев, и для этого вовсе не надо непременно, чтобы мать согрешила или отец подгулял. А учитывая, что национальность определяется не только плотью, но и духом, и более даже духом, чем плотью, то и вообще человек принадлежит к тому народу, к которому он сам склоняется по рождению, по культуре или по духу.

Меня, кстати, писатель А. часто упрекает в том, что я слишком умный, и я однажды всерьез заявил, что если по рождению и по культуре и по духовной склонности я русский, то по уму не иначе как еврей (или чукча).

Содержание художественного произведения определяется прежде всего его языком и текстом, роман, даже если его рукопись *найденa в Сарагосе* или под кроватью, существует только в собственных границах, внешнее входит в него отчасти для историка, но не для читателя. Тем более это справедливо для Мифа. В нем содержится лишь то, что содержится в нем самом, и это текст Евангелий, Посланий, Деяний и Апокалипсиса. К Новому Завету, а, следовательно, к христианскому учению, не относятся ни мои рассуждения, ни сочинения отцов церкви, ни жития святых – все это относится к Истории христианской церкви и к истории самих христиан. (Хотя, впрочем, ... Но я здесь поставлю точку, а если кто выскажет здравые идеи, поправляющие меня, то было бы и мне интересно их прочитать...)

Христианский миф содержится в Новом Завете, и от первой буквы его до последней и располагается сей великий роман, во многом определивший историю европейского человечества. ВСЁ, что мы можем знать о христианстве и Иисусе Христе, надо вычитывать только оттуда.

ГЛАВА ВТОРАЯ РОЖДЕСТВО

1. Родословие Иисуса Христа

В христианском мифе многое, как и в мире, в литературе, в жизни, и даже в апориях Зенона, соткано из противоречий. Но главное противоречие сущего заключается в том, что сам человек – соединение души и тела, вечной души и бренного, смертного, конечного тела, – соединение несоединимого. Так что сто́ит ли чрезмерное внимание уделять тем незначительным противоречиям, из которых соткан Новый Завет?

Есть и существенные противоречия, но они не отменяют, а только подтверждают обещанный Иисусом Христом Новый «Закон», то есть *жизнь по благодати*, несмотря на его же обещание не отменить, а подтвердить Старый Закон, то есть скрижали Ветхого Завета (который именно поэтому стал *ветхим*, у христиан).

Но, увы (или к счастью), тот народ, который Он назвал Своим и который пришел спасти, остался при Старом Законе, а «Новую Землю и Новое Небо» получили мы, всего лишь «привои к тому дереву», ради которого Он пришел и о котором обещал заботиться.

Вот это и есть самое существенное противоречие: между тем, во имя чего, как ему казалось, Он пришел, и тем, чем стало Его пришествие.

Нет, не стал Он Спасителем Своего народа, Он его считал Своим, а народ Иисуса Христа своим не посчитал, не только отвернулся, но даже распял (впрочем, это уже начинается еще один миф... Кто его предал и осудил на распятие – после уже формального осуждения синедрионом и Пилатом? Толпа на Голгофе, возбужденная слугами Каиафы? Представляет ли она собою еврейский народ?)

Но, независимо от того, считать ли еврейский народ ответственным за распятие Иисуса Христа, за новым учением евреи не пошли, христианские общины возникли в основном ВНЕ Израиля, сначала, вероятно, среди евреев в рассеянии, а затем логика жизни переместила их к язычникам, сделала ВНЕнациональными.

Однако сначала новое учение обращалось только к евреям, поэтому и «Евангелие от Матфея» начинается «Родословной Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его...». И далее перечисляются трижды по четырнадцать родов, от Авраама до Давида, от Давида до выселения в Вавилон и от выселения в Вавилон вплоть до «Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.» [*Иисус (евр. Йеш_уа, или Й_ешу) – «Бог спасает» или «Бог есть спасение», Христос (греч.) – Помазанник.*]

Но ведь это – родословие «Иосифа, мужа Марии», Который даже «не знал Ее, как, наконец, Она родила Сына Своего первенца...», ибо Рождеству Иисуса Христа предшествовали драматические события, а именно, по

обручении, «прежде, нежели сочтались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Иосиф же по повелению Ангела Господня принял ее, но не был с нею близок, пока она не родила Своего сына, Спасителя.

Был ли он близок с нею позже, их ли общие дети те братья Иисуса Христа, которые с Марией пришли к Иисусу, к которым он не вышел, когда был с учениками в Иерусалиме, Священное Писание об этом не говорит, Посему пусть дева Мария и останется только девой, непорочной матерью Иисуса Христа.

2. Родословие античной (европейской) культуры

В Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.» В древнерусском переводе говорится: «*Искони* бе Слово...» – что означает одновременно и "от начала времен" и "всегда", а поелику "Слово было Бог" относится к Иисусу Христу, то эти слова означают, что Иисус Христос был *искони*, то есть и прежде Рождества своего, которое, таким образом, было только его *воочеловечением*, а не рождением впервые в мир. Но это *к слову*... – ибо на время я оставлю Священное Писание, чтобы обратиться к истории античной культуры.

В начале ее тоже было Слово, и этим Словом уместно посчитать сказителя Гомера, создателя первого европейского Мифа, Одиссеи и Илиады. Через Слово же, то есть через преемственность, через традицию, эстафета передается семи античным мудрецам, первым из которых является Фалес, родоначальник и математики, и философии, и науки вместе взятых.

И если *рождением* будем называть эту передачу эстафеты от одного к другому, то в Культуре преемников будет неизмеримо больше, к тому же за каждым из них – новое направления в культуре, без них и культура была бы скудной, и история, и человечество было бы ущербным.

Но чтобы только перечислить всех «детей»... античной культуры и хотя бы по несколько слов о них сказать, надо уже писать историю КУЛЬТУРЫ, ибо в античной культуре содержится и вся последующая европейская культура. Математика, Философия, История, Поэзия, Медицина, География, Театр, Ораторское искусство, Музыка, Право, Архитектура, Живопись, Ваяние... Христианство всему этому богатству противопоставило только «блаженство нищих духом», и на пятнадцать столетий воцарилась духовная нищета, власть одной книги и одной истины, которая состояла в том, что «Аз есмь истина и путь»... И если уверовать в правоту этих слов, то тогда и воистину не нужны ни Аристотель, ни Эсхил, ни Платон, ни Эврипид, ни Пифагор, ни Эвклид, ни Архимед, ни Пракситель... Пока античность не откопал как Трою в буквальном смысле этого слова европейский человек и не повторил их путь Познания, следуя за ними, учась у них – да и то, даже только для повторения античных мудрецов, Европе понадобилось, считая с Данте (европейского Гомера), и кончая Ньютоном (Архимедом европейцев), шесть столетий, почти столько же, сколько эллинам. И только в восемнадцатом столетии Европа двинулась дальше, уже по существу распрощавшись с духовной властью христианства.

3. Рождество Иисуса Христа – продолжение.

Согласно евангелию от Матфея, «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский, ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.»

Услышав сие, встревожился царь Ирод, призвав волхвов, наказал им разузнать все о младенце и *известить его* (имея в виду погубить будущего «царя иудейского).

Волхвы пошли и «звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец...».

Тогда они, «пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну.»

«После того как они ушли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми ребенка с матерью и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не скажу тебе. Ирод собирается разыскать ребенка и убить Его».

«Тот встал, взял ребенка с матерью и ночью отправился в Египет...»

Когда Ирод увидел, что звездочеты его провели (не известили), он пришел в ярость. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет, то есть рожденных в то время, о котором он узнал от звездочетов. И так исполнилось сказанное устами пророка Иеремии:

*«Слышен в Раме вопль,
рыдания и стоны.*

*Это Рахиль оплакивает своих детей и не хочет утешиться,
потому что их больше нет».*

После смерти Ирода Иосифу в Египте является во сне ангел Господень и говорит: «Встань, возьми ребенка с матерью и возвращайся в израильскую землю. Тех, кто хотел погубить ребенка, уже нет в живых».

Иосиф встал, взял ребенка с матерью и отправился в израильскую землю. Но когда он узнал, что в Иудее правит вместо царя Ирода его сын Архелай, он побоялся идти туда. Получив во сне повеление, он отправился в галилейскую область и, придя туда, поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось то, что сказал Господь устами пророков – что Его назовут Назореем [Назаретянином].»

Что же нового говорится о Рождестве Христовом в других Евангелиях?

Открываю Евангелие от Луки:

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.»

Явился к нему Ангел Господень и сказал: «услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн. ... он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их».

«После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и

говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. ...

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.

Далее о рождении Иисуса Христа говорится так:

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.

И пошли все записываться, каждый в свой город.

Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариною, обрученною ему женою, которая была беременна.

Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.»

Пастухи поспешили в Вифлеем, нашли там младенца, лежащего в яслях, «И возвратились ..., славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели...»

Сравнительно с Матфеем разночтения, там говорится о волхвах с Востока, принесших дары, здесь же о скромных пастухах. Впрочем, это не существенно...

Далее у Луки читаем следующее: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа...»

... «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. ...»

Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицом всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.»

4. Детство Иисуса Христа.

У Матфея о младенчестве и детстве Иисуса Христа более ничего не говорится, так же и о Рождестве и о детстве Иисуса Христа молчат Иоанн и Марк, но у Луки рассказывается о посещении Иерусалима родителями Иисуса на праздник Пасхи.

«... когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.

Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его. ...Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим...»

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.

И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»

... «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.

Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человек.»

Евангелия повествуют о Боге и прославляют Бога. Но разве не основывается наше отношение и к Богам на том, каковы их поступки по человеческим меркам? Античные боги, очевидно, не образец нравственности, но от христианского Бога мы ожидаем, что Он будет авторитетен для нас и в Истине и в добре. Но сей поступок двенадцатилетнего отрока никак не может служить ему в восхваление. И удивительно ли, что через много лет не захотел он выйти от беседы с учениками к матери Его и братьям Своим?

Можно мне возразить, что человеческая мораль (хотя иной Морали не существует) не для Богов, и я не буду оспаривать. Христианство не повторяет «Ветхий Завет» и заповеди Моисея, оно вне морали, справедливо даже сказать, что оно АМОРАЛЬНО. Хотя Христос и говорит, что пришел не отменить **Закон**, а подтвердить его, и затем повторяет Заповеди Моисея, суммируя их в виде двух: во-первых, *возлюби Бога, всем сердцем и всей душою, и эта заповедь есть наибольшая*, а во-вторых, *возлюби ближнего своего*, но нельзя это замечание считать «Моральным кодексом строителя нового христианского мира». Похоже, что к Своим наставлениям вначале и сам Христос не относился как к скрижалям Новой религии, и смотрел на свою деятельность только как на дополнение к деяниям и поучениям ветхозаветных пророков, посему и не повторил заповеди Моисея. Но логика христианской истории (хотя я и требую не выходить за рамки текста Нового завета) противопоставило христианское учение Иудаизму как *Учение о Благодати* в отличие от *Закона*, так это и формулировалось христианскими проповедниками, например, у митрополита Иллариона на Руси в «Слове о Законе и Благодати».

5. *****

Затем в Евангелиях повествуется о «делах и днях» Иисуса Христа, излагаются Его проповеди, его драматическое осуждение, Распятие на кресте и явление Его апостолам.

Хотя я пересказываю кратко Евангелия, как и Гегель в «Жизни Иисуса» также пересказал их; но моя задача состоит не в том, чтобы читателю напомнить известный текст – он его может прочесть и без меня – но чтобы ответить на главный вопрос, который ныне меня беспокоит: каково отношение христианства к Истине, Красоте и Добру?

Христос говорит: *Азъ есмь Истина и Путь*, но на вопрос Пилата, «Что есть Истина?» – не отвечает. Но и задает ли христианство самому себе такой вопрос и пытается ли на него ответить? Озабочено ли оно также тем, чтобы объяснить, что такое Добро и Зло и каким надлежит быть человеку в связи с ними? *Человеку надлежит веровать в Бога* (вскоре уже в *нового Бога!*) – но значит ли это, что ему надлежит стремиться к Добру и Истине? К правде и справедливости? И как соотносится вера в Бога с красотой и культурой?

Цель христианина – *Спасение души* (хотя и эта цель прямо не формулируется) – но имеют ли к сему какое либо отношение поиски Истины (она уже найдена, содержится в Христе, да и, как уже сказано, не истину надо искать, а душу спасти!), стремление к добру (или добродетели), восхищение и наслаждение Красотою (бесовским наваждением), Любовь к женщине (источник грехопадения человека, корень, из которого христианство и выросло, ибо оно призвано искупить вину человечества, вкусившего через Еву **запретный плод** познания добра и зла? Пролагает ли христианство Путь к счастью и преображению мира? Нет, родились мы на муки и в муках умрем, мир наш проклят, исправить его нельзя, и человека исправить существенно нельзя тоже, ибо «его добродетели, даже у святого, смердят перед Богом». Это единственная в мире **Религия ВИНЫ, Проклятия, Непрощения, Муки и Отрицания**, И только исторически христианство преодолевает самого себя!, в том числе и через меня (как через Жанну, Лютера, Аввакума...)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОДИНОЧЕСТВО ГЕНИЯ

1. Размышления о литературе и языке

14 октября, 18-52. Но лучше я поговорю о литературе.

Роняет лес багряный свой убор...

Прекрасное должно быть величаво ...

А на бегу, в слезах, в порывах шквального ветра, под проливным октябрьским дождем с громом и молнией (чего прежде я не видывал), на берегу Байкала перед командой «пли», как Колчак – разве нет прекрасного даже и во всем этом, хотя оно, увы, НЕ величаво?

Трагическое приобретает форму величия позже, обкатанное искусством или историей, когда оно становится мифом, даже Иисус Христос не смог проститься с жизнью величественно, он испытывал физические муки, которые разрушали эстетическую форму прощания – будь то прощание с любимой, прощание с теми, кто от нас уходит в мир иной, прощание с собственной жизнью.

Но неужели Пушкин не прав?

Нет, он прав, он прав во всем и всегда, но его творчество – это ЭТАЛОН, зеркало, в которое можно смотреть нам, творящим после него, образец для подражания – но горе тем, кто ему бездумно подражает, их удел – быть эпигонами. Такова ведь и античная скульптура – она тоже Эталон, но если искусство живое, то оно ищет новые формы, ищет своеобразие, отличия, даже дети стремятся не повторять родителей.

«Роняет лес багряный свой убор...» – это идеальный Октябрь, идеальная осень, какою она должна была бы быть, если бы все происходящее подчинялось математическим формулам, если бы камень, брошенный вверх, летел по параболе, а не отклонялся от нее в силу трения о воздух; поэтому явленная осень ведет себя, в жизни и в стихах, не так, как предписано ей законами Ньютона и стихами Пушкина, и мы пишем о ней по другому: «Октябрь, желтолицый брат,/ Осени не спросясь,/ шуришащие цветные пят-/ на мечет под ноги, в грязь...», да к тому же «укутан / Лес плащом, и невдомёк, / Что холодный ветер сдует / Скоро всё, чем глаз ликует: / Тропы, строки, между строк... / Что придет взамен печали / Безнадежность. Взгляд наш дали / Охватить сумеет в миг!...».

Или: «Осень, осень. Непогода,/ Нездоровье, невниманье./ Жизнь напрасна, тщетно знанье./ Равнодушная природа/ Равнодушно умирает.»

И все же: «Октябрь уж наступил. Уж рощи отряхают/ Последние листья с нагих своих ветвей» – это октябрь, каков он в вечности, в идеальной действительности. Но так писать уже нельзя. Но и лучше этого сказать об октябре и осени невозможно.

Современная поэзия – это собрание изменчивых происшествий, настроений, состояний, классическая – собрание неизменных формул.

А я тратил жизнь на оспаривание чужих заблуждений, и, наконец, понял, что единственный способ преодолеть ЗАБЛУЖДЕНИЯ, свои и чужие, одни из них по крайней мере понять, другие сгладить, третьи преодолеть – культура в целом, причем преимущественно ее наиболее не точная, зыбкая, не определенная часть – искусство...

Я был наивен до самого последнего дня, я думал, что могу, как Сократ, вглядываясь в мнения и рассуждая, отделить умное от глупого, наивное и поспешное от глубокого, благородное от пошлого, доброе от злого, прекрасное от безобразного, что я смогу опровергнуть ВСЕ заблуждения народа, объяснить их причины и противопоставить заблуждениям Истину и Откровение – но это все равно, что вычерпать море, в которое вливаются тысячи рек, не переставая ни днем ни ночью. Заблуждения нельзя выстроить в конечный ряд, пересчитать и проранжировать – как и поступки людей не все справедливы и умны, так и мысли.

Заблуждающиеся подчас – то же, что душевнобольные, и мании их безграничны.

Я уже впал в отчаяние, понимая, что даже множеством книг мне не одолеть заблуждения, и вдруг луч молнии озарил моё отчаяние: всё, что я могу сказать, представляет из себя обширное поле верных высказываний, которое можно уместить в крестьянской котомке, для этого высказывания должны представлять собою художественное произведение, Роман или Притчу, Сказку, или хотя бы Басню или Анекдот.

Последовательность силлогизмов представляет собою слишком длинную цепь рассуждений, чтобы надеяться когда-то достигнуть ее завершения и узнать Истину, и я уже прошел вдоль этой последовательности, с тех пор, как начал ее разматывать, целых пятьдесят лет, но все еще далек и от ее конца, и от победы в спорах. ибо пока я выдираю пырей, вырастает крапива, выдираю крапиву, растет лебеда, после нее одуванчики, затем ромашки, затем уже и дявольский чертополох и репейник.

Нет, сдаваться не надо, только надо изменить поле сражения и оружие, которым я сражаюсь.

Необходимо сгустить содержание моей проповеди в тысячи раз, может быть, в миллионы, и это возможно, сгущение достигается за счет художественной формы, в которой Логика заменяется на Магию.

Художественное высказывание в драме и романе является синтезом Образа, Символа и Метафоры.

Герои художественного произведения, преображаясь под пером художника, утрачивают свою «жизненную подлинность» (сиюминутную реальность) и, теряя временность, становятся вневременными, превращаясь в Образ или Символ (как, например, Онегин в «Евгении Онегине» и Печорин в «Герое нашего времени»), сюжет и повествование из частной цепи происшествий превращаются во всеобщую Идею бытия (Робинзон, потерпевший кораблекрушение и выброшенный на необитаемый остров; Одиссей, скитающийся по морям; поиск сокровищ, спряятанных пиратами; поиск пропавшего отца-капитана), и мы теперь мыслим и говорим о Робинзонаде, Одиссее, острове Сокровищ, детях капитана Гранта...

Как много красноречия потратил Вольтер в борьбе с католической церковью – но гениальная мольеровская метафора «**Кабала святош**» разоблачает и убивает ее вернее, хотя и бескровно.

Легенда о беспутном любовнике порождает образ-символ Дон-Жуана, бессмертный роман Сервантеса сгущается до образа-символа Дон-Кихота, а герои Гоголя в комедии-поэме «Мёртвые души» олицетворяют собою, вместе с героями драмы Грибоедова «Горе от ума», почти всю портретную галерею среднего общества Николаевской России.

Образ, Символ и Метафора в художественной литературе представляют собою священную Троицу Искусства, без которой оно не существует и не существует.

И эта Троица играя самую необходимую, самую скрепляющую и судьбоносную роль в Дrame и Ромane, осеняет собою и Искусство в целом, Поэзию, музыку и живопись, но даже ваение и зодчество. Скульптура и архитектура античности уже давно превратилась в символ, но и современность на сцену Театра Культуры поставляет все новые символы, таковы живописные полотна Сурикова, его "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меньшиков в Березове", "Покорение Ермаком Сибири... таковы и его автопортрет и автопортрет Тициана... Часто бывает, что стирается грань между собственно искусством и литературой, "Собор Парижской богоматери уже двоякий символ", но именно то, что само архитектурное творение было символом эпохи барокко, превратило его и в литературный символ.

Символом русского модерна в архитектуре может служить "*Храм на крови*", высотные здания Москвы тридцатых годов символизируют собою напыщенный и лживый стиль жизни сталинской России.

Герои, Сюжет и Повествование в целом скрепляются в некое магическое единство этой **Троичностью художественного языка** (которое **и есть форма его существования**, способ, которым **Язык искусства** являет себя как художественный язык). Но я, возможно, обескуражу читателя, если скажу, что и обыденный язык, который является тканью разговора, сообщения, научного исследования, милицейского протокола, **ЯЗЫК СЛОВАРЯ** – почти таков же, как художественный, разница только в силе и в качестве, в сгущенности художественной выразительности. Каждое слово языка как такового, языка в целом, того языка, которым пользуется каждый – метафорично, оно порождает производные слова только как метафоры. Обыденнейшее слово **СТОЛ** порождает и *застолье*, и *столовую*, и столова́ться, и пригласить за стол, и оказаться под столом, и сидеть за столом, и с краю стола... – это все развернутые метафоры.

А столоначальник, престол, престольный праздник, столица...

Слова, **ПОРОЖДАЮЩИЕ** целые области творчества и духовной жизни, словно бы рождаются из некоего семени (иногда далекого от того, чем станет растение, часто очень предметного, связанного с непосредственной жизнью), растут, развиваются, производят плоды, испытывают влияния... таково, в частности, слово культура, которое выросло из латинского слова **CULTURE** – **возделывать** (землю, поле). Из него через культуру возникло и слово **КУЛЬТ**.

Некоторые из таких слов изначально имели двоякий смысл, означающий и деятельность, связанную с производством питания, и отношения полов.

Ибо и СЕМЯ – это и то, что порождает растение, но и то, что порождает человека. Слово, обозначающее предмет или действие, является ничем иным как обобщением, ОБРАЗОМ, дерево не означает какое-то конкретное дерево, а всякое дерево, а становясь метафорическим расширением, означает и "Древо познания добра и зла", и "Генеалогическое дерево" – но метафора возникает из самого образа, представления того, от чего отходят побеги, ветви, на чем появляются плоды. *Сухая смоковница* возникла при взгляде на одну единственную смоковницу, но стала означать всякое бесплодие. Метафора – это перенос и расширение значения слова, создание на его основе другого Образа (как из дерева "Генеалогическое дерево", как из возделывания поля – "культура").

Следовательно, само слово, если оно не является только именем, не может быть ничем иным как образом и метафорой изначально, уже заключая их в себе. Образ и Метафора, превращаясь в формулу, сужаясь в более точную, не расплывчатую определенность, становятся ЗНАКОМ и Символом.

Даже обыденный Язык – это в меньшей степени собрание имен, а в бóльшей – собрание символов и метафор.

Но не всегда Образ, Метафору, Символ можно разграничить.

Я приведу примеры не для объяснения этой последней фразы, а чтобы подчеркнуть необыкновенную способность языка вмещать почти бесконечное содержание в малый объем.

Кабала святош.

Святая простота.

*Жанна Д*Арк на костре.*

А всё таки она вертится!

Пиррова победа. Нимфетка. В СССР секса не было. Не могу поступиться принципами. Не ошибается тот, кто не работает (в оправдание тирану). Лес рубят, щепки летят (о массовом Терроре в коммунистической России). Вы здесь из искры разжигали пламя – спасибо вам, я греюсь у костра. Свежая вырезка из продовольственной программы... И так далее...

Кто низверг социализм в России? Не бесчисленные книги гениев художественной выразительности, не правда о Гулаге, не великие философы, не ученые, и тем более не «диссиденты», большинство из которых было социалистами, но советский Анекдот и простонародный смех.

А что означают *раскольник, чернь, бегать налево, "правые", "левые", уничтожение паче гордости, иная простота хуже воровства, яростно?*

Язык сам есть образ, метафора и символ. Его история, развитие, связи слов не безразличны для его культурного здоровья. То, что происходит ныне: редуцирование фраз, потеря предлогов, обстоятельство, глаголов, дополнений, засорение языка вульгарными англицизмами, внедрение в ткань языка бессмысленных слов и оборотов вроде «это самое» и «как бы» сравнить можно только с намеренным засорением поля сорняками; но когда болеет язык, болеет и народ в целом.

Нет, совсем не невинны выражения: Выйти *с кухни*, *За тобой* соскучилась, Встретиться у меня *не получилось*, "Это самое", "Как бы", *Развернулась*... Меняется образ языка, меняется и характер народа. Писатель, пишущий на испорченном языке, унижающий язык, не только не «инженер человеческих душ» (которым не был и массовый советский писатель, оболгавший историю России и ее действительную жизнь), но прямо таки разбойник, ломающий обстановку чужой квартиры.

2. Язык как способ преображения мира и духа

Итак, художественный язык существует через Образ, Символ и Метафору, он не является простым набором сообщений, его информативная и коммуникационная роль второстепенна. Но даже в обыденной речи **сообщение** – не самое главное, для чего возникает и продолжается разговор, и я приведу примеры не самые крайние. Итак, двое заспорили, один из них кричит второму: Ты осёл! Второй ему отвечает: А не пошел бы ты на...?!

Через язык передается гораздо больше, чем через газетную хроника, передается впечатление, образ мыслей, настроение, мечты и намерения... Язык воздействует на слушателей, он их и просвещает, как речь учителя и философа, и возвышает, как речь проповедника, и воодушевляет, как речь народного трибуна, Тиберия и Гая Гракхов, и защищает правду и справедливость от наветов, как речи Цицерона и Плевако, и мобилизует на правые или неправые деяния – таковы в прошлом речи Савонаролы и Лютера (а нынешних не хочу помянуть).

"Язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли!" – утверждал Оскар Уайльд; двадцатое столетие, столетие бесконечного извращения правды и справедливости, бесконечного оглушения человека, бесконечной лжи, в которой большевики и национал-социалисты утопили вселенную, доказал это с лихвой.

Как же нам, праведным, противостоять неправде, использующей, казалось бы, то же оружие, что и мы, то есть язык (а меч поднять на ближнего, даже жестокого, даже помогающего темным силам, мы не смеем, мы только пытаемся его усознать)? Можем ли мы противостоять их напору, их самоуверенности, их злой силе, отрицающей диалог, сметающей возражения, сомнения, уточнения?

Да, можем, у нас есть наше собственное оружие, и мы им должны пользоваться действительно.

Из множества большевистских и нацистских ораторов, писателей, пропагандистов почти никто не выделяется талантом художественной выразительности, речь слуг сатаны хотя и успешна (потому что обращена к черни или к серой "народной массе"), но поверхностна, блекла, не выразительна, не возвышенна, не умна даже и подчас примитивна. Джугашвили, якобы, писал стихи – каждая девочка в четырнадцать лет пытается сочинять их, то есть сочетать созвучные слова хочу, молчу, краснею, бледнею...; Шикльгрубер, якобы, сочинял эскизы зданий, которые хотел бы построить, но постыдился, даже достигнув могущества, облечь их в камень; Ульянов на том поприще,

которое ему суждено было профессионально, то есть *присяжного поверенного* (требующего ораторского искусства), и то провалился, не выиграв ни одного дела, а "философские" его сочинения изобличают в нем не более чем посредственного гимназиста.

Дьявол, говорят, умен. Но ведь есть разный ум: есть хитрость, изворотливость, подлость, шулерское передергивание положений и выводов, умолчание, умение навести тень на плетень, воззвать к низким чувствам, умение разбудить зависть и злобу – это не та интеллектуальная тонкость и глубина, которая отличает подлинно умного человека. И в то же время представляет ли дьявол собою единство? Согласно моим (и народно-крестьянским) представлениям, зло сконцентрировано в "Нечистой силе", в которой вмещено все темное, именно нечистое, обманное, соединены клевета, злоба и подлость. Мой дьявол – скорее Демон, искушитель, падший Ангел, Мефистофель, бунтарь, воин, холодный и жестокий, но не подлый. Это не дьявол пытал ведьм и невинных грешниц, но пастыри христиан, волки в овечьей шкуре. На таком противопоставлении Нечистой силы Дьяволу я не настаиваю, я не строю на нем ни теологию, ни философию Зла, это мое художественно-мистическое представление, во многом вытекающее из языческих крестьянских образов. Ведь и в Природе много жестокого, но никто не отождествляет Природу с Злом (кроме, быть может, христиан). В лесу водятся дикие звери, зимой путник может замерзнуть в снежном буране, в реке или в половодье можно утонуть – но природа и кормит, и обогревает, и воспитывает в нас чувство изящного и величественной красоты.

Дьявол, говорят, красив (и Достоевский, которому приписывают религиозное поклонение красоте, склоняется к такой точке зрения) – но не дала образцов красоты, сравнимых хотя бы отчасти с девятнадцатым столетием, ни советская, ни нацистская архитектура, ни живопись; да, были великие композиторы, но в какой степени может считаться советской музыка Шостаковича и Прокофьева? В такой же, в какой Есенин, Цветаева, Ахматова – советские поэты, а Даниил Андреев, Варлам Шаламов, Солженицын – советские писатели.

Но оставим пока Дьявола в покое, речь идет о бесах, а их отличительное свойство – бесталанность, примитивный, грязный, невыразительный язык.

И ничем другим мы не сможем им действеннее противостоять, как великим русским языком, которым мы должны пользоваться безукоризненно, ибо только через него вырастает ожидаемый нами урожай. Если нас не слушают и не читают, спрячем раздражение и гнев, а возьмем котомку и сделаем еще шаги в гору – и так хотя бы до бесконечности! Когда-то явится и к нам шестикрылый серафим, как явился он к Пушкину и Лермонтову, когда-то и мы научимся «глаголом жечь сердца людей!» – и только тогда нечистая сила будет посрамлена и побеждена.

Вот почему я не теряю надежду: я действительно учился писать только в последние тридцать лет, и отчасти немногому научился; если мне необходимо еще тридцать лет учения, я не умру, я их проживу, хотя бы все козны мира ополчились против меня – иначе Бога и воистину нет.

Но тогда воистину нет и Логике, Красоты и Добра, а они нами придуманы и есть только то, "что кому нравится" (как полагает Толстой). Но те, которые нуждаются в утешении, помощи и милосердии, в научении, просвещении и возвышении, и которым мне иногда удается передавать духовное благо, с таким утверждением никогда не согласятся и не согласятся жить в таком пустом мире. Что ж делать – бессловесный скот ведь тоже не знает, что существует человеческий язык, и не может с нами беседовать так, как «звезда с звездой говорит» – но и ему дано *сочувствие*, близкое человеческому. Буду обращаться к природе, если человек возненавидит вновь искусство и культуру и объявит их вновь грехом.

3. Уныние

Но кому нужны мои размышления о литературе, когда даже литература уже почти никому не нужна? Когда современный человек так пресытился (или так поглупел), что уже не в силах открыть книгу хотя бы для развлечения. Размышлять ему лень, следить за течением событий воображаемой жизни он уже тоже ленится – что же ему не лень? Одни пьют, другие употребляют наркотики, третьи предаются разврату, четвертые спят (если позволяет им социальное положение), пятые прозябают, шестые работают для денег и в перерыве между работой и сном смотрят телевизор. Но есть и седьмые? Эти живут для денег, власти, признания, наслаждения, живут для присвоения не им принадлежащего мира. Пресытятся и они, и они окажутся под забором жизни, не в силах получать от нее всё возрастающее удовольствие!..

А кто же мы, то есть я сам и подобные мне?

Нас мало. Мы не представляем собою часть общества, мы никто.

Мы пишем книги, которые никто не читает, кроме нас самих, и не будет читать, потому что они слишком сложны для среднего ума – а ужас современной общественной жизни в том и состоит, что человек пал до середины, почти всякий человек, а многие даже ниже ее.

Но скучно повторять одно и то же, здравомыслящим очевидное. Рассуждения чреватые *дурной бесконечностью*, по выражению Аристотеля, необходимо сгустить все то, что во мне просит выражения, то есть чувство, представление и мысль. Для этого надо писать иначе, писать иное, написать Роман – о мыслящих как и я... Или хотя бы о себе самом, но не бесконечный монолог, а художественное повествование, изображающее мою жизнь и передающее ее трагедию.

Но что необходимо, чтобы писатель мог написать роман?

Необходимо входить органической частью в мир, быть с ним связанным, не противостоять государству и царю (если общество не в оппозиции к ним), не отстоять от веры (или главенствующего устроения) и общества.

А я не удовлетворяю ни одному из этих критериев, государство – это дикий вепрь, только и жаждущий меня загрызть, общество – по преимуществу состоит из черни, а вера... о вере я напишу больше всего, с нею я разошелся больше всего.

4. Христианство и страдающий человек

Общим местом всех, кто говорит о христианстве, является убеждение, что христианство – это учение о добре и зле во-первых; что это учение о необходимости сострадания и любви ко всякому человеку, независимо от его положения и достоинств, о превосходстве и предпочтении Любви в сравнении не только с идеологией, гражданством, национальностью, полом, но даже в сравнении с Верой, во-вторых; и, наконец, что христианство обращено к человеку, озабочено его проблемами, желает человеку лучшего, то есть, что христианство не что иное как гуманизм, и что эпохи Возрождения, Просвещения и Гуманизма не только не противоречат духу и букве христианского учения, но по существу вытекают, будто бы, из христианства, и оно само – путь к Возрождению и Гуманизму. Принимая во внимание Троицу духовного бытия, то есть Истину, Добро и Красоту, или, что то же самое, Логику, Этику (Нравственность) и Эстетику, это означало бы, что христианство содержит их в себе, что оно путь к истинной (простите за тавтологию) Истине, подлинному Добру, духовной Красоте.

И вот пора отбросить всякие экивоки, попросить прощения у достойных людей, находящихся утешение в христианстве (лучше бы им не читать мою Книгу) и определиться по отношению к нему без оговорок и умолчаний (а я боялся произнести окончательный приговор, я спорил с Павлом, но противопоставлял ему Петра, как если бы все же соглашался с учением.

Христианство не является ни предпочтением Истины, ни с стремлением к Добру, ни тем более предпочтением и культом Красоты. Оно им враждебно, оно враждебно человеку, его Культуре, его Истории. Человека христианство не только не жалеет и не любит и не стремится утешить и уменьшить его тяготы, но готово его в вар и в скрежет зубовой ввергнуть, оно его ненавидит, иногда к нему равнодушно, и лишь изредка принимает как потенциально "другого".

Подлинного человека христианство яростно отвергает. (Как отвергал и **марксизм** обывателей, мещан, «несознательных», кулаков, «подкулачников», эксплуататоров, контрреволюционеров, оставляя среди *своих* только малый остаток, да и этих подвергая «перманентным» чисткам – *отстрелам*).

А в чем любовь Бога к человеку? В том, что Он обещает потом, после Второго пришествия и Страшного суда, – воскресение и вечную жизнь – но не всем, а лишь малому остатку, тем, кого не пожнет яростный серп Господний. Так, может быть, пожнет негодных, недостойных, низких, дурных, жестоких? Нет, судя по словам и делам за прошедшие две тысячи лет, возьмет он в свое царствие тех, у кого «взгляд скорбный, голос смиренный», тихих, покорных, во всем предающихся на волю Божию, не смеющих своею волею жить и принимать за нее ответственность.

Н-да...

А среди этих, смиренных, попробуй отличить святошу от «кроткой»!

Но нельзя ограничиться только утверждениями и лозунгами, надо мне свои обвинения обосновать, так что впереди у меня обширное поле – пахать, сеять, собирать урожай...

5. История и Творчество как Редактор и Редактирование

Но не осталось христианство (как и марксистский социализм) в том «неудобопонимаемом» (по выражению апостола Петра) виде, как в текстах Нового Завета, разбежалось по национальным ручьям, понастроило храмов, а для того вернуло гражданство и зодчеству, и ваиянию, и живописи, отчасти и литературе, и науке, и философии и другим искусствам, благословило Царя, государство и сословную власть, богатых и богатство, национальные войны, рождение детей... и жизнь продолжилась почти так же, как и в Римской империи, правда, менее величественно, менее плодотворно, с более низкими представлениями о достоинстве личности, чести и благородстве...

Покуролесив полторы тысячи лет, переварив и еврейских отщепенцев, европейская история двинулась дальше (куролеся сегодня едва ли не больше, объявив демократию и гадкую "толерантность" новой религией).

Сорок лет я шел в поводу у европейских увлечений, был марксистом, христианином, остыл, но стоял еще двадцать лет у церковной ограды, и, наконец, вернулся к самостоянию, к «одиночеству гения», с небольшими поправками: я не настолько одинок, как это временами чувствую, печальная N пишет мне восторженные письма и объявляет меня лучшим писателем и лучшим человеком, поддерживая меня более даже, чем предполагает (а предполагает она, может быть, что я сильный и гордо устремленный вперед, когда я слаб и колеблющ), и, скорее всего, я НЕ гений (с некоторыми задатками гениальности, быть может, но почему-то не развившимися, не отлившимися в законченную форму).

Но, все же, объявляя себя Редактором в переписке с наивными писательницами (верящими мне), принужден я хоть и с топтанием на месте куда-то двигаться. Пока что я двигаюсь к объявленному Разводу с христианством, хотя и не предлагаю читателям никакого Нового Учения вместо отвергнутого марксизма и обветшавшего христианства.

Топтался я и потому, что ныне многие в церкви и в ее внутрицерковной службе находят утешение, не глядя по сторонам, на церковную алчность и нетерпимость (как было во все века прежде) и не читая Библии (которая мало кого утешит кроме евреев в ветхой ее части и бывших коммунистов в новой.)

Но эти, утешающиеся, многие из которых мне знакомы, мягкие и ранимые – зачем я их обижаю, срывая с христианства фальшивые одежды, которые и не оно само на себя надело: оно-то и не таилось, оно-то всегда громко и объявляло, что лучше человеку не прикасаться к женщине, не жениться и не рожать детей, что враги человеку домашние его, что не мир оно принесло, а меч, серу и скрежет зубовой, что женщина – сосуд дьявола, что возьмется в царствие Божие малый остаток, вряд ли даже один из тысячи, что свободы никогда не будет, ибо сосчитан у человека на голове каждый волос, что красота – вздор и бесовское наваждение, так же и театр, и философия, и литература... и так далее, все пуще... – но хотелось несчастному человеку поверить в некий идеал, вот поэтому христианство человек и нарядил в сверкающие одежды, скрывающие правду. А я эти одежды совлекаю. Не для того, чтобы обидеть и так печальных, а потому что неумогу жить в фальшивом мире, в котором я и

жил почти вечность, то «Сталин наша слава боевая», то «нынешнее поколение будет жить при коммунизме», то «марксизм истинен, потому что верен», то «имея веру с горчичное зерно, скажи горе сей...» – нет, как видно, только Сын Божий и имел столько веры, ибо Он и исцелял и ходил по воде... Мы же ходим по его милости в пустыне да еще и с завязанными глазами.

Эллинское язычество не было безбожным, атеистическим, вот и я религиозен, то есть связан с небом и с почвой. Я и поэт и крестьянин. Я и воспаряю и рыхлю землю. Не обещаю, что те, кто меня читает, станут сразу счастливыми – я и сам не слишком счастлив. (Хотя одну молодую женщину я отчасти и исцелил от ее чрезмерного самоуничижения и она распрямилась и начала улыбаться, этого уже для счастья почти достаточно...)

6. Образцы глупости.

«Просящему у тебя рубашку сними две, увлекающему пойти с ним одно поприще пойдти с ним два, ударившему по левой щеке подставь и правую»...

В художественном отношении эта максима даже красива и величественна, но только не надо ей следовать.

Хотя это сказано будто бы про меня. А именно, меня не раз лупили по левой щеке, и я никак не хотел подставлять правую, но такова уж к несчастью моя природа, что «ударить человека я с детства не мог», а поэтому от ударяющего надо было мне или убежать (что стыдно), либо как-то его усосветить, что не-возможно, и пока я его усосветевал, он лупил меня и по той и по другой щеке.

То же самое и с поприщем, и недавно я попал в фантазмагорический переплет, где не хотел идти и одного поприща, но принудили... о, вот в этом-то дело, те, которые никакого поприща не пойдут с ближним своим, не преминут объявить негодяем всякого такого, который не отдал все рубашки, последний кусок хлеба, жену и детей в рабство для не нужного и давно уже не ближнего. У человека есть ДОЛГ и забота, он обязан заботиться о *близких*, о жене и детях, родителях, домочадцах, о собственной отчизне – это прежде всего, и надо ли всякому прохожему отдавать рубашку и уходить с ним в его поприще, бросив насущные заботы?! Только бездельники, ни за что и ни за кого не отвечающие, не вынужденные заботиться о тех, кто рядом, так легкомысленно готовы отдать и рубашку с плеча... Доктор Гааз, московский врач и по совместительству юридивый, мог отдать и шубу нищему, но у него не было своей семьи, и нищие были его семьей. Не для этого ли призывал Христос не жениться и не рождать детей, чтобы при жизни хотя бы одного поколения нам удалось бы побыть христианами?

Я пересекался, то в важном, то в частностях, с множеством людей, и обо мне заботились, и рубашку мне отдавали, и поприща со мной проходили, но не требовал я жертвы, и каждый, кто помогал мне, не поступался ни жизнью своей, ни «принципами», как и я... как и моя бабушка... вот она накормила детей и семью, и то, что осталось, куски и объедки, отдала поросенку или теленку или собаке. Перепадало и нищим, проходившим через нашу деревню, бабушка была сердобольной, но не отрывала она от голодного домочадца, чтобы накормить

голодного прохожего. Нет, все, что надо, выстраивалось как то хорошо, но *не по христиански, а по-крестьянски*. Вот, скажем, на лавке сидит пять человек, и приходит седьмой, уставший. Можно, конечно, и уступить ему место, а можно и просто сесть потеснее. В крестьянском обществе так и поступали, и не всегда было тесно, но часто и раздолжно сидеть сообша.

Если же требование подставить правую щеку и снять рубашку с плеча и отдать нуждающемуся – всего лишь метафора (гипербола), то она эстетически оправдана – для читателя, имеющего вкус и меру, и не порывающегося исполнять каждую из них. Но мир таков, что Религиозный Миф воспринимается его поклонниками как безусловное повеление, как Свод законов, как абсолютная Истина, и шаг влево, шаг вправо – конвой стреляет без предупреждения...

7. Бог поругаем не бывает.

Как любят повторять это заклинание православные фанатики! В их устах оно звучит как угроза. Что всемогущему (но и всеблагому) Богу до того, восхваляют Его или порицают? Похож ли он на обидчивого тирана, который не может спустить своим поданным ни одного слова хулы, а сразу же, по доносу бдительных охранителей, ввергает их в ад и геенну?!

Нет, Бог на них не похож, и уж во всяком случае, он не мелочен. А поругаем он в нашей нищей России, которая часто и без царя в голове, многожды, если уж не вспоминать, что Спаситель евреями был распят на кресте. А разрушение храмов после большевистской революции?! А обыкновение русского пьяного мужика «в Бога-душу-мать»? Это ли не поругание?

Но я в своей книге не развенчиваю Зодчего мира. Я Его хочу понять, отчасти отталкиваясь от известных мне мифов, отчасти с ними споря...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОПОВЕДИ И ДЕЯНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

1. Начало проповеднического пути Иисуса Христа

В начале Евангелия от Марка повествуется о проповедях и делах Иоанна Крестителя.

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. ...

И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. ...

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.

И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.

И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.»

Вслед за тем, как повествуется в Евангелии от Матфея, «...Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонись мне.

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.»

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы.

И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.»

После сего Он призвал в ученики «Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети.»

Затем Иисус Христос призвал своих учеников

«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;» ... среди них был и Иуда Искариот.

2. Исцеления и чудеса

«И ... проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.»

И многожды исцелял больных и увечных, и воскрешал умерших.

«...приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усиленно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.

Иисус пошел с ним.»

Но вслед за тем пришли из дома начальника «... и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?

Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. ... после сего входит туда, где девица лежала.

И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань.

И девица тотчас встала и начала ходить.»

3. Проповеди

Затем пришел Он в Свое отечество; и учил там, и «...за Ним следовали ученики Его.

Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?

Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнились о Нем.

Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем.

И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил.»

«Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.»

«И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья.

И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?

Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?

И сказал им: **суббота для человека, а не человек для субботы**; посему Сын Человеческий есть господин и субботы.»

4. Подтверждение и противостояние

Являлся ли Иисус Христос реформатором Иудаизма, революционером в области религиозных или общественных отношений, если Он неоднократно говорил, что пришел не «нарушить Закон, а подтвердить его» и Кесарю велел отдать кесарево, и Синклит не подвергал критике, и ветхозаветные тексты не подвергал ни критике ни исправлениям, напротив, все свои действия и проповеди объяснял и подтверждал ссылками на Ветхий Завет, а позже и апостол Павел доказал неразрывную связь двух Заветов: Ветхого, являющегося основанием иудейской веры (веры отцов), и Нового, проповедуемого Иисусом Христом?

Хотя Христос и выгнал менял из храма, и лечил и проповедовал в субботу, но так ли это значительно, чтобы в этом видеть причину для осуждения и казни Христа? Как сегодня бы сказали, Он был вполне *законопослушен*. Хотя, впрочем, не был и **учителем кротости и смирения**. Своим ученикам Он говорил:

«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: ограднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.»

5. Так к кому же и зачем пришел Иисус Христос?

У Иисуса Христа была миссия, которая и явилась центром христианства. Но долгое время проповедь его была обращена к Его народу, и Он утверждал, что для спасения своего народа Он и пришел.

Но его подлинное пришествие неотделимо от Мифа о грехопадении человека в Адаме, в результате которого мир оказался трансцендентно поврежденным и смерть пришла в мир (до того не знавший смерти).

И Иисус Христос пришел *спасти* человека, освободив его и мир от тления после Конца Света.

И хотя Он говорил, что пришел спасти только Свой народ, но спасая мир, спасал Он всякого человека... впрочем, из горстки праведных, как Он неоднократно и о сем говорил.

Но Он выступал и как проповедник (вроде Иоанна Крестителя), говоря, что «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.»

И посему, и Пришествие Христа, и Его учение распадутся словно бы надвое:

Он пришел спасти поврежденный Евою (и через нее Адамом) мир через смертную жертву самого Бога в лице Сына Божия, и явить человеку пример преодоления смерти через свое личное Воскресение в образе человека. И Он пришел как Проповедник, Пророк и Учитель, и проповеди свои подтверждал делами, являющими в пределе Инобытийное (Чудеса Исцеления, Воскресения и другие: Претворение воды в вино, утоление голода тех толп, которые следовали за ним, и далее...)

Но все же Он пришел прежде всего только для того, чтобы взойти на Крест (или взойти на Голгофу) и умереть, а затем воскреснуть.

И призвать к ВЕРЕ как пути спасения и Воскресения.

6. Отрицание Семьи, Природы и Красоты. Отрицание жизни

Вера противостоит Познанию (и Культуре) и действительной жизни, она самодовлеющая, она отменяет саму жизнь, то есть и культуру, и деятельность (в том числе и творчество и труд), и продолжение рода человеческого, и любовь между мужчиной и женщиной, одухотворяющую зачатие и рождение детей.

В триединстве Его Проповеди, Миссии и Веры растворяется и жизнь, и человек, и природа, и добро и зло, и истина, и красота.

Истина делается двусмысленной, ибо вера может отменить всякое долженствование.

Красота становится вторичной, так как принадлежит природе и плоти, которые Он отрицает.

А любовь между мужчиной и женщиной даже пагубна, так как отвлекает человека от веры в Бога и любви к Нему, которые единственно важны для *Спасения*.

Правда, казалось бы, Иисус Христос не совсем отрицает любовь и брак. Разве Он не говорит: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене

своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочел, того человек да не различает.»?

Но что рассказывается в евангелии? «Когда же Он еще говорил к народу, Мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою.

Он же сказал в ответ говорившему: кто Мать Моя? и кто братья Мои?

И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать.»

И далее: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;»

Природа, труд и творчество (и культура) также отсутствуют в Евангелиях (а у апостола Павла, как мы помним, об искусстве не нашлось других слов, кроме того, что «улицы Афин уставлены идолами» – от такого ли учения ожидать не только поддержки Культуры, но хотя бы терпимости к ней?)

Необходимость труда не только не проповедуется в Евангелиях, но и прямо утверждается, что можно и без труда прожить, да и еще лучше.

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, малOVERы!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.»

7. К кому же обращено христианское учение?

Итак, мы видим, что учение сие для тех, кто не ищет в этой жизни творчества, труда, страсти и преобразования. Оно не для Сократа, Платона и Аристотеля, ищущих истину, не для Цезаря, ищущего славы, не для Жанны, ищущей свободы, не для Кеплера, исследующего небо, не для Ньютона, исследующего и небо и землю, не для Пушкина, исследующего человека, не для русского бунта, ищущего справедливости.

Оно лишь для тех, кто не ищет жизни, но ищет смерти.

Аналогичный вывод делает академик И. Р. Шафаревич относительно социализма в своей книге «Социализм как явление мировой истории».

Отсюда следует сходство двух мифов в их отношении к трансцендентному.

Но чем объяснить ту невероятную власть над умами, которую показали в истории оба мифа?

Правда, надо сказать, что христианство в настоящем сравнительно мягко и терпимо к инакомыслию, да и в прошлом по крайней мере не призывало к жертвоприношениям, как религия ацтеков и учение о социализме...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**СПАСЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА**

**И
МИРА**



Деревня и мой дом

ГЛАВА ПЯТАЯ

СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА?

1. Допустимо ли комментировать Евангелия?

13 ноября, 14-37. Вырос я при торжестве тоталитаризма. Вообще говоря, торжество одной всеобщей идеологии, отождествленное с государственным всевластием, и есть тоталитаризм, но границы его подвижны. В девятнадцатом столетии разрешалось писать стихи и романы, изучать античность, писать о нравах, верованиях и убеждениях, о заблуждениях и исследовании Истины, при этом не ограничиваться цитированием святых отцов и священного писания, не разрешалось только подвергать сомнению незыблемость государственного устройства (монархии) и церковной власти в духовной области – на сей предмет существовала цензура. Но почти все человеческие чувства и размышления могли быть предметом литературы и философии, и даже у Пушкина Сальери (по логике художественности вроде бы герой отрицательный, посему могущий высказывать сомнительные и неверные утверждения) воскликнул: «Нет правды на Земле! Но правды нет и выше!» Но так ли уж положительным был Моцарт? И так ли уж отделены были оба героя от автора? И посему все, что Пушкин хотел сказать о правде, он высказал, не боясь быть привлеченным к суду инквизиции.

Не то случилось в двадцатом столетии, когда к власти пришел марксистский большевизм, единственным законом которого было: «Шаг вправо, шаг влево – конвой стреляет без предупреждения!» Ограничена была сама свобода дышать и мыслить. Художник не мог писать свободно ни о любви, ни о семье, ни о рыбалке. Необходимо было исполнять множество требований, которые просто убивали свободное творчество. Если на рыбалке оказывалось трое, то один непременно должен был быть большевиком, другой несколько колеблющимся (чуть-чуть, а то его могли расстрелять вместе с автором), а третий должен был представлять народные массы. Даже рыба, которую они ловили, не могла плавать как хотела, в колхозном пруду она лоснилась от жира, в частном худела, в дикой местности мечтала о коллективизации.

Правда, можно было писать про кулаков и подкулачников, про попа с толоконным лбом и про то, что религия – опиум для народа. Но серьезное даже критическое исследование было опасно, ибо все уже было сказано классиками марксизма-ленинизма, и отклонение от классиков грозило неприятностями, а неотклонение сводилось просто к повторению.

Ныне век двадцать первый, государственная идеология еще не устоялась, если не ругать правительство, то, казалось бы, можно ругать все что угодно. И все же, хотя православие и не узаконено как духовная скрепа российского общества и государственности, но вчерашние большевики, недавно только защищавшие от критики и опровержения священные тексты социализма, очень ревниво относятся к сомнениям в тождестве христианства и истины, к самой

возможности сомнений... к возможности снова задавать вопросы и искать на них ответы вне слепой и всеобщей веры. Боюсь, что новый клерикальный тоталитаризм может превзойти даже тоталитаризм социалистический. Впрочем, если моя книга будет дописана и состоится как литературный факт и привлечет хотя бы некоторое внимание читающей публики, то грозят ли ныне свободному писателю государственные и церковные санкции, я узнаю на собственной шкуре.

Помимо государства и церкви есть и читательское мнение. Будет ли мой читатель шокирован? Я еще не научился читать и тех, кто мыслит иначе, чем я, способен читать Шафаревича и Павла Флоренского, Герцена и Бакунина, даже Маркса. Но современный читатель менее всеяден, чем читатель девятнадцатого столетия, он слишком обидчив. А многих мне и жалко. Жизнь так отвратительна, столько воровства и лжи, столько безнаказанных преступлений, поощряемых свыше, столько усилий государства по охмурению и оглушению своих граждан, что иной человек хочет забиться в какой-нибудь уголок, где, как ему кажется, еще дышат дух и правда, где светло и чисто. Этим уголком кажется евангелие. А тут является В. И. и подвергает сомнению последнюю иллюзию. Так во что же верить? На что надеяться? Сам он ведь не предлагает ничего взамен, или предлагает культуру в целом – но это же все равно, что из душевной комнаты, где хотя бы не льется сверху дождь и не дует ветер, звать на улицу, где в лучшем случае можно развести костер?! Поэтому я и развожу часто руками и прошу у своего читателя прощения за то, что чрезмерно часто открываю окна, из которых дует, и хлопаю дверь, мешая спать...

Мысль моя предвзята. Те выводы, которые я сообщаю читателю, сделаны мною в последние двадцать лет, многие из них выкристаллизовались в 2004-м году, когда я писал «Записки на пальме». Но тогда я остановился у некоей черты, еще и сам не решаясь расстаться с христианством, и не решаясь разрушать иллюзию у тех, кто так же, как я, находится в нем Откровение.

И вот теперь решил я эту черту перешагнуть, развод мой с христианством должен быть довершен (прежде всего для меня самого, чтобы я обрел свободу поиска), и для философии, которая так же должна мыслить свободно, не боясь оскорблений и упреков. К тому же философ и писатель, в отличие от политика и священника, способны соединять в своем мировоззрении множество точек зрения, не доводя свое несогласие с тем или иным мнением до грубых нападок. Тексты мифов и великих романов достойны уважения, не поклоняться им не значит их порицать. Так и я, в предыдущей книге спора с Толстым по поводу его нарочито «мужицких» взглядов на культуру (но его нарочитая "простота" приблизила ли его к народу, и в самом ли деле народ был так примитивен, что отрицал высокое искусство?!), вовсе не отвергал «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Казаков». Вот и теперь, уже почти беспристрастно исследуя христианский миф, резко противопоставляющий себя Культуре и Жизни, я не стремлюсь его опустить и отвергнуть. Он велик, но это Учение не для меня. Оно для смирившихся, а я еще непокорен. Оно для угасающих, а я еще горю. Оно для уходящих *туда*, а я еще безумствую *здесь*. Оно для отделившихся от *плоти* и *природы*, а я еще и природа и плоть.

2. Чему противостоит христианство?

Христианство противостоит Культуре, Науке, Прогрессу, юридическому равенству и освобождению от государственной и классовой зависимости, оно враждебно Красоте, гуманизму, даже созданию Музеев и коллекционированию (то есть сохранению культуры и истории), всеобщему образованию, Просвещению, Театру, сохранению национальной самобытности и национальной привязанности (ибо ей противопоставляется вера, отделенная от племени).

Самопознанию, которое возвестил Сократ, христианство противопоставило Рабство у Бога *рабов Божиих*, инициативе и деятельной жизни покорность воле Божией.

Литературе противостоят Жития святых, театру – богослужение в храме. Изучение мира и путешествия являлись только следствием торговых экспедиций, либо следствием паломничеств, либо результатом походов для отвоевания гроба Господня. Но поскольку совсем отменить жизнь было не в силах даже христианство, то продолжались войны, торговля, завоевание новых земель, настала нужда снаряжать экспедиции по поиску морских путей в далекую Индию, так мир расширился на Новый свет.

Живопись вначале носила только прикладной характер – иконы, фрески, картины украшали храмы (вопреки аскетическому и пустынному характеру самого учения), такой же прикладной характер носила музыка – но не из веры и не из молитв племени, большая часть истории которого связана была с хождением по Пустыне (по которой и Моисей водил их сорок лет), возникла потребность в украшении храмов и в украшении богослужений, а вследствие характера европейских народов, нуждающихся в красоте и живущих в согласии с разнообразной и величественной природой Европы (к тому же наследовавшей музыку у Античности).

Сегодня Церковь и сама почти Театр, но это одно из главных противоречий и парадоксов её. Отменив родство по крови и природные народы во имя «братьев и сестер во Христе», вера затем разделилась согласно характеру отмененных народов, более того, затем и сами народы восстали друг на друга под знаменами бывшей единой веры, как православная Украина на католическую Польшу, как католики на гугенотов во Франции и на протестантов в Ольстере, как московская церковь на староверов...

Сегодняшние верующие ходят на концерты, в театр и кино, на танцы, заводят романы с чужими женами, читают светские книги, не читают святых отцов и не знают ни Нового Завета (ни тем более Ветхого), ни истории церкви, ни Вольтера, ни Чемберлена, не знают Истории Второй мировой войны, Революции и Гражданской войны... впрочем, я затрудняюсь сказать, что они знают... Они не знают, во что именно они веруют и что такое христианство, но думают, что они христиане.

Христианство противостоит семье, оно бессемейно не только во Христе (у которого не было ни жены ни детей), но и в монашестве и в католическом священстве, оно объявило человека падшим и греховным *первородно* (то есть за греховное соитие и зачатие как следствие его), и объявило греховными мужчину и женщину, но женщину втройне.

Оно не только не едино с Природой и Красотой, но их отрицает.

Противоположность той жизни, которая *наступала* с шестнадцатого века в Европе (подспудно пробуждаясь еще и ранее, в музыке и в литературе с 12-го столетия, и вскоре в математике, а затем и повсюду), и наступила уже в девятнадцатом столетии почти повсеместно, – и христианства – настолько вопиюща, что почти невозможно понять современных мыслителей, говорящих о христианской философии и христианской поэзии.

Но мы все вышли в той или иной степени из христианства, потом нас обжигал в своей печи социализм, поэтому вначале я думал читать Евангелия и последовательно их конспектировать, снабжая комментариями, но вскоре увидел, что прежнего взаимопонимания нет, и оставил сей замысел.

Нет, уместнее просто цитирование в подтверждение моих мыслей, чтобы не раздражаться и не отвлекаться ни на трех рыб, которыми Христос накормил тысячи, ни на короб с хлебами для этой же цели – я не сомневаюсь, что Он *мог* это сделать, но после того как отказал Дьяволу в его просьбе превратить камни в хлебы и накормить всех голодных, вдруг отступил – зачем? Ибо Он не отрекся же от своей мысли, что птицы небесные не сеют и не пашут, но Отец небесный доставляет им пропитание, и его самые верные ученики так потом в протяжении двух тысяч лет и прожили беззаботно за счет крестьян, в ожидании царствия небесного, где они и вовсе должны позабыть о пашне.

3. Труд – благо, необходимость или проклятие?

Великий физиолог академик Ухтомский, создатель теории *доминанты*, был ревностным христианином, даже прожил жизнь «монахом в миру». Он окончил Духовную академию, прожил год в монастыре и навсегда остался противником монашеской жизни без труда и творчества. Отрицательное отношение к этой жизни было характерно для культуры 18-19-го столетий, не говоря уж о большевистской эпохе. Петр первый ограничил владения Церкви, затем Екатерина сократила количество монастырей чуть ли не вдвое, но так как сегодня происходит возрождение сонма тех, кто не сеет и не пашет, но владеет миллиардами, то и церковный клир тучно заколосился земными богатствами, отчаявшись *снискать богатств на небе*.

Разумеется, это не отменяет противоречий церковной истории (как и вообще парадоксов жизни), и Сергей Радонежский трудился, как и Кирилл Белозерский, как и протопоп Аввакум, как и многие священники и монахи и ныне и присно – но само Учение не только не проповедует необходимость труда, но, начиная с ветхозаветной истории об изгнании Адама и Евы из Рая, объявляет его наказанием и проклятием. Отныне, не захотев питаться с райских древ плодами, выращенными не вами, *в поте лица своего будете есть хлеб свой* (говорится это как приговор осужденным).

Это еще не христианство, еще Священная История, призванная назидать «избранный народ божий», но почему именно так звучит приговор? В то же время у эллинов, славян и европейцев труд прославляется, и «Дела и дни» Гесиода – первый величественный гимн сельской жизни с ее неустанным трудом, и у русских «без труда не выгатишь и рыбку из пруда», «терпенье и труд всё перетрут», «любишь кататься – люби и саночки возить».

4. Дивертисмент

Сплю плохо. Но и днем не лучше, болит брюхо, болит спина. Да ведь и уныние мною овладевает тоже!

Книги мои не имеют успеха – или и впрямь они не более, чем поток сознания, как о них говорят многие?

Кто-то дочитывает их до тридцатой страницы, кто-то читает по диагонали, а потом не может и вспомнить, хотя бы и по диагонали достиг ли конца?

Итак, уныние и разочарование, болезни и ощущение тесноты и пустоты одновременно – вот что и ночью и днем.

Иногда я пишу с воодушевлением, кажется, что являются свежие идеи, что пишу я хорошо и интересно и писания мои полезны читателям; а потом в полном сокрушении думаю, что делать дальше, как переменить вектор моей литературной жизни...

Не писать – почти то же, что не жить... Так долго я верил в свое призвание и ожиданием его жил – и что же, *вера моя тщетна?*

Но если я отщепенец, то смогу ли написать о целом, в котором я представляю только щепку? Ибо в оппозиции можно писать либо публицистику, либо Исследования (как Архипелаг Гулаг), либо Философию. Либо писать о инобытийном, как в романе «Боль и любовь».

Роман, входящий органически в общественную культуру, в отщепенчестве написать невозможно.

13 ноября, воскресенье, 11-10. Спал и сегодня плохо, и все оправдывался во сне в бессодержательности своих записок, но сначала пытался возразить тому, что они только *поток сознания*, словно современная «Песнь кочевника обо всём и ни о чём», но потом догадался, что у меня есть серьёзное возражение такой хуле, а именно: мои Записки надо сравнивать с музыкальными произведениями, которых сочинитель музыки иногда пишет чрезмерно много, как, например, Телеман (да и Бах), постоянно возвращаясь к излюбленной теме... Конечно, Фуги и Сонаты короче и более привлекательны, чем литературный монолог, но если тех мы слушаем уже триста лет, быть может, в ближайшие тридцать лет кому-то и я окажусь интересным?

5. Пушкин и Лермонтов. Две части русской литературы

Иногда мне казалось, что отщепенчество – это одиночество Гения. Но разве Пушкин был так одинок, как Лермонтов, хотя они оба писали стихи о Демоне, оба были знакомы с ним? В Лермонтовском Демоне всё пронизано разочарованием, да и поэма начинается с печали и кончается поражением мятежного духа, которому и автор и читатель все же сочувствуют:

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой.

Напротив, Пушкинский Демон сочувствия вызвать не может, неясно даже, почему поэт его принимает и слушает:

Тогда какой-то злобный гений
 Стал тайно навещать меня.
 Печальны были наши встречи:
 Его улыбка, чудный взгляд,
 Его язвительные речи
 Вливали в душу холодный яд.
 ... Не верил он любви, свободе;
 На жизнь насмешливо глядел –
 И ничего во всей природе
 Благословить он не хотел.

Возможно, Пушкин дает такую уничижительную характеристику Демону лишь *повинуясь* – нет, не цензуре, поэт не настолько ей подчинялся, чтобы в угоду ей изменить свою мысль и чувство – но общественному настроению?

«Он звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье презирал» – к кому может относиться такая характеристика? Пушкин относит ее к Демону, не желающему «ничего во всей природе Благословить», а я перечитываю Евангелия, пытаюсь найти «благословений природному» у «ангелов» – и не нахожу их...

«Не все я в небе ненавидел, Не все я в мире презирал» – оправдывается Демон в стихотворении Пушкина «Ангел» – а я читаю инвективы в адрес мира, даже у апостола Павла и у христианских философов – а у мира еще ведь есть свое Небо, и его-то разве они не ненавидят? Принимается лишь небо, которое мы не видим, которого мы не знаем, о котором и апостол не смеет писать прямо (небо Инобытия), но Небо, которое дано даже в самых высоких образцах духовной лирики – отвергается, ненавидится, ибо наша человеческая святость только мерзость, по мнению христиан, отрицающих мир во имя *Иного*.

Эти мои Записки о литературе и философии (сколь бы длительны они не были) не ставят целью *доказывать* мои положения, даже и противоречащие шаблонному восприятию литературы, тем более что Поэзия ничего своего не доказывает, она только приоткрывает Дверь, человек в нее входит и становится Иным (или НЕ входит). Вот поэтому я (не доказывая) и говорю, что Пушкин и Лермонтов олицетворяют собою два направления в русской поэзии. В одном, пушкинском, ищутся способы примирения с миром, человеком, обществом, государством и Богом; в другом, лермонтовском, творческая личность в своем горнем взлете (то есть осуществляя себя как Гения), бросает Вызов сотворенному Богом миру, оспаривает его справедливость и совершенство (и затем начало двадцатого столетия, вплоть до Блока и Маяковского, было в поэзии отходом от Пушкина, было «мятежным поиском бури», в которой погибли все, и читатели и поэты).

Хотя это и не был вполне Лермонтовский бунт против Творца и Его творения, («Как демон, с гордою душой, Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой») – Блок и Маяковский воспевали Революцию, сплавляющую отдельные личности в общечеловеческую *массу* (о, как ненавистна была эта «масса» Лермонтову!).

Но Пушкин, противопоставляющий Демона и Ангела как Зло и Добро, как Хаос и Красоту, и *декларирующий* превосходство и окончательную Истину ангельского перед демоническим, художественно опровергает сам себя и оказывается на той стороне, на которой и Лермонтов (но на которую не переходит вслед за ним пушкинская часть русской литературы, а топчется у черты)... *Гений и гениальность, гениальное* в человеке – глубоко противоположны христианскому пути смирения, христианским мечтам о совершенстве, которое совершается окончательно в полном растворении человека в Боге, а не в раскрытии заложенных в нем достоинств. Гений буквально Дух. Метафорически это то же, что и демон в поэзии двух великих русских поэтов. «Злобным гением» называет Пушкин Демона в одноименном стихотворении. Но может ли Гений быть *злобным*? Мы не случайно вот уже почти двести лет спорим около спора Сальери с Моцартом, около знаменитого восклицания его «Но гений и злодейство – две вещи несовместные!», спорим, когда оцениваем личность и поэзию Лермонтова.

Если «гений и злодейство несовместны», то что за «злобный гений» приходил к Пушкину? «Дух отрицанья, дух сомненья»? (А кстати, лермонтовский Демон, с его страстью к Тамаре, хотя и был «Духом сомненья», но ни разу в поэме не назван «Духом отрицанья»).

Гений... Демон... Добро и Зло... Любовь и Красота...

Лермонтовский Демон полюбил. Но Бог отказался благословить его любовь. Как когда-то ревнивый Бог отверг любовь Адама и Евы, так отверг и любовь Демона к Тамаре.

Замечательный исследователь русской поэзии ***, не смогший переступить черту, разделяющую Пушкина, ищущего примирения, и Лермонтова, о котором справедливы его же собственные поэтические строки: «А он, мятежный, ищет бури!», договорился (вместе с давней традицией неприятия поэта, отказывающегося от христианского «голос кроткий, взгляд скорбный») до отрицания в Лермонтове *гениальности* (так надо было бы отвергнуть и Гете за его Мефистофеля, и Байрона за его гордость и отщепенчество!).

Но Пушкин и Лермонтов, обозначив в русской Поэзии два направления, обозначили в ней и двуединство, ибо Пушкин шагнул за черту, *разделяющую* общество и личность Поэта. И Лермонтов протянул ему руку.

6. Дух и плоть в любви

Так как пишу слишком много, то задумался: как меня замедлить? Если человек слишком быстро ходит и бежит, надо его навьючить как следует. Следовательно, и меня тоже. Так что в следующей книге буду писать нечто вроде «Истории Философии», и так как я философию знаю плохо, то надо будет прочитать множество книг и работать над историей придется как минимум десять лет, вот мы меня и обуздаем.

И все же о красоте несколько слов скажу. Противопоставление телесной и духовной (душевной) красоты поверхностно и неверно.

Представьте себе костер или огонь в печке. Когда они гаснут, то остается зола, пепел, остывшие угли, и все это ужасно некрасиво, и если именно это

считать телесным, а сам огонь духовным, то да, духовное прекрасно, а телесное – нет. Но в действительности огонь не существует без пламени, раскаленных углей, тонкого прозрачного дыма (когда полыхает огонь в печке или костре так как *надо*), без целуемых огнем поленьев, вспыхивающей коры, всей бури, всего неистовства, с которым огонь пожирает поленья – и неистовство огня прекрасно. Тело женщины красиво, во-первых, соразмерностью всех ее частей, но *впечатление* красоты возникает только тогда, когда эта соразмерность (как правильно сложенные дрова в печке) вдруг вспыхивает пламенем. Неотделимы друг от друга пламя в человеке и его плоть, так же как и мысль и чувство.

17 ноября, 10-15. Во втором часу ночи, уже закончив дела, заглянул в почту, там записка от подруги.

«В. И., бесценный, ну напишите мне, пожалуйста, два словечка, я не могу уснуть, пока вы мне не напишете. Только не много, не надо тратить время, почему-то я осознала, какая я, когда стала с Вами переписываться, это тяжело, но очень хорошо. Я стараюсь исправляться, простите меня, надо терпеть все трудности, внешние и внутренние. Сейчас долго молилась, мне стало лучше.

Доброй ночи! С уважением...»

Конечно, я написал тут же несколько слов, и даже про Любовь, хотя всегда избегал этого слова, боялся слишком большой ответственности. Хотя, впрочем, я ее и так чувствую, как и за деревенских детей, которым пытался помочь, но помог мало.

«Мой ангел, баюшки-баю! Спите радостно, я Вас люблю, я всегда с Вами. Мне тоже без Вас плохо. Спокойной ночи!»

Что мне без нее хуже, это правда, получая восторженные письма, я словно дышаю глоток кислорода, когда дышать тяжело.

7. *Интродукция*

Не всегда, конечно, я пребываю в унынии, но все же часто, то выпиваю лишнего, то ненужные встречи, то делаю глупости, но всегда к тому же угнетен из-за того, что в России падает уровень образования и культуры, бездарное и эгоистичное правительство, которое возглавляет "власть жуликов и воров" и не заботится благосостоянием Родины, истощает ее богатства в свой карман, а народ убывает и скоро моя Россия станет уже только инородческой, как скоро то же произойдет и с Европой. (И хотя, повторяю в миллионный раз, я не считаю русских лучше евреев и татар, но России и русской культуры не будет без русских, а Россия мне важнее и дороже Бога. Так же и Спаситель не раз заявлял, что он пришел спасти *Свой народ*, а не всех, и даже в своем народе Он говорил о спасении только *малого остатка*, я же хочу спасти почти всех, и татар и евреев тоже как часть Народа России! Да, даже и Европу... но ладно...)

И поскольку не раз уже произносил я это слово – **любовь** – то уместно высказаться о любви (хотя уже и у меня в тысячный раз) более полно и определенно, чем прежде (хотя не скажу, что окончательно...).

И высказаться о любви надо хотя бы потому, что большинство и верующих и не верующих отождествляют Новый Завет с Учением о любви, якобы Христос пришел для того, чтобы возвестить Любовь как Цель, Путь и Средство к Спасению. Эта известная фраза «Возлюбите ближнего как самого себя» повторяется даже чаще, чем *о спасении мира красотой*, чем о борьбе Дьявола с Богом и о *поле битвы в сердцах людей*, и о *нравственном законе внутри нас*, по выражению Канта.

8. Не состоит ли христианство в проповеди любви...

Но что же такое любовь, и о какой любви говорит Христос?

Во-первых, Он подтверждает Заповеди Моисея. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. ... не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: *люби ближнего твоего, как самого себя.*»

Затем, когда его спросили «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ...: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: *возлюби ближнего твоего, как самого себя*; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.»

Во-вторых, Он идет дальше Заповедей, говоря в этом же Евангелии: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?»

Затем, в Евангелии от Луки, Он поясняет, кто такой *ближний*. Его спрашивает законник: «Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

И когда Иисус велит ему: «возлюби Господа Бога ... всем сердцем ... и всею душою ... и всем разумением ..., и ближнего твоего, как самого себя», тот спрашивает: «кто мой ближний?»

«На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, ... и позаботился о нем; ...

Кто из этих троих, думаешь ты, был *ближний* попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость.

Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.»

И далее, в Евангелии от Луки, в знаменитой Нагорной проповеди, Он так же идет дальше Заповедей, призывающих *возлюбить ближнего*.

«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас. ...

Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. ...

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; дайте, и дастся вам: мерою добрую, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.»

9. Или оно в проповеди вражды и ненависти, мук и казней?

Не будет большого упрощения, если я скажу, что Ветхий Завет, то есть Завет, заключенный Богом с избранным народом Его, состоит в том, что Бог обещал Спасение в конце времен, а верующие обещали Любить Бога, *любить ближнего*, и исполнять Заповеди.

Для того ли пришел Христос, чтобы подтвердить Дух и Букву Завета?

Очевидно, что нет, иначе бы и не распяли Его, и не создалась бы принципиально иная Религия, только «в малом» совпадающая с ветхозаветной. Этим «малым» является декларируемая благостная любовь к Богу *во-первых*, и к Ближнему *во-вторых*, (все время порываюсь написать: к человеку, но это не так, и у евреев это все же *ближние*, то есть исключая дальних, и у Христа, хотя Он и причисляет иных и дальних к ближним.)

Кто полагает и утверждает, что Учение Иисуса Христа есть учение о любви, ошибается. Все то, что Иисус проповедовал о любви, я уже привел. И в других евангелиях Он говорит почти то же самое.

И в Евангелии от Марка:

«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

..... Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойдя, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест [вот это и было частью того нового, с чем пришел Иисус.]»

Но помимо того, что сказано, *во-первых*, о любви к Богу, и *во-вторых*, о любви к ближнему, говорится о любви и нечто такое, что перечеркивает и отрицает прежде всего *во-вторых*, но затем и *во-первых*. Ибо Ветхий Завет,

обращенный к *избранному народу*, не только призывает этот народ беззаветно любить избравшего его Бога и жить в мире и согласии друг с другом, но обещает при этом и ответную Любовь Бога к Своему народу, а затем и Спасение. Исполняя Закон, можно было надеяться, что исполнится обещанное *воинством небесным* при Рождестве Христа, и будет не только «слава в вышних Богу», но и «на земли мир и во человецех благоволение, и наступит царствие Божие (Еванг. От Луки). Так ли у Христа?

В Евангелии от Матфея Он говорит:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

И враги человеку – домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и [не] следует за Мною, тот не достоин Меня.»

И в Евангелии от Луки дополняет:

«А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.

Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовестуй Царствие Божие.

Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими.

Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.» (Луки, 9, 62)

«Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.

Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.

Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.

Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.» (Луки, 6, 22-26.)

10. Так соединение или разделение возвестил Христос?

Иисус возвестил не только разделение мира на праведных и неправедных, но полное отделение от мира учеников Своих, противостояние их миру.

«Царствие мое не от мира сего!» – сказал Он, и посему между миром и Его царствием должна была наступить война.

И эта война должна была наступить между миром и его избранным народом, который состоял из учеников Его, и из тех, кто оставил и отца и мать и пошел за Ним, взяв Крест, как сказано в Евангелии от Иоанна:

«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.»

Задумываюсь о Мессиях Нового времени, о Марксе, Ленине, Троцком, и об их последователях: марксистах, верных ленинцах и троцкистах, а шире – о том несчастном народе, который за ними пошел, отказавшись от своего родового имени и избрав себе новое имя, в частном – *большевики*, в общем – *советские*. Всё случилось как и тогда, русский народ выступил в качестве нового мессии, но противопоставил себя всему миру, вызвав его ненависть и возбудив ненависть к миру среди своих, но и своих разделив надвое и подвергнув народ казням и гонениям, еще большим, чем обещал Христос.

Странное единство учений о двух обетованиях, обетовании христиан о «царствии Божием на небе» и социалистов о «царствии Божием» (иносказательно) на земле, в которых на первое место вышло не новое небо и не новая земля, а противостояние и раскол, ненависть, пытки и казни.

Но я сын крестьянки, и крестьянство, его культура, его песни, пахота и природа – мой мир, ополчиться на этот мир с ненавистью, да притом желать возбудить ненависть мира к себе и возможным ученикам моим мне чуждо. И хотя я не призываю всех ближних любить, и не изливаю на всех слей и патоку, но я не призываю и всех ненавидеть и стремиться вызвать у мира ненависть к себе и к моим, и не говорю, что «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.» (Матф. 2, 14-15)

Отказавшись от Бога, марксистский социализм в России объявил о соединении пролетариев всех стран в новый народ (как апостол Павел объявил о христианском народе вместо эллинов и иудеев). Я думал, не из-за чрезмерной ли любви к Богу в двадцать веков христианства столько ненависти к человеку – но как же у социалистов, вопиющих на каждой трибуне «Всё для человека, всё во имя человека!» оказалось не меньше ненависти? И прежде чем что-то делать для человека, они должны были истребить весь старый мир, всеродне, вместе с детьми, – это ли не конец света?

Если Христос возвестил, что «не человек для субботы, но *суббота для человека!*», то не следует ли из этого, что и *Бог для человека*, а не наоборот?

Если Бог истинно любит человека, то пусть любит ТАК, как мать любит свое дитя! (Если, конечно, Он смотрит на нас как на детей своих, а не как на рабов, как говорится об этом в Новом Завете).

Сказал Христос (у Иоанна, 34) «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, *так* и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.» – но обращено это **только** к ученикам Его, оставившим мир и отца и мать и братьев и сестер и всех ближних, любить которых заповедал Моисей.

Спрашивал ли я деревенских детей, читают ли они мои книги (нет, не читают), слушаются ли моих наставлений (нет, не слушаются), любят ли меня ради меня (нет, не любят) – но я все носил и носил им необходимое и на них не сердился. Но разве я *любил их* этой паточной христианской любовью? Нет, природный русский, я их *жалел* (как это у нас, крестьян, и положено), сочувствовал им в их огорчениях и невзгодах. [И только дописал до сих слов,

звонит жена больного товарища, которому принес я как-то сушеных грибов и брусники, и радостно *докладывает*, что сварила большую кастрюлю супа, и все домашние ели, и благодарит меня – а я уж и забыл об этих грибах, и не помню, когда это приносил... да и сам он, идя ко мне, не притащил ли как-то трехлитровую банку шей, варить которые он мастер не хуже, чем писать свои сочинения?!]

Подвергнув культуру уничтожающему отрицанию и почти даже ненависти (став христианином на старости лет), Толстой говорит о том, что хорошо в культуре только то, что соединяет людей в христианской любви. Но где он нашел в ней соединение? Он читал ли евангелия? Соединение есть у Моисея, а христиане проповедуют лишь разделение и противостояние.

Я подчас завидую тому, как евреи заботятся о своих, приходят им на помощь, рекламируют и издают родных авторов (хотя и нам перепадают, как псам, по слову Иисуса Христа, крохи!) [У Матфея: «Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. ... Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. ... нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.»]

11. Но для чего же Он приходил?

Невероятно, но даже за две тысячи лет мы не смогли придти к общему согласию, зачем приходил Христос, чему Он учил и что обещал.

Правда, и коммунизм возвестил громогласно: «Весь мир насилья мы разрушим!» – а поскольку одновременно возвестил и *диктатуру*, то есть жесточайшее насилие, то разрушение насилия и утверждение его должны бы продолжаться вечно, но последователи этого учения кричат о его гуманизме (нет, безнадежно думать, что я как учитель чему-нибудь кого-нибудь научу!) – удивительно ли, что человек видит не то, что явно, а чего даже неявного нет?!

Так какова же цель прихода Мессии? Пришел ли Он напомнить Закон Моисеев, обличить грешников за грехи и призвать их к покаянию, и в этом и состояла Его миссия?

Но это уже было сказано пророками в «Книге пророков», и только что повторено Иоанном Крестителем:

«... покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.»

К тому же, хотя Иисус и обличал *грешников*, но был в обличениях

непоследователен, и не из них ли, а не из праведников, и желал воздвигнуть царствие Свое?

«Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во врачах, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.» (Марка, 2, 16-17).

К тому же прощал Он грехи многим *за веру*, простил блудницу за то только, что никто не посмел сказать, что *он без греха* и обличить ее. Простил разбойника на кресте.

Или Он проповедовал любовь и *всепрощение*, как полагают слабые души, надеющиеся на то, что мы можем теперь и дальше жить как жили, грешить во всю мощь плоти и растленного духа, ибо *Христос нас любит* и Он уже нас спас на кресте и за все простил, а ближних наших одернул, повелев нас *не судить*, чтобы и самим не судимыми быть?!

Но не Он ли сказал: «так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов?» (Матф., 13, 36-42).

Иисус не учит об изменении мира, Он призывает к вере и ожиданию Страшного суда (о котором и Он Сам и все были уверены, что вот оно, *при дверех*), воздаяние же принадлежит не людям, но токмо единому Богу.

Но так же не учит Он и об изменении государства, призывая *отдать Кесарю кесарево*.

12. Не от мира сего

Итак: 1. не пришел Христос напомнить *Заповеди Моисеевы* и призвать к Покаянию, предупредить о будущем страшном суде и адских муках – то есть, и отчасти для этого тоже, то есть, как приходя в театр, где мы надеемся встретить наших друзей, мы приходим отчасти и для этого тоже, но все таки прежде всего мы приходим не к ним, а в театр, к актерам и драме.

2. Не пришел Христос, чтобы призвать людей возлюбить Бога и ближних, – а если и призвал, то это то же самое, что делал и я, когда был учителем математики: проверяя контрольную работу, я исправлял не только ошибки в решении задач и примеров, но еще отмечал погрешности в языке, и грамматику и даже стилистику, хотя, разумеется, проверял я контрольные не ради грамматики и стилистики.

3. Также не пришел Христос и для того, чтобы разделить мир надвое, противопоставив одну часть другой, хотя и говорит Он Сам, что пришел для этого – ибо даже и это второстепенно, как если бы кто-то сказал, что я пишу свои книги, чтобы прославиться, или чтобы заработать денег, или чтобы внести смугу в умы или чтобы заставить вас *думать*, мои читатели; хотя и все это мне важно, но я хочу прежде всего сам до конца уяснить смысл и цель Нового Завета.

4. Не пришел Он и для того, чтобы лечить и исцелять и накормить голодных, разделив между ними три ли рыбы или семь хлебов, как

милосердный и блаженный московский доктор Гааз, который даже шубу со своего плеча отдал нищему.

5. Не пришел Христос и для того, чтобы совершать чудеса и тем напомнить о силе и славе Бога забывчивому и падкому на суету житейскую роду человеческому, ибо и бесы помнят о Боге, но не любят Его.

Но *чтобы спасти человека смертью Своею и Воскресением*, пришел Христос [завершая МИФ о грехопадении Адама и Евы], ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» ... и «чтобы мир спасен был чрез Него.» (Иоанна, 3, 16-17)

Но спасется ли Мир, ибо «Царство Мое не от мира сего», (Иоанна, 20, 22), и «Блаженны [увы, только] нищие духом, ибо их [и] есть Царство Небесное»?

13. Мир сей и Мир тот

Я попытался в самом сжатом виде представить Евангельскую Драму, чтобы показать, что понять Пришествие Мессии, причины его Пришествия и цель его невозможно вне Ветхого Завета, словно бы второй Завет отвечает на вопросы и ожидания Завета первого.

Но оба они вдохновлены образом трансцендентного Бога, который не является частью нашего мира, но может нисходить и в наш мир, а, быть может, весь его и пронизает и освещает духом своим, ибо (если верить преданию) Он этот мир и создал. Бог нисходит из Инобытия, о котором я не учу, что это такое, как и о Боге не учу, кто Он, как даже и о Музыке, которую мы часто слышим в продолжение жизни нашей (музыке ли, сочиненной великими композиторами или «музыке сфер») я не учу, но мы слышим ее, и чувствуем, и понимаем и восторгаемся. И если бы она была непостижима, то как бы мы могли ею восторгаться? И если бы Бог был совершенно непостижим и не узнаваем и не ощущали Его присутствия души наши никак, то о чем бы мы рассуждали и спорили? Любовь тоже во многом непостижима, но и постижима она достаточно для того, чтобы ее чувствовать и даже ее изображать и даже о ней рассуждать.

Многое нам неизвестно, и все же Символ, Образ и Метафора позволяют нам понимать и неизвестное, делая его частью культуры.

Однако, за границу инобытийного живой человек не переходит (и я доверяю свидетельству апостола Павла, который не похвалится тем, что возносился на небо и может о нем свидетельствовать, хотя и говорит достаточно ясно и точно и о многом необычном, чтобы мы могли с ним соглашаться или ему возражать, оказываясь иногда на той же границе).

Если отношения мужчины и женщины – камень преткновения для многих, если любовь, связывающая их, вмещающая соединение плоти и слияние душ, непостижима для многих, как непостижима и Красота (особенно женская), то тем более – камень преткновения отношения Бога и человека.

Также и я стараюсь говорить только о том, что достаточно ясно вижу.

Я люблю красоту и музыку мира, и именно поэтому так часто негодую на то дурное, что происходит вокруг, негодую на то, что на околицах русских деревень свалки мусора, что леса вокруг деревень вырубаются, источники

загрязнены, души замузнены. Но зацветает весною черемуха, затем вишня и яблоня, и кусты терновника под моим деревенским окном, я слушаю сонаты Бетховена, читаю стихи Пушкина и Лермонтова, хожу по улицам моего Петрограда, еще не до конца истребленного негодьями, которым блеск золота ослепляет глаза, – и чувствую, знаю, что «мир сей» еще не мертв, и «князь мира сего» еще не владеет всем миром, как и Ирод, и Каиафа и Кесарь не владели им всем, и посею и в нем не все смоковницы засыхали.

Очевидно, Христос был *не от мира сего*, и поэтому сей мир не любил, а я хотя и негодую на народ и правительство, но мир сей люблю. Как мне от него отказаться и надо ли?

Хотя и низвергаются на нас бедствия, то падения, то болезни, то ошибки, то безденежье, то отсутствие вдохновения, то отсутствие таланта, то беспамятство, то забывчивость, пьянство и малодушие, даже предательство, давление сильных, лицемерие слабых, непонимание «нищих духом» – и я не скажу, что мне удалось преодолеть то и другое – нет, не я преодолевал, но этот мир, так постоянно осуждаемый, и часто мною самим, постоянно приходил мне на помощь, – и не только близкие, родные и друзья, но и дальние, часто почти незнакомые, и юные девы, и ветхие старцы, и даже кусты терновника под моим деревенским окном.

Вот почему, чувствуя и проницая инобытия в бытие, и преображение пустынной Реальности под влиянием культуры в духовную (возможно, не до конца) Действительность, я этот Мир не отрицаю, я не хочу отряхнуть его прах с обуви своей, но надеюсь на помощь Чуда и на Преображение мира к лучшему.

Отчасти христианство продолжает иудаизм, отчасти с ним спорит, иногда ему противоположно, ибо «крепка как смерть любовь» и «двое станут единой плотью» не совместимы с повелением «не прикасаться к женщине».

Но я и не иудей и не христианин. Я русский. Я русский писатель. Вот почему я не стою на коленях в своем споре – даже и с Вседержителем.

Меня огорчает, что мой Развод с христианством может смутить тех, кто в нем находит утешение. Но что же мне делать? Ведь и в марксизме многие находят утешение, а не мало и тех, кто и там и там одновременно (что лишний раз свидетельствует, что марксизм и христианство не до конца противоположны). Писатель не должен быть «толерантным» (и, кстати, более противного слова я не встречал). Как хирург режет скальпелем решительно, так и писатель и философ (вот почему хирургам не разрешается резать близких), и писатель не должен оглядываться на мнения тех, кто знает его близко (ибо и впрямь «нет пророка в отечестве своем»).

Но все же я прошу меня простить тех, кого огорчаю своими «нападками на христианство» – оно вырастает из образа согрешившей Евы, и вот почему «враги человеку домашние его» и «лучше не прикасаться к женщине». А я, сталкиваясь с пьющими мужчинами и несчастными женщинами, скорее готов побить камнями первых, а вторых безоговорочно простить за всё.

Не все в Евангелиях я принимаю, ибо я вырос не в пустыне, а в цветущем саду русской культуры, посею продолжу свой спор с христианством в объяснение расторжения брака

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Христианство и – Любовь, Истина, Красота и Добро

1. Какому богу поклонялся Гитлер?

20 ноября, 10-17. В семидесятые годы в журнале, кажется, «Человек и природа» начали появляться такие статьи о несостоявшемся архитекторе; а позже я читал изыскания о том, что и Сталин писал стихи и учился в семинарии, и прежние христианские верования вдруг пробудились в нем во время войны.

Честно говоря, мне неинтересно, поклонялся ли Гитлер Богу и какому, и какие стихи писал Сталин, так же как составляли ли гербарии серийные убийцы: многие составляют гербарии, но имеют ли они отношение к жажде стать людоедом?

Что я точно знаю, это то, что у большинства людей, и в России и в Европе, каша в голове, причем независимо от того, пишет ли этот человек научные статьи или пашет землю.

Что это за каша и как она влияет на горшок, в котором варится, и почему она вдруг в нем появляется, я давно пытаюсь понять, и никак не могу, и скорее всего так и останусь в неведении, а без этого я не смогу понять почти никакого человека.

Чтобы *понять*, мы пытаемся классифицировать, "раскладывать по полочкам", приклеивать ярлыки – правда, на одной полке оказываются люди разных достоинств.

Одни из нас учились в Учебных заведениях, получили какое-то образование и работают головой (то есть, "горшком"); другие плотники, землекопы, шахтеры, и первых мы относим к интеллигенции, вторых к простому народу. Вторые, мне часто кажется, разумнее первых, сметливее, практичнее, шире, но, увы, не читают моих книг, да и никаких книг не читают. Первые иногда в книги заглядывают, я с ними общаюсь, разговариваю, спорю, пытаюсь всунуть им и свою книгу и потом с дрожью спрашиваю: *Ну как?*

Да никак...

Итак, я имею дело с интеллигенцией, полуобразованной массой, с кашей в головах, но в которой блестят иногда и крупинки масла.

Их-то я и начну раскладывать по полкам.

Прежде всего надо бы разделить их на умных и глупых, к тому же встречаются среди них полные идиоты, а то и совсем ... Ну, я начинаю разделять... Нет, что-то не то. Неужели все только глупые, умных ни одного? Увы, как сетовал мой любимый апостол: «... как Иудеи, так и Еллины, *все под грехом*, как написано: нет праведного ни одного; нет понимающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного (Псал. 13, 1-3).»

Что же, если и во времена Павла не было ни одного *разумевающего*, то откуда им взяться сегодня? И потому естественно горестно возопить: Нет ни одного умного, почти все только долбо...

Впрочем, это, конечно, некоторое преувеличение, среди всех есть маленькая горстка понимающих, два-три-четыре... есть такой совсем малый кружок и в моем узком общении, которые и книги мои читают и переписываются со мною и почти носят меня на руках. А то бы я давно уже умер от тоски – но я не могу их причислить к читательской «массе», это мои друзья, *поклонницы* и *верные*, их всего-то не более СЕМИ. Я же общаюсь и спорю с десятками – есть ли среди них хоть один *разумевающий*?

Нет ни одного. Следовательно, надо эту «массу» делить по какому-то другому критерию.

Сами они иногда говорят, что одни из них верят в Бога (или во что-то высшее, не важно, мол, как это назвать), а другие НЕ верующие, атеисты; и при этом они утверждают, что Бог у всех один, главное, во что-нибудь верить. Вот многие и верят сразу в нескольких, и в Христа и в Сталина, а иные еще ухитряются вместе со Сталиным верить и в Троцкого. Одна милая девушка, тонкая и умная, с разумением и вкусом, ухитряется верить сразу и в здешний коммунизм и в нездешнее царствие Божие, но она, пожалуй, праведнее тех, которые мгновенно отказались от коммунизма, как только Политбюро объявило, что отныне они будут строить капитализм.

Но, все же, поскольку я исследую христианство, обращаться ли мне только к тем, которые утверждают, что они христиане; или и к тем, которые думают, что просто «верят в Бога», полагая, что Бог один на всех и не бывает нескольких Богов; или обращаться ко всем, кому интересны взаимоотношения культуры и религиозного мифа (в частности, христианского)?

Или даже обращаться к случайным прохожим: каждому приходится задумываться о том, есть ли правда на земле или ее нет даже свыше (как утверждал Сальери), зачем мы живем, что нас ждет, один ли общий бесславный конец или у каждого свой – и вот может оказаться так, что писатель или ученый пренебрежет моими записками, а «простой человек» из народа со вниманием их прочтет и о них задумается?

Иудеи верили в Бога, вероятно, все, ибо и Бог их избрал, и Закон заключалось для них в Ветхом Завете, и История их народа, история человечества и вся Священная история в целом в нем заключались, и культура тоже, ибо не было у них иной культуры кроме той, что была сосредоточена в Храме. Можно бы даже сказать, что это был народ религиозного мифа, народ, неотделимый от этого мифа, избранники Иеговы, все, независимо от их качеств, хорошие и плохие.

Зачем же тогда приходил Христос, призвать ли к еще пушней вере, очистить веру от лицемерия, исправить нравы, призвать к благочестию?

Как мы уже увидели, и всё сие входило частично в проповеди Христа; но чтобы они имели большую убедительность, подкреплены были эти проповеди исцелениями и чудесами. Однако пришел Христос с более важной миссией, он пришел спасти Свой народ, пришел завершить Миф о грехопадении Евы и повреждении человека и мира, исправив мир, для чего необходимо было принести в очистительную жертву самого себя, Сына Божия.

Необходимо было умереть и воскреснуть, «смертию смерть поправ», чтобы даровать человечеству жизнь вечную.

И многие уверяют в том, что Христос нас любит и мы *уже спасены*.

Но так ли это? Мы по-прежнему умираем, в тяготах и болезнях, хотя нам обещаны Второе пришествие и Страшный суд, после которых малый остаток верных и будет спасен, а остальные погибнут. Кто же?

«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.» (Иоанна, 15, 6)

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.» (Марка, 16, 16)

«...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.» (Иоанна, 14, 23)

«Они не от мира, как и Я не от мира.» (Иоанна, 17, 16)

2. Спасение мира или Конец света?

Нет, не пришел Христос исправить поврежденный мир. Для *этого* мира наступит «конец света», а все верные пребудут потом в другом.

«...приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят.

Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это – начало болезней.

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь; претерпевший же до конца спасется.

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Итак, когда увидите мерзость запустения, ..., стоящую на святом месте, ... тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. ...

... как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ...

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

... знайте, что близко, при дверях.

Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как всё сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. ...будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий.» (Матфея, 24, 3-44)

3. Точно ли это "Религия любви"?

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.

Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.» ...

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал...»

Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.» (Иоанна, 15)

Но «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня», (Мт., 10, 36)

«Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.

Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: **Я победил мир.**

[И] ...неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его.» (Иоанна, 19)

Это ли Религия любви? Нет – Разделения и Гражданской войны!!!

4. Добро и Зло. Вера и добрые дела. Добродетель.

Но и я не паточка и елей, и в моих книги чуть не на каждой странице осуждения, осуждаю я эгоистичных *богатых*, и радуюсь словам Христа, что «трудно богатому войти в Царство Небесное». Затем осуждаю *властвующих*, употребляющих власть для себя, а не для народа, как это ныне в России, хотя этих Христос не осудил. Осуждаю жестоких и не милосердных, лишенных милости и лишенных вкуса, несправедливых, завидующих...

Радуюсь словам Христа, что ждет их всех воздаяние за неправду их. Но многих грешников я прощаю, во-первых, за скорби их и лишения, а пуще всего не подниму и не брошу камень в оступницу. Даже из-за «негодной

яблоньки» я заплакал, пожалев ее, и поэтому спрашиваю себя, *милосердно* ли христианство? *Человечно* ли оно, *«гуманно»* ли (как в Новое время обычно мы спрашиваем в отношении новых учений)? И даже более того, является ли христианство учением о нравственности, о добре и зле?

"О tempora, о mores!" (О времена, о нравы!)" – воскликнул Цицерон в речи против Катилины, обличая римских сенаторов, за сто лет до Христа.

Но и Иоанн Креститель обличал фарисеев, и Христос обличал неправедных, говоря, что «при кончине века изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.»

«... всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника.

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.»

Но Вера в Бога и ожидание Царствия Божия в центре всего учения.

Эллины учили о *добродетели*, и во главу воспитания ставили требование быть хорошим гражданином и возвращать в себе добродетель.

Но к чему должно было стремиться правоверному иудею?

«...Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.»

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. ...»

«Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.»

5. Христианство и Истина

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

...И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.»

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.»

«если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

... Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.»

6. Воля Отца или Сына?

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.

Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.

Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.»

Но только ли на воскресение уповает верующий в Него, и живет ожиданием? Нет, живет он в мире во всей полноте, веруя в то, что «*Бог есть любовь*», и надеясь на милость и заступничество всемогущих сил, и повседневная вера есть: *Господи, помилуй, спаси меня и сохрани! Пресвятая мать Божия, помоги мне!*

Вот это и есть современное христианство, да еще святое Причастие и Покаяние в грехах. Но так же верую и я сам.

7. Так какую волею мы живем и действуем?

А какую волею жили мой отец и мать и мой крестьянский род, вспахавшие поле жизни и жнущие хлеб этого мира? Родившие меня и питавшие меня?

Воистину Слово Спасителя обращено только к тем, кто не от мира сего или кто из сего мира выходит и выйдет, чтобы в инобытии иметь другую жизнь. Кто поступает по слову Спасителя, не сможет преумножать здесь, в сем мире, то, что дано ему, и тот Труд, которым он кормит семью свою, и то Творчество, Науку и Культуру, которые орошают сей мир и преображают его.

Одни отдают имущество, отказываются от семьи и детей и от дома отчего и от отчизны своей и берут Крест и Иго Его, а другие строят и пашут, и вот мы видим, что с тех пор, как Он возвестил, что именно Он Путь и Истина, словно бы два несоединимых Бытия идут рядом, то словно бы проницая один другой, то враждуя, то разделяясь в себе и враждуя в себе, и вот уже двадцать веков верующие в Иисуса Христа ждут воскресения и жизни вечной.

А крестьяне? А воины? А поэты? А матери семейств? И Азь грешный, пытающийся понять жизнь в ее полноте, а не в сектантской узости, понять жизнь в ее единстве с Культурой, а не только через видения, осеняющие пророков в пустыне Галилейской?

Философ продолжает искать Истину, не удовлетворяясь только словами Христа, и поэт ищет и Красоту и Истину, – и плохо ли, что мы ныне живем в культуре как в возделанном саду, а не среди пустыни Галилейской?

Однако «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.» – не имеется ли в виду под соблазном надежда на преображение этого мира, попытка устроиться справедливо и достойно здесь и теперь?

Но не соблазнили ли нас от Священного Писания тысячи его толкователей, или не смеющие даже в запятой усомниться, или оставляющие от Инобытийного Мифа не более запятой?

И только я не ищу себе чести, но только понимания и свободы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СОЧУВСТВИЕ И БЛАГОДАТЬ

1. Но в чем же смысл и цель пришествия Христа и христианства?

21 ноября, 23-37. Христос – Спаситель. Он послан Отцем для спасения мира и человека Своею смертною жертвой. На страницах обеих книг Нового Завета разворачивается коллизия единства и противостояния Веры и Добрых дел, Веры и исполнения Закона, и с оговорками необходимо сказать: Христос пришел утвердить Веру, прежде всего Веру, иногда только Веру, а если и Любовь, то это совсем не та любовь, которая пронизывает нашу жизнь от первого крика младенца, когда мы рождаемся сами, до первого крика младенца, которого рождает наша возлюбленная.

Он утверждает любовь к Богу, и эта любовь только вместе с верой, она часть веры, основание веры и ее результат.

Но эта любовь человека к Божеству оправдана ответным движением с неба на землю, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», хотя эта любовь не безоговорочна, как любовь матери к своему ребенку, нет, только «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.»

Разве Любовь не сама в себе высшая и оправданная ценность, как любовь между родителями и детьми, как любовь между мужчиной и женщиной, и существуют не за вознаграждение? Нет, утверждается любовь, дополняющая веру, оправданная только верой.

Вера изначально, а любовь к ней относится, вера причина, а любовь следственна, вера не нуждается в оправдании, ибо из нее все исходит, а любовь оправдывается верой, но не наоборот.

Онтология цельного мира, в котором соединены и взаимопроницаемы сей мир и Инобытие, основана на Вере, это то особое состояние души и ума, в котором открывается истина – не в познании, не в постижении, не в опыте, а в Откровении... впрочем, все имеет исключения, и маловерному Фоме Господь открыл, вложил его персты в язвы свои, и противящемуся Савлу, гонителю христиан, открыл на дороге в Дамаск, и многим еще открывал не за заслуги, а по милости (как и мы, грешные, любим, заботимся, жертвуем во имя того или иного не за то, что ждем себе награды, а бескорыстно). Но требуем ли мы себе любви, как Бог? Угрожаем ли гневом за нелюбовь? Так, как любви и покорности может требовать грозная мачеха от своей падчерицы? Кто мы? Золушки у всемогущего Бога?

Христианство – это учение о вере, о ее всемогущности, о том, что источником жизни является ВЕРА, но не познание, не труд, не творчество, и даже не любовь. Но Вера – это не жажда и не влечение, не любознательность, не вдохновение – это трансцендентное состояние, из которого все исходит и которым все объясняется и понимается, но которое само не объяснимо внешним.

2. Добро и Зло

А как же добро и зло? Они то имеют отношение к человеку, к его делам и жизни, к его деятельности и к деятельности Бога?

Добро должно быть в мире и должно возрастать в нем. Но за счет чего?

Да и должно ли что-то делать ради добра? Является ли оно целью наших помыслов, чувств и дел?

Во-первых, *зло* получит воздаяние. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.» – но так много говорится в Новом Завете кроме Веры еще и о Возмездии, что если Ветхий Завет – обещание Спасения и награды (хотя бы только богоизбранному народу), то здесь не учение ли только о Конце Света и адских муках, о плаче и скрежете зубном, которое ждет нас всех кроме малой горстки?

Ибо «При кончине века сего пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их.»

Читал воспоминания Великого князя и был поражен, как жестоко поразило его детскую впечатлительность сие мрачное обещание будущих адских мук. Увы, те, кто жил в начале двадцатого столетия, так почти ничего другого и не получили кроме мук. Миллионы из привилегированных сословий погибли на глазах их близких, их мучили, расстреливали, топили большевики вместе с малыми детьми на мелководье Финского залива и Черного моря, в тюрьмах и казематах, в подвалах, «липких от крови»; миллионы крестьян погибли от голода и холода, когда у них отобрали хлеб и погнали как скот, миллионы всяких сословий в бесправных лагерях погибли от непосильной работы, голода и холода, в том числе многие и из вчерашних торжествующих, разрушавших «мир насилия», чтобы воздвигнуть неизмеримо более кровавый и жестокий мир более страшного и бесчеловечного насилия...

Вера, через которую немногие спасутся. Возмездие, которое будет при конце света и в котором неправедные будут обречены на мучения...

Ну а прежде того что нам делать? Вот говорит Достоевский, что «Дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей» – и я думаю, что хотя бы что-нибудь от меня зависит, хотя бы в моем собственном сердце я могу поддержать силы добра, и вместе мы победим – но и этого мне мало, толку мне от того, что из собственного сердца изгоню я дурное – а как же свалки на обочинах дорог и околицах деревень? Как же растлители, вору-чиновники, алчные богатеи, злые служители правопорядка, неправедные судьи, осуждающие невинных? Нет, никому не надо перечить, даже неправедной власти следует подчиняться. Только в своем собственном сердце мы вольны.

А в мире, в государстве, в учреждениях, в семье, в школе и на улице?

Увы, Христос говорит, что всё тщетно, наши собственные усилия ничего не значат, мы не изменим мир к лучшему, ибо он поврежден онтологически, и только после Страшного суда наступит нечто иное, приидет Царствие небесное – но будет ли там Россия, которую я люблю, наша великая литература (которой,

конечно, не было в пустыне иудейской), наша величественная и прекрасная Природа, наши обольстительные красавицы и милые сестры и жены, заботливые матери и любящие дочери? Или только *раскаившиеся блудницы* и *благочестивые разбойники*, ибо только к ним и пришел Христос, как и Сам сказал: «Я послан только к *погибшим* овцам дома Израилева)?

Нет, это учение не о том, что в мире, ибо князь мира сего – диавол, а только о Царствии небесном, которое не от мира сего, и об ожидании этого царства; это учение «о жизни будущего века», но не о жизни века сего.

Что дает это учение крестьянину, который озабочен своим крестьянским трудом, семьей, домочадцами, соседями, урожаем, отношениями с близкими, войной с Германией, успехами детей в школе, замужеством дочери, ремонтом забора и сарая, украшением дома внутри и снаружи? Что дает это учение крестьянину, который читает Аристотеля и Платона, ездит в город в театр, слушает музыку, страдает из-за несовершенства и несправедности власти, ходит с оппозицией на митинги, возит передачи в тюрьму племяннику, которого посадили за то, что он написал книгу о Добре и Зле и о необходимости жить в Труде и Творчестве? И что, наконец, дает это учение крестьянину, который надеется спасти Россию (когда Спаситель не смог спасти даже Израиль), которому не надо чужой земли за Кавказским хребтом, но который не хочет, чтобы его собственная Сибирь обезлюдела?

Самого себя мне тоже приходится исправлять. Я различаю смутные очертания истины или правды, и пока еще не разглядел как следует, но вижу тропинку, которая ведет ввысь, на ней даже есть указатель пути... и поднимаясь выше, различаю ее яснее... не то чтобы я меняю точку зрения на мир и истину, но вижу немного иначе, точнее.

Смысл жизни для поэта, художника, философа и крестьянина, пока они остаются сами собою, держат еще в руке лопату и перо, состоит в труде и творчестве. При этом надо возделывать в себе добродетель, стремиться к духовному совершенствованию, и стремиться к благу тех, кого мы любим, и к благу общества.

Надо, чтобы добро возрастало, надо совершать добрые дела, сказал я вчера, и от этих слов я не отказываюсь – но я редактирую и свои слова и себя самого, делая их более точными. *Надо делать Добро и преобразить мир, исправляя его к лучшему* – вот что хочу я теперь сказать своему читателю.

Надо починить забор, устроить погреб, написать письмо подруге, нуждающейся в утешении, найти еще дополнительную работу, так как государство отобрало у меня пенсию за то, что я издал Радзивилловскую летопись; надо привезти нуждающимся детям в деревне то одно, то другое, и я посильно привожу, а мне дают мои друзья и подруги добротные вещи, остающиеся от их детей и внуков – и это всё дела, я думаю, добрые, но если я буду себя уговаривать сделать доброе дело, то ничего хорошего я не сделаю. *Надо трудиться и заботиться*, а нужда в труде и в заботе сама как теленок тычет мне в бок, и оглядываться не надо.

Стараюсь ли я быть добрым, совершенствуюсь ли сам, как призываю других к совершенству, на этот вопрос я даже не сумею ответить. А вот честно ли я работаю, хорошо ли я делаю то и другое, например, редактирую

рукописи, которые мне дает Издатель, ремонтирую сарай, мою пол и посуду, копаю огород – на это ответить не составляет труда, ибо всякий труд я делаю хорошо. И когда хвалят другие, я горд. И когда вижу сам плоды труда своего, расплываюсь в блаженной улыбке. И вокруг меня такие же, как я сам.

Я как то написал стихотворение, начинающееся со слов: «*Спешите делать добро!*» – и от этих слов не отказываюсь. «Сочувствуйте тем, кому плохо!» – говорил я не единожды, и это тоже хорошо. Но все же в мои заботы входит прежде всего забота о России, Культуре, русском языке, забота о том, чтобы образование в России было высоким, чтобы человек рядом со мной (не я сам, так как мне кажется, что я уже не слишком плохой, с таким можно мириться) был честным, образованным, умным и свободным.

Проповедь добра плодов не дала, а Просвещение и Культура принесли плоды зримые, и люди Театра и Университета лучше того разбойника, которому обещан был рай. Если я умею учить и редактировать, то и буду это делать, стремясь к еще лучшему. Это и будет мое добро. Так же и у других.

3. Противление Злу. Соединение людей или разделение?

Но христианство и не является проповедью Добра, а проповедует необходимость Веры и любви к Богу, Спасение души и ожидание Царствия Божия.

Скорее, к делателям добра можно было бы приравнять исполняющих Закон, хотя и Ветхий Завет учит не о том, что именно надо делать, а предостерегает о том, чего НЕ надо делать: например, не надо убивать и прелюбодействовать. Правда, Ветхий Завет проповедует необходимость Любви к ближнему, это и можно бы счесть за проповедь добра и за нечто сходное с эллинским учением о добродетели и с «моральным кодексом строителей коммунизма».

Представление о том, что именно призывы к добру и к сопротивлению злу являются сердцевинной христианства, являются сущностью Толстовской морали. Но где вычитал Толстой «непротивление злу насилием»? Не в этих ли строках?

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

А Я говорю вам: **не противься злему**. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.»

Только ведь дело в том, что христианство проповедует, что *не только насилием не надо противиться Злу, но и никак не надо противиться.*

И апостол Павел разъяснял: «Ибо написано: Мне отмщение, Азъ воздам, говорит Господь. (Второзак. 32,35)»

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему *противящийся власти противится Божию установлению.*»

Если уж я снова вспомнил Толстого, то вспомним и о том, что сущностью искуства Толстой считал – *способствовать единению людей*, ибо якобы в призыве к добру и единению и заключено христианство.

Но призывы к *насаждению добра* и противлению злу, как и призывы к *единению*, можно с таким же успехом вычитать в Буддизме, если уж вычитываем мы их в христианстве. Не стремясь к труду и творчеству, не заботясь о завтрашнем дне, о том, чем питаться и во что одеваться, ожидая, что Господь нас пропитает и оденет, можно ли заботиться о других? Что за *насаждение добра* без исправления мира и без неустанного Труда?

Пока Симон был рыбаком, он заботился и о семье, и о своем пропитании, а когда Христос сделал его «ловцом человеков», и он стал Петром, и на камне сем (Петр – камень) Христос воздвиг церковь, то уже предполагалось, что церковь сия будет существовать за счет труда других, не столь праведных, чтобы сметь не трудиться. [Хотя, впрочем, я уже несправедлив: и учителя не пашут и не сеют, и поэты, и актеры, и редакторы, – а разве без них возможна полноценная жизнь? Хотя, впрочем, я и поэт, и учитель, и редактор, но работал я и сторожем, и грузчиком, и огород вскапывал, чтобы сеять и собирать урожай, и дрова рублю, и ягоды и грибы собираю для пропитания, а за стихи и книги никто не заплатил мне еще ни одной копейки – но я и не требовал. Стыдно мне было бы жить за счет чужого труда.]

Но вернемся к *единению*.

«...Я пришел *разделить* человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и [не] следует за Мною, тот не достоин Меня.»

Это ли единение?

Христианство разделило мир надвое, на христиан и иноверцев, и в каждом народе, в котором оно становилось религией власти, оно гнало иноверцев и всякое инакомыслие.

А затем оно само разделилось на множество сект и церквей, и в каждом народе, в котором оно было религией власти, большинство начало истреблять и гнать меньшинство несогласных, хотя бы те тоже были христианами, и даже жесточеннее, нежели иноверцев.

4. Что есть Истина и в чем смысл жизни?

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.»

Первое послание Св. Апостола Павла к коринфянам

В «Московском Телеграфе» еще в 1832 году Николай Полевой писал о проявлении в жизни природы и человека трех основных идей: Истины, Блага и Красоты, и о народах, носителях той или иной идеи. Что Европа и Россия 19-го столетия были уже глубоко нехристианскими (исключая, быть может, отдельных писателей и подвижников, живущих в монастыре или на столпе, как Серафим Саровский и Игнатий Брянчанинов), очевидно, ибо Истина, Благо и Красота определяли содержание европейской литературы и философии, как поиски и утверждение свободы определяли содержание общественной жизни.

Научные исследования и поиски истины были и в центре эллинской философии и общественной жизни. Но говорит ли о ней Новый Завет и что именно говорит?

На слова Пилата «Что есть Истина?» Иисус не ответил, хотя и сказал пред Распятием ученикам Своим: «Азь есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.»

Такой взгляд на истину не только неимоверно сужает ее, но по существу удаляет ее из круга идей, о которых ведет речь христианство. Вот почему почти на полторы тысячи лет, с победою христианства, науки и искусства почти прекратились. Что сможет сказать науке математик, ищущий в Библии доказательства теорем о конических сечениях, или астроном, исследующий с помощью Библии форму Земли и ее движение (естественно, что она покоится на трех китах и что «солнце всходит и заходит» вокруг нее)?

Но Новый Завет говорит словно бы о том же, что и Античный мир и Европа, но как то иначе, на другом языке и в другой логике:

«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.

И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.»

Если *Вера* – это трансцендентное состояние, в котором только и возможно чувствовать и видеть Бога Сына и Бога Отца, то *Благодать Божия* – словно бы Преображение, совершающееся с миром и с человеком, и блаженство и откровение вместе – без труда, творчества, культуры и революций.

Религиозный миф отличается и от науки и от философии и от литературы чем-то особенным – чем же? Он существует в иной духовно-логической плоскости, он словно бы Неевклидова геометрия (геометрия Гаусса и Лобачевского), в которой параллельные прямые пересекаются, отличие от Евклидовой.

5. Любовь к женщине

Самое высокое, что может испытать человек в сей жизни, это любовь к женщине – я разумею ту Любовь, которая показана нам в Ромео и Джульетте, Тристане и Изольде, Лоэнгрине, в лирической поэзии, но которая изображается преимущественно не словом даже, а музыкой.

Эта любовь, с той или иной силой исключительности, с той или иной полнотой благодати пронизывает европейскую литературу. Мы не можем через математику понять, что такое вера и любовь к Богу, но только по подобию, через собственный душевный опыт, то есть через опыт земной любви.

Но любовь трагична.

Выстраивая гармоничный мир, в котором соединены милосердие, сочувствие, забота о других, труд и творчество, красота и истина и *любовь как сочувствие, нежность, забота и сострадание*, я отстраняюсь пока от трагедии,

от любви-страсти, растворяющей человека и похищающей его из жизни. Но разве и не всякая любовь похищает человека из жизни?

Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?

С горечью сожалеет Лермонтов о том, что любил. Но позже он возвращает всем красавицам, на которых негодовал, сторицей:

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди своей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.
И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
*Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё бог!*

Но как чувство и состояние, которое называется Любовью к Богу, может превзойти страсть к женщине, из которой рождено и все человечество, и все познание, и вся Поэзия? Если «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.»? И у апостола Павла: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает». А почему же не пребывает Бог в мужчине и женщине, если они любят друг друга?

А потому, что христианский Бог не от мира сего, а от Инобытия, и он не пришел спасти Мир сей. А любовь к женщине от мира сего.

Любовь к женщине – это та драма, которая завязалась в Эдеме у Древа Познания Добра и Зла, и которую Христос не пришел развязать. Он сказал, что пришел спасти народ свой, но не спас его, да и Его народ Его отверг и распял. Он сказал, что пришел спасти верующих в него – не знаю, быть может, после Страшного Суда? А они ждали спасения при своей жизни.

Он обещал Спасение Миру, но все, что прекрасного мы видим в мире, пришло через Познание, Труд, Творчество, Красоту и любовь к женщине.

Мир же Он оставляет «Князю мира сего».

6. Действительность христианства

Поэзия говорит с нами на ином языке, нежели обыденность. Образ и метафора не только сжимают бесконечность в конечное, но и невыразимое делают выразимым. Отчасти, конечно, это возможно и в художественной литературе и в философии, но поэтический язык словно бы *иноговорение*.

И поскольку не все можно передать обыденной речью, то задача моя затруднительна; правда, если мне удастся только приоткрыть завесу, только надышать окошечко на морозном стекле, закрывающем то, что за ним, сквозь которое смутно проступит невидимое, то и этого будет достаточно.

Если меня спросит ребенок, испытавший уже любовь к матери, к родным,

к природе, что такое любовь к женщине и точно ли она существует, то сомнительно, что я смогу ему ответить на его вопрос. И когда меня спрашивают те, которые никогда не ощущали бытия Божия, что такое Бог, и точно ли Он где-то существует, то я отвечаю, что Он не является частью нашего мира и не существует в нем так, как небо и земля. Но существует Инобытие, до границы с которым мы можем достигать и почувствовать то, что не чувствуется в мире обыденном: так же как и при наступлении юности мы начинаем испытывать чувства, о существовании которых не подозревали в детстве, некоторым дано даже испытать «неземную» любовь (то есть хотя и земную, но в которой мы способны слышать и «музыку сфер», и голос «инобытия»), некоторые испытывают «духовную жажду» (о которой пишет Пушкин) и переживают то, что я называю (и не я один) Духовным рождением.

Все это не математические теоремы и они не доказываются, и словно бы и не могут доказываться, но каждый человек способен это пережить.

Рационально и здраво мыслящий человек спросит меня: А разве не достаточно всего того, что есть в сем мире, чтобы быть счастливым, образованным, возвышенным?

Но ведь когда меня спрашивают те, которые не ходят на концерты симфонической музыки, что разве не достаточно им того мира, в котором они живут (вот только что, в моей предыдущей книге, я рассказал, как Толстой доказывал, что потребность в этих сонатах и симфониях мнимая, от развращенности и пресыщенности, что без них не только можно, но и нужно обходиться), то разве я могу им объяснить и убедительно показать, что их жизнь, хотя бы она и была счастливой, ущербна?

Некоторые люди воображают, что сахар и соль вредны и начинают их ограничивать или даже исключать из пищи – и ничего, живы и преуспевают!

Так и музыка и Инобытие – это соль, без которой можно обойтись. Пища не так вкусна без них, но съедобна.

Можно обойтись без Северных сияний, не все люди и видели их, можно обойтись без Инобытия.

Религиозный Миф, в частности, христианство, это некий Образ «того» мира, который мы не знаем и не видим так, как видим предметы этого мира, но с которым соприкасаемся, который нисходит в наш мир как капли дождя от приближающейся тучи, которую мы еще не видим, как всполохи молний, вспыхивающие на горизонте, хотя мы еще не слышим грома.

Может ли человек жить так, словно бы Инобытия нет? Не соприкоснувшись с ним? Может ли человек прожить жизнь, не испытав великой любви?

Быть может...

Но нечто таинственное и непостижимо странное состоит в том, что общества и государства не в состоянии устроиться рационально и отделить от себя все это словно бы и несуществующее, все эти храмы, иконы, жития святых, подвижников, блаженных, чудеса... Быть может и отдельный человек не в состоянии прожить жизнь по законам только Евклидовой геометрии, нет, непременно вторгнется нечто, что вдруг вверх тормашками перевернет его правильно организованную жизнь.

Подвергая критике христианство, я не противопоставляю ему нудный атеистический бред, меня не вдохновляет видение хаоса атомов, которые, беспорядочно соединяясь, производят жизнь и историю.

Некоторые говорят, что и любви к женщине нет, есть только влечение, а любовь – это маска, которую мы надеваем на голую плоть, чтобы отвлекать внимание простодушных.

Я видел этих некоторых и им не завидовал, но и не сочувствовал, они переживали чувство пошлости жизни, ее убогости и грязи, они думали, что они герои, отважившиеся знать правду, но оказывались на мусорной куче, в которой роются бомжи.

Почти ничего доказать нельзя, но почти все, в чем человек отступает от истины, красоты и блага, он узнаёт хотя бы на склоне лет как погром: «правда жизни» оказывается цинизмом, погоня за богатством глупостью, сладострастие пошлостью, неверность предательством, свобода – одиночеством. Следовательно, почти ВСЁ доказуемо, народы и люди проживают жизнь, за которую они платят ПРИ жизни. Даже усатый тиран, владевший полумиром, на которого и ныне молятся подлецы и обманутые, или заблудившиеся в хаосе происшедшего российского слома, потерял все и закончил дни свои омерзительно: жену свою он или застрелил или довел до самоубийства, одного сына предал, отрекшись от него, другой спился, дочь скиталась по чужим землям и окончила жизнь в богадельне, всеми отвергнутая. А он, ненавидимый даже соратниками, такими же убийцами как он сам, умирал на грязном полу, не то от удущья, не то от отравы, и никто не решился подать ему даже стакан с водой.

Нет, не пришлось нам ждать Страшного суда, возмездие свершилось по законам сего мира, хотя и несовершенного.

Есть не только то, что подлинно есть, что можно увидеть и ощутить, но и то, чего нет. Есть огонь, который долго горит, но и искры, вспыхивающие на мгновение, о которых не ясно, точно ли они есть, все таки существуют.

Инобытие похоже на сон и мираж – но ведь никто не скажет, что снов нет, или что они не имеют никакого значения: некий малороссийский помещик увидел во сне, что родилась наконец та, которой суждено стать его женой, и действительно, проехав по окрестным имениям, он ее нашел, и через тринадцать лет они сочтались и вскоре у них родился сын, будущий великий русский писатель.

Инобытие похоже на рассказы путешественников в далекие страны – но разве кто-нибудь скажет, что все эти рассказы выдумка?

И еще похоже инобытие на тот Дух, который в нас живет и наполняет светом события нашей жизни, выстраивает их в Роман, сообщает движение и цель.

И, наконец, Инобытие – это то таинственное и непостижимое, откуда в нас мечты и грезы, музы и вдохновение, надежды и Откровение.

Действительно ли две тысячи лет назад происходило все то, что мы читаем в Новом Завете? Но действительно ли происходило все то, что мы читаем в «Войне и мире» или в Илиаде?

Иное происходит в мире; иное происходит вне мира; иное происходит в таинственном проницании двух миров. Даже то, что происходит на театральной сцене, разве не воистину происходит? У осеннего окна, на которое отбрасывал свет и тени уличный фонарь, мы стояли вдвоем и молчали, почти не дыша... Разве наше молчание было менее действительно, чем грохот грозы, от которой мы бежали через много лет по осенней дороге в лесу?

7. Спасение души

Иисус Христос хотя и подтвердил Заповеди Моисеевы («Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.») – но пришел Он не для этого, а для того, чтобы возвестить новое небо и новую землю.

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое... потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения... Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.»

Только примирил ли Христос мир с Богом, воистину ли преодолел порчу мира и тленное стало нетленным? Разве что-нибудь изменилось?

Как призывал Иоанн Креститель к покаянию, как апостол Павел обличал скверну мира *«Нет ни одного праведного, все во грехе!»*, так и сегодня святые и пророки обличают грехи мира и призывают к покаянию.

Следовательно, ничто не изменилось.

Однако, был возведен новый смысл бытия, состоящий в том, что цель христианской жизни – **спасение души**.

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет».

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.»

Но «Кто станет сберечь душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.»

«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.»

Но нет здесь противоречия, ибо спасение души заключается в том, чтобы отречься от мира и душу свою предать за Христа; предавая душу свою за Христа, мы и спасаем ее.

Но чем она спасается, верою или делами? Об этом спорил апостол Павел с Иоанном и Петром. Спасают не дела, а вера и Божье изволение, ибо не сами мы избираем себя ко спасению, а Господь избирает, ибо все мы в его воле, и без него ни погибнем, ни спасемся.

И надлежит верить и со смирением ждать милости Господней.

Итак, все величественно в храме книги сей, согласованном во всех частях, только нет свободы и воли человеческой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ТАК СПАСЕТ ЛИ МИР КРАСОТА?

1. Интродукция

23 ноября, 12-10. Христос – Спаситель, посланный Отцом для спасения мира и человека Своею смертною жертвой. Он пришел утвердить Веру, прежде всего Веру, иногда только Веру, а если и Любовь, то совсем не ту любовь, которая пронизывает нашу жизнь от первого крика, когда мы рождаемся в этот мир, до последнего вздоха, когда прощаемся с близкими.

Что есть или было *в действительности*, а что только Миф – этот вопрос мучает почти всякого человека, и маститого ученого, пытающегося поймать электрон на орбите, и пьяного слесаря, подозревающего жену в измене. Но я даже в Еве не до конца уверен, что я могу знать о женах слесарей? И с электроном не легче, оказывается, если мы определяем его скорость, то не можем знать положение, если же определяем положение, то не можем знать его скорость, казалось бы, исключительно матерьяльная частица, а пощупать ее не удается, чтобы убедиться в ее не призрачности.

Многое существует странно, не так, как кажется обывателю, который даже в Музее стремится всё ощупать руками, хотя там написано на каждой женской фигуре: *Руками не трогать!*

Многое существует не так, как существует, а так, как существует, не существует, а иное не существует ни так ни эдак.

Чудо или чудесное – явление, происходящее (если даже и происходит) только *исключительно*, его ни остановить, ни повторить, не скажешь девице, ложись на постель снова, сейчас мы проверим, точно ли тебя воскресили. Если даже гору можно заставить передвинуться, если веры будет с горчичное зерно, то *только верою определяется и существование того, что не от мира сего*. Вспомните, читатели Евангелий, даже ученики, даже Мария Магдалина смотрели на воскресшего Христа и не видели Его, видели, и не узнавали.

«А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.

И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.»

А что говорил Фома, один из апостолов?

«если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.»

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

Потом говорит Фома: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие.»

Но и после того, «...явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. ...Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.»

2. Достоверность Романа и Мифа

«Не верю!» – восклицал Станиславский актеру, не убедительно играющему образ или мизансцену. О, как важна *убедительность* в художественном произведении! Плохо или хорошо пишет автор, гладок или коряв его язык, расцветено ли изображение, часто не так существенно, как цельное впечатление. Культура является уже частью бытия и мира, невозможно сказать, что хотя Троя существовала и найдена, но Илиада вымышлена – нет, они неотделимы уже друг от друга.

Так и сражение при деревне Бородино и Лермонтовская поэма существуют вместе. Исследования историков уже менее достоверны, чем слова поэта. «Скажи-ка дядя, ведь *недаром* Москва, спаленная пожаром, французам отдана?!» – спрашивает поэт, и мы узнаём не после исследований историков, но после поэмы, что Москва отдана *недаром*!

Художественная правда не только убедительнее, не только справедливее, чем научная, но и истиннее! – да простят меня историки и ученые!

Но тогда как же мы ищем в исторических документах подтверждения того, что Иисус родился, учил и был распят подлинно? Да мы даже хуже Фомы маловерного!

Иногда мне кажется, что только я, уже разводящийся с христианством, его понимаю, не сомневаюсь в истинности повествования, в чудесах и знамениях. Хотя я не христианин и не иудей.

Существование многозначно. Твердый предмет можно взять даже в руки, но уже воду, текущую в ручье, хотя мы и можем набрать в ладони, но это уже будет не та вода, которая в нем текла только что.

Многое существует смутно, словно бы как *видение* – ибо как же тогда не узнавали Христа те, которые с ним вместе ходили и вкушали?

И я не всегда узнавал достоверность и оправданность того или иного, и уже заканчивая свое исследование (которое, конечно же, не является научным *исследованием*, а только прочтением заново), иное я только теперь начинаю понимать.

Возразив сатане, что «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», позже Иисус кормил народ, шедший за ним, чтобы Его слушать, то семью хлебами, то тремя рыбами, и мне сие казалось некоторой неоправданной суетой, снижающей художественную значительность Завета.

Но Он говорил Своим ученикам притчами, а они (даже ученики Его) не всегда понимали смысл Его слов. Он явился к ним после Воскресения, а они Его не узнавали. И воистину, как любящему учителю, чтобы растолковать Истину неразумным школьникам, приходилось ему говорить с ними

избыточно, и притчами, и чудесами. И надо было долго ходить в народе, просвещая и поучая его, но еще более привлекая внимание, чтобы из многих семян, бросаемых на бесплодную и каменистую народную почву, хотя бы некоторые семена взошли.

(А много ли взошло моих собственных семян? Всего трое читают мои книги, да и то одна, самая верная, сказала вдруг, что многое ей в моих книгах не нравится. А другая читает только отдельные страницы. А третья прочитала только оглавление, а дальше, говорит, ты сплошь повторяешься. И, наконец, товарищ мой, с которым неизменно выпито, вовсе моих книг не читает, потому что якобы и так меня знает достаточно.)

Но уверен ли я сам, что мои книги стоит читать? И так как пишу я поспешно, даже и не успеешь остановить, то книги мои никчемны, а сам я не что иное, как графоман – как думают многие?

Поэтому-то теперь я исправляю или комментирую только книги чужие, или совсем неизвестных авторов, чтобы они меня боялись, или слишком известных, чтобы злопыхатели боялись меня порицать.)

(Да еще и то следует сказать, что если мои семена не всходят, то это еще не до конца унижает меня – а разве Христа Его собственный народ принял?)

Когда пришел Он в Свое отечество, где родился, многие с изумлением говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры?» – и сомневались в Нем.

«Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем.»

И воскликнул, наконец, в отчаянии за Свой народ:

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

Се, оставляется вам дом ваш пуст.»)

3. Красота в христианском учении

Говорится ли в Новом Завете о красоте?

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них...» – следовательно, то, что они красивы, Учитель отметил. Но более ничего не говорится ни о Природе, ни о женской привлекательности (уж если сам Дьявол избрал женщину для погубления рода человеческого, то какую в ней красоту можно заметить?), ни об убранстве домов и жилищ.

И апостол Павел, посетивший многие страны, в Афинах отметил только то, что улицы их сплошь уставлены идолами.

Учение, родившееся в пустыне, где пищею проповедникам служили дикий мед и акриды, где являлись в видениях им бесы и демоны, а если и являлись красивые женщины, то только для искушения, как Блаженному Иерониму, не могло восхвалять красоту мира, который надо было возненавидеть:

«...если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; ...»

Спасению мешает всякая **привязанность** человека, во-первых, богатство, во-вторых, семья, братья и сестры, родители и дети. Но पुще всего мешают спасению брак и жена, почему и не надо было истинным христианам, то есть монахам и священникам, жениться и прикасаться к женщине.

Новый Завет не разделяет причины, препятствующие спасению, по родам и видам, но хотя и не причисляет привязанность к женщинам к наихудшим причинам, но последующая история христианства на них особо застревает. Если в древности Христос и Сам простил иных блудниц, и Мария Египетская, покаявшись, стала святой, то в мрачное Средневековье, когда вера заняла все ниши порабощенного мира, гонение на женщин стало излюбленной страстью христиан, и Красота была особо выделена как Соблазн.

Правда, борьба с соблазнами начинается с Христа и с апостола Павла.

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.»

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.»

4. Какова миссия Христа?

Всякий сложный эпический роман стремится вместить в себя всё Сущее, и иногда трудно бывает противопоставить в нем главное и второстепенное.

В чем смысл и цель христианства, для чего пришел Христос? Только в двуединстве Ветхого и Нового Заветов можно ответить на этот вопрос, несмотря на то, что во многом (может быть, и в самом существенном) эти Заветы противоположны, почему иудейский мир и не принял Христа.

Христианство соединяет Онтологию и Эсхатологию: как возник тот мир, в котором мы живем, и куда надлежит двигаться человеку и миру?

Мир, в котором мы живем, *надший*, он неисправимо поврежден грехопадением Евы. Христос принес спасение (Своею смертною жертвою), и мы все надеялись, что это спасение не только для человека, но и для мира, что будет удален из мира порок, результатом которого стали тление и смерть, и мир восстановится, как был задуман и сотворен Богом.

Но невозможно оказалось удалить все порочное из того мира, каким он стал. В целом и целомудренном мире Творец и тварь соединены пуповиною, их соединяют Любовь человека к Богу и Вера, что почти одно и то же, и соединение должно ограничиваться Любовью и Верой. Но в мир пришло Познание (науки и философия, «отсебятинное» размышление, а не по заветам Священного Писания), а с ним и понятие Истины, не совпадающее с узким образом *истины и пути*, заключенных в Боге-Сыне. Пришли Труд и Творчество, человек становился независим от своего Создателя, Бога-Отца. Пришло Искусство. Пришло понятие о нравственности, о Добре и Зле, понятие и представление о котором содержится в самой душе человека, которое на первый взгляд кажется осью христианства, но в котором не нуждается учение о Первородном грехе как о нарушении Запрета, учение о праведности как исполнении Закона и о Грехе как нарушении Закона.

Пришло понятие о Свободе, которая шире *свободы от греха* («Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»), и о самобытной человеческой воле, которая может и не совпадать с Волею Божества.

Человек – это личность, сам в себе целый мир, заключающий в себе ВСЁ, даже идею Инобытия и Бога – а НЕ тварь, во всем покорная Богу.

Но Евою в мир пришел и главный соблазн – сладострастия, наслаждения, восторга и обладания. Женская природа, соблазнившая Адама, не только сладострастно женская, но и чувственно прекрасная. Тяготение полов, связанное с наслаждением, являясь источником рода человеческого, соблазняет человека, помимо плотской чувственности, Красотою, которую невозможно отождествить с одною плотью. Красота – это враг, соблазн, искушение, источник греха и порока.

Лев Толстой, поздно пришедший к христианству, своеобразно претворил его в некую коммунистическую идею о *царстве добра и справедливости*, в котором люди соединятся словно бы в одну всеобщую Личность. Проповедуя свое понимание Добра (не буду повторять, ибо уже перестал и понимать), он исключает из него почти все кроме соединенности, а пуще всего красоту, и говорит: «Красота не только не совпадает с добром, но, скорее, противоположна ему, так как добро большей частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий.»

Так какое же *Спасение* принес с собою Христос? Спасение для избранных, для малой горстки верных, а еще точнее, только для тех, коих Он избирает Сам, по Своей воле, не считаясь даже с заслугами рабов божьих.

И эти спасенные будут в обители вместе с Христом. Будут ли там мужчины и женщины, плотская любовь, рождение детей, природа, творчество, театр... об этом смутно говорит Новый Завет.

Философия ко второй половине девятнадцатого столетия тоже перестала понимать христианство, и вместо того, чтобы мир возненавидеть и отторгнуть, попыталась его объяснить и понять (а Маркс даже предложил свой собственный путь спасения мира, который его уже почти совсем погубил).

Оправдывая красоту (возражая тем самым и христианству и Льву Толстому), Н. Я. Данилевский говорит: «Красота есть единственная духовная сторона материи – следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона, по которой она (материя) имеет цену и значение для духа, – единственное свойство, которому она отвечает, соответствует потребностям духа и которое в то же время совершенно безразлично для материи как материи. И наоборот, требование красоты есть единственная потребность духа, которую может удовлетворить только материя».

Так какова же миссия Христа?

Завершение ветхозаветного мифа.

Ева погубила мир безвозвратно, и его надо отвергнуть всецело, исправить в нем ничего нельзя. Более не надо прикасаться к женщине и не надо продолжать род человеческий, тем более что скоро наступит конец света.

Возвращение к Богу через любовь к Нему и отвержение своего Я.

(Да по существу и отвержение других, ибо в «любви к ближнему» нет любви, а в крайнем случае только сочувствие, но именно любовь соединяет, одного сочувствия мало, как мало и Долга).

Спасение избранных и верных через смертную жертву Бога Сына.

Обретение вечной жизни избранными чрез Воскресение Христа.

Понятие **СПАСЕНИЯ** включает в себя и *завершение мифа* и *возвращение к Богу* и *обретение вечной жизни*.

5. Адажио

Я не рассматривал отношение христианства ко многим установлениям и идеям европейского общества, ибо воистину нельзя объять необъятное.

Восемнадцатое столетие во Франции было эпохой ослабления власти христианства и освобождения Личности; завершилась же эта эпоха кровавой Великой французской революцией. С крахом ее христианство как будто бы вернулось (как вернулось оно и в Россию с крахом коммунизма), но сомнительно, чтобы оно вернуло себе власть над умами.

Но как оно эту власть обрело когда-то?

После Сократа, Платона и Аристотеля, после Пифагора, Евклида и Архимеда, после Гомера, Эсхила и Софокла, после осады Трои, расцвета Афин, империи Александра Македонского, после великого Рима и его культуры и цивилизации?

На этот вопрос я и не попытаюсь ответить.

Как не знаю и, видимо, никогда не смогу понять, как произошла большевистская революция в России, так что русский народ потерял империю и сократился вдвое, а самое главное, *опустил* все выдающиеся типы русского человека: аристократа, дворянина, священника, интеллигента, офицера, купца, крестьянина и мастерового.

Так что почти и не с кем стало говорить, и не для кого писать.

23 ноября, 23-11. Спал плохо, под утро только крепко заснул. Надо еще многое сделать, а силы словно бы у поднимающегося на высокую гору – иногда нечем дышать, слишком уж разрежен воздух.

...Но для чего я об этом сообщаю читателю, относятся ли тяготы моей жизни к содержанию книги? Или я уже уверен, что до сих пор дочитает только одна, и взываю к ее сочувствию? А она мне и действительно сочувствует, справляется о моем здоровье, печалится, когда мне плохо.

Но в действительности плохо не всё. По случаю воскресенья я устроил себе маленький концерт, слушал "Адажио" и "Романс" Альбиниони (1674 – 1754) – флейта, сопрано, тенор, слезы даже полились из глаз от счастья или печального восторга.

6. О пользе красоты и искусства

Тебе бы пользы всё! На вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
А. С. Пушкин

Всякое искусство совершенно бесполезно!
Оскар Уайльд

24 ноября, 14-11. Полезно ли искусство, полезна ли красота? Можно ли связывать красоту с пользой, надеяться отыскать одно в другом, или они совершенно независимы?

Спортивные состязания в Древней Греции привлекали множество и участников и зрителей и производили величественное впечатление, попросту говоря, они были красивы. И так как в то время победители награждались только лавровым венком, славой и симпатией зрителей, то состязавшиеся не жертвовали здоровьем ни при подготовке к соревнованиям, ни в самих состязаниях, а, напротив, способствовали возрастанию ловкости, силы и здоровья. Я не ошибусь, если предположу, что спорт в Элладе ценился И за красоту И за пользу, и, следовательно, красота приносила пользу.

Надеюсь, служат развитию силы и упрочению здоровья и гимнастические упражнения в школе и в университете, причем они же способствуют гармоническому развитию подростков, а, значит, неотделимы от красоты.

Полезна даже музыка, хотя, разумеется, композитор не пишет музыку, взвешивая ее на весах полезности и руководствуясь тем, полезна или нет та или иная мелодия. Но музыка приносит удовольствие, даже доставляет наслаждение – а разве наслаждение и удовольствие вредны?

Рассуждающие о пользе искусства разделились в основном на два лагеря: одни утверждают, что искусство и бесполезно и НЕ должно стремиться к пользе, искусство существует само для себя, т. е. «для искусства», другие же, напротив, требуют от искусства гражданского подвига, пытаются вручить ему в руки кирку и лопату и отправить копать огород или траншею.

В рамках этого спора и я рассуждал пятьдесят лет, со школьной скамьи, со статей Белинского, Аполлона Григорьева, Добролюбова и Писарева. Будучи отчасти крестьянином и отчасти поэтом, я и на огороде вел себя двулично, часть его жена засаживала цветами, а часть картошкой, а я ее в этом поощрял, соседи ходили пятнадцать лет и качали головами, а теперь и у остальных в деревне так же, но они думают, что так было всегда.

Теперь только я начинаю понимать, что и проблема – чистая схоластика, и сам спор тоже.

Многое человек делает для удовольствия, например, идет на прогулку утром по свежему воздуху или ходит в баню – а чего в бане больше, пользы или удовольствия, трудно сказать. В конце концов, нормальный человек часто и трудится почти так же, как ходит на прогулку: и для пользы и для удовольствия, особенно если это труд не подневольный, а как у крестьянина на своем поле или у учителя, редактора, художника, философа, поэта или пророка.

Даже зачем я вдруг начинаю сочинять стихотворение, я не смогу объяснить. Причина его или повод к нему разнообразны, словно бы во мне лежат семена каких-то поэтических отрывков и вдруг одно из них начинает набухать или проклеиваться, например, ночью.

Я не сплю, ворочаюсь, соединяю слова и строки то так, то эдак, стараюсь от них отвязаться... иногда это удастся, и я засыпаю, а утром мучаюсь, пытаясь вспомнить, что же мне чудилось; иногда отвязаться не удается, я даже записываю на клочке бумаги несколько строк и только после этого засыпаю. Ни пользы, ни удовольствия, ни себе ни людям.

Кому-то мои стихи *нравятся*, но я не могу сказать, что сочиняю их именно для этого. Быть может, жажда писать сродни обыденной жажде: я пью воду или чай, потому что *хочется*, и при этом не думаю ни о пользе, ни об удовольствии, хотя после утоления жажды или при ее утолении могу испытывать удовольствие, и получаю несомненную пользу, как и тогда, когда завтракаю и обедаю.

Для чего человек ест? Может быть, вы скажете, он ест ДЛЯ пользы? Нет, часто бывает, что человек под влиянием глупых убеждений начинает есть какую-нибудь гадость, например, сырую картошку (занимаясь сыроядением) или суп без соли (белой смерти) – удовольствия он не испытывает, а тогда, как показывает опыт и подтверждает физиология, и пользы ни на грош, а один только вред.

Умный человек говорит: ешь и пей, когда хочется и что хочется, но соблюдай меру. Ибо иначе и удовольствие может принести существенный вред: один бокал вина приносит и удовольствие и, возможно, даже мне пользу, с моим чувствительным сердцем. А второй, и тем паче третий, хотя я и предвкушаю и наслаждаюсь, вреден, потом я терплю наказание (потому что я умный только на бумаге, а не в поведении).

Итак, огород я вскапываю и засеваю и для пользы и для удовольствия, притом и картошкой и цветами (причем, если он не расцветет в мае нарциссами и тюльпанами, то даже и от картошки мне не будет пользы), а стихи пишу – черт его знает для чего, быть может, это увлечение, которое меня даже не спрашивает. Вот так же на улице я поворачиваю голову вслед красивой девушке и даже не успеваю подумать, для чего, для пользы или для удовольствия.

Так длинно я рассуждаю, чтобы показать некоторую бессодержательность или даже бессмысленность спора о красоте и искусстве – ДЛЯ чего они. Эти споры похожи на споры о бытии Божьем, они не приводят к оправданному выводу.

Мы думаем, что это только искусство и красота таковы, что они смущают и сбивают нас с толку своей бесстыдно выставляемой напоказ никчемностью – но ведь таково ВСЁ!!! Для чего существует религия и религиозный миф и церковь, для наслаждения или для пользы? Для чего существует Театр?

Кошунственно и пошло сказать, что я принимаю бытие Божие, потому что Бог мне (нам) полезен. А я даже не могу сказать, полезен ли мне Бог или театр, хотя о Боге рассуждаю более полувека и остановиться не могу, и в театр и на концерты хожу и даже читаю книги.

А для чего я их пишу? Пользы мне от них нет, большинство уверено, что и им пользы от них нет, и восемь лет я писал Учебник математики, который приковал меня к себе цепью, и терпел только муки!

А для чего мы живем? Жизнь приносит Пользу или Удовольствие? Для чего влюбляемся и женимся? Полезен ли сам человек и кому? Вот я себе полезен или нет? **И полезна ли Любовь?** Она может быть и полезной и вредной, приносит удовольствие и муку, но если кто будет влюбляться и любить потому, что это полезно, или будет любить с целью получать от любви пользу или приносить своей любовью пользу кому-то, то он рассуждает и чувствует пошло. Заботясь о ком-то, мы можем приносить нашей заботой ему пользу (хотя, быть может, еще важнее **утешение**), забота же проистекает не только из любви, но и из Долга. Но это уже новая проблема, обязанность и долг человека перед семьей, родиной, культурой; долг же не выводим ни из Любви, ни из пользы.

И с чего это вдруг возник в девятнадцатом столетии этот пошлый спор о пользе искусства и красоты? Не в противопоставлении ли Труду? Почему же ни разу не заговорили о том, полезно ли монашество, полезна ли церковь, всякая ли наука полезна (а бóльшая ее часть непосредственной пользы не приносит хозяйственной жизни)?

Искусство не существует само по себе, как абсолютно автономная область жизни и творчества, оно неотделимая часть культуры в целом. Несомненно, что «Таблица Менделеева» принесла много пользы химии, а химия – промышленности, а та рабочим и владельцам, да и всем остальным, но может ли существовать и развиваться наука сама по себе, без существования целого слоя образованных людей, которые для своего существования и развития нуждаются в искусстве даже более, чем в литературе, философии и науке?

Если поэт пишет хорошие стихи, то не потому, что исповедует некий предвзятый взгляд на пользу или бесполезность искусства; вопрос о его полезности надо бы сформулировать иначе: искусство необходимо во все времена только меньшей части народа, не следует ли его законодательно запретить, как, например, запрещено вино у арабов?

Христианство возникло в пустыне и не нуждалось в искусстве; если в нем заключена вся истина, если оно **ДОСТАТОЧНО** для полноценной жизни хотя бы и христианина, то нужно ли искусство?

Мировоззрение, объясняющее бытие и поведение человека и историю народа соображениями Пользы, пользой как причинностью и пользой как целью, называется Утилитаризмом. К нему нужно относиться так же, как к всякому мировоззрению: следует понимать, что оно стремится к всеобщности, стремится обнять собою все бытие, завладевая сознанием человека или, быть может, еще важнее – характером, становится манией и неопровержимо.

Всякое мировоззрение тотально и ведет себя словно черная дыра: всё поглощает, но ничего не выпускает наружу. Таковы и марксизм и христианство. Таков утилитаризм.

Только принадлежность к культуре, жизнь, наполняемая и осмысляемая культурой, делают и оставляют человека свободным.

7. Так спасет ли Красота мир?

26 ноября, 17-35. Прочитал статью Владимира Соловьева (1853 – 1900) «Красота в природе», 1889. Начал он тоже с выяснения отношения красоты и пользы, многое мне показалось близким собственным мыслям, и так она мне понравилась, что захотелось ее поместить чуть ли не целиком, к тому же, показалось мне, она прямо отвечает Толстому: тот свои Заметки об искусстве тоже написал в 1889-м году, быть может, Соловьев их прочитал и решил отчасти и им возразить, во всяком случае начинает он знаменательно:

«Странно кажется возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реально-безобразным. Но если не смущаться грубыми, а иногда и совсем нелепыми выражениями новейшего эстетического реализма (и утилитаризма), а вникнуть в существенный смысл его требований, то в них именно и окажется безотчетное и противоречивое, но тем более дорогое признание за красотой мирового значения: ее кажущиеся гонители усвоят ей как раз эту самую задачу *спасать мир*. Чистое искусство, или искусство для искусства, отвергается, как праздная забава; идеальная красота презирается, как произвольная и пустая прикраса действительности. Значит, требуется, чтобы настоящее художество было важным делом, значит, признается за истинною красотой способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир. Освободивши требования новых эстетиков (реалистов и утилитаристов) от логических противоречий, в которые они обыкновенно запутываются, и сводя эти требования к одному, мы получим такую формулу: эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности. Требование вполне справедливое; и, вообще говоря, от него никогда не отказывалось и идеальное искусство, его признавали и старые эстетики. Так, например, древняя трагедия, по объяснению Аристотеля (в его "Поэтике"), должна была производить действительное улучшение души человеческой чрез ее очищение (Катарсис). Подобное же реально-нравственное действие приписывает Платон (в "Республике") некоторым родам музыки и лирики, укрепляющим мужественный дух.» [Кстати сказать, требования Платона к искусству по большей части были совершенно сродни Толстовским, то есть утилитарно-нравственными.]

«Частное бытие идеально или достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, и точно так же общее идеально или достойно в той мере, в какой оно дает в себе место частному. Отсюда легко вывести следующее формальное определение Идеи или достойного вида бытия. Она есть полная свобода составных частей в совершенном единстве целого.

...в процессе своего осуществления всемирная Идея в самой общности своей представляется необходимо с трех сторон. В ней различаются:

- 1) свобода или автономия бытия, 2) полнота содержания или смысла и
- 3) совершенство выражения или формы.

Без этих трех условий нет достойного или идеального бытия. Рассматриваемая преимущественно со стороны своей внутренней безусловности, как

абсолютно желанное или избираемое, *идея* есть добро; со стороны полноты обнимаемых ею частных определений, как мыслимое содержание для ума, *идея* есть истина; наконец, со стороны совершенства или законченности своего воплощения, как реально ощутимая в чувственном бытии, *идея* есть красота.»

«Таким образом в *красоте*, как в одной из определенных фаз *триединой идеи*, необходимо различать общую идеальную сущность и специально-эстетическую форму. Только эта последняя отличает красоту от добра и истины, тогда как идеальная сущность у них одна и та же – достойное бытие или положительное всеединство, простор частного бытия в единстве всеобщего. Этого мы желаем как высшего блага, это мыслим как истину и это же ощущаем как красоту; но для того, чтобы мы могли ощущать идею, нужно, чтобы она была воплощена в материальной действительности. Законченностью этого воплощения и определяется красота как такая в своем специфическом признаке.»

Далее Соловьев определяет сущность красоты, начиная с мира неорганического.

«...красота алмаза всецело зависит от просветления его вещества, задерживающего в себе и расчлняющего (развивающего) световые лучи, мы должны определить красоту как преображение материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала.»

Переходя к миру органическому и не отвергая взгляды примитивных материалистов, видящих в идеальном только субъективное преломление материального, Соловьев показывает, что даже если источник прекрасного находится в физиологии, в частности, в половом инстинкте, саму красоту к нему свести невозможно.

«У многих видов птиц сложные украшения самцов не только не могут иметь никакого утилитарного значения, но прямо вредны, ибо развиваются в ущерб их удобоподвижности – мешают им летать или бегать, выдают их головою преследующему врагу; но, очевидно, для них красота дороже самой жизни. [Ах, модницы, можете ли вы похвастаться тем, что для вас красота дороже жизни?!]

Чисто созерцательная восприимчивость некоторых птиц к красоте цветов доказывается тем, что они обращают внимание и любят яркие цветы не на себе подобных только, а где бы их ни встретили, напр., на дамских платьях или шляпах. Старательное украшение гнезд некоторыми птицами, например колибри, которые отделяют их с самым тонким вкусом, также несомненно доказывает у птиц присутствие объективно-эстетического чувства. Иногда это чувство даже заставляет их впадать в предосудительные крайности. Так, самка южноафриканского вида *Chera pragne* покидает самца, если он случайно потерял длинные хвостовые перья, которыми он украшается в эпоху спаривания. Подобное же легкомыслие наблюдал д-р Иегер в Вене у серебряных фазанов.

...Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение; большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого

сознания, что в самой природе нет красоты, так же как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы – животным всевозможных типов и классов, нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддержание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных (в утилитарном смысле) особенностей ложится в основу их видового существования. Мы уже никак не можем сказать, что крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы только по нашей субъективной оценке, ибо точно так же ценят их красоту самки бабочки и павлины. Но в таком случае необходимо идти дальше. Ибо, допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости. Разумеется, если в данном частном случае вовсе нет никакого чувствующего субъекта, то нет и ощущения красоты; но дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах. Если же вообще красота в природе объективна, то она должна иметь и некоторое общее онтологическое основание, должна *быть* – на разных ступенях и в разных видах – чувственным *воплощением* одной абсолютно объективной всеединой идеи.

Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировую душу или природу, которая все более и более поддается мысленным внушениям жидкительного начала, творит в ней и чрез нее сложное и великолепное тело нашей вселенной. Творение это есть процесс, имеющий две тесно между собою связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение реальной идеи, т.е. света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная же цель есть создание человека, т.е. той формы, которая вместе с наибольшею телесною красотою представляет и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроить и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте.»

19-08. Афоризм о «Красоте, спасающей мир», хотя и имел источником некоторые тексты в романе Достоевского «Идиот», но приобрел всемирное гражданство через Владимира Соловьева.

Идея *спасения избранного народа* Мессией, которого пошлет Бог, сообщается в иудаизме, но становится центральной идеей, сущностью учения о *спасении мира* (и человека – или человека?) в христианстве. Спасение мира красотою – что это? – расширение христианства, возражение ему или незаконное присвоение посторонних понятий для оправдания самого христианства?

Возможно, я не слишком резко и определенно провел ранее мысль, что **спасение** в христианстве – человека или мира – принципиально отличается от, например, выздоровления болящего, ремонта обветшавшего здания, исправления научной теории, вызволения попавшей в окружение армии, спасения гибнущего государства, побега из тюрьмы узника – в этих случаях нечто разрушающееся или гибнущее удерживается от гибели, возвращаясь к самому себе, каким оно было до. *Спасение* же в христианстве – *человека или мира* – это их окончательная гибель, смерть, уничтожение в старом бытии и обретение «нового неба и новой земли, всего нового».

«Кто станет сберечь душу свою, тот погубит ее; а кто [и только] погубит ее, тот оживит ее.»

Более того, богословие никак не хочет внятно ответить на вопрос: *что такое спасенный мир?* Ведь Христос обещает наступление конца света и Страшный суд – так что же христианский богослов понимает под *спасением мира* и под *спасенным миром?* Определенно одно – и христиане должны отдать в этом отчет – Христос не обещал наш мир, в котором мы живем, исправить, излечить, просветлить, Он его оставляет Князю мира сего.

В Евангелии от Марка Он говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.» В Евангелии от Иоанна дополняет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.» – и можно было бы подумать, что и человек (по крайней мере, верующий – и только верующий) будет спасен, и МИР.

НО – «и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. ... так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.

В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.

... Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой останется; две будут молоты вместе: одна возьмется, а другая останется; двое будут на поле: один возьмется, а другой останется.»

Итак, Страшный суд отложен до Второго пришествия, но будет и Конец света, и Суд. В чем же состоит обещанное *спасение мира?*

Вот эти сомнения в том, что мир УЖЕ спасен распятием Христа, и проходят в разговорах о спасении мира красотою в романе Идиот.

Сначала об этом говорит 18-летний юноша Ипполит Терентьев, ссылаясь на переданные ему Николаем Иволгиным слова князя Мышкина: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет «красота»? Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен.

Господа, князь влюблен; давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал... Вы ревностный христианин? Коля говорит, что вы сами себя называете христианином.

Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему».

Вот что именно важнее всего: Князь называет себя христианином, то есть должен верить и не сомневаться, что *спасение мира уже совершено* (хотя по свидетельству Евангелий в этом возникают сомнения), а он, якобы, говорит о том, что мир еще надо спасать, и что спасет его красота.

В другой раз об этом заговорила Аглая Епанчина, притом с осуждением.

«Слушайте, раз навсегда, – не вытерпела наконец Аглая, – если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что «мир спасет красота», то... я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... предупреждаю вас заранее: не кажитесь мне потом на глаза!»

Христианский писатель от своего имени такое утверждение сделать не мог, даже по цензурным соображениям, герои же романа осуждать это, конечно, могли, но, как мы видим, воспринимали сию идею отрицательно.

Спас или НЕ спас Христос мир и человека, определяется не богословием, не художественностью, даже не философией, и уж тем более не церковной цензурой, не покровительством государства церкви, не, вследствие этого, общественно-государственным официальным мировоззрением (с которым частное может существенно не совпадать, явно, как у марксистов, или тайно, как, предполагаю, у многих писателей, не отваживающихся вступать в конфликт с официальным христианством). Решает это каждый конкретный человек, верно или не верно, по своей, лично ему принадлежащей вере, притом иудей определенно отвергает Христа как Спасителя, а, следовательно, отвергает и факт спасения мира. Игнорировать же мнение иудеев современный философствующий писатель совершенно не вправе: авторами большей части современной литературы являются как раз евреи, а так ли они относятся к спасению мира, как Достоевский и Лосский, сказать точно я не могу.

А далее снова обратимся к Владимиру Соловьеву.

8. Смысл красоты

Прежде чем рассуждать о том, спасет ли красота мир, необходимо выяснить, что она такое, есть ли у нее объективные основания, или она именно «кому что нравится», как полагает Лев Толстой.

Соловьев пишет: «В то время как многие прямолинейные умы старались свести к утилитарным основам человеческую эстетику в интересах позитивно-научного мировоззрения, величайший в нашем веке представитель этого самого мировоззрения показал независимость эстетического мотива от утилитарных целей даже в животном царстве и чрез это впервые положительно обосновал истинно идеальную эстетику. Этой неотъемлемой заслугой достаточно было бы, чтобы обессмертить имя Дарвина, если бы он даже не был автором теории происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование, – теории, точно определившей и подробно проследившей один из важнейших материальных факторов мирового процесса.»

Рассмотрев красоту в неорганическом и живом мире, Соловьев приходит к выводу, что красота является результатом сознательного действия *Мировой одухотворенной воли* в противоборстве Хаосу. Она «отсутствует везде, где

материальные стихии мира являются более или менее обнаженными, будь то в мире неорганическом, как грубое, бесформенное вещество, будь то в мире живых организмов, как неистовый жизненный инстинкт», причем «там, где свет и жизнь уже овладели материей, где всемирный смысл уже стал раскрывать свою внутреннюю полноту, там несдержанное проявление хаотического начала, снова разбивающего или подавляющего идеальную форму, естественно, должно производить резкое впечатление безобразия.»

«Красота или воплощенная идея есть лучшая половина нашего реального мира, именно та его половина, которая не только существует, но и заслуживает существования.»

«...для философии красоты животное царство содержит особенно много любопытных и поучительных данных... Многие из них интересны и важны для нас потому, что доказывают объективную реальность красоты в природе независимо от субъективных человеческих вкусов.»

Однако, и в растительном и в животном царстве «красота еще не есть достигнутая цель, органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также, и главным образом, как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока наконец эти проявления не уравниваются и не входят в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшей видимою формой в прекрасном женском теле.»

9. Так спасет ли Красота мир?

27 ноября, 12-47. Читаю статью Владимира Соловьева «Смысл любви» и понимаю, что разговор о спасении мира еще не закончен – в философском и мирском смысле этого слова: не только ведь христиане озабочены спасением души и мира, происхождением мира и смыслом нашего существования, но и философы, буддисты, крестьяне, пасечники, ученые, писатели, поэты; даже невинные девушки, еще не целовавшиеся ни разу, думают иногда о самых неожиданных вещах, не такие уж они «нищие духом»

Но разговор этот надо уже вести в рамках всеобщего разговора мыслящих людей, не привязываясь к христианству, не споря с ним и его не поясняя.

Хорошо, что есть куда пойти сокрушенному человеку, и я его не буду смущать. Но столько уже ругая социализм за жестокость и требуя покаяния в убийстве Флоренского, Вавилова, Клюева... и еще неисчислимо, жду я покаяния и от христианской церкви в убийстве Жанны, Джордано, Гипатии, Аввакума... «имена же их ты, Господи, веси». Спорить же с Мифом о *Спасении души* я более не буду.

Но некое краткое резюме в завершение моих объяснений с христианством я должен представить.

Итак, особенно в свете посланий апостола Павла, но и в соответствии с буквой и духом всех текстов Нового завета, явление Христа в мир было исполнением ветхозаветных пророчеств, ибо Ветхий Завет заканчивается обещанием прихода Мессии – Спасителя, который спасет еврейский народ.

Иисус Христос и пришел как Мессия во исполнение обещания, пришел как Сын Божий, исполняющий волю Бога-Отца. Текст Мифа не прямолинейно логичен, потому что Ученики, которых ИЗБРАЛ себе Иисус Христос (не они Его избрали учителем, а Он их учениками, и неважно, по заслугам или нет) [вместо Иуды был избран затем апостол Павел, вовсе не имеющий заслуг, даже гонитель христиан], не всегда понимают слова Учителя, он их объясняет им притчами, как детям, затем в беседах разъясняет смысл притч. И Евангелия поэтому в частности не совсем повторяют друг друга, но это не вносит существенных противоречий в Учение.

Итак, Иисус из Назарета – Сын Божий, воплотившийся в человека от Духа Святого и Марии-девы, непорочной матери Божией. Это обстоятельство связано с онтологией Учения, ибо мир поврежден *грехопадением Евы* и Адама (их плотской любовью и рождением детей) и должен быть исправлен 1. непорочным рождением Спасителя, 2. отказом самых верных учеников от плотской любви и 3. крестной жертвой Иисуса Христа.

Что для этой жертвы Он и пришел, Христос знает, от нее не уклоняется, хотя ее и страшится, ибо Он не только Сын Божий, но и человек. Но в протяжении Его жизнеописания и разговоров с учениками и иными складывается впечатление, что Он не всегда Сам в этом уверен и говорит о сем уклончиво, чаще не утвердительно, а намеками. (Богословы могут меня поправить, но для понимания сущности пришествия и это не слишком важно, хотя по человечески Иисус Христос колеблющийся, нам, людям мира, ближе и понятнее. Но в то же время толпа, ищущая **поклонения силе**, прямо таки требует от Спасителя, чтобы Он явил себя как силу и сошел с Креста). Вот это его колеблющееся неуверенное поведение, его временами кротость и слабость – вероятно, они даже необходимы для полноты учения – создают в некоторых умах представление о Спасителе не как о «власть имеющем», а как о словно бы Блаженном, кротком и всепрощающем (хотя никогда не перестает Он говорить, что придет ещё, и тогда не раскаявшихся ждет «плач и скрежет зубовный» и «геенна огненная» – о, как спешила христианская церковь ввергать в эту геенну людей, объявляемых врагами церкви, не дожидаясь Второго пришествия Христа!)

При Втором пришествии будет конец Света и Страшный Суд, сей мир закончится, верующие во Христа будут спасены, неверующих ждет «плач и скрежет зубовный» – и воистину, ***Христианство есть учение о Спасении верных, во-первых; о Вере как о причине Спасения, во-вторых; и о конце времен и Страшном Суде, в третьих (если пренебречь лютеранской идеей о Предопределении и о том, что кому спастись, уже назначено).***

Спасен ли уже сей мир или будет спасен при Втором Пришествии?

Поелику я наследник еллинской культуры и римской цивилизации, древних славян и языческих богов, русских крестьян, религией которых была некая причудливая смесь из текстов Священного Писания, легенд и преданий и языческих верований, так что и теперь подлинно русский человек толком не знает Библию а верит бог его знает как и бог его знает во что, но скорее в Пашню и Семью во-первых, а в Россию во-вторых, то и я, как русский крестьянин, пока

живу в этом мире, надежды возлагаю на пробужденного духовно человека, а не на обещания, данные древним евреям, во исполнение которых прежде всего и пришел Христос. Хотя христианский миф и пророс в европейской культуре, но все таки я больше уповаю на европейскую и русскую культуру, на искусство, философию и науку. Более того, я надеюсь, что у таких, как я, есть и наш собственный русский Бог – Россия и Культура, как бы не осуждали меня за это те христиане, которые свое христианство выдают за русский мессианизм и народность. Но так как я не из византийских выходцев и посему не священник и не богослов, то и суду подлежу, если есть за что, не богословам, а крестьянам.

Конечно, меня может осудить и государство, часто исполняющее волю «Князя мира сего», как дважды уже и было, а то и лишит средств существования, как это делается ныне, но есть у меня некая смутная надежда, что не все в полной и безусловной их воле, что я для чего-то нужен Русскому народу и Русской культуре, и они меня защитят. [Хотя русский человек и двойствен, он и народен и всемирнен одновременно, и во имя ложной всемирности он еще пуще чем Иерусалим избивает своих пророков!]

Итак, в сем мире мы как грешили, так и грешим. Человек не стал ни хуже ни лучше того, который был две тысячи лет назад. Люди умирают так же, и никто не воскресает. Но *душу свою* иные *спасают* – но не те, которые только этим и занимаются, а которые часто губят душу свою для человека и мира (как это говорится о спасении души и в проповедях Христа).

Вообще, будет ли *мир спасаться* при втором пришествии Христа, я сомневаюсь. Следовательно, Его пришествие завершает Ветхозаветный Миф односторонне – трансцендентное падение человека, вероятно, будет преодолено, вместо непреодолимой смерти возможно Воскресение – для кого, не буду теперь рассуждать. Но эти воскресшие воссядут одесную и ошуюю Христа в небесной обители, зачем им этот падший поврежденный мир?

И теперь мы подошли к сердцевине Мифа о *Спасении мира Красотой* – вместо Иисуса Христа. Христианства в этом мифе ни на йоту. Но идея Спасения – идея более древняя, чем и христианство и иудаизм.

Возможно ли *спасение мира Красотой?* – для верующих это еретическая и богохульная идея. Путаный Лев Толстой лучше понимал христианство (когда говорил, что красоте там места нет, что Красота противоположна Добру и мать соблазнов, а, следовательно и пороков), чем христианский писатель (думающий или объявляющий себя христианским) Достоевский.

Ибо и вообще и русская и европейская литература, как и ученость, сами по себе, а христианство само по себе.

И, наконец, самое главное: философский взгляд на мир давно уже существует совершенно самостоятельно, Философия независима от религиозного Мифа. Что такое Красота, Добро и Истина (то есть эстетическое, этическое и логическое) – это предмет прежде всего философии. В рамках философии и надо ставить эту проблему:

Что такое красота и спасет ли она мир?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ КРАСОТА и ЛЮБОВЬ

1. *Оправдание свободы*

23 ноября, 12-39. Критика христианства в Новое время имела целью показать его несовместимость с естественно-научным мировоззрением, она отрицала сверхъестественный мир, бытие Божие и Иисуса Христа, отрицала Чудо (то есть возможность явлений, нарушающих законы естественного мира), тем более Воскресение, существование и вечность души, ее неполную зависимость от тела, «жизнь будущего века», «сотворение мира Богом», отрицала историческую реальность событий, описанных в Евангелиях.

Правда, ныне и я «не голосую за христианские партии», более того, и в поезд, который нас везет в будущее, я покупаю билет в другие вагоны, нежели поклонники мифов.

Во-первых, я покупаю билет в «общий» вагон.

Там могут сидеть коммунисты и социалисты (не запятнанные убийствами и не проповедующие убийств по сословным и идеологическим причинам); такого же рода христиане, не требующие казнить несогласных с ними, не сжигающие критических книг и даже исповедующие братское отношение к инакомыслящим, быть может, спорящие с ними, но не бросающие в них камнями или *горящие уголья*, и такого же рода противники их; народники и антинародники; евреи и антисемиты (кроме «упертых»), верующие и атеисты; материалисты и идеалисты; даже революционеры (кроме метателей бомб) и соглашатели... Я хотел бы, чтобы в этом *общем вагоне* сидели не фанатики той или иной идеи, не «убежденные», не проповедники, не профессиональные богословы и не партийные функционеры (каких угодно партий), а крестьяне, поэты, философы, ученые, домохозяйки, в меру пьющие, в меру не пьющие, не «книжники и фарисеи», но и не совсем «нищие духом», хотя бы читавшие Анну Каренину Льва Толстого, в том числе дети и подростки, и даже, может быть, Настасья Филипповна и Манон Леско...

В вагонах, в которых едут «идущие строем», я ехать не хочу.

Не хочу ехать с нацистами и большевиками, с нетерпимыми и с приторно "толерантными" (голубыми или бледно-розовыми), с чиновниками, ментами, ворами, наркоманами, судьями, конвоирами, вымогателями, разбойниками...

Я не всё оспариваю, о чем говорится в Новом Завете, но некоторые «да и нет» требуют уточнения.

В естественном мире по большей части почти каждое явление или событие возможно проверить, хотя – не всегда. Был ли убит царевич Дмитрий по наущению Бориса Годунова или погиб по роковой случайности, или, напротив, чудесно спасся, и он-то и есть Самозванец – скорее всего мы уже не установим окончательно, это событие входит в разряд исторических мифов (из чего не следует, что в истории все недостоверно: я и в собственной жизни не все помню, не во всем уверен, но не во всем же она и сомнительна!)

Но события, связанные с *инобытием*, тем более чудеса, если и существуют, то существуют *на границе достоверного и недостоверного*. Они не случайно таковы. Мы никогда не найдем «метрику» о рождении Иисуса Христа, не опросим свидетелей Голгофы, не установим, подлинна ли плащаница. Христос открыл свои язвы Фоме, но он не будет открывать их каждому любопытному, боюсь, и никому уже не откроет. Его явление в мир – событие не из истории племен и народов, а *метаисторическое*, НАД историей.

Но верю ли я сам, что Он воистину был и что Он Бог?

На дороге в Дамаск Христос явился апостолу Павлу. Что это было? Видение вроде тех, что посещали Даниила Андреева и отшельников (да ведь и видения – не просто галлюцинации, за ними – дверь в инобытие)? Как соотносятся события сакральной истории с обыденными событиями? Религиозный миф меняет сознание человека, он начинает видеть сквозь общее обыденное нечто особенное, необычное, утрачивает наивное ощущение простоты бытия, и начинает понимать точнее и глубже возможность *одновременно* и достоверного и призрачного явления в мир Спасителя.

Но некий духовный опыт есть и у меня, иначе бы я не решился писать свои книги, в которых спорю с общепризнанными авторитетами. Я все еще верю, что духи являлись и мне, вначале в шесть или семь лет, затем в юности, затем все слабее. Я не говорю, что в том, что касается христианской истории и христианского учения, я более сведущ, чем все другие. И я не говорю, что Христос или его ученики неправы. Вот так же я не скажу человеку, указывающему мне дорогу в Рим, что он во всем ошибается – нет, дорогу он указывает правильно, только мне в Рим не нужно. И точно так же *не спешу я на небо, не успеваю отредактировать земное*. Ибо я не отвергаю сей мир (как требует христианство), не взваливаю на себя Крест и не иду в их воинстве.

Потому что я наследую эллинский дух, воспитан в европейской традиции, происхожу из крестьян, по образованию отношусь к русской дворянской культуре, и по всему по этому и по иному я принадлежу Миру (который все еще надеюсь возвысить и преобразить), но не *отрицанию мира*.

Кто-то мне скажет, что этого же, мол, хотят и христиане – нет, они хотят мир отринуть и из него уйти, а я все еще прельщен *этим* миром, особенно эстетически, то есть той красотой, которая в нем содержится онтологически, и в нем пытаюсь и буду пытаться повлиять на тех, кто мне близок, и вместе с ними хоть в чем-то этот мир изменить... и я еще, быть может, напишу книгу, которая будет убедительнее и возвышеннее этой.

Кроме того...

Религия еврейского народа – иудаизм – *отождествляет* Бога и народ, является одновременно верой и в их Бога и в свой народ. Это народ-миф, неотделимый от религиозного мифа. Их государство – церковь. Их писатели – пророки и проповедники. И потому их религия народна и народен их Бог. Или, напротив, их Бог и является источником их народа.

Но из какого народа проистекает и какой порождает христианство??

Увы, оно обращается ко всем и ни к кому, христианство – это древний

марксизм, только вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» призыв его обращен к христианам всех стран.

Но удивительная логика жизни не позволила сообщество народов слить ни в христианском, ни в пролетарском котле, и каждый остался сам с собою, хотя и пытается сегодня Европа создать новый общий народ без христианства и без марксизма. И только Россия пока особняком, да к тому же я и сам отщепенец, всегда шагаю не в ногу со всеми, и не спешу жить ни в христианском монастыре без жены и детей, ни в пролетарском общежитии с общими женами и детьми.

Да к тому же, широк я или нет, «ширше» ль других, – но узость обоих мифов меня ужасает.

В христианском учении ни разу не употребляется слово Красота, ни разу не говорится о природе, культуре, науке, а если говорится о книжниках, то враждебно. Если говорится о труде, то только как о проклятии. Если говорится о женщине, то как о подруге дьявола, или как о блуднице.

Из отношения христианства к культуре, из его узости и нетерпимости проистекла и его историческая миссия разрушителя Римской империи и античной культуры, и бесчисленны примеры той потрясающей жестокости, которая сопровождала власть христианской церкви в Европе. Только марксистский большевизм превзошел христианство в тоталитарном насилии над человеком и народом. (А затем и нацизм.)

Но, быть может, в этом виновато не Учение, а только люди, исповедующие его? Но разве не Христос сказал, что Он «пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее»? Это и исполнилось.

В советское время бытовал миф о паточном христианстве всепрощения, кротости и любви, и в романе Булгакова изображен именно такой проповедник, убеждающий всех людей в том, что они добрые (хотя бы кровь капала с их рук). Кроткого человека даже иногда называли насмешливо «иисусик»... и такого же по существу изобразил и Достоевский в образе князя Мышкина, которого хотел выдать за Христа. Но таков ли Иисус Нового Завета? «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей». «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» – разве это князь Мышкин?

Его трагедия в том, что евреи за Ним не пошли, хотя Он им и сказал, что пришел прежде их спасти, и хотя все Его учение было связано тысячами нитей с Библией, и Он сам по рождению был «сын Давидов». Так есть ли что удивительное в том, что и я, сын крестьянина и крестьянки, связанный русским преданием с Миколой Селяниновичем, с русскими богами, снегом и дождем и молоньями, с русской литературой девятнадцатого столетия, взрослой на античном классическом образовании, иду прежде в театр и концертный зал, а не в пустыню?

2. Возвращение к Культуре

От культуры я, пожалуй, и не уходил, естественнее было бы предпослать дальнейшему имя «Возвращения к философии», потому что от нее я уходил достаточно далеко, то в обыденную жизнь, то в собирание книг (и некогда их было читать), то в любовь, то в политику, то в попытки «спасения России»... Да и понимал я философию недостаточно хорошо. И вот наконец (хоть и с трудом) могу я читать философские тексты, но чувствую свою вопиющую безграмотность, и прежде чем продолжить писание новых книг и спасти Россию и Культуру, попытаюсь восполнить философские знания. Возражая Толстому и соглашаясь во многом с Владимиром Соловьёвым, а отчасти и с ним споря, я понимаю, что ни художественность Толстого, ни философичность Соловьёва мною не достижимы, мне не стать столь выдающимся писателем или философом, да я и спорю не с тем, что у них является их собственными достижениями, а что у них не главное.

Но у меня есть и нечто мое собственное, да притом немаловажное для читателя, а именно, мой собственный жизненный и духовный опыт, определенная широта мировоззрения, бóльшая, чем у Толстого и Соловьёва, возможность смотреть на Историю, Культуру и Миф с бóльшей высоты хотя и трагического и горького опыта несчастного и страшного двадцатого столетия.

Мир НЕ спасён, человек НЕ спасен – ни христианством, ни марксизмом, ни монархией, ни демократией, ни теократией, ни диктатурой, ни отсутствием общего взгляда на мир, ни тотальным мировоззрением, в котором уже не было ни личности, ни личного сознательного мировоззрения.

Хотя меня заботит не столько Мир, сколько Россия и *русский человек* (в моем расширительном смысле этого слова, то есть принадлежащий ко всем двенадцати народам России и русский в той степени, в которой человек ощущает свою русскость как духовную принадлежность), и в значительной степени Европа как соучастник общей истории и общей культуры (хотя и соперник и часто враг), но термин «мир» я буду употреблять как привычный в дополнение к термину «человек» (понимая под ними больше Россию и русского).

Разочаровавшись в своей способности написать значительный роман и значительное художественное произведение, принимаю решение вот на этой книге завершить нынешний период моего писательства. Теперь я буду преимущественно читать и делать выписки. Возможно, потом, лет через десять, я напишу нечто вроде Истории философии (для себя прежде всего), если буду жив... ну а во многом положусь на судьбу. Бог, как видно, свои обещания мне (которые, быть может, мне только причудились) исполнять не собирается. Ну да мне и не привыкать. И судьба обещала больше, чем дала, и те красотки, за которыми я бегал. Но я не в претензии, думаю, что дано мне и так больше, чем я заслужил, столько, что можно воскликнуть: *Жил я не зря, и жизнь моя была восхитительна!*

Разумеется, и христианства и марксизма я еще коснусь, идеологии и мифологемы выросли и продолжают вращаться в нашу жизнь, иногда эффективнее, чем культура, тем более что место древнего Колизея, формирующего вкусы римской черни, с успехом занял экран дьявольского телевизора, вытесняяю-

щего театр, концертный зал, и давно вытеснившего библиотеку и книгу. Но да не всегда именно чернь определяет направление и характер Истории. Коперник был в одиночестве, когда издал свою книгу о вращении Земли, сегодня в одиночестве противники церкви (хотя она продолжает настаивать на своей правоте, читал на днях в «Паутине»). Учеников Христа было только двенадцать, вскоре они завоевали весь мир (и возражать им осмеливается теперь лишь один известный нам всем *отщепенец*). Марксистский кружок в России поместился весь на фотографии 1895-го года, через одно поколение им принадлежала империя, и весь Российский народ был весь как один, а марксистов было больше, чем песку в Сахаре (и возражать им осмеливался лишь один все тот же известный нам всем *отщепенец*).

Теория Большого взрыва, в результате которого из Ничего образовались вещество, пространство и время, в 22-м году была поддержана одним только Римским папой, сегодня прогрессивные физики (за исключением все того же известного нам всем *отщепенца*) все как один ее развивают и надеются, что вскоре последуют и другие взрывы.

Черные дыры, инопланетяне, летающие тарелки, мироточащие иконы и нисходящий с неба огонь заместили с успехом не только Познание, но и Веру. Суеверие продолжает наступать на умы интеллигенции, и сегодня многие убеждены, что Троя находилась близ Киева, Батый был славянским князем, и русские основали Рим.

Но да История и Культура творятся не этими *многими* (или ими?).

3. Так что же такое красота?

«В пределах своей данной действительности человек есть только часть природы, но он постоянно и последовательно нарушает эти пределы; в своих духовных порождениях – религии и науке, нравственности и искусстве – он обнаруживается как центр всеобщего сознания природы, как душа мира, как осуществляющаяся потенция абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его может быть только это самое *абсолютное* в своем совершенном акте, или вечном бытии, т. е. Бог.» – пишет Владимир Соловьев в статье о смысле любви.

Напомним данное Соловьевым определение Добра, Истины и Красоты.

«Частное бытие идеально или достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, и точно так же общее идеально или достойно в той мере, в какой оно дает в себе место частному. Отсюда легко вывести следующее формальное определение Идеи или достойного вида бытия. *Она есть полная свобода составных частей в совершенном единстве целого.*

...в процессе своего осуществления всемирная Идея в самой общности своей представляется необходимо с трех сторон. В ней различаются:

- 1) свобода или автономия бытия, 2) полнота содержания или смысла и
- 3) совершенство выражения или формы.

Без этих трех условий нет достойного или идеального бытия. Рассматриваемая преимущественно со стороны своей внутренней *безусловности*,

как абсолютно желанное или изволяемое [то есть без стеснения внутренней свободы], *идея* есть добро; со стороны полноты обнимаемых ею частных определений, как мыслимое содержание для ума, *идея* есть истина; наконец, со стороны совершенства или законченности своего воплощения, как реально осязаемая в чувственном бытии, *идея* есть красота.»

«Таким образом в *красоте*, как в одной из определенных фаз *триединой идеи*, необходимо различать общую идеальную сущность и специально-эстетическую форму. Только эта последняя отличает красоту от добра и истины, тогда как идеальная сущность у них одна и та же – достойное бытие или *положительное всеединство, простор частного бытия в единстве всеобщего*. Этого мы желаем как высшего блага, это мыслим как истину и это же ощущаем как красоту; но для того, чтобы мы могли ощущать идею, нужно, чтобы она была воплощена в материальной действительности. Законченностью этого воплощения и определяется красота как такая в своем специфическом признаке.»

Недостаток представления триединства добра, истины и красоты (как оно дается в статье Соловьева в целом) состоит в том, что *свобода* и *воля* – а вместе с ним и субъективность, сознание своего Я, исключительное поставление Я в центре мироздания и бытия, способность чувствовать и мыслить только из Я как из центра, привязано только к добру, во-первых, и члены этой Троицы отделены друг от друга как совершенно автономные, самодостаточные и односторонние, замкнутые на самих себе, во-вторых. Свободы как самостоятельной сущности нет, это только безусловность добра, в третьих.

Но привязанная к добру, свобода оказывается сиротою. А даже все они – добро, истина и красота – слишком сами по себе, будучи *неслиянными*, как и в божественной Троице; но они не обладают и нераздельностью, а потому и не составляют цельность Идеи.

Приведу из необъятного моря замечаний о красоте только несколько, – и мы увидим, что она шире того, что ей предписано замечательным философом, она не только относится к форме и совершенству формы, в ней «необходимо различать и общую идеальную сущность», как он сам о том говорит.

Не всякая правда – красота, но всякая красота – правда. Станиславский.

Путь к свободе лежит только через красоту. Фридрих Шиллер.

Красота лежит по ту сторону добра и зла. И всякая красота в мире есть или воспоминание о рае, или пророчество о мире преображенном. Бердяев.

Но кажущееся противоречие в том, что говорит о красоте Владимир Соловьев, снимается, если мы признаем, что в красоте есть добро и истина, как в добре есть истина и красота, а в истине – и красота и добро. Вот в этом своем «*всё есть во всем*» истина, красота и добро и не слиянны (не тождественны), но и нераздельны.

И тогда многое частное, что говорится о красоте, находит свое объяснение – и поэтические слова Шиллера: "Красота – добродетельна, красивая женщина не имеет недостатков", и Шопенгауэра "Лицо человека... – мысль

природы", и Гончарова "В красоте не может быть глупости", и Лукиана: "Красоте присуще столь многое, что и для тех, кто придет на смену нам, всегда найдется о чем сказать во славу красоты."

Отчего же Владимир Соловьев, так тонко объясняющий сущность красоты и ее объективность, вдруг спотыкается на *«Истине как всеединстве»*, в котором пропадает свобода, превращаясь в добро? Мне начинает казаться, что все дело в мифологичности самого сознания, оно стремится объяснить Бытие только как *всеобщее* и поневоле его ограничивает, превращает в бытие одной Идеи, более того, стремящейся даже устранить субъективное и подменяющей разнообразие: в иудаизме – законом, в христианстве – верой, в марксизме – диктатурой необходимости, в буддизме – отрешенностью от желаний, в индуизме – нирваной.

Разъяснив смысл красоты, Владимир Соловьев исследует затем половую любовь и также задается поисками ее смысла. Неужели и смысл любви только в осуществлении призыва Гете «Обнимитесь, миллионы!»? – но не в расширении и возвышении личности и индивидуальной жизни?

Однако, я только начал читать его статью «Смысл любви», быть может, дело у нашего философа не пойдет так далеко, чтобы «отдельному» надлежало отказаться полностью от своей отдельности во имя всеобщности?

4. Половая дифференциация и Смысл любви. В чем она? Может быть, в воспроизводстве рода?

Итак, читаю и делаю длинные выписки, ибо Вл. Соловьев пока говорит, притом и тонко, и глубоко и изящно, все то, что сказал бы и я, если бы был настолько образован и глубокомыслен.

Итак, первый вопрос: не является ли любовь только средством для воспроизведения и размножения рода?

«...принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще (которое может происходить и помимо этого), а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации (и половой любви) следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма.

Разительное этому подтверждение мы находим в следующем великом факте. В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом (отдел позвоночных), чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, напротив, больше.»

«У птиц сила размножения гораздо меньше не только сравнительно с рыбами, но и сравнительно, например, с лягушками, а половое влечение и взаимная привязанность между самцом и самкою достигают небывалого в двух низших классах развития.»

«Наконец, у человека сравнительно со всем животным царством размножение совершается в наименьших размерах, а половая любовь достигает

наибольшего значения и высочайшей силы, соединяя в превосходной степени постоянство отношения (как у птиц) и напряженность страсти (как у млекопитающих). Итак, половая любовь и размножение рода находятся между собою в обратном отношении: чем сильнее одно, тем слабее другая.»

«...таким образом на двух концах животной жизни мы находим, с одной стороны, размножение без всякой половой любви, а с другой стороны, половую любовь без всякого размножения, то совершенно ясно, что эти два явления не могут быть поставлены в неразрывную связь друг с другом, – ясно, что каждое из них имеет свое самостоятельное значение и что смысл одного не может состоять в том, чтобы быть средством другого.»

5. Смысл любви как средства совершенствования рода.

Или любовь, половое влечение даются человеку в целях производства более совершенных личностей в потомстве?

«В действительности, однако, мы не находим ничего подобного – никакого соотношения между силою любовной страсти и значением потомства. Прежде всего мы встречаем совершенно необъяснимый для этой теории факт, что самая сильная любовь весьма часто бывает не разделенною и не только великою, но и вовсе никакого потомства не производит. Если вследствие такой любви люди постригаются в монахи или кончают самоубийством, то из-за чего же тут хлопотала заинтересованная в потомстве мировая воля?»

«По теории Ромео и Джульетта должны были бы соответственно своей великой взаимной страсти породить какого-нибудь очень великого человека, по крайней мере Шекспира, но на самом деле, как известно, наоборот: не они создали Шекспира, как следовало бы по теории, а он их, и притом без всякой страсти – путем бесполого творчества. Ромео и Джульетта, как и большинство страстных любовников, умерли, не породив никого, а породивший их Шекспир, как и прочие великие люди, родился не от безумно влюбленной пары, а от заурядного житейского брака (и сам он хотя испытывал сильную любовную страсть, как видно, между прочим, из его сонетов, но никакого замечательного потомства отсюда не произошло). Рождение Христофора Колумба было, может быть, для мировой воли еще важнее, чем рождение Шекспира; но о какой-нибудь особенной любви у его родителей мы ничего не знаем, а знаем о его собственной сильной страсти к донье Беатрисе Энрикэс, и хотя он имел от нее незаконнорожденного сына Диэго, но этот сын ничего великого не сделал, а написал только биографию своего отца, что мог бы исполнить и всякий другой.»

«Если весь смысл любви в потомстве и высшая сила управляет любовными делами, то почему же вместо того, чтобы стараться о соединении любящих, она, напротив, как будто нарочно препятствует этому соединению, как будто ее задача именно в том, чтобы во что бы то ни стало отнять самую возможность потомства у истинных любовников: она заставляет их по роковому недоразумению закалываться в склепах, топят их в Геллеспонтe и всякими другими способами доводит их до безвременной и бездетной

кончины. А в тех редких случаях, когда сильная любовь не принимает трагического оборота, когда влюбленная пара счастливо доживает до старости, она все-таки остается бесплодной. Верное поэтическое чутье действительности заставило и Овидия и Гоголя лишить потомства Филимона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну.»

«Библейская история с ее истинным глубоким реализмом, не исключаящим, а воплощающим идеальный смысл фактов в их эмпирических подробностях, библейская история даст свидетельство в этом случае, как и всегда, правдивое и поучительное для всякого человека с историческим и художественным смыслом от религиозных верований. ...»

Не любовь соединяет иерихонскую блудницу Рахаб с пришельцем евреем; она сначала отдается ему по своей профессии, а потом случайная связь скрепляется ее верою в силу нового Бога и желанием его покровительства для себя и своих. Не любовь сочетала Давидова прадеда, старика Бооза, с молодой моавитянкою Руфью, и не от настоящей глубокой любви, а только от случайной греховной прихоти стареющего владыки родился Соломон. ...»

В священной истории, так же как и в общей, любовь не является средством или орудием исторических целей; она не служит человеческому роду. Поэтому, когда субъективное чувство говорит нам, что любовь есть самостоятельное благо, что она имеет собственную безотносительную ценность для нашей личной жизни, то этому чувству соответствует и в объективной действительности тот факт, что сильная индивидуальная любовь никогда не бывает служебным орудием родовых целей, которые достигаются помимо нее. В общей, как и в священной, истории половая любовь (в собственном смысле) никакой роли не играет и прямого действия на исторический процесс не оказывает: ее положительное значение должно корениться в индивидуальной жизни.

Какой же смысл она имеет здесь?»

6. Абсолютное значение индивидуальности и половой любви

Да, размножение млекопитающих связано преимущественно с половым влечением, и у человека так же, хотя играют роль и социальные факторы, например, желание иметь детей может привести к их появлению и в тех случаях, когда супруги не только не жаждут друг друга, но иногда даже отвращаются. Важные следствия имеют не одну причину, но в том числе и любовь играет роль и в индивидуальной, и в общественной жизни, хотя бы через культуру.

Но «положительное значение [любви] должно корениться в индивидуальной жизни [но не в родовой].»

При этом ...«убеждение в безотносительном достоинстве человека [и его индивидуальной жизни] основано не на самомнении, а также и не на том эмпирическом факте, что мы не знаем другого, более совершенного существа в порядке природы. Безотносительное достоинство человека состоит в несомненно присущей ему абсолютной форме (образе) разумного сознания. ...человек, сверх того, имеет способность оценивать свои состояния, и

действия, и всякие факты вообще не только по отношению их к другим единичным фактам, но и ко всеобщим идеальным нормам; его сознание сверх явлений жизни определяется еще разумом истины. Сообразуя свои действия с этим высшим сознанием, человек может бесконечно совершенствовать свою жизнь и природу, не выходя из пределов человеческой формы.»

«В человечестве... чрез повышенное индивидуальное сознание, религиозное и научное, прогрессирует сознание всеобщее. Индивидуальный ум здесь есть не только орган личной жизни, но ... орган ... даже для всей природы.»

«Человеческая же индивидуальность именно потому, что она может вмещать в себе истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее торжестве. *Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью.* Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности.»

«Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма. На этом общем основании мы можем разрешить и специальную нашу задачу: объяснить смысл половой любви.»

«Основная ложь и зло эгоизма не в абсолютном самосознании и самооценке субъекта, а в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая себя центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к окружности своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную ценность.»

«Утверждая себя вне всего другого, человек тем самым лишает смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму.»

«Признавая вполне великую важность и высокое достоинство других родов любви, которыми *ложный спиритуализм и импотентный морализм* хотели бы заменить любовь половую, мы видим, однако, что только эта последняя удовлетворяет двум основным требованиям, без которых невозможно решительное упразднение самости в полном жизненном общении с другим. Во всех прочих родах любви отсутствует или однородность, равенство и взаимодействие между любящим и любимым, или же всестороннее различие восполняющих друг друга свойств.»

Сопоставляя с любовью половой любовь мистическую и материнскую, Вл. Соловьев показывает, что *связь конкретного человека и Всеобщего (Христа, Будды, Нирваны...)* – не что иное, как иллюзия любви. (!!!)

Но и «в материнской любви нет, собственно, признания безусловного значения за любимым, признания его истинной индивидуальности, ибо для матери хотя ее детище дороже всего, но именно только как ее детище, ... т. е. здесь мнимое признание безусловного значения за другим в действительности обусловлено внешнею физиологическою связью.»

«Во всяком случае несомненно, что в материнской любви не может быть полной взаимности и жизненного общения уже потому, что любящая и любимые принадлежат к разным поколениям, что для последних жизнь – в

будущем с новыми, самостоятельными интересами и задачами, среди которых представители прошедшего являются лишь как бледные тени. Достаточно того, что родители не могут быть для детей целью жизни в том смысле, в каком дети бывают для родителей.»

Необходимо, конечно, отчасти сему возразить. Хотя обычно Вл. Соловьев безукоризненно точен в своих рассуждениях и доказательствах, но иногда и он ошибается, когда оказывается в плену предвзятого образа или понятия. Мать полюбляет ребенка, потому что его родила – но она может так полюбить и чужого ребенка, случайно доставшегося ей на воспитание, и усыновлённого, которого берет из Детского дома. Как своего ребенка любит иногда младшего брата старшая сестра, тетя – племянника. Не похожей ли любовью подчас учитель любит ученика или ученицу? Причины или истоки любви не всецело характеризуют ее содержание. И уж совсем наивны противопоставления, опирающиеся на разность поколений – тогда надо будет отрицать половую любовь в той любви, которая связывает юную девушку и взрослого мужчину, что бывает не редко.

Рассматривая действительную любовь, Вл. Соловьев приходит к выводу, что пока осуществляется, скорее, только мечта о любви, ибо те ожидания, которые мы связываем с нею, оказываются иллюзией, нас ожидает разочарование. Воистину: «Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно!»

«Но, признавая в силу очевидности, что идеальный смысл любви не осуществляется в действительности, должны ли мы признать его неосуществимым?»

По самой природе человека, который в своем разумном сознании, нравственной свободе и способности к самосовершенствованию обладает бесконечными возможностями, мы не имеем права заранее считать для него неосуществимой какую бы то ни было задачу, если она не заключает в себе внутреннего логического противоречия или же несоответствия с общим смыслом вселенной и целесообразным ходом космического и исторического развития.

Было бы совершенно несправедливо отрицать осуществимость [цели и смысла] любви только на том основании, что она до сих пор никогда не была осуществлена: ведь в том же положении находилось некогда и многое другое, например все науки и искусства, гражданское общество, управление силами природы. Даже и самое разумное сознание, прежде чем стать фактом в человеке, было только смутным и безуспешным стремлением в мире животных.»

Но в чем же «идеальный смысл любви»?

Он в том, что *«истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих.»*

«Конечно, прежде всего любовь есть факт природы (или дар Божий), независимо от нас возникающий естественный процесс; но отсюда не следует, чтобы мы не могли и не должны были сознательно к нему относиться и

самодеятельно направлять этот естественный процесс к высшим целям. Дар слова есть также натуральная принадлежность человека, язык не выдумывается, как и любовь. Однако было бы крайне печально, если бы мы относились к нему только как к естественному процессу, который сам собою в нас происходит, ... а не делали из языка орудия для последовательного проведения известных мыслей, средства для достижения разумных и сознательно поставленных целей.»

«Как истинное назначение слова состоит не в процессе говорения самом по себе, а в том, что говорится, – в откровении разума вещей через слова или понятия, так истинное назначение любви состоит не в простом испытывании этого чувства, а в том, что посредством него совершается, – в деле любви: ей недостаточно чувствовать для себя безусловное значение любимого предмета, а нужно действительно дать или сообщить ему это значение, соединиться с ним в действительном создании абсолютной индивидуальности.»

«В чувстве любви по основному его смыслу мы утверждаем безусловное значение другой индивидуальности, а через это и безусловное значение своей собственной. Но абсолютная индивидуальность не может быть преходящей, и она не может быть пустой. Неизбежность смерти и пустота нашей жизни совершенно несовместимы с тем повышенным утверждением индивидуальности своей и другой, которое заключается в чувстве любви. Это чувство, если оно сильно и вполне сознательно, не может примириться с уверенностью в предстоящем одряхлении и смерти любимого лица и своей собственной.»

«Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни.»

«Очевидно, что искусство, наука, политика, давая содержание отдельным стремлениям человеческого духа и удовлетворяя временным историческим потребностям человечества, вовсе не сообщают абсолютного, самодовлеющего содержания человеческой индивидуальности, а потому и не нуждаются в ее бессмертии. В этом нуждается только любовь, и только она может этого достигнуть. Истинная любовь есть та, которая не только утверждает в субъективном чувстве безусловное значение человеческой индивидуальности в другом и в себе, но и оправдывает это безусловное значение в действительности, действительно избавляет нас от неизбежности смерти и наполняет абсолютным содержанием нашу жизнь.»

«Само по себе ясно, что пока человек размножается, как животное, он и умирает, как животное. Но столь же ясно, с другой стороны, и то, что простое воздержание от родового акта несколько не избавляет от смерти: лица, сохранившие девство, умирают, умирают и скопцы; ни те, ни другие не пользуются даже особенною долговечностью. Это и понятно. Смерть вообще есть дезинтеграция существа, распадение составляющих его факторов. Но разделение полов, не устранимое их внешним и преходящим соединением в родовом акте, это разделение между мужским и женским элементом человеческого существа есть уже само по себе состояние дезинтеграции и начало смерти. Пребывать в половой раздельности – значит пребывать на пути смерти, а кто не хочет или не может сойти с этого пути, должен по

естественной необходимости пройти его до конца. Кто поддерживает корень смерти, тот неизбежно вкусит и плода ее. Бессмертным может быть только целый человек, и если физиологическое соединение не может действительно восстановить цельность человеческого существа, то, значит, это ложное соединение должно быть заменено истинным соединением а никак не воздержанием от всякого соединения, т. е. никак не стремлением удержать in Statu quo разделенную, распавшуюся и, следовательно, смертную человеческую природу.»

Так «в чем же состоит и как осуществляется истинное соединение полов? Наша жизнь так далека от истины в этом отношении, что за норму принимается здесь только менее крайняя, менее вопиющая ненормальность. Это нужно еще пояснить, прежде чем идти дальше.»

И далее Вл. Соловьев, прежде чем исследовать и объяснить общую ненормальность нашей жизни, ее отклонение от истины, рассматривает одну из незначительных аномалий в половых отношениях, а именно *фетишизм*.

«У многих лиц, почти всегда мужского пола, это чувство возбуждается ...тою или другою частью в существе другого пола..., а то даже внешними предметами, известными частями одежды и т. п. ... Ненормальность такого фетишизма состоит, очевидно, в том, что часть ставится на место целого, принадлежность – на место сущности. Но если возбуждающие фетишиста ... части женского тела, то ведь [и] само это тело во всем своем составе есть только часть женского существа, и, однако же, столь многочисленные любители женского тела самого по себе не называются фетишистами, не признаются сумасшедшими и не подвергаются никакому лечению. В чем же тут, однако, различие?»

«Если по принципу ненормально то половое отношение, в котором часть ставится на место целого, то люди, так или иначе покупающие тело женщин для удовлетворения чувственной потребности и тем самым отделяющие тело от души, должны быть признаны ненормальными в половом отношении, психически больными, фетишистами в любви...»

«Все это я говорю не в оправдание противоестественных, а в осуждение мнимо естественных способов удовлетворения полового чувства. Вообще, говоря о естественности или противоестественности, не следует забывать, что человек есть существо сложное и что естественно для одного из составляющих его начал или элементов, может быть противоестественным для другого и, следовательно, ненормальным для целого человека.»

«В области половой любви противоестественно для человека не только всякое беспорядочное, лишенное высшего, духовного освящения удовлетворение чувственных потребностей, но так же недостойны человека и противоестественны и те союзы между лицами разного пола, которые заключаются и поддерживаются только на основании гражданского закона, исключительно для целей морально-общественных, с устранением или при бездействии собственно духовного, мистического начала в человеке.»

... «Хотя все три естественные для человека в его целом отношении или связи между полами, именно связь в животной жизни, или по низшей

природе, затем связь морально-житейская, или под законом, и, наконец, связь в жизни духовной, или соединение в Боге, – хотя все эти три отношения существуют в человечестве, но осуществляются противоестественно, именно в отдельности одно от другого, в обратной их истинному смыслу и порядку последовательности и в неравной мере.

На первом месте в нашей действительности является то, что поистине должно быть на последнем, – животная физиологическая связь. ...Для многих здесь основание совпадает с завершением...; для других на этом широком основании поднимается социально-нравственная надстройка законного семейного союза. Тут житейская середина принимается за вершину жизни, и то, что должно служить свободным, осмысленным выражением во временном процессе вечного единства, становится невольным руслом бессмысленной материальной жизни. А затем, наконец, как редкое и исключительное явление остается для немногих избранных чистая духовная любовь, у которой все действительное содержание уже заранее отнято другими, низшими связями, так что ей приходится довольствоваться мечтательной и бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи и жизненной цели.»

«Физическая страсть имеет перед собою известное дело, хотя и постыдное; законный союз семейный также исполняет дело пока необходимое, хотя и посредственного достоинства. Но у духовной любви, какую она является до сих пор, заведомо нет совсем никакого дела, а потому неудивительно, что большинство дельных людей glaubt an keine Liebe oder nimmt's fur Poesio.»

Но «исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая и исключительно житейский союз. ... Истинная же духовная любовь не есть слабое подражание и предварение смерти, а торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное. **Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее перерождение, спасение, воскресение.**»

«В день, когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил его, мужа и жену сотворил их».

"Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и во Церковь".»

«Как Бог относится к своему творению, как Христос относится к своей Церкви, так муж должен относиться к жене.»

«Бог относится к твари, как все к ничему, т. е. как абсолютная полнота бытия к чистой потенции бытия; Христос относится к Церкви, как актуальное совершенство к потенции совершенства, образуемой в действительное совершенство; отношение же между мужем и женой есть отношение двух различно действующих, но одинаково несовершенных потенций,... человек и его женское alter ego восполняют взаимно друг друга не только в реальном, но и в идеальном смысле, достигая совершенства только чрез взаимодействие.»

«... если б я имел в виду только простую любовь, т. е. обыкновенные, заурядные отношения между полами, – то, что бывает, а не то, что должно быть, – то я, конечно, воздержался бы от всяких рассуждений по этому

предмету, ибо, несомненно, эти простые отношения принадлежат к тем вещам, про которые кто-то сказал: нехорошо это делать, но еще хуже об этом разговаривать. Но любовь, как я ее понимаю, есть, напротив, дело чрезвычайно сложное, затемненное и запутанное, требующее вполне сознательного разбора и исследования, при котором нужно заботиться не о простоте, а об истине...»

«Простое отношение к любви завершается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью. Такой неизбежный и неудовлетворительный конец "простой" любви побуждает нас искать для нее другого, более сложного начала.»

«...предмет нашей верующей любви необходимо различается от эмпирического объекта нашей инстинктивной любви, хотя и нераздельно связан с ним. Это есть одно и то же лицо в двух различных видах или в двух разных сферах бытия – идеальной и реальной. Первое есть пока только идея. Но ...мы знаем, что эта идея не есть наше произвольное измышление, а что она выражает истину предмета, только еще не осуществленную в сфере внешних, реальных явлений.»

«Эта истинная идея любимого предмета хотя и просвечивает в мгновения любовного пафоса сквозь реальное явление, но в более ясном виде является сначала лишь как предмет воображения. ... и субъективность этого образа как такого, т. е. являющегося теперь и здесь перед очами моей души, несколько не доказывает субъективного, т. е. для меня лишь существующего, характера самого воображаемого предмета.»

Итак, обыденной, простой любви, завершающейся смертью, Соловьев противопоставляет *истинную любовь, или религиозную норму любви*, в которой сквозь эмпирическую действительность любимого лица просвечивает его идеальный (подлинный) образ.

Это совпадает с духовным опытом каждого влюбленного, так же точно *идеализирующего* предмет своей любви, как об этом говорит философ. Она в сиянии нашей любви предстает как образ божества, и мы сознаём, чувствуем и понимаем, что это не только осияние ее нашим преображенным любовью зрением, словно бы одяние ее в сияющие одежды, не совпадающие с ее эмпирической реальностью, но это ее подлинность, невидимая обыденным зрением, и видимая зрением влюбленным.

Она существует двояко, в реальной сфере и в идеальной, я бы сказал, что в инобытии, если бы не думал, что *она существует двояко уже здесь*, то есть не только потенциально, но и актуально. Она идеальная как раз и есть подлинность, сокрытая занавесом обыденного мира, а та, которая предстает всем как обыденность, это ее искаженная форма здесь-пробытия.

«Предмет истинной любви не прост, а двойствен: мы любим, во-первых, то идеальное ...существо, которое мы должны ввести в наш реальный мир, и, во-вторых, мы любим то природное человеческое существо, которое ...чрез это идеализуется не в смысле нашего субъективного воображения, а в смысле своей действительной объективной перемены или перерождения.»

Но отсюда следует, что это идеальное существо только потенция, существующее в реальном как возможность, но не как действительность.

Опыт влюбленного говорит, что для обыденного зрения человек подлинный (существующий на самом деле) скрыт, и виден только влюбленному зрению, и что он в действительности таков, как виден влюбленному зрению, а не как обыденному, но философ, прозревающий оба эти образа в предмете любви, второй образ, увы, относит только к *возможности*.

«...Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов.» – откуда же это веяние?

«Здесь получает свое законное место и тот элемент обожания и беспредельной преданности, который так свойствен любви и так мало имеет смысла, если относится к земному ее предмету, в отдельности от небесного.» – а точно ли они разделены?!

«Физическое соединение, поставленное на место (мистического) и лишенное таким образом своего человеческого смысла, ... – делает любовь не только бессильною против смерти, но само неизбежно становится нравственною могилою любви гораздо раньше, чем физическая могила возьмет любящих.»

«В нашей материальной среде нельзя сохранить истинную любовь, если не понять и не принять ее как нравственный подвиг.»

«Религиозная вера и нравственный подвиг охраняют индивидуального человека и его любовь от поглощения материальною средой во время его жизни, но не дают еще ему торжества над смертью. ... не отменяют дурного закона физической жизни не только во внешнем мире, но и в самом человеке. Он реально остается по-прежнему ограниченным существом, подчиненным материальной природе. Внутреннее – мистическое и нравственное – соединение его с дополняющею индивидуальностью не может одолеть ни их взаимной отдельности и непроницаемости, ни общей зависимости их от вещественного мира. Последнее слово остается не за нравственным подвигом, а за беспощадным законом органической жизни и смерти, и люди, до конца отстаивавшие вечный идеал, умирают с человеческим достоинством, но с животным бессилием.»

Впрочем, «...если бы человек в своем подвиге духовного перерождения и мог достигнуть «полного одухотворения и бессмертия, то будет ли эта возрожденная индивидуальность наслаждаться своим одиноким блаженством в той среде, где все по-прежнему страдает и гибнет?» [Сравните с этим высоким сознанием сыновнего долга то животное чувство довольства, которое проповедуется для будущих поколений в коммунистическом рае, для избранных счастливиц «здесь и сейчас» в капиталистическом вертепе.]

Но что же такое любовь, кого же мы любим в образе Манон Леско, Джульетты, Настасьи Филипповны, Дульцинеи?

«Небесный предмет любви только один, всегда и для всех один и тот же – вечная Женственность Божия; но ...задача истинной любви состоит не в том только, чтобы поклоняться этому высшему предмету, а в том, чтобы реализовать и воплотить его в другом, низшем существе той же женской формы, но земной природы...»

«Если они (мгновения неземного блаженства) только обман, то и в воспоминании они могут вызывать только стыд и горечь разочарования; а если они не были обманом, если они открывали нам какую-то действительность, которая потом закрылась и исчезла для нас, то почему же должны мы мириться с этим исчезновением? Если то, что потеряно, было истинным, тогда задача сознания и воли не в том, чтобы принять потерю за окончательную, а в том, чтобы понять и устранить ее причины.»

Однако «всякая попытка уединить и обособить индивидуальный процесс возрождения в истинной любви встречается с тройным неодолимым препятствием, поскольку наша индивидуальная жизнь... отделенная от процесса жизни всемирной, неизбежно оказывается, во-первых, физически несостоятельной, бессильной против времени и смерти, затем, умственно пустой, бессодержательной и, наконец, нравственно-недостойной.»

«"Разбей этот кубок, в нем злая отравка таится".»

«Всеединая идея может окончательно реализоваться или воплотиться только в полноте совершенных индивидуальностей, значит, последняя цель всего дела есть высшее развитие каждой индивидуальности в полнейшем единстве всех, ...и нам остается только принимать возможно более сознательное и деятельное участие в общем историческом процессе – для самих себя и для всех других нераздельно. [Да, что-то и здесь похожее на коммунизм или жизнь в монастыре...]

«Истинному бытию, или всеединой идее, противопоставляется в нашем мире вещественное бытие – то самое, что подавляет своим бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает осуществиться ее смыслу.»

Но «мы не знаем такого момента, когда бы материальному хаосу принадлежала настоящая реальность, а космическая идея была бы бесплотной и немощной тенью; ...» – так что надо только подождать (несколько миллионов лет!), все образуется.

Каковы же должны быть взаимоотношения индивидуальности и обнимающего ее общего: семьи, общества, народа?

«Не подчиняться своей общественной сфере и не господствовать над нею, а *быть с нею в любовном взаимодействии*, служить для нее деятельным, оплодотворяющим началом движения и находить в ней полноту жизненных условий и возможностей...» [Увы, противопоставив вначале христианским иллюзиям некоторый действительный идеал, Соловьев возвращается к пассивной христианской жизни, в которой обещается будущее спасение при условии настоящей покорности и смирения.]

«В этом смысле необходимо изменить отношение человека к природе. И с нею он должен установить то сизигическое единство, которым определяется его истинная жизнь в личной и общественной сферах.»

«Связавши в идее всемирной сизигии (индивидуальную половую) любовь с истинною сущностью всеобщей жизни, я исполнил свою прямую задачу определить смысл любви, так как под смыслом какого-нибудь предмета разумеется именно его внутренняя связь со всеобщей истиной.»

Но понял ли читатель, не говоря обо мне, в чем смысл любви? Не тот смысл, о котором говорит Базаров, надеясь, что хотя над его могилой вырастет только лопух, но потом... и так далее... – но хотя бы смысл любви по князю Мышкину или по Наташе Ростовской? Для этих любовь была исполнена высшего смысла в настоящем, в подлинной связи их индивидуальной жизни с Богом, для Вл. Соловьева этот смысл осуществляется лишь через эволюцию мира почти по Дарвину.

Но Любовь – это не только идея, идеализация, мечта, видение в возлюбленной идеального образа, но и чувство и мысль, обнимающие всю личность человека, то есть состояние его души, ибо в человеке есть Дух, который мыслит в нем, и есть Душа, которая в нем чувствует, и они создают некие словно бы слепки происходящего, которые либо держатся в памяти, либо облекаются в художественное творение, философское рассуждение или в музыкальное произведение.

7. Философия как миф

Мифологическое сознание стремится все сущее свести к одной единственной идее, и только философия пытается объять многообразие мира. Однако, пытаясь создать цельную систему мироздания, философ невольно занимается мифотворчеством, и превращает философию в миф, так же завязанный на одной центральной оси.

Каков смысл любви?

Выдающийся философ доказал нам, что смысл ее в том грядущем преображении мироздания, которое лежит за гранью нашего бытия, а уж тем более за гранью нашей жизни, следовательно, смысл любви в том же для христианского философа, в чем и смысл жизни, то есть в смерти.

Но это особенность философского мифотворчества. И в коммунистическом мифе смысл жизни находится за пределами нашей подлинной жизни, он в том новом идеальном обществе, которое будет построено для наших потомков. Но христианский миф отрицает смысл жизни даже для человечества в целом, потому что после преображения вещественного мира не будет и человечества, как мужчины, и тем более женщины (ибо она растворится в мужчине, восполнив его половинчатость, односторонность, ущербность).

Красота, Истина и Добро – тройственное основание эстетики, три ипостаси целого, неслиянные и нераздельные, не только не растворяющиеся друг в друге, но и не оправдывающиеся одно через другое. Красота не потому достойна, абсолютна и наполняет действительностью Бытие, что она истинна или добра – нет, она, как это ни удивительно, и истинна и добра, но и сама по себе обладает абсолютной ценностью, все в мире проверяется и поверяется ею как красивое или безобразное, как хаос или гармония, как совершенство или несовершенство. Точно так же все в мире верно или неверно, потому что может быть соотнесено с истиной и у нее находит оправдание своей верности, но Истина ни в чем не оправдывается. Так же обстоит дело и с Добром, и поступок или помышление могут быть добрыми или недобрыми именно потому, что существует в мире способность противопоставления Добра и Зла, существуют в мире сами Добро и Зло и их противоборство.

Так же существуют Справедливость, Любовь, Милосердие (жалость, сострадание, великодушие, жертва). Человек и его жизнь оправдываются, исходя из идеальных ценностей, из основных категорий бытия (которые и являются мерилami ценности), но сами эти ценности не могут быть ничем оправданы и не имеют другого смысла, нежели тот, который в них заключен. Жизнь имеет смысл, и может быть оправдана Любовью, но не ищем мы для любви оправдания в том, что в ней заключено что-либо математическое, философское или религиозное. Переноса смысл любви в грядущее преобразование мира, долженствующее наступить через миллиарды лет, Соловьев лишил любовь всякого смысла.

Но все остальное, что он пишет о любви, глубоко и поучительно, и я не скажу, что культура не обогащает наше представление и понимание любви, как и сама жизнь, что о «любви не говорят», так как будто бы «о ней все сказано» – нет, о ней сказано еще не все, а когда будет сказано все, жизнь и история закончатся. Даже и я сам надеюсь не только сказать о ней нечто, но и пополнить ее новыми чувствами и героинями.

Странное впечатление производят статьи Вл. Соловьева, посвященные Красоте и Любви. Для христианина несомненно, что мир и человек пали, и дело спасения откладывается до второго пришествия Христа и конца света, когда будет спасен только «малый остаток», ибо остальные «все до одного негодны», «нет ни одного праведного». Так кого же будет спасать красота? Потому-то и изумилась Аглая словам князя Мышкина, что будто бы красота мир спасет, ибо такая вера слишком противоречит Новому Завету. Тем более странно, чтобы в это верил Владимир Соловьев, христианский философ.

И я не знаю, верит ли он в это, но что красота для него важна и дорога, и он ее защищает и возвышает, придавая ей вселенский смысл (в отличие от темных веков христианства), несомненно. Свою статью в защиту красоты он заканчивает так: «Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение; большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого сознания, что в самой природе нет красоты, так же как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы – животным всевозможных типов и классов, нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддержание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных (в утилитарном смысле) особенностей ложится в основу их видového существования.»

И так же хотя и половая любовь, то есть любовь между мужчиной и женщиной, осуждена христианством как мать греха, но наш философ и ей придает значение вселенское, и по его мнению любовь может и должна спасти человечество.

«...человек есть существо сложное», говорит Владимир Соловьев, и эта сложность прорывается в его статьях сквозь простоту христианского мифа о грехопадении. Так что, быть может, все-таки именно любовь и красота и спасут мир, вопреки догматическим представлениям о его неустранимой порче.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПОИСКИ НОВЫХ ОСНОВАНИЙ

1. Истина и Духовное подавление

9 января 2015. Снова хлябь под ногами. Только что, пока писал «Записки редактора», я был чуть ли не самодовольно уверен в своей правоте, в своем знании Истины (по крайней мере в отношении литературы), в своем праве учить и поучать других, в своем безусловном превосходстве над теми, к кому я обращался как к ученикам своим, и вот снова почти ничего не понимаю: для кого писать, есть ли нуждающиеся в том, чтобы понимать мир, есть ли способные его понимать?

Странно еще и то, что я проповедую другим Истину, тогда как именно от Истины я и страдал, разве не с нею я всю жизнь и боролся?

В начале своей сознательной жизни я был почти как большинство, верил в то, что в нашей стране воцарились справедливость и правда, и если пока не всё хорошо, не достигнут идеал, то потому, что не всякий человек хорош, не всякий отвечает общественной правде, а некоторые прямо ей вредят. Потом произошло разоблачение «культы личности», да я еще книги читал и житейского ума-разума набирался, познакомился с христианством, отчасти с философией, сквозь завесу государственной и общественной лжи проступила другая правда жизни, которая поразила меня своей противоположностью тому, что подавалось за нее, а потом еще я почувствовал, что есть зло даже еще худшее, чем ложь, что дело даже не в том, что их Учение о мире, их совокупная система представлений о жизни, истории, культуре, ценностях, добре и зле, правде и неправде, справедливом и несправедливом, верном и неверном не верны, подменяют действительность прошлого, настоящего и будущего, – но что они эту свою систему сформулировали, соткали, соединили в некую целостность «пуленепробиваемую», без дыр и прорех, не допускающих поправок, изменений, дополнений, сомнений, несогласий, опровержений, что они ее навязали каждому отдельному и всем им сообща как истину абсолютную, абсолютно полную, абсолютно верную, законченную, всеобщую, на все времена и до конца времен. Такие абсолютно полные и исключаяющие поправки и сомнения системы являются всеобщими и именуют название тоталитарных, а господство подобных теорий в обществе, сопряженное с абсолютной и неизменяемой государственной властью называется *тоталитаризмом*. Несомненность и неизменяемость Учения и государственной власти представлены в форме учения-Мифа и в форме власти (монархия, диктатура, тирания, олигархия...) и подкрепляются подавлением как личных, гражданских, культурных, экономических и политических свобод, так и – **духовным подавлением**.

Духовное подавление и позволяет таким системам существовать без потрясений бесконечно долго.

Надо все же сказать, что изменения и поправки в способ существования и этих систем были возможны: они вводились или Правителем (с предваритель-

ным иногда обсуждением возможных изменений избранным Советом или даже без всякого предварительного обсуждения), как, например, реформы Петра Первого, Екатерины, Отмена Крепостного права, коллективизация; или Вселенским Собором (реформы в христианском вероисповедании), или в результате революции и Гражданской войны – введение Лютеранства, большевизация России... В СССР некоторые изменения проводились в жизнь полномочным диктатором самолично или предварительно обсуждались на Съездах подвластной партии.

Итак, Зло состояло не только в том, что властвовала неверная теория (как, например, учение о вращении Солнца вокруг Земли и о том, что плоская Земля неподвижна в пространстве), но еще более в том, что невозможно было мыслить не в согласии с навязанной теорией, и не только потому, что это было запрещено, но потому что каждая личность всей системой образования, воспитания и жизни обрабатывалась так, что она иначе мыслить уже не умела. Более того, человек разучался мыслить вообще.

Тоталитарные системы, как я сказал, были полны и замкнуты – в том смысле, что никакое рассуждение не вывело за их пределы, как замкнуто множество комплексных чисел: какое бы действие с ними мы не производили, в результате тоже получаем комплексное число.

Вот так же всякое сомнение в правоте коммунистических взглядов находило немедленный и исчерпывающий ответ. Во-первых, что бы ни говорил отдельный, но если его слова не подкреплялись ссылкой на марксистско-ленинские тексты, то они определялись как «отсебятина» и даже не рассматривались; если же были серьезны и опасны, то определялись как инспирированные врагами на Западе или отголосками враждебных теорий: троцкизма, меньшевизма, оппортунизма, фашизма, лживой буржуазной демократии... и так далее... и потому требовали не возражений, а «мер»!

Но советская система тоталитаризма дряхлая, и поэтому я и подобные мне, хотя и в единичном количестве, как-то сумели выжить.

В поисках выхода из монолита марксистского материализма я хватался за те обрывки философских учений, которые мне перепали, но в наибольшей степени ухватился за христианство, так что огонь марксистского атеизма, выжигающего свободную мысль, я начал заливать тем, что и само горело...

Под влиянием (хотя и неполным) христианства я находился почти полвека.

И почему мысль не растворилась окончательно в чувстве, почему Знание и размышление не заменились всецело Верой, почти чудо. Но не напрасно три столетия свободная мысль искала выход из духовной тюрьмы в Европе, не напрасно были Вольтер, Французская революция, европейская культура восемнадцатого и девятнадцатого столетий, русская литература девятнадцатого столетия, Пушкин, Лермонтов, Герцен...

Итак, зло христианства и марксизма состояли в том, что они претендовали на то, чтобы обнимать собою ВСЮ истину. Они не позволяли сотрудничества равных, собеседования или даже спора, как то существует в философии и математике. Платон, Аристотель и Сократ были не во всем между собой согласны (как Ньютон и Лейбниц), Фихте и Гегель ни в чем не были между

собою согласны, но это только поощряло развитие и философии и математики; а уж в литературе никто не требовал, чтобы Достоевский и Толстой непременно сверяли свои мысли и чувства друг с другом (хотя Толстой, как христианин, разделил страницу на две графы, и в левой записывал, кого надо запретить, а в правой, кого поощрять, и по отношению к Достоевскому не раз менял свою точку зрения. Пушкина же и Лермонтова определенно советовал запретить, как и большую часть музыки и искусства в целом).

Итак, претензия на полноту Истины – вот наибольшее зло, и два десятилетия (если не три) своей литературной полемики я отстаиваю право МЫСЛИТЬ и ИСКАТЬ против взглядов, закабаляющих Дух свободной личности, навязывающих догму об уже найденной Полноте Истины.

Но с какой проповедью выступаю я сам? Разве не выступаю я почти против всех, обличая почти каждого в предательстве русских национальных интересов, выставя свое видение жизни против того, которое навязывается государством и церковью? Разве не утверждаю я, что только я и прав, а все заблуждаются, подтверждая сие ссылками на то, что История во всех спорах моих, которые я вел с официальной точкой зрения и большинством рабоплебствующего народа, подтвердила только мою правоту?!!!

Да, именно так, я во всех своих сочинениях спорю с лживыми, порочными или ошибочными взглядами на жизнь, выступаю от имени истины, утверждаю и разъясняю, что справедливо, а что нет, утверждаю, что именно я во всем прав, а противники мои не правы, особенно государство и его сторонники – но при этом я, знающий истину, как будто не посягаю на свободу каждого мыслить и сомневаться, искать и заблуждаться? Да, как ни странно, это так. Ибо духовное подавление связано с властью идеологии, преобразенной в Миф, ставшей мифологическим сознанием, идеологии, которая объясняет все сущее только исходя из себя самой. Всякая же другая истина, философская, математическая, истекающая из художественной литературы, из культуры в целом, носит частный характер, не подменяет собою целое, не довлеет над ним. Вот я учитель в классе, объясняю школьникам новые теоремы, новые методы решения задач, разбираю ошибки – я учу и исправляю. Но я не подавляю собою математику, и не подавляю математикой личность школьника, который может возразить мне в очень многом (современный читатель уже не сможет представить, насколько и сам воздух прошлых эпох был пропитан догматическим учением победившего социализма, так что и дышать было нечем).

Я могу написать новую книгу, и в ней буду настаивать на своей правоте, но я не отменяю ни философию, ни духовный опыт читателя, ни Пушкина ни Толстого. Марксизм был единственным способом мыслить, способом видеть и дышать, как еще раньше христианство, они отменяли культуру прошлых эпох, новую же культуру принимали только как служанку их идеологии.

Кто не жил в казарме и не ходил строем, тот не поймет, что такое жизнь по распорядку. Кто не сидел в тюрьме и не ходил под конвоем, тот не поймет, что такое абсолютное отсутствие личной свободы.

Жизнь, подчиненная мифу, не оставляет человеку его самого.

Уже перед агонией этой железобетонной системы ее претензия подменять

целую жизнь только ею самой стала предметом анекдотов: «Партия нас учит, что при нагревании газы расширяются», «Прошла зима, настало лето... Спасибо партии за это», «На выставку советского искусства пришли два искусствоведа в штатском»... А чем отличается власть христианского мифа? Если у тех всюду партия, то у этих всюду Бог, и начинают они новое дело со слов «Ну, с богом!», и прощаясь, говорят «Еще увидимся – если будет на то Божья воля» – а где же завет не помянуть имени божьего всеу?

Так что я прав во многом, в большинстве всего того, что я утверждаю, прав, что «Волга впадает в Каспийское море», что 13 – число простое, что Шалапин – гордость русского народа (а давно ли, сквозь зубы помяная его, тут же злобно порицали, что он якобы «бросил землю» (и Ахматова тоже была не с теми, кто ее бросил), что ему много платят за концерты, что он даже преклонил колено пред «государём императором»?!)

Да, я прав почти во всем, что утверждаю, но эта моя правота не закрепощает. Я не утверждаю, что Россия – родина слонов, что «Сталин – нашей мудрости полет», что русские самый читающий в мире народ (видят теперь уже все, какие мы читающие – или всё еще не все видят?), что «Запад давно уже загнивает»... хотя, впрочем, хотя сие утверждали славянофилы еще в девятнадцатом столетии, но это и в самом деле так, загнили не только мы, но и Запад, мы загнили в нашей верноподданной нерассуждающей любви к правителям, Запад в самодовольстве, мешанстве, тупости, узости и пресыщении...

Но будучи правым (как часто бывают правы и другие умные люди), ни я ни они не одеваем на всю систему взглядов, мнений, представлений, предположений, сомнений, симпатий и антипатий всеобщей аксиоматики, уже заранее отвечающей на ВСЕ запросы человеческого ума и души.

Я прав, что Гражданская война и коллективизация были преступны, как и вся система советской тирании, преступно по отношению к собственному народу велась война, так что на русской крови поскользнулась немецкая армия, и неправы все те, которые защищают советскую власть, и на упрек в миллионах расстрелянных отвечают, что их было несколько меньше, что некоторые из них были в чем-то виноваты, что от ОШИБОК не застрахован никто (даже палачи); и на упрек в голодоморах отвечают, что за счет умерших от голода строились танки, что голодающие или их дети были кулаками (в том числе и мой собственный дед по отцу, умерший от голода, и не вымерли его малолетние дети лишь потому, что мой отец не ходил в школу, а работал с семи лет подпаском, а в десять уже встал за борону и плуг...)

Но хотя я и прав, но не лежит в основании моей правоты какая-либо догматическая система взглядов, всеобъемлющая аксиоматика, а только незамутненная совесть, честность и ум. НЕТ ни одного вопроса в мире, на которые бы исчерпывающе не отвечали марксизм или христианство, только почему-то все их ответы даже хуже, чем ложь. Я же, несмотря на то, что прав во всем, о чем спорил пятьдесят лет и продолжаю спорить ныне, ни на один вопрос, горестно унывающий меня, ответить не могу.

Они любят Сталина, эти русские. Я тоже русский, причем образованный, культурный, хорошо говорю и пишу по-русски, слушаю музыку, на всякой

работе, которую я работал, заслуживал похвал, и в преподавании математики тоже, нравился красивым девушкам, имел многих друзей, и они меня любили, даже говорили иные из них, что и в дружбе я гениален – но я не знаю, не могу понять, даже не догадываюсь, почему они любят Сталина.

Я знаю, что война для нас была несчастьем, она переломила хребет не немцам, потерявшим из восьмидесяти миллионов менее восьми, то есть менее, чем каждого десятого, но русскому народу, потерявшему из ста шестидесяти миллионов (включая, конечно, и украинцев, и белорусов и обрусевших поляков и немцев) не менее сорока, то есть каждого четвертого. Каждый второй ребенок лишился отца. Каждая вторая молодая женщина лишилась жениха или мужа. Каждая вторая женщина, отправлявшая своих сыновей на фронт, лишилась из них одного или всех.

И я не знаю, не могу понять, даже не догадываюсь, почему они гордятся этой войной – нет, не только победой, но именно войной, и они не стыдятся того, что в первые же три месяца войны пять миллионов солдат оказались в немецком плену (вместе с генералами и офицерами), что немец подошел к Москве, что немец зачерпнул своей каской воду в Волге, что немец окружил Ленинград и миллион человек умерли от голода (включая детей), хотя правительство могло, но НЕ ХОТЕЛО ослабить и голод и блокаду и вывозить осажденных из города ранее того, как начало это делать. Прочитайте об этом у Виктора Астафьева, который и сам воевал, у Солженицына, у западных исследователей войны (или вы предпочитаете только воспоминания бездарных советских генералов?) Да, НЕ ВСЕ сплошь генералы были бездарны, но таким как маршал Мерецков, успешно наступавший от стен Ленинграда до Белого моря в 44-м году, сам Берия лично дважды выбивал зубы в советском застенке в 41-м, других, как Рокоссовский или Павлов, приговаривали к расстрелу и только чудом некоторых не успели застрелить, а послушные воле вождя гарцуют сегодня на бронзовом коне у стен Кремля.

Правда о войне даже у советских писателей представлена довольно полно, надо бы не лениться читать, писали и Константин Воробьев, и Василь Быков, и Гроссман, и Виктор Некрасов, и Виктор Астафьев – но советский человек предпочитал смотреть киношные байки или читать передовицы газеты Правда... Но почему даже не глупые и достаточно образованные люди *не хотят* знать правду, не хотят ЗЛО отделить от тех, кто пострадал от этого зла, и отстаивают гениальность Сталина и его банды – этого я не знаю, понять не могу, и не догадываюсь (хотя я во всем прав) – но вот что удивительно: и христианство и советская система взглядов легко и просто отвечают на все вопросы, на которые я не могу ответить (ну, например, виноват дьявол или недобитые враги или империалисты и тому подобное...), но почему же они не объяснили ни себе ни другим, почему народ-богоносец переломал все храмы в России после победы в Гражданской войне над своим образованным сословием и христианство пало и не могло подняться вплоть до падения советской власти; и почему советский народ, о котором только что утверждалось, что *народ и партия едины*, и который презирал частную собственность, психологию наживы, власть золотого тельца и чистогана –

вдруг в одночасье предал все те ИДЕАЛЫ, во имя которых он сокрушил ВСЕ храмы, сжег все поместья (художественные сооружения, памятники зодчества), истребил пять миллионов образованных вместе с детьми, еще пять миллионов изгнал (и они бежали, спасаясь от пыток и расстрелов. от тюрьмы, издевательств, бесправия), уморил голодом десять миллионов работающих крестьян, затем начал истреблять собственных инженеров, красных командиров, чекистов, писателей, артистов, рабочих...

Этот народ предал и советские идеалы, какими бы они ни были, ринулся в армию мешочников и спекулянтов в девяностые годы, начал гнать и продавать ядовитую водку, сам ее пил и вымирал (и я ее пил и чуть не сдох тоже, но я то не был советским, я то их советские идеалы НЕ предавал!), но этот народ, предавший советскую власть и присягнувший олигархату, все еще любит Сталина, хотя так же любит и новую власть.

Это все непостижимо, и я ничего понять не могу. Я так же не могу понять и того, почему они все ВСЁ понимают, и на каждый мой вопрос, и на каждый мой упрек приводят тысячи объяснений и возражений, и почему они вчера готовы были меня растерзать за то, что я защищал христианские храмы и обличал коммунистическое иго, а сегодня готовы растерзать за то, что я порицаю нынешнюю антикоммунистическую власть!??

Может быть, это все потому, что они долбаё..ы?!!!

2. Надо перевести дух

11 января 2015, суббота. Конечно, я страдаю и от того, от чего страдают и мои собратья-писатели, то есть что меня не печатают и не распространяют издатели, что я не зарабатываю денег своими книгами и что меня не читают. Но это все страдания второстепенные – а иногда я и вовсе безразличен к тому, что у меня нет известности и множества читателей. Я не страдаю от того, что не богат, не имею шикарной квартиры, автомобиля и дачи, не имею какой-нибудь средненькой власти – наоборот, думаю я, лишние деньги (сверх того, что необходимо, чтобы хватало на «хлеб» и жилье, на электричку в деревню, на театр один раз в месяц) меня бы обременяли, у меня оставалось бы меньше времени на книги. Точно так же и лишние читатели, кроме тех двух или трех, которые сегодня меня читают, уменьшали бы мою свободу. Страдаю я только от того, что я не могу оказывать влияния на жизнь, не могу изменить ничего из того, что считаю плохим. Но точно так же ничего не значили и все усилия культуры и ее гениальных творцов в сравнении с тем, как подчинялась жизнь государства и почти каждого гражданина тем, кто не умел написать даже посредственного стихотворения. Что зависело от Ньютона и Лейбница, Баха и Бетховена? А Робеспьер и Марат решали, кому жить и кому умереть и какой быть Франции и французам. Вольтер написал множество книг, чтобы ослабить всеиилие и диктатуру католической церкви, но ее не ослабил, Конвент же, состоящий из ничтожеств, одним указом ее упразднил. Я даже не смог прочитать «Майн Кампф» Гитлера, так она скушна и зауядна, но именно этот человек повел за собою сто миллионов немцев в Германии и за ее пределами. На кого я смогу повлиять своими книгами, на кого повлиял Иванов-Разумник,

Есенин, Даниил Андреев, Шаламов и Солженицын, и даже все в совокупности гении России в науке и художествах за последние три века, и даже вся русская философия и русская наука и культура, если как правило только «городовой» решал, трепетать ли сердцу в груди подданных, всходить ли Солнцу и вращаться ль Земле? На площади в Пекине миллион человек падали ниц пред ничтожным коммунистическим вождем, подобным ПолПоту или КимИрСену и нынешним побегам этого древа, и так было во все времена, а вдохновенные поэты, философы и пророки нередко умирали с голоду или на эшафоте или в тюрьме – и как же поверить в то, что мир устроен разумно, что его движение определяется сверхбытийным Правителем, если своими наместниками на Земле Он устанавливает либо Дьявола (Князя *мира сего*, как его называют учителя христианства и Сам Спаситель), либо эта жизнь Ему не подвластна, – но тогда что значат беспрестанно повторяемые слова, что «у вас же и волосы на голове все сосчитаны» и что ничего не может человек сам, «если на то не будет Божьей воли» и что «человек предполагает, а бог располагает»? Или и это все вранье, или говорится только для красного словца?

Да, вот что меня заботит: не то, почему мне плохо, а почему так отвратителен мир, почему в нем властвует злая сила, почему талант и ум бессильны, почему добро – свойство только слабости? Разве я не встречал и среди собак больших добродушных псов? Встречаются ли они среди людей? Один мой знакомый генерал убеждал меня, что не все генералы таковы, как у Салтыкова-Щедрина в известной сказке и как я про них думаю, не все менты работают только для мзды и плана, и посадят и родную мать, когда *надо*, и выбьют из нее нужные показания... Но честные и добрые так исключительны, что поневоле думаешь: а может быть и некоторые крокодилы летают? («Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? – Ты что, сдурел?! – Но товарищ полковник говорит, что летают. – Ах, вот как... ммм... ну, как тебе сказать, рядовой? Ну, в общем, летают, но только низенько-низенько!»)

Итак, в мире царят зло и злая сила, правит миром «Князь мира сего», то есть Дьявол, отдельными народами правят цари и властители подстать Дьяволу, народы в целом и все составляющие его инфузории таким порядком вещей вполне удовлетворены и счастливы, отдельные несчастливые и несогласные пишут книги, пытаюсь разубедить в этом верных, но это им НЕ удастся, сколько бы энергии, таланта и прозрения они в свой труд ни вкладывали, и можно ли что-нибудь в этом изменить, спрашиваю я себя?

Как всегда, в поисках ответов обращаюсь я к Пушкину, который задавал себе те же самые вопросы, что и я и другие, литераторы и философы, и у него *знаю*, устами Сальери: Увы, «нет правды на земле. Но правды нет и выше!!!»

Так для чего же тогда писать? Пытаясь ответить на сей вопрос самостоятельно, я написал целую книгу «Призвание литературы», но, как говорят причитавшие ее, о призвании литературы я в ней ничего не сказал.

Может быть, о призвании литературы что-то сказал Пушкин? В «Памятнике» он говорит: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в наш жестокий век восславил я свободу И

милость к падшим призывал» – это ли не достаточное *призвание*, не исключающее и другие цели художественного творчества? Но не говорит Пушкин о том, что его Лира пробуждала и преображала в человеке его душу, по-видимому, он сам горестно понимал, что не более чем пробудить минутное доброе чувство, это все, на что способна Лира, а значит, как не было правды на Земле (и выше), так и не будет, и ТЩЕТНЫ все мои усилия, вся моя литература, как усилия и литература Даниила Андреева, Пушкина, Толстого, Пришвина и Солженицына... народ как спал на коленях с молитвою «Боже, храни царя!» и «Царь, храни нас, твоих любящих верноподданных!», так и будет спать до Страшного суда.

«К чему рабам дары свободы?!»

3. Избранные места из «Новой переписки с подругой».

12 января 2015, понедельник. Вполне возможно, что все мои вопросы не имеют ответа такого, который бы меня утешил. Река течет вниз, в ту сторону, в которую понижается местность, и если нам надо в верховья, то или приходится грести против течения, или пробираться берегом. Люди таковы, каковы есть, живут, повинуюсь прежде всего инстинктам, иногда их охватывает энтузиазм, чаще всего во имя неблагой цели, например, разграбить Царьград, завоевать Европу и целый мир, обратив население завоеванных областей в рабов, поделить имущество богатых, сжечь их поместья, а дочерей изнасиловать.

Таково большинство и переменить их невозможно, хорошо, если обычаи и законы страны держат людей в страхе и повиновении, не позволяют без разрешения грабить чужие страны, сжигать чужие поместья, устанавливая ежечасно новую революционную справедливость.

Если судить о крестьянах, о тех, которых я знал, то послевоенное поколение (в моей, например, деревне) было работающим и честным, но и то делилось на две неравные части – духовная близость была у меня с «малым народом», который составлял тогда не более трети. И дети их, как оказалось, симпатизируют мне и ныне и даже читают мои книги. Но сегодня в той деревне, где я живу в теплое время года, «малый народ» за последние годы резко уменьшился, пятнадцать лет назад их было менее четверти, сегодня Бог собрал бы на поле, на котором Он давно уже не сеет, разве лишь десятину. То же, вероятно, и в городе.

4. Бунт или Примирение?

Женщине, своей привязанности к ней, своему увлечению ею: эстетическому – ее душе и плоти; нравственному – увлечению ее терпимостью, нежностью, отзывчивостью, заботе – я никогда не изменял; с государством же Российским мои отношения сложнее, я и тоже хотел бы, чтобы оно было великим, но не за счет значения личности и личной свободы, не за счет того, чтобы втаптывались в грязь и в бетон живые души; но спор мой не с государством, а с теми правителями и царедворцами, которые отождествляют себя с Россией, но роняют ее честь, достоинство, благосостояние, ее мощь.

Еще сложнее мои отношения с Богом. Вся та пена людская, которая, по свойству всякой пены, легко поднимается к поверхности жизни и пользуется ее преимущественными правами, разумеется, отождествляет себя и с Россией, и с Богом. Они, чаще всего ничтожные, ничего не созидающие ни в хозяйственной жизни, ни в культуре, ни в военной области, ни в области искусства государственного управления, выдают себя за становой хребет государства. Если Бог – это символ их власти и богатства, как и церковь – важнейший институт их власти, то с их Богом мне разговаривать не о чем. Но кто-то мне скажет, что другого Бога нет. Что ж, тогда мне по пути с Вольтером и Конвентом и с революционными матросами и крестьянами, разрушавшими храмы и сжигавшими поместья. Или Бог опомнится и отделится от прохвостов, сидящих на народной шее, или я останусь лучше с крестьянами, но не буду стоять на коленях перед правителями и сверхбогатеями.

И все же Россия – это не только «вип-персоны» и «слуги народа», избирающие народ, не только их собственный Бог, защищающий их и оправдывающий, но и красивые девушки, тысячелетняя история, включающая победы и поражения, подвиги и падения, труд и творчество, великую культуру, не только дворянскую, но и крестьянскую. Это и нынешние поколения, во-первых, мое собственное, принимающее еще деятельное участие и в духовной и в мирской жизни общества, во-вторых, поколение наших родителей, среди которого живы еще и те, кто воевал вместе с моим отцом, и, наконец, поколения наших детей и внуков, созидающие действительно духовные и мирские богатства России, но отстраненные от всякого влияния на ее судьбу (их влияние ограничивается или «Болотной площадью», или залом суда, или стенами тюремной камеры). Но неумолимое время неумолимо не только к арестантам и поэтам, оно неумолимо и к хозяевам жизни и страны: пройдет еще десять-пятнадцать лет, произойдет естественная замена правящего слоя, одни из них умрут сами, других убьют, третьи разорятся или потеряют изменчивую народную любовь... Жаль только, что «жить в эту пору прекрасную мало кому из нас, отцов, придется».

Россия – это и народ в целом, независимо от расслоения его по имущественному положению, по уровню культуры, образования, возраста и успеха, все те, кого мы встречаем в метро и в автобусе, в концертном зале, в магазине и на улице, в бане, на работе, в толпе и в частных пересечениях, например, в такси, как сегодня, когда я перевозил книги на товарный склад для отправки в Москву. Целое и частное производят неодинаковое впечатление, иногда чуть ли не противоположное: целое, которое предстает из телеэкрана, сообщений газет и Интернета, из собраний общественности, посвященных памятным датам, например, двухсотлетию со дня рождения Лермонтова или годовщине частичного снятия Блокады, вполне солидарно с властью, политической и экономической; частные же пересечения, в которых люди делают своим сокровенным, насыщены болью, разочарованием, тяготами жизни, недовольством этой жизнью и ее хозяевами. Целое исполнено энтузиазма и претя вперед, частное устало, запуталось, скользит и

падает, переменчиво, жаждет то покоя, то успеха, то простого счастья, но во всяком случае не до конца удовлетворяется общественным энтузиазмом.

Россия – это не только народ (который в большей степени отвечает свойствам целого и ведет себя более или менее солидарно), но это и атомарное (дискретное) множество, собрание людей, собрание и толп, и сообществ, например, мусульман, православных, студентов, ученых, но и разнообразных групп со своими групповыми интересами, например, жителей пригородного поселения, деревни, работников фирмы, но и семей, но и отдельных индивидуумов, интересы и пожелания которых не сливаются с интересами специфических подмножеств. Индивидуальность в периоды общественной неустойчивости менее консервативна, чем можно подумать при споре за кружкой пива, именно поэтому наука и философия гораздо чаще ошибаются в оценках настоящего и будущего, чем литература и искусство (или и эти в неведеньи, «что день грядущий нам готовит?»).

Россия – это и народ, и население, и каждый отдельный человек как самостоятельное целое, то есть это и мир и собрание миров. Вот в чем мое главное заблуждение, главная ошибка: я, будучи поэтом и литератором, но не политиком или социологом, мыслил общими понятиями, и забывал об отдельном человеке, я мыслил об общем, том или ином, но не об отдельном. Когда я говорил о крестьянах, жителях деревень, и ругал их, говоря, что они спились, разленились, выбрасывают за околицу груды мусора – но разве они все таковы? Те, с которыми чаще меня сводила в дружеских встречах судьба, совсем не таковы. Даже и сталинисты существенно неодинаковы: разве для моего старого «адмирала», с которым мы работали сторожами, Сталин не был только мифом, который символизировал собою противостояние нынешней власти, отрицание ее антирусской политики?

Я ругал городских обывателей – но и они условность, в концертном зале они совсем не таковы, как при чтении лживых газет. Вот также часто бывает глуп и дурен пьяный – но не всё же он пьян, иногда и трезвеет, а тогда, быть может, он совершенно не похож на себя пьяного. И каков человек в компании, в разговоре то с одним то с другим, на собрании, посвященном политике на Украине, иногда мало что значит для его всесторонней оценки. Он может работать хорошо или плохо, быть заботливым или холодным, быть верным мужем и другом или перекаати-поле, быть поверхностным или глубоким – нет, забудем о политике, о ее преломлении в досужих спорах или при тенденциозных социологических опросах, будем соотноситься с каждым человеком как целым, и отбросим в сторону его, например, симпатии той или иной футбольной команде или (анти)музыкальной группе.

Глядя только на опросы, в которых народ постоянно одобряет политику партии и правительства (и вчера, и позавчера, и сегодня, хотя и партии и правительства поменялись на противоположные), я дошел до ненависти и презрения к собственному народу, я уже перестал сомневаться в его тупости, раболепии, несамостоятельности, неглубине, лени и бесталанности, даже в трусости и подлости – но отчего же меня окружают и приходят на помощь так много прекрасных, добрых и умных людей, если народ наш уже давно

выродился? Отчего у меня столько разнообразных друзей, если все в толпе однообразны? Может быть, именно потому, что в толпе они окрашены цветом толпы, а отдельно они содержат в себе всю радугу красок?

Мне тошно, болят спина и поясница, болит желудок, болят глаза, затекает шея от сидения за компьютером, хлеб какой-то поддельный, пополам с опилками, что ли, сметана и творог еще хуже (впрочем, есть и подороже, и тогда лучше, но...), от пенсии платят меньше половины, да и весь ее размер какой-то куцый – но разве в этом народ виноват? Разве в этом виноваты мои друзья и знакомые, даже если они и голосуют за правительство и носят хворост в костер, на котором сжигают Яна Гуса (а завтра меня)? Они-то мне сочувствуют, даже ведут в распивочную и ставят стакан за свой счет (хотя мне пить и нельзя – но не по заданию же правительства они меня спаивают, чтобы уморить?!).

Да, мне тошно – но много ли я интересуюсь, каково им?

В молодости изо всех сил стараешься навязать другим свои убеждения, но разве не для того человека учит жизнь, чтобы он научился принимать в ней разные ее стороны, не только то, что приятно его собственному глазу и уху?

Хватит нападать на свой народ и страдать от негодования. Надо научиться любить людей не только за то, что они поют с тобой в унисон, что они тебе подпевают, но и тех, кто поет сам по себе, и даже тех, кто поет дурно или не поет вовсе.

Надо примириться со всеми, кроме тех, кто привносит в мир зло, кто обижает слабых, кто обманывает и развращает, то есть надо примириться со всяким человеком «доброй воли», даже если он заблуждается.

Быть может, это мое новое умонастроение вызвано не только разладом с собой и с миром, не только кризисом в душе, разочарованием в своем творчестве, но и болезнью, слабостью, и боюсь продолжить свою мысль, не вызвано ли это умонастроение тягостными предчувствиями, унынием и депрессией? Но мне надо бороться и с душевным и с телесным упадком. Немало тех, кто от меня зависит, кому я еще могу помочь хотя бы добрым словом, кому без меня станет гораздо хуже. Значит, надо жить, работать во все силы, заботиться о нуждающихся в заботе, любить и тех, коих любить утомительно. Но для этого мне надо примириться с теми, кто душою на стороне доброго, даже если и шагает под чуждыми знаменами, потому что их подводит зрение.

5. Две существенных причины для Примирения

Я гордился и даже похвалялся своими достоинствами. Ну, кое-что было и во мне хорошее, я не только без особой нужды выпивал и засматривался на красавиц, но и некоторые работы делал хорошо, в частности, и как редактор был неплох. Но самонение портит всякого, даже талантливого. Кроме того, в тех случаях, когда работа очень прямо касается другого человека, влияют на ее результат многие не только рациональные обстоятельства, но и иррациональные. Еду вчера с таксистом, работа его в том, чтобы меня благополучно довезти до нужного мне места, но если он еще и приятный

собеседник, к тому же помогает погрузить и выгрузить книги, то он выполняет две работы, за деньги меня привозит в нужное место, а бесплатно дарит мне удовольствие и помощь. Такова, несомненно, и работа учителя и редактора, недостаточно научить решать задачи и исправить текст, необходимо еще и хотя бы в некоторой степени *редактировать* учащегося и пишущего. Учителем я был тоже неплохим, несмотря на то, что засматривался и на хороших учениц, и внимание им уделял большее только за их красоту; талантливым я тоже старался передать нечто, что развивало бы их талант, и что напрасно было раздавать всем подряд... Но как же те, кому не давалась математика? Или у кого способностей было меньше, чем у других? Кому семья не помогала учиться?

К ним разве не надо было относиться справедливо? И что это значило: быть справедливым в классе к ученикам? Оценивать знания по знаниям? Быть ко всем одинаковым? Или, напротив, поощрять лучших?

Я не исходил из предвзятого правила. Я и вообще мало правилам подчинялся и мало им следовал. Многие определялось обстоятельствами. Вот я прихожу в дом к замурзанной серенькой мышке, неспособной в классе даже пискнуть, смотрю, как она меня встречает, как ухаживает за гостем, чистит картошку, кормит братишку, сколько в ней достоинства и грации – и я в нее влюбляюсь какой-то сверх-плотской (то есть НАД) любовью, я ей ставлю пятерки (ни за что!) и вскоре она становится лучшей.

И на днях со мною случилась история, которая словно бы была мне свыше ниспослана в назидание, Ангел ткнул меня мордой в зеркало, прикрикнул, посмотри, мол, на собственную рожу, и я устыдился своему неоправданному самолюбию... да если и оправданному!..

Писатели и писательницы, присылающие в издательство свои рассказы и повести, мне незнакомы, я даже их на фото не видел, и меня они тоже не видели (кроме как в виде скульптур Диогена и Луция Брута, которых я выдаю за себя, хотя и признаю, что таким был я более двух тысяч лет назад). Присылают тексты, читают мои исправления красным, трепещут, робко иногда возражают – вот и все. Изредка я свои исправления комментирую, то язвительно, то с похвалами.

Делить их на разряды в таком смысле, что, дескать, одни талантливы, другие же бесталанны, не буду: нет, будем считать, что тексты мне лично симпатичны или нет в зависимости от моего личного вкуса, и это не всегда связано с талантливостью произведения. Итак, редактирую я писательницу, ругаю ее (так что она чуть не плачет), небрежно листаю страницу за страницей, правлю не слишком, кое-какие советы даю и спешу отвязаться. И вдруг получаю от нее письмо, в котором она спрашивает, почему *то* и *это* так и этак (и оговаривается, что вам, конечно, виднее, вы умудренный жизнью и наукой редактор) – но я вижу, как горячие слезы скатываются у нее по щекам. И в довершение происшествия выясняется, что я перепутал файлы, хотя она отчасти и виновата, так как назвала их одинаково, – и посему редактировал старый текст, который она еще не исправила.

Для чего же я старалась? – спрашивает она плача. Я, конечно, попенял ей

за одинаковость имени двух разных текстов, но перекладывать свою вину на других – это, все же, последнее дело, поэтому стало мне ужасно стыдно.

И вот я послал ей письмо, в котором каялся в самодовольстве и небрежности, просил меня простить, и к тому же обстоятельно ответил на все ее вопросы, перерыл весь Интернет, привел нужные правила, исключения из правил, и что я сам стараюсь в согласии или вопреки правилам. Пока ответа от нее еще нет, но я страдаю, и понимаю, что надо стать лучше, быть более внимательным ко всем, а не только к избранным. Конечно, я волен влюбляться в кого хочу, переписываться с избранными, обожать их, это мое личное дело, за это мне деньги не платят – но довести автора до места назначения, то есть до типографской книги – это долг издательства и мой редакторский, и вести себя так, чтобы автор был счастлив, что он выслушал мои наизидания и принял их – это тоже часть моей работы, да и просто долг хорошего человека.

А что же я ругаю свой несчастный народ? Он состоит из бесконечного множества разнообразных характеров, воль, симпатий и предпочтений; каков каждый из субъектов, входящих в народ, они и сами до конца не знают, да они не до конца и откровенны в разговорах и поведении – разве я сам таков с другими, как наедине с собой? Разве я всегда откровенно высказываюсь о правительстве и ментáх? Да и когда очаровываюсь я вертихвостками, спрашиваю ли я их, ходят ли они на Болотную площадь?

Итак, к народу надо относиться не с меньшей любовью, чем к девушкам, чем к школьникам, чем к моим подопечным писательницам.

Следовательно, больше я народ не буду ругать, постараюсь его понять и простить.

Но есть и еще одна причина, по которой я постараюсь изменить тон своих выговоров и нравоучений. Она состоит в том, что я по другому буду теперь оценивать и каждого человека и все обозреваемые мною множества их, в том числе и народ. Разве я не пересекаюсь с разными людьми, оценивая прежде их профессиональные качества? С таксистом, продавщицей, пианисткой, печником, столяром, писателем? Иногда и вовсе не узнаю у них, читают ли они газеты и смотрят ли телевизор? Любят ли правительство или его ненавидят? И часто говорю (не зная всего того, за что ругаю народ и своих друзей и знакомых): Какой милый, обходительный человек, какой заботливый, какой талантливый! Какую прекрасную книгу он написал!!! (А политические предпочтения авторов читателю, как правило, не известны).

Так что же я к друзьям и к народу так нетерпим?

6. Писатели и философы. Классическая русская литература.

Писал я о Льве Толстом, разве я порицал его за его художественные произведения? Нет, я говорил, что он наша гордость, что он величайший художник, гений русской литературы. Тем более не порицал я Пушкина и Лермонтова, хот и у них, возможно, были некоторые слабости – но я их не замечал. Спорил я с Толстым только в той области, которая и для него была второстепенной, то есть с Толстым как религиозным проповедником, публицистом и литературным критиком – но и в этом споре был я мягок.

И вот читаю, наконец, Константина Леонтьева, против которого по непонятной причине был предубежден (именно потому, что заранее составил себе по обрывочным сведениям предвзятое мнение о его взглядах).

Его статьи (незадолго до смерти) посвящены выяснению взаимоотношений Соловьева и Данилевского, точнее говоря, нападкам Соловьева на Данилевского; мотивы и взгляды Соловьева Леонтьев и разбирает, одно-временно говорит важные вещи о книге Данилевского «Россия и Европа», упоминает при этом Н. Страхова (с которым последний дружил и с предисловием которого и вышла его книга – а я в 94-м году ее переиздал, впервые после первого издания, оставив и предисловие Страхова и добавив предисловие университетского историка Галактионова, под редакцией и с примечаниями которого книга и вышла. Кстати снова напомнить то, чем я горжусь: умирая, Галактионов просил свою жену позвонить мне, сказал, что знакомством со мною он счастлив – и жена его заплакала, передавая мне эти слова, и я заплакал.)

Но прежде чем перейти к разбору критики Соловьева, Леонтьев говорит нелицеприятно о Толстом, и я эти слова приведу в назидание многим, как назидание в том, что: не надо превращать великих писателей и философов в иконы, надо их уважать и любить за их достоинства, но не бояться с ними спорить и даже их ругать. А меня упрекали в непочтительности, дескать, как я, пигмей, смею с Толстого пылинки сдувать?!

Нет, такое коленапоклоненное почтение к нашим гениям только унижает их, на коленях можно (иногда и должно) стоять перед какой-нибудь вертикальной, стгорая от любви или ненависти (и это оправдано и великолепно), но на коленях нельзя стоять перед писателем (если только нет в отношении к нему чего-то личного, когда на колени становятся не перед писателем, а перед человеком, но такое возможно между мужчиной и женщиной, какая бы любовь их ни связывала, плотская или только духовная. Так и я восклицал не раз: ОБОЖАЮ! – в адрес выразительных романисток, так и они мне иногда восклицали, хотя, кажется, вовсе не собирались со мной обниматься и целоваться).

Ну, вот, привожу слова Леонтьева, он пишет: «...я различаю *этого* прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны» от его же теперешней тени... Тот Лев – живой и могучий; а этот, этот – что такое?.. Что он – искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить... Расчет, однако, верный на *рационалистическое слабоумие читателей!*... если *новый* Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то, как ни даровит был Толстой прежний, этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из своего ума, Или же если он и тут не совсем спутался в мыслях, а *придумал* только, чем бы еще неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать – я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что название будет слишком нецензурно и я умолкаю.»

По поводу приведенного отрывка возникает множество замечаний, идей и ассоциаций, во-первых, что даже с великим писателем возможно не соглашаться и спорить, не боясь обвинений в непочтении, и даже необходимо честно и откровенно выражать свою точку зрения (хотя, правда, спорил я с Толстым в связи с его нападками на культуру и проповедью какого-то питекантропского опрощения: «Назад к мамонтам! Долой литературу и музыку, надо жить в пещере, добывать огонь, выбивая искры, нацарапывать на стенах острым кремнем наскальные рисунки, танцевать перед саблезубыми тиграми, все делить поровну, особенно женщин!» – впрочем, это я уже спугал, это у большевиков, от которых, впрочем, Толстой ушел недалёко). Во-вторых: Леонтьев и Толстой были современники, Толстой прожил только дольше, еще двадцать лет, в течение которых в философской литературе развилось и заняло свое важнейшее философское место творчество Соловьева, закатилась звезда славянофилов, даже Данилевского начали забывать, но возшла звезда Розанова. Вот эта эпоха в тридцать пять лет после речи Достоевского в 1881-м году была эпохой становления в русском обществе национальной науки (Менделеев), истории (Сергей Соловьев, Ключевский), национализма (Данилевский и младо-славянофилы), философии (Соловьев, Лосский, Бердяев), философской критики и публицистики (Леонтьев и Розанов). Да, сошла со сцены великая художественная литература девятнадцатого столетия, то есть мышление ОБРАЗАМИ, но упрочилась русская МЫСЛЬ (философская и полу-философская, как у Розанова и теперь у меня), то есть мышление понятийное.

Негодование Леонтьева по поводу Толстого объясняется тем, что как только выдающийся творец в области формы и жизни переходит к рассуждениям, так талант его иногда прямо таки скудеет. Но не то же ли у большинства частных людей, не писателей? Он, возможно, гениальный актер, начинает рассуждать об истории, диву даешься, куда исчез талант; прекрасный живописец, но не слушал русских романсов и косноязычен; умеет вязать и шить, но говорит прописные истины, словно кроме букваря ничего не читала. Но ценим мы человека за его лучшее, в чем он выразился полнее всего, поэтому-то справедливее тот, кто видит народ не как скопище слабоумных (отмечая в них низшее), а как собрание исключительных (видя в них высокое, то, к чему они более способны. Вот я насладяюсь пением с пластинки Вари Паниной, она поет «Журавлиную песнь», и я невольно сижу с мокрыми глазами. Слава богу, что я не ехал с нею в электричке и не знаю, как она относилась к царю – да разве это имеет какое-нибудь значение? Отчего же пеняю я народу нынешнему за его отношение к нынешнему царю?

Послушал я выступления наших современных писателей и закручинился, и тоже, как Леонтьев о великом Льве, подумал, не впали ли они в детство, только уже в связи с их показной и глупо-догматической религиозностью и «воцерковленностью», а не нападками на церковь. Но прав ли я? Писатели как писатели, грамотные, мыслят образами, а что очаровались Всевышним, как вчера Марксом, так очевидно ли, что я умнее их только потому, что во Всевышнем уже успел разочароваться, как позавчера разочаровался в

Марксе? Вот так же и Лев Толстой, пока писал романы и повести и рассказы, был могуч и самобытен, а начал учить народ, как жить, так и поглупел (но и я не учу ли народ? И так ли уж я умен?) То же и с Достоевским – не только царь плакал, читая его «Записки из "Мертвого дома"», плакал и я, девятиклассник, а затем и в зрелые годы – что уж я пеняю ему постоянно, что не понимал он простой народ, то есть "мужиков и баб", которых ставит нам всем в пример дворянин граф Лев Толстой, якобы народ понимающий? Оба они считали русский народ «Богоносцем», конечно, не оказались и они пророками в своем отечестве (словно бы кто-то другой оказался пророком?).

Вероятно, все мы не только глупые, но в какой-то мере и умные – или наоборот, не только умные, но по многим частным поводам глупые, все мы стремимся к лучшему, только подводят нас то пророки, то вожди, то Бог, то философская истина, а пуще всего те Мифы, которые управляют течением нашей жизни, то языческие мифы, то миф христианства, то марксизма, а теперь миф западной демократии и рыночного либерализма. Нет, напрасно унижаю я народ только за то, что он обольщается, что он легковерен, а может быть бросается в одну и в другую веру с отчаянья, как женщина, настрадавшаяся одна или с отчаянья с постным мужем (например, с «Горби»), бросается от одного любовника к другому в надежде урвать немножко счастья (да куда ты к пьянице льнешь? – кричит ей подруга – так где ж трезвых на всех набраться? да куда ты к глупому пристаешь? – а найди-ка мне умного, если сама такая умная!).

Может быть я самый умный – но только с моим умом ничего изменить я не смог к лучшему. Может быть я самый проницательный – но только с моим проницанием не написал я не только «Войны и мира», но даже новых «Записок из "Мертвого дома"» – а я ведь в них побывал!

Только потому, что несчастный народ хватается за иллюзии, то за Ельцина, то за его преемника, несправедливо его шельмовать. Он лучше меня понимает, что от него ничего не зависит, что всплывает наверх дохлая рыба, вот и прячется по омутам и утешает себя сказками о «добрых царях» – а если себя не утешать, то можно всем повеситься от тоски. Кто же тогда будет рожать и воспитывать новых Толстых и Достоевских, новых и самозванных пророков вроде меня?

Кто мне нальет в засушливый день, поднесет корочку в голодный год, встретит на выходе из тюрьмы, чтобы поздравить с свободой? Кто мне будет носить передачи – а ведь не только родные их носили, но и друзья, не только жена писала мне утешающие письма, но и подруги (с которыми меня связывали НЕ опьяняющие чувства).

(Да и кстати уж, собираюсь я выставить в Интернет свои сочинения, относительно некоторых засомневался и спрашиваю в разговоре, не посадят ли – за неосторожные выпады против правителей и богатеев? Выставляй и не робей! – отвечает мне собеседник, они НЕ УСПЕЮТ их прочитать, как их самих уже сметет волна народного гнева! «А вдруг прочитать успеют?») Значит, ничего не поймут. Много ли понимают те немногие, которые их прочитали? Подряд читают лишь единицы, а другие через страницу,

православные считают тебя протестантом, коммунисты безбожником, матери семейств распутником... Более того, одни евреи полагают, что ты антисемит, а другие, что иудей. Русские причисляют к чукчам, а чукчи качают головой и недоумевают, *не шибко ль ты умный* даже в сравнении с ними?)

Леонтьев ругает Толстого за то, что Толстой исправляет Евангелие и нападает на церковь, прямо таки называет его преступником за то, что он смущает его народ и расшатывает его веру.

В какой же вере я сам укрепляю народ? Я не преступник ли? Сталин для меня злодей, а народ в него верил. Советская власть, по мне, преступна, а народ верил и ей. Нынешняя власть – власть воров и мошенников, но ведь большинство за нее!!! Так не лишаю ли я народ веры? А пуще всего тем, что *мыслю понятиями, а не образами*, и христианство, как и марксизм, для меня *МИФЫ*, и всякое учение, претендующее на всеобщность, по моим представлениям мифологично. Даже уже до того докатился, как Розанов, что верю в народность еврейского бога, который прямо сказал им, что они для Него избранные, и в антинародность христианского, ибо, судя по учению апостола Павла, все мы, язычники, избраны Им уже поневоле, как привои к яблоне, как дички, которым Господь попустил привиться к древу Израилеву из-за отпадения от него евреев.

Сорок лет я сомневался, бродя в одиночку в пустыне, выставить ли мне сомнения мои на всеобщий суд, именно потому сомневался, что боялся смутить тех, для кого вера была последним прибежищем. Возможно, так же сомневался и Коперник, опровергая геоцентрическую систему мира – но ведь не рухнула ни Гея, ни вера, ни Геркулесовы столпы?! Или все же они отчасти рухнули?

7. Причины депрессии

Отчего я ищу примиренья с народом? Оттого, что сам пошатнулся, стало мне еще хуже, к врачам даже опасуюсь идти, вдруг скажут, что пора умирать. Засыпаю плохо, сплю еще хуже, просыпаюсь не выспавшись и с трудом.

Представляю даже по ночам, как меня расстреляли, и будто бы я после этого лежу и радуюсь Это у меня упадок духа, по научному называется *депрессией*. Так как это и состояние и всей личности, и души и тела, и даже трудно понять, оттого ли депрессия, что с плотью неладно, или плоть изнемогает, потому что душа "влипла", а к тому же это и душевное заболевание, то я задумался о его причинах и его природе.

За последние годы преимущественно сосредоточен я был на нескольких пунктах. Во-первых, что жизнь проходит, а сделать существенного ничего не удалось (мешает и неправильное устройство общества и неправильное мое в нем положение). Во-вторых, что девушки уже почти совсем не смотрят, потому что и старость меня поработает, и недомогания, и бедность и замученность всего вида, а в этом тоже отчасти виновато общество. В-третьих, что даже и то, что я уже сделал, никому не нужно, все заняты выживанием или чинопочитанием, или радованием на такую божественно прекрасную власть или верую в такого справедливого Бога (а это, несомненно, только и объясняется тем, что Россия гниет, и Запад тоже, и человек.) В четвертых, что хотя и то, что я уже написал, не так уж плохо, но так как никто не читает, то

надо было бы написать лучше, но Бог если кому и помогает, то тем, кто стоит на коленях и непрестанно ему молится (Он очень щеславен), а мне помочь не хочет нисколько, и только музы иногда по ночам приходят, а то еще приходили волхвы, а то и девушки иногда случайно смотрят и тем вдохновляют – но этого всего недостаточно, чтобы я написал так, чтобы разрывались сердца. В пятых, нет денег, и последние отбирают почти, дом деревенский далеко, утомительно ездить, издательские дела не налаживаются, поэтому как тут умрешь, когда без меня и совсем будет некому помогать, и времени нет тоже... В-шестых и в-седьмых и перечислять не буду, потому что, наверное, не лучше...

И вместе, сосредоточившись на семи пунктах, я выхода из бедствий никакого уже не видел. Не вижу выхода и сегодня.

Вчера звонил Вике, она закричала: *Мой миленький, мой дорогой, мой золотой, надо встретиться, я соскучилась!* Звонил и В., она хотя еще маленькая, но тоже обо мне *скачает*. Есть даже и одна совсем удивительная, она меня *обожает*.

Вчера был праздник Крещения Господнего, вечером наступил «Крещенский вечерок», мы дома гадали, но ни тюрьмы, ни сумы, увы, не выпало, какое-то пресное всё житье. Но так как всё кругом плохо, не только у меня, но и у других, и денег у них тоже нет, и любви не хватает, и дела идут так себе, и пишется плохо, и тоже никто и их не читает (и даже не печатает), то они удивились и обрадовались, что я ишу новые основания жизни, хочу примириться с народом и миром (но только не с Римом), узнать причины депрессии и преодолеть ее, найти причины упадка, угнетения, безволия и пессимизма и причины и источники воли для созидания новой оптимистической жизни, благословили меня на эти поиски и велели тот час же, как найду, встретиться с ними и всё рассказать.

Снова сосредоточился я на этих же семи пунктах, и со вздохом сказал себе, что, пожалуй, мне уже давно относительно себя все ясно, только сознаться себе я в этом не хочу или не могу (по малодушию).

Рассмотреть же теперь надлежит мне пункты эти снова, только уже не по содержанию, а чисто формально. Представим себе, что человек сидит в тюрьме и вопиет, что из нее не выйти до смерти, а хочется глотнуть хоть глоточек свободы, так помогите же, люди добрые, вырваться из нее, подкопать, стены обрушить, через крышу бежать. Стучат люди добрые в стену и убеждаются, что стены крепкие, обрушить их не удастся, подкопаться тоже, глина и камень, да и на крышу не выбраться.

Нет, никто мне помочь не может. Тюрьма же эта – земной мой мир, улететь от него я не умею, да и некуда. А земной мой мир – Россия, «тюрьма народов», только и в Китае не лучше, и в Америке, и в Европе. И еще моя тюрьма – немощное тело моё. От него-то куда? Без него еще хуже...

И все же рассмотрение всех моих пунктов с формальной стороны объясняет мне то, что я нахожусь и подлинно внутри них, как в тюрьме, но только потому, что я центр всего того, что я оцениваю как плохое. Выход есть, но он не в том, чтобы преодолеть семь причин и следствий неблагополучия телесного и душевного, а в том, чтобы перестать быть

центром их, развязать их узлы и завязи на мне самом. Мне плохо не от того, что плохо, а от того, что я сосредоточен ТОЛЬКО НА СЕБЕ. Мне уже было сказано, что я *самовлюбленный эгоцентрист*, но я этого признать не хочу, и самолюбие, и безволие, и привычка... Сажу на камне, словно бы в пустыне, никаких стен вокруг, иди куда хочешь, никто не держит – но стены самые прочные – любовь к себе, эгоцентризм, сосредоточенность и чувственная и мысленная на себе. Стена в отношении к миру как к предмету потребления, словно бы его надо присвоить и поработить, сделать частью себя. Но этого сделать не удастся даже могущественным царям; и когда они владеют своей страной, они страдают от того, что есть еще соседние страны и они им не подчиняются.

Депрессия – результат и эгоцентризма и одиночества, *само-любие* уничтожает внешний мир, он почти не существует, ибо существует он только тогда, когда его любишь и им любишься. Подлинный друг или возлюбленный – это тот, о ком *заботишься*. Если же заботишься только о себе, то оказываешься не только в одиночестве, но еще хуже, в пустоте, ибо и сам себе становишься чужд и невыносим, надоедаешь.

Некоторые мои выводы касаются некоторых других больше, чем меня, жаль, что не все их могут усвоить. Для женщины существенно страдание из-за увядания плоти, и можно, конечно, из-за этого пуститься «во все тяжкие», то укорачивать, то удлинять себя, как одежду, но становится только хуже. И потому усвоить кротость и смирение – единственный путь к преодолению страдания. Возможно, молодость, *смирившись*, и не вернешь, но зато избежешь депрессии, более того, приобретешь, как ни странно, некоторую особую привлекательность в глазах мужчин, которые не всегда засматриваются на «хорошенькое» личико, но даже чаще на лицо, освещенное внутренним светом и преодоленным страданием.

И вот оказывается, что если смотреть мне на мое положение в мире не из ложного центра, которым являюсь Я в мире как якобы важнейшая ценность, источник и смысл бытия и смыслов, а из подлинного, которым является сам мир, частично находящийся во мне самом (ибо все то, что я о нем знаю, мыслю и чувствую, состоит из моих собственных мыслей и ощущений), но частично и ВНЕ меня, а следовательно, представляет собою "центр", входящий в меня и обнимающий меня (вот так же мы видим на небе Млечный путь как бесконечную россыпь звезд, глядя на него с Земли, но в то же время мы сами ему принадлежим, находясь несколько на его окраине и глядя на него из этой окраины: и все же мы вместе и в нем и снаружи).

Более того, **подлинно** мир, который через наше восприятие его оказывается нашим собственным содержанием, становится частью нас через особый способ неэгоистического присвоения, то есть через Любовь. Лишь когда мы любим что-то (или жалеем, или сочувствуем, или восхищаемся), оно становится нашей частью.

Вот так в букинистическом магазине мы можем приобрести некоторую книгу, но подлинно нашей она становится после прочтения, и каждый человек входит в нашу жизнь через сочувствие и заботу (что шире любви, иногда

совпадая с нею), и весь мир подлинно входит в нашу жизнь через внимание к нему и заботу о нем (под *вниманием* я понимаю и созерцание, и размышление, и изучение – познание, и восхищение и заботу, как, например, рыление грядки или прополка ее крестьянином).

В юности мы страдаем от несчастной любви, потому что жаждем присвоить предмет нашей любви не через заботу и восхищение, а через похищение, покупку или воровство. Если же мы соперееживаем предмету нашей любви, то не будем держать ее в тюрьме, растворяя в себе.

Правда, люди не ангелы, и от страданий из-за несчастной любви полностью мы не избавимся, но любовь-сочувствие, любовь-восхищение, любовь-забота эти страдания утешает.

Рассматривая все семь причин своей депрессии, я вижу, что причина существенная всего одна – чрезмерная сосредоточенность на самом себе.

Вот я вчера слушал концерт в университете, исполнители были из филармонии, три скрипки, виолончель и фортепьяно, в программе – Бетховен, Моцарт и Шуман, а рядом сидела юная очаровашка – и вправде ли я после этого жаловаться на жизнь?

Звонит мне моя воспитанница и уверяет меня, что я самый лучший. За что? Что некоторой несчастной женщине, которой существенно помочь я пока не умею, я дал тысячу рублей и она была счастлива. И чуть раньше помог немного другой – вдруг оказалось, что я ни в чем не нуждаюсь, и эти деньги у меня лишние; ну и, конечно, выполняю я разнообразные работы и для издательства, и еще одну по просьбе товарища, но не совсем безвозмездно, и еще одну работу почти безвозмездно – времени не хватает почти как воздуха, но так как я все еще жив, то жаловаться пока не на что.

Еду в метро с компьютером и продолжаю Записки... нет, не все плохо...

Какие же у меня еще были причины для депрессии? Не помню уже... Да, таланта мало. Но вот теперь начинаю жить праведнее, не буду так сосредоточиваться на себе, возможно, появится и талант.

Болят спина – но скоро уже поеду в деревню, буду копать погреб, копать грядки – спина и пройдет.

Старость настанет? А я что, девица, которую никто не берет замуж? Столь многие обо мне заботятся, спрашивают, не надо ли мне помочь, и даже уверяют в том, что соскучились.

Итак, причин для депрессии нет, надо только меньше о себе хлопотать, больше о других, и унывать будет некогда.

Правда, не удастся ничего изменить в мире к лучшему, и мало удастся помочь нуждающимся – вот это подлинно плохо. Я слушаю рыдания несчастных и сердце мое переворачивается, но сделать я ничего не умею. И все же, я еще жив, да вдруг опомнится и начальник судеб, и подарит мне силу, с помощью которой я помогу хотя бы одной несчастной – вот тогда я стану и сам счастлив вдвойне. И жизнь моя будет оправдана!!!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ХРИСТИАНСТВО и "ЧАША БЫТИЯ"

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадет,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша!
М. Ю. Лермонтов

1. Сиюминутное

25 января 2015. Вчера было заседание нашего крошечного философского кружка, докладчик рассказывал о комедии, и сначала долго оправдывался перед воображаемыми суровыми братьями во Христе, оправдывая СМЕХ, оправдывая тех, кто смеет смеяться, особенно в поэзии, драме и живописи (а вспомнишь о недавней бойне, учиненной мусульманами в связи с карикатурами во французском журнале, возможно, невинными – я их не видел, – и понимаешь: то, что было действительно при рождении религиозного мифа, действительно и сегодня, никуда не исчезло. Миф развивается, вбирает в себя много нового, но ничто прежнее в нем не умирает).

С христианской точки зрения СМЕХ греховен, так как Христос, как утверждают верующие, никогда не смеялся, и автор исследования оправдывал смех, чтобы примирить поэзию и христианство, культуру и христианство.

Деятнадцатый век в этом отношении был шире и свободнее: разве поэты, писатели и философы и актеры оправдывались в том, что они смеются?

Нет, этот век был уже НЕ христианским (хотя Пушкин и напал на Вольтера за осмеяние святынь, в частности, за его драму «Орлеанская девственница»); христианство – религия мрачная и жестокая, в ней нет ни детства, ни детского смеха, в ней воистину нет места той любви – или хотя бы того влечения, которое приводит к рождению детей.

Пушкин погиб на дуэли, стремясь к ней. И хотя он защищал христианство перед Вольтером, но похоронили бы его христиане внутри монастырской ограды, если бы не заступничество царя? Ибо стремление к смерти греховно.

А не греховно ли *желать смерти по христиански*, радоваться ей (как они сами об этом пишут?) И не греховно ли поставить в само основание религии смертную жертву как единственный способ спасения человека и мира, *падшими* из-за того, якобы, что Ева съела яблоко?

2. Загадка русской души

27 января, полночь. Прежде чем продолжать свои записки, надо мне сначала покаяться, так как хотя я и бросил пить, но сегодня нужно было «проставиться» Г. за встречу с неврологом, и хотя я пил меньше, но все же придется покаяться в пьянстве, так как я уже и без покаяния вынужден испулять этот свой грех.

И вот теперь от моего нелепого пьянства (происходящего из того, что в моем окружении все пьющие), уместно перейти к загадочной русской душе.

Первая часть загадки ее состоит в том, что русский человек напивается так, что перестает себя контролировать и совершает в этом состоянии разнобразные нелепые поступки: дерется, устраивает семейные скандалы, бьет стекла или что-нибудь ломает, пристаёт к женщинам, изменяет жене...

Так как я напиться уже не могу, потому что мне становится плохо еще раньше, чем я опьянею, то куролесить я уже тоже не могу, и поэтому одна часть загадки у меня отсутствует – да русский ли я уже после этого?

Вторая часть загадки русской души состоит в том, что русские любят свою власть, какова бы она ни была, даже если она совсем изуверская. Сталин истребил половину русского народа, оставшаяся половина его полюбила настолько сильно, что уже и дети и внуки их все еще продолжают его любить, хотя со дня смерти тирана прошло уже шестьдесят лет. Но русский человек любит всякую власть, и какую бы она ни была, она для него наилучшая. Была власть царская, русские любили царя. Пришли большевики и царя вместе с семьей угробили – русские полюбили большевиков. Пришел Хрущев, полюбил его. Произошла в 90-м году странная антикоммунистическая революция и к власти пришли капиталисты во главе с ЕБН – полюбил ЕБН. Пришел преемник – любят его (продолжая, как ни странно, любить одновременно и Советскую власть).

Итак, верноподданность и любовь к власти – вторая часть загадки.

Поскольку я правительство никогда не любил, то у меня душа НЕ загадочная. И тогда русский ли я? А если русский, то выходит, что есть русские и безо всякой загадки, как я?..

3. Подводя черту...

Загадочно сие или нет, но у меня есть и своя собственная особенность, она состоит в том, что я пересматриваю время от времени свое отношение к миру, Риму и мифу, а то и к той или иной вертихвостке, и раз и навсегда решаю: больше пред *нею* на колени не становиться, миф забыть, под прошлыми заблуждениями и иллюзиями подвести черту!

Так и теперь, и хотя я уже и с социализмом расставался, и с христианством, и черту подводил не раз, но, видимо, они уже поистерлись, как истираются дорожные разметки, и надо их обновлять... или проводить в другом месте (так же ведь и с дорогами, они же не стоят всегда на одном месте!).

Ну, например, я влюбился в одну удивительную и непостижимую, исполненную возвышенных замыслов заставить мир поступать по справедливости, а для того вновь воздвигнуть баррикады и начать уже четвертую русскую революцию в коммунистическом духе, для чего она даже собралась вооружиться, ставив у своего дяди револьвер.

Я пытался ее примирить с Россией и русской историей, уговаривал, что не надо унывать, что все еще, может быть, "образуется", на что она решительно мне ответила: «Спасибо! Я с историей примиряться не собираюсь и я вооружена. Революционеры не сдаются и унывать им некогда!»

И что же мне теперь делать?

Если она пойдет на баррикады, то не могу же я ее бросить одну? Значит, и мне придется идти за нею и сражаться за ее идеалы, может быть, даже вступить в ее партию? Она моя подруга, и, следовательно, не Платон и не Истина мне дороже всего, но только она!!! Мой ангел, моя милая ласточка!

Если же в очередной раз придется подвести черту под христианством, то надо заново сформулировать, что оно из себя представляет, чтобы читатель не заблудился и понимал, под чем именно подвожу я черту.

Большинство моих современников, никогда не знавших историю, считает, что христианство – это учение о том, как надо *жить*, к чему стремиться, какие правила надлежит исполнять, то есть отождествляет христианство либо с «Заповедями Моисеевыми» (то есть с Иудаизмом), либо с «Моральным кодексом строителя коммунизма» (а, следовательно, с социализмом), либо с одной из гуманистических теорий (или сразу со всеми), так что Эпоха Возрождения (или «эпоха гуманизма»), наступившая в Европе с конца тринадцатого века и продолжающаяся, условно говоря, до Великой французской революции, с их точки зрения не что иное, как торжество христианства...

Но религиозное (сакральное) и светское мировоззрения разделяются и противостоят друг другу по тому, что ставится ими в центр мироздания, Бог или Человек.

Гуманизм – это мировоззрение, исходящее из идеи **человека как высшей ценности**, поэтому это не что иное, как *антропоцентризм*, одной из заповедей которого являются слова Протагора «Человек – мера всех вещей!»

Но и иудаизм и христианство проповедуют необходимость возлюбить прежде всего Бога всем сердцем своим и всем помышлением своим (*Теоцентризм*), и только затем утверждают необходимость возлюбить ближнего, которого затем христианство всячески поносит, как и тот мир, который оно собиралось, якобы, спасти. Но нет нужды вновь напоминать те хулы на мир, которыми наполнен Новый завет, так что вместо того чтобы жить в этом мире и наслаждаться его красотой и любить его, человеку предписывается «жить аки умереть и спать во гробе», к женщине не прикасаться и ждать Страшного суда.

В отличие от христианства, для которого добродетели были теологическими (вера, надежда, милосердие), в центре внимания философии гуманизма и его выдающихся деятелей в области мысли (Николай Кузанский, Галилео Галилей, Николай Коперник, Джордано Бруно, Мишель Монтень, Томас Мор, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, Томмазо Кампанелла) – языческое представление о добродетели, развитое Аристотелем в «*Никомаховой этике*», разделявшим добродетели на нравственные (мужество, щедрость, великодушие, справедливость, дружелюбность) и умственные (мудрость, благоразумие, способность к науке и искусству).

Нет, не отринуть мир и человека, но изучать их, понять, преобразовать, делать более "человечными" – вот к чему призывает гуманизм – как же его соединять с христианством, когда для последнего человек – вместилище перво-родного греха?! Когда даже добродетели святых отшельников «смердят перед Богом»? Но «долг человека – участвовать в мире, а не уходить от него... Человек и мир прекрасны, ибо созданы Богом, и задача человека – улучшать мир, делая его ещё более прекрасным, в этом человек является соработником Богу», – так гуманисты отвечают сочинению папы Иннокентия III «*О презрении к миру, или о ничтожестве человеческой жизни*».

Если христианский идеал жизни – это жизнь в одиночестве в пустыне, в скиту, в монастырской келье, то гуманисты выдвигают противоположный идеал, состоящий из «Общения с образованными людьми; избытка книг; удобного места; свободного времени; душевного покоя; высвобожденности души».

Что христианство – источник нравственности и является учением о смысле жизни, о ее ценности, в русской литературе проповедовалось Достоевским и Толстым, последний выводил из него правила морали (в романе «Воскресение») и развил собственное учение на его основе о «непротивлении злу насилием». Насколько его взгляды совпадали с христианскими и с богословской нормой, видно из того, что Толстой был отлучен от церкви.

Гуманизм как *человечность* (хотя он гораздо шире такого узко этического определения, особенно в эпоху Ренессанса, но пусть читатель сам озаботится что-нибудь о нем узнать большее, чем из нескольких строк, которые я выше привел) входит интуитивно в обыденные представления о *хорошем*: так, при ссоре мы кричим оппоненту запальчиво только одно: «Да будь ты, наконец, человеком!» И уверены, что это самое главное и что этого достаточно. И что такое добро и зло, что хорошо и что плохо, и как надо жить, чтобы было не стыдно, и правильно ли мы сами живем, и правильно ли живут вокруг нас, а особенно сильные мира сего (все сплошь негодяи!!!) мы можем знать и знаем независимо от христианства, – все это было вложено в нас еще до того, как Русь крестилась, и мы это находим в себе и в ближних раньше, чем в Библии.

И поэтому, когда я раздумывал, к чему в совершенствовании надо стремиться, я тоже не раз говорил: «*Надо стать человеком!*»

Но я все же не уверен, что этого достаточно для многого другого, выходящего за пределы обыденной жизни, и, может быть, еще и поэтому я пишу свою книгу – чтобы узнать, что же нужно еще.

Итак, христианство – это не этическое учение, это МИФ, и можно было бы добавить, что именно поэтому оно не поддается более или менее определенному описанию, но я математик, и если я когда-то с помощью математики научился даже делить ноль на ноль, то мне трудно сдаться, не использовав все средства *уловения*, которыми я располагаю.

Будучи мифом, излагающим метаисторию человека в самом плохом свете, христианство относится враждебно не только к человеку, но и к миру, в котором он живет, и к культуре, которой человек себя окружил, которую он даже попытался заменить миф (далее мы поговорим еще обо всем этом в компании Толстого, Данилевского, Страхова и Вл. Соловьева, о которых пишет Константин Леонтьев, и мы еще раз рассмотрим взаимоотношения

христианства, культуры, науки и цивилизации, и об отношении христианства к освобождению человека от рабства за меня многое скажет более меня знающий и образованный Константин Леонтьев).

Правда, есть одно обстоятельство, которое меня уже в моем споре почти сразу же побеждает, ибо оно *уловляет* меня более, чем я уловляю христианство – это Любовь, во всех ее видах, небесных и земных. Поэтому, читатель (и тем более читательница), потерпите немного, от многого из того, что я пишу и что вам неприятно читать, я еще откажусь, ибо Любовь меня уловляет, и если приходится выбирать между истиной и любовью, то я выбираю любовь, хотя бы она и заблуждалась.

4. Храм и церковь

Оглядываюсь назад – что меня привязывало к храму (и привязывает до сих пор)? Плохо ли мне в нем было? Я слушал песнопения, это мне особенно нравилось. Смотрел на иконы и фрески, на сам храм внутри и снаружи. Хожу ныне в протестантские соборы слушать музыкальные концерты (и в воскресенье в соборе св. Марии слушал и Машеньку, играющую на флейте, и ее товарищей, потом, после концерта, я подарил ей цветок и книгу и сказал, что люблю ее по-прежнему и даже сильнее). В девяностые годы привез я в Муринский храм три мешка картошки, потом меня этой же картошкой и накормили, и славно мы посидели среди церковной общины, выпили и поговорили, и не было у нас ни в чем разногласий и непонимания.

Когда-то, уже давно, в храме я венчался, среди потоков любви и света.

Крестил и сына и внучку, и даже иные избирали меня в крестные отцы.

Стоял на службе в воскресные и праздничные дни (не часто, я человек всегда был занятой, даже и в воскресные дни), слушал проповеди батюшек, и они мне нравились, и батюшки говорили почти то же самое, что Лев Толстой, что надо друг друга любить, о семье заботиться, хорошо работать (хотя в Новом Завете об этом не говорится ни слова). В девяностые годы я немного общался и с иерархами, и они мне нравились тоже, даже приходилось с ними и выпивать (но есть и те, кто мне не нравился и тогда и теперь, и кои и меня на порог к себе не пускали).

Критика Мифа началась у меня десять лет назад, хотя я сначала ограничился только проповедями апостола Павла, позже уже не смог сдержаться, и вот пишу и пишу, ругаясь, и это у меня, как сказал один знающий богослов, «бешенство ума».

В общем, церковный народ, вверху и внизу, раздражения у меня не вызывал. Кстати, ничего особенно неприятного не испытывал я и по поводу рядовых коммунистов и комсомольцев, возможно, в среднем они были даже лучше тех, кто на их собрания не ходил, а пил с друзьями.

В девяностые годы зашли разговоры о воцерковлении, и интеллигенция, особенно многие из тех, кто исповедовал коммунистические идеалы и оказался совсем без идеалов, ринулась в церковь. Воцерковились они или нет, я не знаю, хотя и встречаю их в Союзе писателей. Довольно милые люди, несут всяческую ахинею, призывают высечь Толоконникову с подругами и

других вроде нее, носят иногда на шествиях портреты Сталина, со мною разговаривают дружески, вероятно, совершенно ничего не читали из моих книг, и даже ту «ахинею», которую я несу в разговорах с ними, они воспринимают как что-то родное – НЕ слышат.

Но есть Церковь. Было Политбюро. Инквизиция и ЧК. Все те люди, о которых я говорю, составляющие, казалось бы, церковный и партийный народ, зла в себе не содержат, и проповедают и говорят совсем не плохие идеи. Вот так и на поверхности земли чаще всего все хорошо, светит солнышко, от земли прет горячий дух, идет теплый дождь и произрастает всякое благо. Но в центре Земли находится раскаленная магма, и когда она прорывается наружу, потоки лавы и смерчи пепла заливают и засыпают Помпею, Джордано Бруно сжигают, Жанну сжигают тоже, книги или сжигают или не разрешают писать, чекистские тройки и расстрельные команды засыпают телами убиенных Левашовскую пустошь и окрестности городов. И когда из солнца вырываются протуберанцы, устанавливается вдруг сушь, гибнет урожай, начинается голод, на Русь надвигаются полчища Чингис-хана, Батыя, Наполеона и Гитлера.

Устройство жизни определяется той магмой, которая в центре Земли и в Центре Солнца, Церковью и Политбюро, Правительством и олигархами, а иногда и правящим слоем в целом, дворянством, партией и комсомолом.

Выпиваешь с дворянами, читаешь их книги, слушаешь их музыку – и божья благодать на душе. Но ходишь на барщину, платишь оброк, ведут тебя в солдаты – и поневоле идешь на Сенатскую площадь за Пестелем и Рылеевым.

Сегодня христианская церковь и христианское учение играют немаловажную роль в жизни европейских народов, в том числе и русского. И некоторые мои подруги идут в храм за утешением, и его там находят. И я находил тоже. А если иметь в виду и мои теперешние посещения музыкальных концертов в протестантских храмах, то и сегодня я утешаюсь. И посему ни к каким крестовым походам против Церкви я не призываю. Я только против того, чтобы олигархическая власть, высасывающая жизненные соки из моей несчастной России, поддерживалась Православной церковью, чтобы ее слой правящих иерархов составлял часть этой олигархии, как ныне. И, разумеется, я против того, чтобы христианский Миф влиял на образование и просвещение в России, чтобы истине мы изменяли не только во имя любви к отдельным нашим прекрасным подругам, но и во имя веры.

«Затруднения историка-христианина» мне чужды, как и «затруднения математика-христианина», как и «социалистические таблицы логарифмов», а теперь, не дай Бог, еще и «православная таблица умножения» (хотя, впрочем, надвинулась на Русь и еще более страшная для умов моровая язва, «новая история», по которой уже не то чтобы не правы были Платон и Аристотель, Павел или Лютер, но и сам предмет споров отменен – не было ни эллинов, ни Рима, ни Византии, ни «пути из славян в греки», ни античной культуры, ни эпохи Ренессанса ни Гуманизма).

Надвигается новое варварство, более опасное, чем сожжение Александрийской библиотеки и первое тысячелетие христианства.

5. «Пуста ли золотая чаша, из которой мы пьем?»

Вот главный вопрос.

Владимир Соловьев тоже думает и чувствует, что «не все благополучно в Датском королевстве», и не спроста он задумывается о спасении мира и на роль Спасителя вдруг выдвигает Красоту. Словно бы он уже перестал быть христианином и разуверился в том, что спасение мира НЕ возможно иначе как через Христа (по Новому Завету, по богословию и по самой церковной проповеди). Какое отношение к христианству имеет «спасение мира красотой или же через красоту», я не знаю. Знает ли об этом Вл. Соловьев, я тоже не знаю. Но идея его плодотворна, ибо заставила говорить и спорить и вывела умы из застывших оков христианского спасения, которое все никак не наступает, а человек устал уже ждать. Да идея эта и красива, и в своей статье о «Красоте в природе» философ пишет вполне в духе нехристианского Ренессанса, которое как раз и восстанавливало античное отношение к миру не как к «Юдоли слез и плача», а как к прекрасному творению Бога.

Но достаточно ли Красоты, чтобы преодолеть чувство одиночества, тоски, пустоты жизни, страха перед смертью? Владимир Соловьев, очевидно, понимает, что одной красоты не только для спасения мира, не только хотя бы для спасения человека мало, но даже для преодоления его онтологического и эсхатологического одиночества, поэтому он вспоминает, что есть еще более важная и плодотворная идея, это любовь.

Казалось бы, о любви (в христианском смысле этого слова) «уже все сказано», надо любить Бога, любить ближнего и сторониться женщины – но Владимир Соловьев словно бы бросает вызов христианской традиции и пишет не о любви в неземном смысле, а о любви именно к женщине, то есть о *половой любви*, и ищет ее смысл.

Разумеется, выдающийся философ отмечает ее главные особенности: «физиологическое соединение в животной природе, которое ведет к смерти, и соединение житейское, в порядке социально-нравственном, который от смерти не спасает», и говорит, что должно быть еще соединение в Боге, которое ведет к бессмертию, потому что не ограничивает только смертную жизнь природы человеческим законом, а перерождает ее вечною и нетленной силою благодати.»

Далее он говорит, что «внешнее, житейское, и физиологическое соединение не имеют определенного отношения к любви. Они бывают без любви, и любовь бывает без них.»

С этой точки зрения культура человечества, почти полностью посвященная любви, так что любовь является ее предметом, темой, фабулой, интригой и камнем преткновения – и в музыке, и в драме, и в живописи и в скульптуре – оказывается пустой, она посвящена не тому, что в человеке подлинно человеческого, а тому, что в нем животное. Если сущностью любви является «соединение в Боге», то *несчастливая любовь* – а именно она и наполняет культуру, в особенности такую ее разновидность, как РОМАНС, – оказывается вовсе не относящейся к любви.

Быть может, к любви относится «влюбленная дружба», которую я превозношу как высший тип любви, соединяющей мужчину и женщину? Нет, Владимир Соловьев о дружбе не говорит вовсе, он ее исключает из любви, тем более любви половой (и противоречит сам себе: физиологическое влечение, по его мнению, к любви не относится, так как любовью является «соединение в Боге», а дружбу он и вовсе исключает из любви, хотя в ней-то чистое соединение в Боге, но в ней нет физиологического влечения.)

В первой части своей статьи, приводя примеры любовных страстей, не приводящих к рождению детей, а чаще заканчивающихся смертью влюбленных, Владимир Соловьев ссылается на великие художественные произведения, то есть признаёт безумные страсти за любовь; но когда он пытается найти и объяснить, в чем ее смысл, он отождествляет любовь только с неким императивом, повелением «мировой воли», и совершенно игнорирует внутреннюю противоречивость самого чувства любви, которое он представляет себе довольно туманно, ибо перестает отдавать отчет, что в любви чисто «половой», соединяющей мужчину и женщину, содержится необыкновенная по разнообразию гамма чувств (подтверждаемая так же выдающимися памятниками литературы), как и ее трагичность.

Чему же посвящена «Анна Каренина»? Анна не «соединяется в Боге» ни с Карениным, ни с Вронским, с первым имеет житейскую связь, со вторым только физиологическую, но ни то ни другое не любовь.

Но любовь ли притягивает (да и притягивает ли) князя Мышкина к Настасье Филипповне?) Или Раскольникова к Сонечке Мармеладовой? Первый хватается за нее как за спасение, а она его смертельно жалеет...

И примеры эти столь бесчисленны, что я уже совершенно перестаю понимать, в чем смысл любви и о какой любви идет речь, да и о любви ли?

Воистину, все то, что неясно самой жизни, что не проясняет до конца даже литература и музыка, философия окончательно запутывает и превращает в полную бессмыслицу, особенно философия, не отделяющая себя от мифа, основывающаяся на мифе, ставящая и разрешающая его задачи. Это то же самое, что поиски результата при перемножении чисел семь и тринадцать. По таблице выходило бы 91, но, во-первых, числа и семь и в особенности 13 – сомнительны с точки зрения святоотеческих преданий, а посему следует их заменить на 8 и 12, а тогда результат окажется равным 96, и он хотя как будто недостоверен, но более теологичен (или телеологичен, я уже и сам в сем запутался).

Но я верил Владимиру Соловьеву почти до конца. Жить мне, быть может, осталось уже не более трети столетия, к тому же я, кажется, влюбился и сам, как князь Мышкин и Дон Кихот вместе взятые, поэтому я надеялся, прежде чем умереть, узнать смысл любви и преобразить ее так, чтобы обрести бессмертие (с коим философ и связывал именно и только Любовь).

Но выяснилось, что при нашей жизни любовь в этом смысле никаких плодов принести не может, что должны пройти еще, наверно, целые геологические эпохи, прежде чем окончательно исчезнет вещественный мир, затрудняющий способность любить как должно, чтобы обрести бессмертие.

Разочарованный, я начал размышлять и понял, в чем ошибка философа.

6. Что чем определяется?

Ошибка прежде всего в логике.

Представим себе, что мы опресняем морскую воду с помощью некоторой установки и ставим вопрос, насколько она эффективна? Разумеется, сие зависит от того, сколько пресной воды мы можем из нее получить. Но если бы мы спросили, опреснительна ли вода, в зависимости от того, сколько из морской воды в день получается пресной? Или не спрашивали бы, солонны ли слезы, но слезлива ли соль?

Жизнь осмыслена, оправдана и действена в зависимости от ее результатов, от того, что в ней содержится. А в ней может содержаться труд, творчество, любовь, забота, жертва. Именно любовь является целью, именно она сообщает смысл тому или иному, и в том, что она одухотворяет, смысла много или мало в зависимости от полноты любви и духовной наполненности.

Так и труд оправдан или нет своими результатами, то есть творчеством, любовью, красотой, целью деятельности, и не случайно один из самых назидательных мифов – миф о Сизифе, обреченном вечно вкатывать на гору камень, который вечно скатывается с нее.

Любовь разнообразна: эгоистична, самодовольна, тщеславна, жертвенна, страстна, осторожна, боязлива, робка, нелепа, похотлива, преданна, бескорыстна, мимолетна, чувственна, даже бесстрастна... В нее играют мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, даже философы, которым, казалось бы, пора уже на философскую свалку (я имею в виду себя самого).

Что она такое, каждый узнаёт на собственном опыте – или из романов, драм и стихов. Но ни математика, ни философия не представляют нам ее содержание, потому что оно не в том *общем*, что содержится в понятиях, а только в тех разнообразных конкретных особенностях, которые присущи той или иной частной любви. Культура занята не тем, что общего в любви Джульетты и Манон, Дон-Кихота и Дон-Жуана, а что в них *особенного*, как и в математике исследуются только *особые решения уравнений* и точки разрыва.

Я о смысле любви красавице не успевал спросить, как уже смерч нас куда-нибудь начинал нести, и слава богу, что благоразумная девица, вспомнив о благоразумии, отправляла меня домой.

7. Любовь как смысл жизни

В чем смысл жизни – это еще более излюбленная тема *философствования на троих*, особенно пока еще бокалы не опустели. Быть может, жизнь не напрасна именно из-за любви, любовь ее освещает, материнская (которую Вл. Соловьев отверг как неотличимую от животной) наполняет смыслом жизнь женщины (Наташи Ростовской и Китти), «любовь к злату» – жизнь ростовщика (в «Скупом рыцаре» Пушкина), любовь к одиночеству – жизнь капитана Немо в «Таинственном острове», любовь к приключениям – жизнь героев Вальтер Скотта, Дюма и Джека Лондона, любовь к женщине – жизнь героев Стендала, *особенная любовь* – жизнь Жана Вальжана в «Отверженных» Гюго...

Об *особенной* любви попробую и я написать в следующей главе. Не для того, чтобы найти в ней философский или религиозный смысл, а чтобы найти в ней любовь и утешиться. *Ибо я нуждаюсь прежде всего в утешении.*

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

8 февраля 2015, воскресенье. Спал плохо. Проснулся в семь часов утра, думал сначала о смерти, но потом испугался этих мыслей, и начал думать о любви. И вот теперь записываю то, что думалось, словно сквозь сон, а было ли это на самом деле или приснилось, я уже и сам не знаю.

1. Знакомство

Несколько лет назад, в мае, в теплый вечер, напоенный запахами сирени и акации, товарищ пригласил меня на митинг оппозиционных партий. Народу было не много, но все таки, возможно, человек двести или триста. Пошумели, выступили ораторы, и толпа лениво начала расходиться. Я ходил между рedeющими оппозиционерами и спрашивал, почему они пришли на митинг, изображая из себя журналиста. Юная красивая женщина ответила мне охотно.

– У меня маленькая дочь. С этой властью будущего у нее не будет, как и у всей России.

– Но ведь здесь Вас могут арестовать, бросить в кутузку, избить. С кем же останется Ваша дочь?

– У нее еще есть бабушка. Кроме того, я вооружена и очень опасна, со мною не так то легко расправиться. Бабушка моей бабушки была революционеркой, эсеркой, она бросала бомбы, сидела в тюрьмах, участвовала в Гражданской войне, правда, точно не знаю, на чьей стороне, эсеры ведь участвовали в мятежах, хотя некоторые перешли к красным. Но она осталась в России, когда ее пришли арестовывать, она отстреливалась до предпоследнего патрона, последнюю пулю она пустила в себя, она не могла допустить, чтобы ее тело было поругано.

– А кем Вы работаете, если не секрет?

– Я преподаю французский язык в школе. Моя прабабушка по матери была француженкой, даже графиней, но в ее роду (то есть и в моем роду тоже) были и якобинцы. Я пишу о ней книгу, надеюсь издать. Жаль, что у меня нет соответствующих знакомств и нет редактора.

– Ну, редактор у Вас уже есть, я готов редактировать Вашу книгу. Только связей с издателями у меня нет, меня самого тоже никто не печатает.

Не успел я договорить, со стороны Звенигородской подъехала машина, вышли три милиционера и велели всех, кто оставался на площади, грузить в машину.

– Пожалуйста, не надо отстреливаться, вам еще надо будет воспитывать дочь и издать книгу о героической революционерке. Револьвер положите мне тихонько в карман, если будут обыскивать, то не найдут его у вас, а если не будут обыскивать, я его потом вам верну. Больше двух часов они не смогут нас держать, не предьявляя обвинений.

Обыскивать нас пока не стали, привели в какую-то тесную узкую комнату с лавками вдоль стен, разделенную перегородкой, и велели сесть. Я

попробовал качать смиренно права, предъявил писательское удостоверение, его повертел в руках старшина и вернул назад.

– Сидите спокойно, может быть, вас всех через час отпустят, только запишут фамилии и велят расписаться в протоколе, он уже напечатан, по стандартному образцу. Штраф пятьсот рублей, можно заплатить в кассу.

Вдруг Анна схватила меня за руку, задрожала всем телом, на лбу выступили капельки пота.

– Не бросайте меня, постарайтесь отвезти домой, я сейчас начну кричать, это последствия стресса, на меня напали бандиты, держите меня крепче!

И она рванулась, так что я с трудом ее удержал, и закричала. Вопль ее был ужасен, смешан с ненавистью, так кричит раненый умирающий зверь, так рыдает обезумевшая мать над умирающим ребенком. Никогда никого не было мне так жалко, как ее в ту минуту.

– Что ж вы не сказали, что у Вас падучая? Надо справку с собой носить, мы бы отпустили.

– Начальник, машина у вас теперь свободна, тут мы за десять минут обернемся, отвезем ее домой, и меня доставят назад. Все ж я писатель, пошли бы мне навстречу.

– Никифоров! Отвези их по адресу, ее оставь, а нарушителя верни назад!

Мы с трудом сели, мигом домчали, кое как довели ее до дома и уложили девушку на кровать.

– Слушай, товарищ, с меня ведь причитается штраф государству, пятьсот рублей. Государство не обеднеет, если я штраф тебе отдам, а ты скажешь, что я сбежал, и мол, не стрелять же в меня?! К тому же я и впрямь мог бы сбежать, если бы не стеснялся того, что это все как-то нелепо выглядит.

– Вообще-то за двоих мог бы и тысячу дать... Ну да ладно, гони пятисотку.

Анна скоро пришла в себя, меня еще угостили настойкой на самогонке, она отдала мне дискету с текстом романа, мы договорились обмениваться письмами по электронной почте, и расстались.

2. Посев

11 февраля, среда. Спал все так же плохо. Трудно было дышать, царапало горло, думал о любви и о смерти. Я словно бы постоянно жалуясь ей на то, что мне так плохо, и прошу утешения, но не случилось бы так, что из нее на меня и изольются ее душевные силы, тогда как это я пытался и хочу помогать ей, нести ее на руках и над пропастью, и даже просто так. Ей труднее, чем мне, если у меня что-то еще есть из сил, пусть отделят Высшие силы хотя бы немного от меня для нее. И как всегда я мысленно добавляю: «а еще хотя бы капельку из оставшегося для всех тех, кому плохо. Если мы хотя бы по капельке будем отделять, то немалая бы помощь была для несчастных».

Продолжаю свой рассказ, он мне тоже помогает преодолеть уныние и болезнь.

Мы редко отдаем отчет в том, что именно означает тот или иной день нашей жизни, тот или иной наш поступок.

Что и когда мы сеем? И когда посеянное всходит и произрастает?

Разумеется, и я не знал, какие последствия будут у нашего знакомства, но что сострадание пронзило мне сердце, я чувствовал постоянно. Хорошо ли ей в данный момент или плохо, это было неважно, я ощущал ее метафизическую боль, страдание, соединенное неотрывно с ее душой, как горб с горбуном.

И во мне не пропадало постоянное чувство сожаления, нежности, потребности ее утешить, помочь ей, бессознательно я сразу же понял, что буду о ней заботиться, и что моя задача ей помочь, спасти ее.

А вскоре я это понял и сознанием, и хотя особенной помощи от меня не было, но сочувствие во мне к ней никогда не умялялось.

Разумеется, сначала наши письма касались только ее книги, но я и не заметил, как в них вошел и весь мир. Когда потребовалось что-то обсудить в непосредственном разговоре, я радостно ринулся на нашу встречу.

Встреча была в метро. При переходе одной стены в другую они не составляли плоскость, а одна отступала от другой, и образовывался некий угол. Толпа протекала мимо нас, а *она* стояла в уголке, смотрела на меня, слушала и улыбалась. Позже она призналась, что почти ничего не слышала, но что у меня «самые умные и красивые в мире глаза».

Итак, ничего почти не слышала, значит, совсем ничего, потому что некоторые речи не существенны в обрывках. Чему же тогда она улыбалась?

Но она была счастлива. Ее глаза сияли!

Как при первой встрече она пронзила мне сердце своею болью, так теперь пронзила его своею радостью, и оно, как ни странно, перестало болеть, дважды пронзенное.

Русские крестьяне жалость, сострадание отождествляли с любовью, и они правы, я ведь тоже по рождению крестьянин, значит, наполнившись к ней сочувствием при первой встрече, я и влюбился в нее. Но теперь я стал счастлив ее блаженством, возможно, я его переживал, как ее признание в любви ко мне. И я полюбил ее уже иначе.

Вот и философствуй про любовь, что она такое, особенно если ты христианский философ! В житейском отношении мы не могли связаться друг с другом ничем другим, как только дружбой, потому что... что тут объяснять, догадливый сам догадается... Детей родить мы тоже не могли, потому что пока отсутствовало то самое, на что сетовал Вл. Соловьев в своей статье, но что он все таки принимал как хотя и грубое, но необходимое условие «половой любви», то есть физиологическое притяжение, не говоря о связи.

Духовное притяжение, правда, существовало, но было ли оно «связью в жизни духовной, или соединением в Боге», как полагал Соловьев? Я был антикоммунистом, да к тому же рассорился с христианским Богом, а она мечтала о новой коммунистической революции да к тому же одновременно была христианкой.

Итак, она была счастлива, хотя бы полчаса.

Но через два дня ночью я получил от нее горестное восклицание: «Я не могу заснуть!»

Я тут же ей ответил, баюкал ее и пел колыбельную.

Потом как-то она написала, тоже горестно: «напишите мне два словечка, умоляю Вас, я очень скучаю!»

И через несколько дней: «Я не могу жить без Вас!»

Минуты радости сменялись минутами уныния, она снова стала кричать по ночам, ей было плохо. Я писал нежные письма, пытался помочь, но не умел.

Вдруг она мне написала, что видела меня во сне, что боится, что это грех, что она меня любит не так, как это может представляться, не как мужчину, а как святого человека и великого писателя, и что идет утром в церковь каяться и просить прощения за свои отвратительные мысли, из-за которых я должен презирать ее и больше с нею не встречаться, что она недостойна меня, что она развратна, и вряд ли сможет исправиться.

3. Произрастание

Перед Новым Годом она предложила встретиться в метро, так как хотела мне что-то подарить. Мы снова постояли в нише, затем она предложила подняться наверх и посидеть в кафе. Так мы и сделали, и сели в полутемном уголке, где никого рядом не было. «Может быть, скоро начнется война, если не Мировая, то Гражданская, давайте вести себя так, что может быть, больше мы не увидимся».

Но вместо уныния мы радовались, заказали вина и закуски, пили вино и говорили тосты, и нам было хорошо. А потом я сказал, что произнесу личный тост, почти философский.

– Мой ангел! – начал я свою речь. – Христос вочеловечился, принял не только облик человека, но и все его слабости, кроме грехов. Иначе, если бы Он оставался Богом, его жертва не была бы подлинной, он должен был переживать все то же, что и человек, страдать, сокрушаться, пережить боль и смерть.

И все же Он вочеловечился не до конца, он не испытал земной любви к земной женщине, и связь мужчины и женщины отверг как грех и порок.

Он словно бы проповедовал необходимость любви, но Любовью ли было то чувство, которое он проповедовал?

В нем не доставало чего-то очень важного, того, что Он назвал грехом.

Если сравнить пищу земную и соль и горчицу, то можно сказать так, что пища съедобна, а соль и горчица не съедобны, никто их не ест.

Но без них наша пища не вкусна и тоже почти не съедобна.

Вот этот самый грех, который Христос отверг, не возвышает нашу любовь, но без него она не полна, безжизненна, то есть я говорю о любви между мужчиной и женщиной, но не о материнской любви или о любви к сестре и брату.

То, что нас связывает, можно считать небесной любовью, в ней НЕТ греха. И я не хочу внести грех в наши отношения, я даже не требую объятий и поцелуев, не говоря о другом.

Но разве моя маленькая не достойна всякой любви, и даже страсти, разве она меньше ее? Нет, в нее можно влюбиться и так, чтобы жаждать ее объятий.

И поэтому я представил себе мгновение, которое я хочу испытать, будет гроза в мае или июне, ночью мы будем стоять на набережной, Вы откроете глаза, и наши губы соединятся. И время остановится.

Возможно, это будет только один раз, но если этого не будет ни разу, то мы обманываем себя, мы обкрадываем себя, мы соглашаемся на любовь, в которой нет чего-то самого существенного, как если бы человек думал, что он живой, когда в нем был бы дух, но не было бы тела.

Я осторожно придвинул свою руку к ее руке и прикоснулся к мизинцу. Она вначале его отодвигала, потом перестала отодвигать, и я взял его в свою руку. Голова ее была опущена.

– Почему же Вы на меня не смотрите?

– Я стесняюсь.

– Пожалуйста, посмотрите на меня!

Она подняла голову и стала смотреть, сначала чуть искоса. Затем наши взгляды слились.

Вышли мы смущенные, забыли цветы, которые я приносил, даже не развернув, прошли по Московскому проспекту, постояли у фонаря и выкурили сигарету на двоих: хотя я не курю, но я хотел прикоснуться к тому, к чему она прикасалась губами, так я сказал.

В письмах мы еще поспорили немного, не грех ли это, я ее сразил доводом, что курение пущий грех, и прикосновение к недокуренной сигарете в большом грехе растворяется так, что судьи его не заметят.

4. Всё новое, по крайней мере, новая земля

Я не пишу об обстоятельствах, над которыми мы не властны, и которые не только нам не дано изменять, но об изменении которых мы и не думаем. Моей ласточке плохо, она страдает уже четыре года, ее маленькая дочурка в слезах говорит ей: «Мама, я не могу смотреть, что ты грустная. Не надо быть грустной!» И я докуриваю сигарету и восполняю безгрешную любовь грешной (восполняю, по существу, только в воображении, но по-христиански не менее греховно, потому что ИНАЧЕ начинаю на нее смотреть, именно так, как осуждено Христом) – потому что не вижу другого способа преодолеть грусть, заставить ее проститься с нею, как простилась «Полина».

Да, кстати, в одном из писем моя ласточка вдруг горестно воскликнула: «Так Вы теперь любите только Полину?!» Как же я мог ее разуверить в этом, не говоря ей и о моей любви к ней, несмотря на тысячи обид и правок, все таки – *о любви*?!!!

На следующий день я заболел, мне было плохо, ночью явились мысли о смерти, я решил, что я уже умираю. Я написал письмо, которое перепугало Анечку, в нем я писал:

«Вы – моя «"девочка у колодца"... которая была и когда-то в детстве, и вновь появилась в Вашем образе.

И на этом чудесном восклицании я закрываю крышку рояля, клавесина, тетради, закрываю окно и дверь, занавешиваю небо, занавешиваю землю... может быть, оставляю щелочку в иной мир...

Читайте ребенку сказку, забудьте обо мне, ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕХ БОЛОТАХ!!! Больше их не будет.

Любите своих близких и будьте с ними нежной!!!!

Ну, немножечко любите и меня, как капельку дождя в засушливый день.»

Она написала в ответ:

«Я тоже расплакалась над Вашим письмом, оно такое трогательное и как будто прощальное. Вы не можете прощаться со мной и с Россией!!!

И я запрещаю Вам думать о смерти!!!! Нам надо еще так многое сделать, мы будем еще есть креветки и омаров и пить sake и кататься на лимузине и, может быть, стрелять из пистолета.

Я ради Вас готова родиться даже в "самом ужасном" для меня 19-м веке.

Я желаю Вам скорейшего выздоровления! Я молюсь за Вас!»

Со мною что-то случилось, что изменило мое мироощущение. Я ей написал об этом: «существует, и будет помниться и то необыкновенное чувство восторга и нежности, которое я испытал и при встрече в кафе, и после, и в котором я словно бы в Вас растворялся. Это и любовь, но и выше страстной любви, ...но пусть это будет нашей нераскрытой неопределенностью, нашей тайной, придающей нашей влюбленной дружбе (которая чрезмерно похожа на неземное) земное очарование. Я словно бы окунулся в то чувство, о котором Тютчев писал:

О, вещая душа моя!

О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!..

Да, существует «ДВОЙНОЕ БЫТИЕ». Как свет проходит сквозь стекло, так эти два бытия, вмещаясь в одно, проходят друг сквозь друга, не препятствуя каждому быть собою.

И поэтому будем самими собою, не боясь. Что мы не захотим сделать существующим, то и не сделаем, что захотим, то будет тем светом, который пройдет сквозь стекло обыденной жизни, не тревожа и не нарушая ее.

И было бы НЕ справедливо, если бы я не испытывал к Вам и тех чувств, которые нас могут смутить – но я о них могу молчать, если мы не захотим однажды, может быть на тайное мгновение, во взгляде или прикосновении, закрыв глаза, их приоткрыть.

Я хочу, чтобы Вы чувствовали себя обаятельной и желанной женщиной! А будет хоть капелька ответного чувства от Вас, это НЕ важно. Мне достаточно просто о Вас заботиться, изливать Вам нежность. Полнота любви может быть и безгрешной.

5. Философия любви

Я вдруг увидел, что понятийное переживание жизни, представление ее – нелепо. Философия не говорит ничего более такого рассуждения: «Все Волги – реки. Потому все реки впадают в Каспийское море!» Даже тот стол, за которым мы сидели, не существует как философское понятие, тем более два человека, хотя связанные и всеобщим законом, быть может, но по особенному.

Смысл и цель любви, по Соловьеву, состоят в грядущем, через века, растворении женщины в мужчине – и обретении бессмертия – как будто она теперь, смертная, не растворяется в нас вполне, в нас, таких несовершенных, не достигших даже земных высот!

Но и смысл и цель жизни, по христианской проповеди, состоят в грядущем воскресении в новом мире, в котором «друг друга мы не узнаем», а, следовательно, в котором пропадает всякий смысл всякой любви, и грешной, и безгрешной.

Итак, все дело в том, вся трагедия незавершенного Спасения (а кто скажет наверное, состоялось оно или нет?!!!!) в том, что Христос вочеловечился не до конца, он не принял в свою жизнь наши страдания, наши грехи – но тогда и нашу святость! – и не смог испытать все то же, что и человек, страдать, сокрушаться, пережить боль и смерть.

Не надо делать то и другое, одно слишком низко, в другом мало небесного – а я понимаю, что Любовь превосходит все то, что вмещено в идее греха (как и Ева поняла это в тот роковой миг, когда захотела узнать тайну жизни и смерти!) Я хочу, чтобы вы снова улыбались и снова были способны к счастью – здесь, на земле, в этой жизни, а не в той – и я принимаю жизнь в ее полноте ради Вас, ради вашего пробуждения от кошмарного сна.

Я не стремлюсь к наслаждению – те мгновения восторга и опьянения, ликования, которые я пережил за последние дни, уже не превзойти. Пусть все обстоятельства нашей жизни останутся теми же, что были, но Вы не будете грустной, как этого требует ваша доченька!

И не в этом ли и состоит весь СМЫСЛ любви, поисками которого занимался философ, более глубокомысленный, чем я, прочитавший книг больше, получивший прекрасное образование в том 19-м веке, который внушает такой ужас моей ласточке, происходящий из дворянского сословия, осужденного революционерами, из знаменитой семьи, давшей прежде выдающегося историка, еще писателя, и затем даже поэта (не считая самого Вл. Соловьева)?! Ошибка его только в том, что он надеется понять нашу жизнь, оправдать ее и найти для нее исход и спасение, ОТВЕРГАЯ ее.

А я жизнь пытаюсь принять, отвергая в ней только то, что жестоко, что мало милосердно, что слишком узко, что слишком доверчиво к чужому самолюбию и мало верит собственному сердцу.

6. Грех

Стремиться ли к устранению греха или нет, но жизнь наша уже пронизана грехом – *первородным* – по христианским воззрениям.

Стремиться ли к устранению смерти через подвиг святости или нет, но жизнь наша уже пронизана смертью, и у праведников, посвятивших свои жизни спасению своей души, таких как Игнатий Брянчанинов (тоже много писавший о любви и осудивший безусловно «половую любовь», которую Соловьев безуспешно пытался оправдать, так как в этой жизни он в ней смысла не нашел, а только в будущих веках, после эволюционных тектонических сдвигов) и Серафим Саровский; и у грешников, таких как я.

Я только, в отличие от всех слишком правильных христиан (а ведь 19-й век, несомненно, ещё оставался христианским, хотя христиане уже были *неправильными*, дрались на дуэлях, писали стихи, влюблялись без памяти, даже выводили войска на Сенатскую площадь, чтобы свергнуть царя – и этими я тоже горжусь, как и царем, который все же помиловал Достоевского, не притеснял Пушкина, похоронил его даже в монастыре на почетнейшем месте) – не любовь поверяю грехом, рассуждениями, правилами жизни – а и грех, и рассуждения, и правила жизни и саму жизнь поверяю любовью.

Я даже не дерзаю любовь уловить в сеть философского или теологического исследования, как Соловьев и Игнатий Брянчанинов, ибо сколько романов уже написано, в них во всех есть любовь, и она не меньше той, о которой пишут философ и монах. Итак, я пока жив. Дел еще очень много. И есть еще люди, которым я могу помочь. Борьбаться со своими грехами я пытаюсь, уже почти не пью. Но трудно совсем не пить, так как иначе придется совсем не встречаться с теми из друзей, которые пьют. Душу свою спасать я еще не начинал, именно потому, что очень много дел и мало времени, мне даже сегодня предстоит сделать многое (в том числе пойти, наконец, к врачу). Христианскому мифу я не возражаю, я ничего утешительного сам не придумал. Но мало утешает меня идея, что наша жизнь ничего не стоит, что все только за ее гранью.

То, что вверху, подобно тому, что внизу, сказал Гермес Трисмегист. Да и Христос сказал великие слова: *Что посеете на Земле, то пожнете на небе*.

Пока еще пытаюсь сеять. Даже на камне. Возделываю и неблагоприятную почву, иногда же, впопыхах, и собственную душу – но в последнюю очередь.

Пока еще есть о ком заботиться, некогда мне чрезмерно заниматься собою. Пока еще есть кого любить, некогда мне чрезмерно любить себя. Пока еще так много в мире того, чем я восхищаюсь, не могу не видеть, как еще я несовершенен. Но не впадаю в соблазн и самоуничтожения, избежав соблазна самовосхищения. Я еще учусь: и жить, и писать, и любить. И я еще буду писать лучше и глубже, так чтобы меня поняла и та удивительная и умная читательница, которая ничего пока в моих умничаньях не поняла. Не надо ее обижать! Прости меня, моя прелесть, за моих защитников, неосторожно тебя обидевших, чрезмерно меня защищая!

7. Любовь сквозь слезы

В чем смысл любви, я не открыл и не пытался открыть. Если смысл соли в том, чтобы делать соленой (а значит, съедобной и вкусной) нашу пищу, то и любовь делает нашу жизнь осмысленной. Именно любовь придает жизни смысл, а ее смысл в ней самой. Женщине не надо ждать миллионы лет, чтобы раствориться в мужчине, любящие женщины растворяются в нем и сегодня. Но бывает, что и любящий мужчина растворяется в женщине, поэтому скажем так: мужчина и женщина стремятся в любви к некоторому пределу, каждый сам по себе, но так при этом они взаимозависимы, даже «единая плоть» иногда, иногда же и «единая душа», то к чему стремятся их *любовные отношения*, нам неизвестно. И они остаются великой *неопределенностью и тайной*.

 В конце декабря я послал Анечке несколько стихов, привожу их здесь.

Кажется, я перестал понимать простое,
 Даже когда хорошо, мне плохо,
 Ну а когда мне плохо, то еще хуже,
 Словно стоят татары во дворе на постое,
 Валится все из рук, я разбит и расстроен,
 Трудно опять дышать, не могу без вдоха,
 Нужен мне милый доктор, а я никому не нужен.

Кажется, не понимаю и то, что сложно,
 То ли в моей душе, то ли в мире лихо,
 Небо спустилось ниже, темно и мглисто,
 Что-то меня по ночам до утра тревожит,
 То слишком ветер воет, то не к добру так тихо,
 Даже ушли татары, в конюшне чисто,
 Нужен мне снова доктор, воспоминанье гложет.

Ветер метель задумал, и небо ниже,
 Перелистать страницы мешает пряжа...
 Скоро ль зима растает, и страх растает,
 Птичий веселый гомон мне боль залижет,
 Пахота и посев снова жить заставят
 Без погруженья в злые воспоминанья страха?..
 Бусинки дней веселых судьба нанижет...

То ли я так изменчив, то ли почти без места,
 Смесь из цветка и ветра, пряжи, судьбы и пряжи,
 То я способен, тут же – горестный неумеха,
 Полуметафор мастер и собиратель смеха.
 Может быть, слишком робкий, или излишне честный?
 Кто мне о прошлом скажет? Или судьбу предскажет?
 Необходимей слова, невыразимей жеста...

 Как трудно полюбить в другом
 Не образ, спешкой искажённый, –
 В метро, в автобусе, бегом, –
 А правды облик обнажённый;
 И сквозь мерцанье полутьмы
 Таинственное откровенье:

«Ты помнишь чудное мгновенье?!
 В мгновеньях истинны лишь мы.»

Как трудно разглядеть сквозь шум
 Антенн, будильников, подводок
 Призывы женственных походок
 И напряженье чистых дум!
 Нам не дает раскрыться город.

Всегда в назойливых тисках,
Всегда в тоске и тесен ворот,
Стучит в висках привычный молот...
Неужто так во всех веках?!

Удивительна жизнь! Проклинает, терзает – и вдруг
Улыбнется во всю беззаветную чистую силу.
Словно капли дождя собираю влюбленные взгляды подруг:
Разлюбившей вчера да и той, что еще никогда не любила.

Удивительна жизнь! Всё никак не умею стерпеть
Охлаждение, досаду, усталость и даже случайную ссору.
Дни спешат приютить, вознести, возвестить, перепеть
Все эпохи, века, времена и совсем незаметную пору!

Прошел Новый год, затем январь. А в феврале мир полетел вверх тормашками, как вы знаете, началась и закончилась Вторая Февральская революция.

Утром я увидел в Интернете сообщение о демонстрации на Невском проспекте, ее телефон не отвечал, я понял, что она там, с революционерами, и ринулся на ее поиски. Невский был заполнен. Колонны шли тесно. Остановиться они не могли, так как сзади напирали. Впереди, у Знаменской площади, стояли войска.

Я добежал до головы колонны только тогда, когда они уже почти соприкоснулись: те, кто защищал прогнивший режим, и те, кто вышел его смести, даже ценою собственной жизни, не заботясь, как ни странно, ни об искуплении грехов, ни о вечной жизни, ни о смерти, ни о воскресении.

Она стояла в пяти шагах от командира, стоявшего чуть впереди своих солдат. Тот поднял пистолет.

«Расходитесь или я буду стрелять!» Она засмеялась громко и спокойно, улыбаясь совсем не грустно. Наконец-то она преодолела свою грусть.

Он выстрелил, но раздался только хлопок, или пистолет был не совсем заряжен, или произошла осечка.

Она подняла свой револьвер и сделала еще один шаг, почти упираясь в офицера. Прошло несколько мгновений.

– Нет, я не могу выстрелить. Прости, моя великая прабабушка, из меня не получилось настоящей революционерки.

Аня сделала еще один шаг и подала револьвер офицеру.

– Стреляй из моего, у моего оружия не бывает осечки.

И вдруг она оглянулась, как будто почувствовала, что я рядом.

Увидев меня, она снова улыбнулась и махнула мне рукой.

И в этот момент он выстрелил.

Как вы знаете, революция победила. Солдаты сложили оружие и соединились с восставшими.

В кармане ее пальто я нашел листок. «Дорогой, любимый, бесценный! И апостолы тоже любили женщин, но женщины "служили им", позвольте и мне "послужить Вам", хотя бы совсем немного. Я никогда Вас не оставлю...»

Дальше я не могу читать, слезы застилают глаза...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ОПРАВДАНИЕ ГОРДЫНИ

1. Предварительное объяснение

13 февраля 2015, пятница. Спал плохо. ...Ну, это уже стало рефреном, визитной карточкой, как бы не стало и прозвищем «А, ну, это тот, который спал плохо!» Так что, пожалуй, напишу точнее: кашлять начал только к утру, пришлось встать и сесть за завтрак с женой, горячий душистый чай с медом и сырники со сметаной прогнали кашель, потом я вышел на улицу провожать жену в универ, чуть подморозило, воздух был вкусен – да что это я жалуюсь?! Подумаешь, поболело недельку горло, и я уже ношу с собою веревку!

А сколь многие даже читают мои письма, и в их жизни не всегда все сладко, так неужто и я добавлю в их похлебку жизни своего унынья и горечи? Нет, девочки, хватит болеть и унывать, пора встрепенуться, веревку я вытаскиваю из кармана, прячу в шкаф, скоро уже наступит весна, я поеду в деревню, буду рыть погреб, потом копать огород, перестраивать баню, потом расцветет все вокруг и я опьянею от радости!!!

Но пока надо только мне оправдаться перед вами, мои дорогие. Слишком уж я дерзок, чуть ли не вступаю в группу Пусси Райот и не начинаю свои проповеди с чужого амвона. Даже хотел сначала назвать эту главу оправданием дерзости, но, поразмыслив, понял, что дерзость моя проистекает из гордыни, а та из самомнения и не имения должного страха Божия, а те из чрезмерного сознания достоинства – не собственного, личного только, а именно человеческого, от Адама и Евы начиная, особенно Евы... И вот, тщась защитить достоинство человека, на которое нападают сначала апостолы, особенно Павел, потом святые отцы, затем богословы, иерархи, а далее и простые верующие, подчиняющиеся общему начальственному мнению, и послушно несущие хворост в костер, на котором сжигают еретиков, то Жанну, то Яна Гуса, то Джордано, то протопопу Аввакума, то Павла Флоренского, то Гумилева, то Павла Васильева, Есенина, Клюева, Николая Вавилова... несть им числа уже при этих душегубах, продолживших дерзание тех... – тщась защитить, я невольно ОБИЖАЮ. Те, кого я люблю, не всегда веселы, часто грустят, нуждаются в утешении, одни из них находят утешение в проповеди коммунизма, в призыве разрушить весь мир насилия и построить новый мир, справедливый (ах, сколько плакали от меня верные комсомолки в шестидесятые годы за то, что я разрушал их веру!), другие находят утешение в молитве и проповеди, под церковными сводами – разве это не близко мне самому? Да, по-прежнему близко. Но вспомните, когда шла тяжба между защитниками икон и иконоборцами, и иконописцев сжигали вместе с иконами, потому что во главе церкви в то время стояли противники икон, разве не плевали в иконописцев смиренные послушные верующие, разве не страдали они от упорства этих дерзких богомазов, осмеливающихся запечатлеть на доске незримый человеку образ Божий?

Не страдали ли смиренные от упорства последователей Коперника, бого-

хульно заставившего нашу святую Землю, на которой родился Спаситель, из центра мироздания поместиться на околицу и побегать за Солнцем?

А как же мне промолчать в моем споре с русской историей, если столько безвинных лежит по пустошам и полям и болотам: одни безвинно расстреляны, другие безвинно напрасно полегли по вине бездарных командиров, НЕ жалеющих солдат, потому что эпоха трех коммунистических десятилетий двадцатого столетия была самой жестокой, самой презирающей ценность человеческой жизни, противопоставившей личность «массе» в самой сердце-вине мировоззрения, в самом требовании устройства души: «единица ноль, единица вздор, вот если в партию сгрудятся малые...» – это убеждение было сущностью, духом, жизненной силой, метафизикой и трансценденцией БЫТИЯ, и я не могу смириться с таким СИМВОЛОМ ВЕРЫ даже во имя всеобщей, как они убеждали, справедливости и Истины! (Мой ангел, не отрекайся от меня, я люблю тебя прежде, чем даже истину, но именно во имя любви я и спорю со всеми истинами, то одной то другой, все они несомненны, все они претендуют на абсолютность, всеобщность, справедливость, верность, а я никогда до конца в своем не уверен, вечно сомневающийся, я только уверен в том, что не могу и не хочу обижать близких моих. Вот почему не могу я примириться с коммунизмом: они миллионы крестьян лишили земли, изгнали из деревень, обрекли многих на голодную смерть, а выживших нещадно эксплуатировали, и сколько в детстве я видел голодных детей! Я – последняя надежда моей деревни, ей я изменить не могу, я когда-то поклялся, что правда моей деревни восторжествует, а лживая истина марксистско-ленинского рая будет посрамлена. И вот живу и живу, в трудах и болезнях, пишу книги, плохо еще пишу, потому и разругался с Богом, что никак не хочет Он увеличить мой талант...)

Но моя миленькая влюбилась в оба великих мифа, она же и в церковь ходит, и плачет, что я спорю с ее Богом. Нет, спорю я с людьми, многие из которых и учнее, и достойнее меня, и умнее, и духовнее, и более знающие – но ведь не всегда умным и премудрым принадлежит истина, иногда и от них утаена (это я по Евангелиям дословно пишу), и глаголет устами младенцев, а я ли иногда не младенец?

Хотя бы во имя трех человек я осмеливаюсь спорить с торжествующей силой – начальственности, государственности, авторитета – для защиты Жанны Французской (которая почему-то стала родною для русских более, чем для французов, и даже Пушкин упрекал Вольтера в святотатстве за то, что тот ее оскорбил), для защиты моего отца, не напрасно воевавшего, но на Безымянной высоте напрасно сложившего голову с половиной дивизии (о, как яростно и Василь Быков, сам воевавший, нападает в своих военных повестях на дурость любовных их атак!), ибо потом бездарные командиры, опомнившись, плюнули на высоту и послали солдат левее, по болоту, и противник сам ее бросил, чтобы не быть окруженным – а тут и переговоры начались с Маннергеймом, и перемирие, но отец не вернулся домой; и для защиты моей матери, тоже бывшей комсомолкой, родившей и воспитавшей пятерых от трех мужей, никакого счастья не получившей от «народной власти», а только

потерявшей любимого мужа, восхищавшейся своим ученым сыном – да вдруг и узнающей, что его посадили в сумасшедший дом на многие годы за споры с советской властью (с которой, откровенно говоря, я не спорил, но тайно, в кругу друзей, осмеливался ругать).

Надо бы защитить еще и жену, которую за беспутного мужа изгнали из университета и выгнали из Ленинграда на 101-ый километр – да только она сама себя защитила, ВОПРОКИ всей силе торжествующей власти стала и доктором наук, и профессором, и любимой десятками ее студентов преподавательницей.

Можно было бы сказать словечко и в защиту сына, которого даже противу слов усатого злодея, что «сын за отца не отвечает», уже при «гуманистической» демократической власти посадили за то, что его беспутный отец издал величайший русский памятник – Радзивилловскую летопись. А наше демократическое правительство порвало договора с издательством и отказалось платить, просто сказав, что денег у них не хватает даже самим. И вот теперь оно позорит меня на всех углах, через своих судей и даже адвокатов представляя дело так, что это я виноват, а не они. Только странные следователи, в которых я раньше видел все зло, упорно меня защищали, не находя преступления.

Так что простите меня, мои друзья и знакомые, за то, что я нападаю на многое, что вам дорого. Я это делаю не со зла, только слишком иногда горячусь... попробую немного остыть.

2. Любовь

Странно привязаны мои несчастья к тому, что я пишу. Только когда оказываюсь на краю, и вдруг чувствую, что надо спешить, я опомниваюсь от ежедневной жизни с множеством мелких происшествий, и пытаюсь писать что-то, как мне кажется, нужное и не мелкое. То же происходит и сегодня, и повергает меня в страх. Во-первых, я более или менее болен, а насколько более, узнается вскоре, меня по современным методикам просканируют сверху вниз и слева направо, и станет известно то, что сказал мне случайный попугчик пять лет назад, что покосилась ось, скрепляющая меня с миром и небом, и если я ее не спрямлю, то мне придется страдать. Вот и страдаю. А как ее спрямить без химии и лазеров, я не знаю.

К тому, что пишу, привязано и важнейшее в моей жизни: рождение новых идей, новых знакомств, чувств и откровений.

Я влюбился, вот поэтому пишу о любви, даже спорю с Вл. Соловьевым. Или, напротив, я пишу о любви, и именно поэтому я влюбился, чтобы перед глазами была у меня *она*, и я видел, что такое любовь.

В Средневековье был обычай отпустить приговоренного к смертной казни, если какая либо женщина в толпе, окружающей помост, соглашалась выйти за него замуж. И так бывало не редко. То, что ими двигало – это любовь?

Мне кажется иногда, что это, разумеется, тоже любовь, но – ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ.

Вспоминаю одну молодую женщину, которую я встретил в Сибири пять лет назад, когда приезжал в Тайшет к своей сестре, кажется, я о ней уже

писал. Она сидела, пьяная, у входа во двор, в котором жила моя сестра, и требовала с проходящих некую символическую дань. Узнав, кто я такой, она воскликнула: «Так я вас знаю, я все ваши книги читала!»

Потом она пришла к моей сестре, а я сидел на крыльце, она пыталась лечить мою спину, которая тогда еще только начинала болеть, положив меня на живот на крыльце, села на моей спине и плача начала рассказывать о своей несчастной жизни. Ей 27 лет, она живет с дочуркой семи лет, без мужа, мужики к ней приходят и просят либо выпить, либо *дать*, как она сказала. «Но когда мне не хочется и я не даю, они с радостью соглашаются на одну только выпивку.»

Потом она пришла снова, а я сидел на крыльце, зная, что она придет.

– Пожалуйста, пойдем со мною, я ничего от тебя не требую, я только хочу тебе *дать*, завтра ты уедешь и приедешь через год, и я тебя буду ждать, мне этого достаточно. Я ведь прочитала твои книги по три раза, я все о тебе знаю, а я ведь тоже и нежная, и сладкая, я все тебе отдам!

Ночью был шум и гром, мать ее прибежала (а меня закрыли на ключ), кричала, что Люська вешается, и если я не приду, то она все равно повесится.

Я вспомнил ее и заплакал. Конечно, я чувствовал, что если бы пошел к ней на часть хотя бы ночи, то, может быть, я бы ее отчасти спас, то есть внес в ее жизнь мечту и свет, хотя бы воображаемый. Это то же самое, что и женщины в Средневековье, берущие к себе в мужья приговоренного к смерти.

3. "Другая любовь"

Кто-то, возможно, даже плонет: вот, мол, мужик помешался на любви!

А что же тогда мои товарищи, которые ко мне звонят, зовут в гости, требуют встреч, что их ко мне притягивает и направляет?

Ну, например, для А. я подготовил сборник Избранного, и мы издали в твердом переплете толстенный том в 12-ти экземплярах. И раньше с моей помощью (мукá, конечно, была его, но я добавил воды и *замесил* – то есть, разместил последовательно его рассказы и повести и добавил к ним приправ: картинок и заголовков другим шрифтом, – а без этого текст с меньшим удовольствием читается; да еще и одну запятую я из его текста, хотя и со скандалом, убрал, хотя он потом чернилами ее в свои экземпляры вписывал) – итак, и раньше еще выходили в свет его сочинения трижды. И в журнале он печатал свои новые вещи, а выпустил я десять номеров (и он не единственный, в чьей издательско-писательской судьбе я принял участие). И вот ведь А. мне нередко звонит, особенно выпивши, и начинает с одних и тех же слов: «Ты благородный человек! Никто другой... да, есть, конечно, и у тебя свои недостатки, но если вычеркнуть из твоих сочинений слова "любовь" и "девушка", то останется семнадцать страниц почти гениальных!»

А десять лет назад мы часто встречались и ходили к последнему ларьку в Питере, в котором давали разливное пиво, в кружках, и бутерброд с килькой, и желающим по сто грамм. И мы разговаривали. А теперь, конечно, разговор стал односторонним, но все же я заново узнавал, что я благородный человек, и что таких теперь нету.

Нет, это я не для похвальбы пишу, а для философии, и скоро увидите.

Дело в том, что хотя моя «другая любовь» по классификации Вл. Соловьева тоже "половая", но какая-то она не совсем такая, как о ней пишут умудренные философы, и в ней существенно нечто *другое*, как и в пьяных разглагольствованиях моего старого товарища, или, например, в том, что покойный деревенский Юра, проходя мимо моего дома, вызывал меня на крыльцо с ним поздороваться: «Васёк! Ты здесь?» – а всего-то я иногда одалживал ему пятьдесят рублей, кои он мне возвращал (а я его еще и вспоминаю, это ведь ПРОДОЛЖЕНИЕ!). Я с ним не выпивал, как и с другими деревенскими, но с Дуськой однажды на огороде выпил, ей я тоже одалживал по пятьдесят рублей, и вдруг она однажды идет ко мне на огород и приносит бутылку пива и говорит, что хочет меня угостить. Я вытащил на лужайку столик из кухни, принес остатки водки в бутылке, стаканы и рюмки, бутерброды с селедкой (кильки не было), и мы под майским солнышком славно посидели (хотя вся деревня меня потом осуждала: Как это я с деревенской пьянчужкой сел на виду у всех распивать?!)

В июле она пропала в лесу, так и не нашли, надеюсь, ныне она в раю и меня вспоминает.

С некоторыми из моих друзей я разошелся, не звоним и не встречаемся, потому что они не уверены в том, что я верю в Бога. Да и я в этом не уверен.

Я, разумеется, знаю, что Он есть, я и пишу про Него, и спорю с Ним – но *верю* ли я в него? Страх божьего я не имею (что положено христианину) и как иных *других*, о которых пишу, Его так не люблю. Сомневаюсь и в Его неравнодушии ко мне, и в его желании прийти ко мне на помощь (хотя ПРОТИВ него я ничего не говорил и не писал и не делал, это ведь мои споры с *людьми*, хотя бы то были и апостолы или церковные иерархи.)

Ну, в наш безумный век, помешанный на разврате, как я помешан на *Любви* (хотя бы и она была временами развратной), приходится постоянно оправдываться, и тут, конечно, тоже, и раз уж я хвастаюсь, что меня друзья *любят*, то в согласии ли с Фрейдом или вопреки ему, но я должен сказать, что в любви ко мне моих друзей «сексуального» смысла нет, мужчины мне даже в основном не симпатичны (хотя изредка встречаются и благородно красивые и достойные, и не так мало).

Дружу я иногда и с юными особами, девочками и подростками, и, возможно, это уж «любовь половая» (по Вл. Соловьеву). Да не выписывает ли уже чья-то дрожащая в предвкушеньи рука ордер на мой арест?! Хотя Пушкин сватался к Наталье Николаевне в ее 16 лет, отец Гоголя женился в день, когда его невесте исполнилось тринадцать лет!, и Джульетте было тоже тринадцать лет, а Цезарь писал «Письма из Галлии» двенадцатилетней подруге, и я в свою подругу, с которой мы вчера напились, влюбился, когда ей было *одинадцать* лет – но ни у Цезаря, ни у меня с ними *ничего* не было!

[У меня и так-то читателей мало, боюсь, некоторые читательницы возмущенно бросят в меня моими сочинениями, как мой старый товарищ, обидевшийся на меня за Толстого.]

Но и это еще не всё...

4. *Философия и "другая любовь"*

У Толстого танцует и рождает детей прелестная Наташа Ростова, у Натальи Троицкой ("моей" *Natali*, которую я по-прежнему люблю) танцует, говорит и рождает восхитительная Тая Ковалёва. Что мы можем узнать о девушках из понятия «женщина», если даже само содержание этого понятия, чтобы оно совсем не засохло, мы обогащаем конкретными образами? Понятийный язык только потому содержателен, что мы, не замечая того, представляем в каждом понятии нечто конкретное, чуть ли не вещественное, иногда это настолько ясно, что когда мы мыслим «лимон», нам становится кисло во рту.

Но меня интересует в данный момент следующее: описываем ли мы и постигаем ли мир и жизнь через понятийный язык? Насыщает ли он нас действительным бытием и познанием?

Чтобы стал понятен мой странный вывод, предлагаю задуматься о воде, о веществе, описываемом известной химической формулой. Исключим из неё все возможные примеси. И тогда оказывается, что такую воду пить нельзя, она ядовита, а прекрасная родниковая вода, которую мы пьем, восторгаясь, содержит в себе уйму всяких веществ, в частности, минеральных солей, возможно даже, мельчайших частиц горных пород, золота, железа и серебра, ионов кислорода и молекул воздуха, обычной поваренной соли, и многого другого. Но в *понятии*, относящемся к всеобщему, не содержится то, что присуще данному частному, ни Наташа Ростова, ни Тая Ковалева, ни какая либо иная из тех, что нас восторгают, и даже из тех, кои НЕ восторгают.

Следовательно, понятийный язык НИЧЕГО не говорит о нашей жизни, и, следовательно, ничего существенного не содержится в гегелевском единстве и борьбе противоположностей и в отрицании отрицания, которыми нас мучили на уроках марксизма, приписывая эти гегелевские глупости еще более одиозному Марксу.

Следовательно, философия нам ничего существенного в принципе предложить не может, и содержательна лишь постольку, поскольку оперирует не только понятиями, даже не столько понятиями, сколько образами вещей и явлений, находящихся в жизни (правда, жизнь у всех разная и эти образы у нас могут не совпадать), или в литературе и искусстве (а там для всех одно или почти одно). [Не поэтому ли интересны в наше время, в отличие от средневековой схоластической поры, то, что пишут, философствуя, НЕ профессиональные философы, а либо ученые (Ньютон, Лейбниц, Павел Флоренский, Ухтомский, Вернадский), либо писатели (Лев Толстой, Достоевский, Аполлон Григорьев, да и Вл. Соловьев не только философ, он еще и прекрасный поэт), либо публицисты (Розанов, Константин Леонтьев, Страхов)?]

Можно было бы еще сказать и так, что когда почвой философии является литература и искусство, тогда даже философия продуктивна.

И все же статья Вл. Соловьева о любви содержательна только до середины, хотя он и поэт. Но далее схоластика вытесняет живое повествование не по вине самой философии, а по вине богословия, рассмотрение действительной любви заменяется христианскими схемами.

И здесь уместно вспомнить академика Глазенапа, возглавлявшего Пулковскую обсерваторию, издавшего прекрасные семизначные таблицы логарифмов для нужд астрономов (тогда компьютеров еще не было), и в предисловии заявившем, цитируя Сталина, что мы отказываемся от капиталистических логарифмов и предлагаем вместо них наши, социалистические.

И вспомнив еще "затруднения историка-христианина" Флоровского, можем уже догадаться, что либо существует математика, химия, физика, история, философия, литература, либо "социалистические таблицы логарифмов", в которых трижды три семнадцать; и история христианских историков, в которой в крестовых походах были виноваты сарацины, и они же сожгли Александрийскую библиотеку; и православная и социалистическая литература, в которой Филарет исправляет Пушкина (как некий цензор в 19-м столетии исправлял следующим образом любовные стихи:

1. «Улыбку уст твоих *небесную* ловить» – «женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть "небесной."»

2. «О, как бы я желал *всю* жизнь тебе отдать!» – «что ж останется Богу?»

3. «У *ног твоих* порой...» – слишком грешно и унизительно для христианина сидеть у ног женщины)... и так далее...

В начале двадцатого столетия появилась и в течение следующих десятилетий сформировалась так называемая *религиозная философия*, представленная именами Павла Флоренского (Столл и утверждение истины; Иконостас), Сергея Булгакова (Свет невечерний и др.), Карсавина (О началах и др.), Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, Н. О. Лосского, И. А. Ильина.

Но судьба ее признания загадочна: философы не признавали в ней философию, богословы – богословие, и сегодня священники не знакомятся с трудами Павла Флоренского, Бердяева, Булгакова, Карсавина...

Но я не философ, я не пытаюсь войти в сущность философских разногласий, меня занимают важные для меня проблемы, без разрешения которых я не могу не только жить, но и умереть: Вера и Познание, постижение мира через жизнь и культуру, личность и народ, судьба России, Россия и Европа, смерть и воскресение, Любовь.

Любовь связана со всем, что я чувствую, делаю и пишу, что я переживаю, что наполняет мою жизнь, что приносит смысл и в мою жизнь и в саму историю.

И через любовь даже чисто формально я попытаюсь стать *понятным* читателю, излагая собственные размышления, связанные и со всем, что выше перечислил, и с теми, кто рассуждает и пишет о том же, что я. (*А понятность* мне важна, во-первых, потому, что я был учителем и сочувствовал ученикам; во-вторых, потому, что и сам я страдаю: открыл Карсавина, попытался читать, ни одной строки не понимаю, меньше, чем Гегеля. Те, кто упрекают меня, что будто бы я пишу о заумных вещах, пусть сами его почитают: да я пишу таблицу умножения в сравнении с их дифференциальной геометрией!)

Так что представим себе любовный треугольник, в углах которого Любовь, Философское Богословие, Литература. И вот очевидно, что помимо собственного опыта, именно литература позволяет мне понимать, что такое любовь, а философию я и саму понимаю только через литературу.

Две очень важные идеи я стал понимать только сегодня.

«Истина – это всеединство», говорит Вл. Соловьев. (На ум приходит католический афоризм: "Бог есть всё во всем любовь".)

Всеединство оправдывает и христианское смирение, предание на волю Божию, отказ от собственной воли, растворение человека в Боге, и само стремление к такому растворению.

Назад к Богу от мира и человека!

Но для чего же Бог создавал и мир и человека? (Или "мировая воля", или некоторая причина, носящая какой угодно характер?) [Возможно, самые упорные нигилисты скажут, что мир создавался сам по себе, без плана, воли, причины и побуждения, без мечты, необходимости и цели, вот так просто, сам по себе, из ничего, из нипочему, из низачем... Ну, такую концепцию оспаривать невозможно, надо мимо нее просто пройти осторожно, как мимо того турка, который сказал, что он турок, хотя родители русские, и на вопрос, как это может быть, честно ответил: Не знаю. и НИКТО не знает!]

Итак, Бог создал сначала мир – и мне понятно, зачем: чтобы не тосковать в одиночной камере.

Затем он создал человека, по образу своему и подобию – и это тоже понятно: *чтобы было кого любить*. Но совершил странную ошибку, человека Он создал двойственного, из мужчины и женщины, и вместо того, чтобы возлюбить Бога, эти две половинки полного (по замыслу) человека возлюбили друг друга, а на Бога у них уже не доставало страсти, ибо трудно со всею силою любить сразу двоих. Ревнивый Бог выгнал неудачное творение из дому, и теперь мы скитаемся по созданному Богом совершенному миру, кажущемуся почему-то нам неудачным.

Проблем в нашей жизни после изгнания немало, но справимся ли мы с ними, отменив Акт творения и отряхнув Мир от ног своих, как неудачный, ибо тленный, и вернувшись в лоно Бога, словно бы отменив собственное рождение?

Бог разделил себя, создавая сначала мир, потом человека, которые сотворены как отдельное от единосущного, отдельно от Всеединства, чтобы человека можно было любить (ибо невозможно любить себя или даже часть себя, можно любить только то, что вне). Но противники самостояния человека, его отдельного существования проповедуют самоуничтожение, растворение своей яйности, субъектности (вместе с волей) в Боге, так чтобы уже совсем невозможно было ни нам любить Бога, ни Ему (хотя бы и проклиная наше беспутство). Но, возможно, Бог уже утешился, не нужен ему человек, он полюбил уже другого (кого же?)

И у нас остается последнее утешение, у мужчины – женщина, у женщины – мужчина, и мы еще можем любить друг друга, во-первых, потому что подобны, во-вторых, что противоположны.

Нет, является христианский философ-освободитель и возвещает нам новую Истину: сначала мы воссоединимся как целое, женщина растворится в мужчине, затем мы растворимся вновь в Боге, в Его всеединстве, то есть отменим весь Акт Творения Богом и мира и человека. Все было низачем и станет так же.

5. Полнота любви

Что такое любовь и как можно и нужно любить, вопрос этот является лет в одиннадцать-двенадцать, и постепенно заполняет всю нашу природу, и душу и тело. Некоторое время проходит в смуте, в неопределенных формах любви, затем, лет в шестнадцать (но у всех по разному) наступает определенность, благовоспитанные девочки и мальчики начинают мечтать о любви бесплотной, а испорченные, в основном мальчики, начинают жаждать плоти и только плоти.

Но и сие не окончательно, начинается и продолжается длинная жизнь, в течение которой многое меняется в человеке, то в ту, то в другую сторону. И большинство приходит к разумному выводу, что стремиться стоит и к тому и к другому, влюбляются, заводят семью, живут счастливо и несчастливо, иногда изменяют второй "половине", разводятся и сводятся... На краях этого воображаемого интервала различных форм соединения мужчин и женщин с одной стороны, со стороны *идеальной*, монашка, с другой, *плотской*, женщина "легкого поведения" или даже продающая себя за деньги.

Философия, даже если она сужает любовь и ограничивается только взаимоотношениями мужчин и женщин, то есть любовью "половой", как и Вл. Соловьев, не в состоянии вместить в одно понятие отношение к мужчинам монашки, в котором отсутствует всякая возможность плотского соединения и рождения детей, и о котором нельзя говорить как о "половом", ибо сущность монашки и заключается в отрицании пола; и отношение к мужчинам женщины "легкого поведения", отношении, в котором, казалось бы, зато присутствует *только* пол и ничего кроме пола, то есть нет ни семьи, ни дружбы, ни духовного соединения. Вмещает всё только художественная литература (или, шире, *культура*), которая в значительной степени сама и созидает *действительность* жизни.

И в литературе мы найдем образы разнообразной любви, хотя не всегда определенной, но заставляющей задуматься...

Помните, героиня рассказа Мопассана «Пышка» говорит: «Мужчинам это так нравится, а мне это *ничего не стоит*, отчего же не доставить им удовольствие?» Что это, любовь или нет? Ну, большинство возмущенно заявит, что даже и вопроса задавать не следует, потому что для любви необходимы какие-то индивидуальные отношения, разговоры, события, среда, обстановка, не достаточно же только постели, в которую двое ложатся?!

А что же такое тогда «любовь к ближнему», требуемая в Ветхозаветном законе, а затем и в Новом Завете? Вот проповедник в церкви говорит: «возлюбите ближнего!» Прихожанин отвечает: «Согласен!» И что далее, кого он любит? Тут не только лицо, к которому относится или должна относиться любовь, не существует или не определено, но нет даже постели и хотя бы неопределенных отношений, намекающих на любовь.

Поскольку вчера и сегодня я вспоминал Люську, которая из-за меня чуть не повесилась, и даже заплакал при воспоминании, то уместно выяснить до конца, относится ли моя несостоявшаяся с нею связь к любви или не относится. Во-первых, она молодая и привлекательная женщина, хотя и

пьяная, во-вторых, она вызывала во мне то самое желание, о котором говорят в известных случаях философы и вожделеющие, и современные литераторы, но неопределенно говорила классическая русская литература.

И в третьих, она меня *идеализировала*, видела не таким, каков я в повседневном, а каков я в духовной возможности, то есть для нее «сквозь эмпирическую действительность моего лица просвечивал идеальный (подлинный) образ» – а это достигается только в любви, только любовь дает возможность видеть два бытия, реальное и метафизическое, – закрытое пологом обыденного и открытое в подлинной духовной действительности.

Если в *соитии* видеть только физиологию, то это то же самое, что о музыке сказать, что она лишь некоторый набор звуков, производящий приятное впечатление, а о стихотворении, что это набор слов.

В человеческом во всем духовное и телесное соединены почти неразделимо, но можно не замечать или намеренно отрицать духовное, и небо низвести на землю, а в Боге, как материалисты, видеть лишь иллюзорное подобие человека. Нет, не философия, а только культура способна приоткрыть завесу и над «соединением мужчины и женщины в единую плоть», когда словно раздирается полог, скрывающий сокровенное, когда соединяются небо и земля, когда Бытие открывает Тайну жизни и смерти, и словно пропасть разверзается между сиюминутным и вечным, обнажая Трагедию.

Я всю жизнь испытывал ужас при наступлении того мгновения, когда преодолевается разделенность мужчины и женщины, я в это мгновение ощущал «тайну пола», но что именно я ощущал, не могу понять, словно ударяли аккорды вступления к опере «Риенци» или к «Тристану и Изольде» Вагнера, и затем меня покидало сознание. Возможно, я чувствовал то, что, быть может, чувствует невинная девушка, готовясь шагнуть в эту пропасть.

Если бы мгновение остановилось, то я узнал бы ВСЁ. Но я или малодушно бежал, или бессознательно падал, не успевая узнать.

И эта Люська была не меньшей тайной, не меньшей бездной, чем те, которых я соединял в волнующий и прекрасный образ из шорохов и видений в течение иногда нескольких лет, она была так же непостижима и прекрасна, но только неизмеримо несчастнее, чем те, и поэтому я ее больше любил, этого не понимая, и поэтому я ее вспоминаю и плачу, а о тех позабыл.

Да я, вероятно, не совсем ее и *хотел*. Я только почувствовал, что это необходимо, чтобы наступила полнота *магического*, и я смог бы ее спасти, и я сказал себе, что ладно, раз уж так, то я согласен *хотеть* – и во мне возникло то «всемирное тяготение», которое лежит в основе сближения мужчины и женщины, и которое сегодня развращенный материалистической наукой человек (и даже христианский философ Вл. Соловьев) называет *физиологией* (а это то же самое, что человека отождествлять с телом только). Само это тяготение (не только желание иметь семью и детей, не только интеллектуальная, душевная и духовная близость, но близость, как иногда говорят, *физическая*) – состоит из матерьяльного и духовного (или даже магического). Уж если в материи содержится красота, и без материи красота невозможна, так что материя предоставляет себя красоте для того, чтобы

красота воплотилась, то и соединение полов в *единую плоть*, в основе которого *трансцендентное* (но и нечто неизмеримо трагическое, тайна жизни и смерти) – это НЕ физиология. Такие глупости, которые пишут иногда философы по поводу нашей жизни, по поводу того, что в ней содержится для нас важного и иногда главного, а особенно христианские философы, объяснить я могу только одним: в них неполнота существования, они иногда – «люди лунного света», по выражению Розанова.

Если любовь и жалость совпадают (а мне рассказывали деревенские женщины то, что для городских странно, что я, мол, «из жалости ему *дала*»), то, конечно, я в эту Люську влюблялся, и именно *жалостью*. И с грустью ее вспоминаю, даже боясь узнать, как у неё сложилась жизнь дальше.

6. Еще одно оправдание

Часто меня упрекают в том, что я слишком много пишу, и что будто бы то, что я пишу, некий «поток сознания», словно бы мною не управляемый, а будто и меня несущий с собой. Слово цепляется за слово по ассоциации, думаем о вине и хлебе, вспоминаем Христа, Его плоть и кровь, затем крест... и так до бесконечности... И, конечно, подобные тексты мне приходилось читать, но это не я. Вот даже авторы, которых я цитирую, с которыми спорю, на которых ссылаюсь, это только те авторы, которые необходимы для постройки художественного здания, они мною избраны по необходимости, как и друзья, и даже когда случайны, то необходимы.

Потому ли я пишу о любви, что влюбился, или влюбился, потому что пишу о любви? На этот вопрос я, как ни удивительно, позже отвечу.

Но вначале я пристроюсь к компании, в которую входят все те, кто мне необходим для строительства, и они будут спорить, а я буду сначала их слушать, а потом заспору и сам. Я уже сказал, что читаю Константина Леонтьева, который защищает Данилевского, споря с Вл. Соловьевым. Что тут от потока сознания, если Данилевский – моя юношеская любовь, я мечтал его издать и первый в послереволюционной России издал, а в стихи Вл. Соловьева я был влюблен? Страхов к «России и Европе» Данилевского писал предисловие, Толстой тут кстати, потому что дружил со Страховым, а Леонтьев Толстого ругает (потому что еще не доругал его я...) Но главное в том, что не все сказано о христианстве, о культуре, о предназначении России, о неравенстве и справедливости... Может быть, еще не все о любви...

7. И, наконец, последнее оправдание

Вчера заезжал к товарищу, приехали мы втроем, с нами была та, за которую я бегал когда-то, когда ей было тринадцать лет.

Она мне прислала смску: *«Бесценный, самый любимый, родной и прекрасный мой друг! Обожаю тебя, всегда жду. Желая тебе всяческих радостей, любви, интересных встреч, ласковых объятий, вдохновения и приключений! И еще от меня милому Васеньке миллион нежных поцелуев!!!»*

Ну, конечно, это не та любовь, о которой писал Вл. Соловьев, желая женщину растворить в мужчине. А вот я, вероятно, совершенно растворен в женщине, вот почему я таков, каков есть. Но остальное позже...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ СПОРОВ

1. Предварительное объяснение

23 февраля 2015. Попробую ограничиться в своих спорах с христианством краткими заметками, потому что кто отождествляет его с философией Гуманизма, те мое противопоставление религиозного мифа и гуманистической проповеди все равно не приемлют и не поймут, а образованный человек все то, что я по этому поводу говорю, и так знает.

Большинство искренне полагает, что христианство состоит в проповеди любви и только к этому и сводится: во-первых, в проповеди любви человека к Богу, во-вторых, любви к ближнему, и в третьих, в напоминании и пояснении того, что БОГ ЛЮБИТ ЧЕЛОВЕКА.

О необходимости любить Бога и человека говорится не раз, например:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;»

А о любви Бога к человеку в Евангелии от Иоанна говорится так:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.»

Но какая все же любовь является основополагающей ценностью, на которой и зиждется и мир и человек, и жизнь его и цель его жизни? И так ли уж возлюбил Бог человека? И в самом ли деле возлюбил?

Нет, не возлюбил, «...ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

И враги человеку – домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто не берет креста своего и [не] следует за Мною, тот не достоин Меня.»

Эпохи Возрождения и Гуманизма были возрождением античной культуры и языческого отношения к миру и к человеку, и место Бога, который был в Средневековье единственной мерой вещей, снова занял человек, что представляло собою антихристианскую революцию в сфере мысли и культуры, и следующие за нею политические революции, особенно Французская, были ее продолжением в сфере экономических и общественных отношений, провозгласив гражданское Равенство и политические свободы. Что христианство ничего не имеет общего с гуманизмом (тем более с гуманизмом как с *человечностью*), показано во многих исследованиях, например, у Розанова в «Людах лунного света», возможно, я напишу об этом позже...

24 февраля, вторник. Ночью было плохо, я выпил лекарства, долго лежал без сна, под утро заснул.

У меня немало друзей и подруг, но восторженно, горячо относятся ко мне, конечно, только подруги, они меня иногда даже неумеренно хвалят, любят,

переписываются со мною, читают мои книги (только они и читают). Но при этом они христианки, верят в Бога, у них тоже немало невзгод, как и у меня, и болезни, и болезни близких, – и церковь приносит им облегчение и утешение. А я упрекаю христианство в ненависти к культуре и человеку.

Они меня читают и любят – но не слишком ли я их огорчаю, особенно *одну из них*, в вере и в церкви находящую утешение и защиту?

Вот почему надо мне от нападок на христианство отстать. Правда, именно эта же подруга верит еще и в коммунистические идеалы, на которые я тоже нападаю. Неужто мне стать еще марксистом и коммунистом? И в то же время я люблю ее и жалею и не хочу причинять ей страданий.

Есть и третья причина моего сокрушения: мне и самому плохо, впору просить о прощении и помощи. В частности, я болен, но... в другой раз...

Есть и четвертое: так ли я талантлив, умен, образован, значительны ли мои книги? Я уже в этом не уверен – а тогда надо ли мне писать?

Есть еще нечто и пятое, непостижимое, тайное, что меня и приводило к величайшему блаженству и мучает теперь до слез, и из чего я не вижу ни выхода ни исхода...

2. Сокрушение душевное

10 марта, вторник, 16-36. Работал все праздничные дни, но и гулял тоже, в пятницу ходил в баню, выпил, стало хуже. В субботу с утра ходил в церковь, вечером на философском собрании, был воодушевлен, много и красноречиво говорил (не давая другим), и естественно (и справедливо), что стало плохо. В воскресенье собирались у нас родные, выпил только полторы рюмки, но и их хватило для наказания. В понедельник, вчера, с Овс. поехали к Ал., пили коньяк, и до вечера я был опять нездоров.

Возможно, что происшествия моей жизни связаны с образом моих мыслей и с той книгой, которую я теперь пишу, и что поэтому мне необходимо либо писать, как я живу, либо жить по написанному, но нельзя уже отдельно жить, как могу, отдельно писать, как мне хочется.

Немало людей мне сочувствуют, спрашивают о здоровье, пытаются мне помочь, а я им отплачиваю тем, что нападаю на всё, что им дорого.

Если мои друзья и знакомые ходят в церковь, слушают литургию, причащаются, то это почти то же, что я хожу в филармонию или на концерты в университете. Лиши меня музыки, и я стану окончательно несчастлив. А разве я не пытаюсь лишить их «музыки неба»? К тому же они черпают в церкви не только радость и просветление, но и утешение в горестях – а некоторым из них тоже бывает горько...

Нет, нехорошо обижать тех, кто чувствует себя и так обиженным, нехорошо лишать голодного хлеба духовного, обделенного любовью – любви сверхъестественной.

Поэтому я заканчиваю споры с христианством, и в этой главе выскажу еще ряд замечаний не в осуждение мифа, а только в необходимое дополнение к уже сказанному, и напишу об отношениях христианства с культурой, обществом, государством.

3. К кому и для чего пришел Христос?

11 марта, среда, 11-44. Еду из Преображенского Собора, отслушал Литургию, исповедовался, получил отпущение грехов и наизидание жить и любить по христиански, затем причастился, и вот еду домой – позавтракаю и побегу по делам: за результатами медицинских исследований, в банк заплатить за квартиру, потом пообедать, посидеть за компьютером и, наконец, в клинику к невропатологу, чтобы узнать, почему мне сидеть нельзя и что с этим делать дальше.

Итак, надо подвести черту под спорами и даже затем поставить точку.

17-38. Еду к врачу. Но хватит о болезнях телесных, вернемся к душе.

В Евангелиях Христос неоднократно говорит, что пришел к нуждающимся, к грешникам, а не к праведникам, ибо больные нуждаются во врачах, а не здоровые, и повторяет: *Придите ко Мне, страждущие, и Я упокою вас.* При этом он повторяет ветхозаветные заповеди, призывает к милосердию (сравните у Пушкина, который ставит себе в заслугу, что он «и милость к падшим призывал») и Сам творит милосердие, учит и лечит и даже воскрешает умерших, и защищает распутную грешницу, которую ветхозаветные старцы собирались побить камнями по ветхому закону, сказав знаменитые слова: *Кто из нас без греха, пусть первый бросит в нее камень!*

Итак, кажется, что Он пришел, чтобы призвать к прощению, неосуждению, милости и любви, и многие поэтому всерьез уверяют, что христианство – это учение о любви.

Но параллельно этому еще большая часть проповедей посвящена обличению грехов, напоминанию о Страшном суде и конце света за грехи человеческие (и за самый страшный *первородный грех*), и о том, что ждет нас по преимуществу, кроме малого остатка праведных, смола и вар, плач и скрежет зубовой.

Рядом с назиданием праведности постоянное напоминание о невозможности *здесь* спасти человека и мир, о том, что они обречены на погибель, да и от мира сего Бог уже отказался, его надо отряхнуть как грязь и пыль с обуви своей и жить ожиданием воскресения и жизни будущей, за гробом; отказать от всего, чем *прельщает* мир (то есть и от театра, и от музыки, и от философии и литературы).

К сему еще следует добавить, что «изменить жизнь к лучшему» не намеревался ни Христос, ни апостолы, изменить неравенство, политический и экономический строй, несправедливость, на которой воздвигнута общественная и частная жизнь. Кесарю воздайте кесарево; рабы, повинуйтесь господам своим; дети, почитайте родителей (что, конечно, справедливо); жена да убоится мужа (что, на мой взгляд, мало похоже на любовь).

Утверждая в качестве смысла жизни жизнь после смерти (и Воскресения), христианство противостояло и античному язычеству, и Возрождению и Гуманизму, и Просвещению, и буржуазному меркантильному образу жизни, и коммунистическим идеалам; оно противостояло истории, культуре, общественной жизни, и даже обыденной частной жизни, сознанию и поведению обывателя.

4. В чем укоренен миф?

20-34. Возвращаюсь от врача. Кажется, я еще буду жить, да, может быть, лучше, чем в последнее время.

Итак, христианство не совместимо ни с здравым смыслом, ни с рациональным мировоззрением, но вот уже две тысячи лет определяет собою европейскую жизнь. Как это возможно? – спрашивает здравомыслящий человек (вчера поклонявшийся сам если не «жизни будущего века», то жизни для будущих поколений, будущему идеальному обществу, ради которого надо было ходить в рубище и в язвах, как и христианам. И как это было возможно, мы уже тоже не узнаем, а здравомыслящий человек не может объяснить, чем его привлекал коммунизм).

В субботу был в философском собрании. Хорошо выпили, отлично закусили, зашел разговор о значении мифа в нашей жизни, о причинах, по которым миф в жизнь входит, с нею соединяется. Да, в мифе много странного, согласились мы, но представим себе, что мы создали общество, в котором властвуют культура и наука, в церковь не ходим, не молимся, Богу не поклоняемся. МИФА нет. А что на его месте? Если на его месте не появится новый миф, например, коммунистический, то останется пустота. Но легче ли, радостнее ли, духовнее ли станет наша жизнь рядом с *пустотой*? Нет.

Многое наполняет нашу жизнь действительным или мнимым светом, и точно ли это всеобъемлющее, окончательное, всеобщее и всемирное, однако и оно становится содержанием и смыслом бытия отдельного, семьи и народа: это во-первых, *красота и любовь к женщине*, во-вторых, *любовь к родине*, в третьих *культура*. Я принимаю и то, и другое, и третье – но достаточно ли мне их? Остается еще часть пустоты, которую я заполняю *трудом и творчеством*. Увы, и я люблю родину странно любовью, обличаю ее, любя и страдая, слушаю музыку, читаю философов и романистов, брожу по улицам Петербурга, встречаюсь с друзьями, забочусь о родных (и это все часть той Любви, о которой я сказал), пытаюсь *совершенствоваться* в некотором глубоком и важном смысле, о котором не говорит христианство – а именно, пытаюсь достичь совершенства в том деле, которое я считаю наиважнейшим, к которому, быть может, я призван.

Один мой покойный товарищ говорил, что *через всякое дело, достигнув в нем совершенства, можно достичь просветления* и подняться в высшие миры, хотя бы это было дело столяра или плотника; не писать стихов и романов, но вознестись выше «Александрийского столпа» своею главою труженика и заботника (о, как чуждо христианству само представление о таком возвышении и совершенстве в труде и творчестве, даже чего-либо в этом смысле нет в поучениях ни апостолов ни проповедников!)

Но и всего этого не достает мне, и я возвращаюсь к той любви, которая стала осью, формой и содержанием культуры, то есть к любви к женщине и ее красоте. Но... в ней неожиданно соединяются все проблемы бытия и все Любви, привязывающие человека к этому миру: и любовь к Богу (дающая верующему оправдание его жизни, а, значит, привязывающая к миру, который, казалось бы, он должен отряхнуть от обуви своей), и чувство долга, и

милосердие, и творчество, и культура. Я уже было расстался с мифом, но ласточка посылает меня в храм исповедоваться в грехах и покаяться. Затем она заставит меня вступить в свою коммунистическую партию, потом, по приказанию партии, она меня застрелит, и я буду улыбаться, блаженный, стоя напротив нее и переживая свое дурацкое счастье. Умники же останутся жить – но будут ли они счастливее меня?

Возможно, любовь – такой же религиозный миф, потому-то ревнивый Бог и наставляет человека сначала любить Бога, потом ближнего, и потому же он изгнал Адама и Еву, когда они друг друга предпочли Тому, кто их создал.

Пустоту, которая возникает в мире, когда ее не заполняют любовь или родина, или творчество – или заполняют не до конца, человек иногда заполняет суррогатами подлинности – вином или наркотиками. На мгновение он чувствует себя счастливее, но лестница, по которой он поднимается, ведет уже вниз, а не вверх.

5. Культура и личность

Мы обращаем внимание на наиболее видимые связи между вещами и явлениями, но так ли верны известные представления о том, как совершалась история, в каких отношениях предстояли друг другу ее части и стороны?

В особенности это касается отношений между личностью и культурой, их взаимовлияния. Мы фиксируем влияние непосредственное, прямое: те культурные и духовные изменения, которые происходят с личностью, на которую влияет культура, и те изменения, которые она претерпевает в результате деятельности творца – писателя, музыканта, художника, зодчего. Но каждый человек влияет на окружающий мир двояко: через свои творения, влияющие на культуру и народ, и непосредственно, через влияние на тех, кто его окружает и с кем он сталкивается. Такое влияние может быть более значительным.

Есть и множество «деятелей культуры», без которых она была бы ущербна, в частности, издателя и редактора, мецената, строителя оперного театра, архитектора, создавшего его облик... А купец, задумавший его создание, истративший на строительство и содержание свои деньги (опера Зимина)? А Дягилев, устроитель Дягилевской антрепризы, познакомивший Европу с русским искусством?

В культуре участвовали и те, кто сжигал книги и рушил храмы, сжигал ученых и поэтов, хотя лучше было бы, чтобы они просто жили где-то в дикости и не общались с культурой... Но что поделаешь, каждому хочется переменить жизнь вокруг себя, сделать ее прекрасной или убогой...

Многообразные влияния и зависимости между событиями не ограничиваются тем, что лежит на поверхности, но ... ну и что?

И на этой горестной ноте перейду я к чему либо еще более горестному.

Есть ли смысл в том, что я пишу? Существенно ли это или не более, чем как если бы матросы начали дуть на паруса, чтобы корабль побежал сильнее? Боюсь, мои писания не существенны, и от этой горестной ноты перейду я к чему либо еще более горестному, а именно: я болен, плохо сплю, и «она» меня не любит.

6. Так что же прежде?

Мое поколение выросло на Пушкине, Гоголе и Лермонтове, Тургеневе, Толстом и Достоевском, и что на первом месте человек, а Бог может подождать, в этом сомнений у нас не возникало, и хотя религиозный мотив был явственен у всех этих писателей, но человек и его взаимоотношения с другими людьми были первостепенны, то есть любовь, семья, дружба. Значительное место в том мире, в котором жил человек классической русской литературы, занимала Родина и долг, и когда они сталкивались, человеку и его прихотям приходилось уступать. Так в «Тарасе Бульбе» драматически заканчивается жизнь одного из двух сыновей Тараса, поставившего любовь выше воинского долга, так в Евгении Онегине Татьяна утверждает, что раз она отдана другому, то именно ему и будет верна, так и Анна Каренина бросается под поезд вместе со своей преступной любовью, утверждая тем самым главенство семейной добродетели перед страстью.

При этом, если человек и его своеволие и приносились в жертву, то жертва эта приносилась не Богу, а тому, что само является принадлежностью человека, то есть семье и родине.

Трагический треугольник, в котором оказывается Любовь к женщине, включает, кроме любви, Долг и Веру. Но я только начал исследование, и поэтому что же такое любовь, чем она может жертвовать, и чем можно жертвовать для нее, я еще не объяснил.

7. Так что же такое любовь?

17 - 18 марта, среда, полночь. Мне удастся что-нибудь толковое написать, только отталкиваясь от чужих размышлений, поэтому продолжу писать в связи с сочинениями Константина Леонтьева. Но поэтому данную главу наспех закончу, чтобы уже писать заново и с чистого листа.

Что такое любовь, в чем она состоит и чем она не является?

«Любовь – не вздохи на скамейке и не прогулки при луне!», – говорил старый советский поэт Степан Щипачев.

А почему, собственно говоря, и не вздохи? И не прогулки?

В ранней юности к вздохам и к прогулкам относилось в любви очень многое, к ней еще относились объятия и поцелуи, а они как раз часто бывали и связаны с прогулками при луне или сидениями на скамеечке – но пора сделать перерыв, поспать (если не будут сегодня из меня снова выламывать ребра), отдохнуть, а потом уже приняться за исследование любви всерьез.

Но разве и вскапывая огород,
В стихи превращая грядки,
Я не узнаю и то, что выше?
Милая ночью слезы льет,
Ласточка пролетает под крышей...
И Бог улыбается, играя со мною в прятки...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ЛЮБВИ

1. Болезнь и кризис в душе

18 марта 2015, среда, 12-00. Спал хотя и плохо, но уже не совсем безропотно, пытался поговорить с болезнью и договориться о взаимных уступках.

Но прежде чем обо всем подробно рассказывать, надо оправдаться перед читателем – зачем ему мои болезни, надо ли о них писать и будет ли ему это интересно? Тем более что в многочисленных записках я часто говорю о своих телесных и душевных страданиях и как бы уже это не было «перебором»?

Но дело в том, что я надеюсь, что и эти мои рассуждения будут иметь поучительный и нравоисправительный характер, быть может, читатель узнает что то и новое и важное и ему, и не только обо мне, но и о себе.

Во всяком явлении есть причина и назначение: во-первых, почему сие произошло, во-вторых, ЗАЧЕМ?

Раскольников убил старушку, причина сего странная, и она коренится как раз в цели, ему надо было доказать, что он имеет право дерзать, что потенциально он равен Наполеону, для этого (а вследствие того и поэтому) он и убил старушку.

Во многих подобных случаях именно цель и является причиной: разбойник убивает, чтобы ограбить, и *поэтому* убивает. Так же и ревнивец. И политический или экономический соперник.

Убийство же в пьяной драке имеет причину, но бесцельно, и потому случайно.

Например, я простудился – плохо оделся, сидел на скамеечке с подругой, накануне не выспался, был не в духе, все вместе привело к тому, что заболело горло и начался кашель. Вообще говоря, разные вирусы и микробы витают и в воздухе и в нас, даже чумы и тифа, но мы не бодем, пока не покажем перед ними слабинку или не встретимся с наиболее агрессивными из них – но это не вся правда, все же заболеваем мы не только потому, что дошли до ручки, но и потому, что у киллера болезни появилось задание, определенная цель, ему заплатили и его наняли.

Один мой товарищ-христианин говорил, что если заболел, то надо идти не к врачу, а в церковь, исповедоваться и покаяться, человек потому заболевает, что душа не на месте, что он грешит или собирается согрешить, так что причина болезни не в теле, а в духе или в душе. Как видите, и причина не совсем та, что мы обычно думаем, но все же это причина – однако, у болезни есть и цель: она может быть **наказанием** за грехи; **предостережением** или средством оградить от серьезных душевных поступков, которые могут повредить душе даже более, нежели болезнь повреждает телу.

Но у болезни есть множество и других целей, многие из которых мне и самому не до конца ясны: болезнь ведь и воспитывает человека, и совершенствует его, и исправляет, и учит, делает глубже, заставляет подумать и одуматься... Каждая моя книга оплачена болезнью или даже испытанием

более серьезным, например, роман «Боль и любовь» я писал в 99-м году, когда трижды в течение трех месяцев оказывался на краю жизни.

Можно сказать, что даже тем довольно посредственным литератором, которым я стал, мне удалось стать потому, что Бог насылал на меня испытания, иногда прямо таки казни египетские. «Записки на пальме» я писал в тюремной камере, писал пять месяцев, окончил, и в тот же день меня из тюрьмы отпустили (но зато я не болел).

Пытается ли Господь (или Ангел Господень) отвадить меня от писания книг, или, наоборот, помогает – потому что в здоровом состоянии я пишу еще хуже – но так или иначе, начиная писать новую книгу, я заболеваю, разлаживается во мне тело, начинается и кризис в душе. Если я пишу о любви, то на меня напускают любовь, а она со мною ведет себя не милосерднее, чем следователь, конвоир, тюремщик, хирург или разбойник, и если я выползаю из-под обломков ее, то это и удивительно.

Книги о литературе, все три, я написал за два года, за это время на меня «наехал» сарай и сломал плечо, затем мне его сшивали и ремонтировали, затем из меня вырезали кое-что лишнее (не считая простуд и болезни позвоночника). Кстати, почему во мне болит позвоночник? Маг, подвозивший меня на московском шоссе, мне это объяснил: оказывается, у меня покривилась духовная ось и ось мироздания, система координат в мире, с которой я связан, естественно, что я скособочился и начал болеть. Надо исправить мне свое положение в мире, стать прямее, выпрямиться – тогда и лечение пойдет действенное.

Вот эта книга, которую я теперь пишу, связана с кризисом в моей душе.

Я не уверен в себе, в своих способностях, в праве своем писать и учить других – неотвратно должен был я заболеть! Сегодня ночью мне даже казалось, не собираюсь ли я умереть... или не собираются ли те силы, которые на меня, возможно, влияют, отправить меня на эшафот.

Это, конечно, несправедливо. Быть может, я еще исправлюсь. Быть может, я даже начну писать лучше и что-нибудь напишу более толковое, чем до сих пор. Быть может, мне удастся помочь многим людям, которые нуждаются в моей помощи... А тут вдруг эшафот? Нет, это несправедливо.

Итак, болею я потому, что пишу и поучаю, а сам еще не нашел мира в душе, сам еще не знаю, «что есть истина». Болею я затем, чтобы одуматься и исправиться. Возможно, болею и в назидание и в наказание, быть может, меня уже приговорили к Высшей мере и пора отвечать за все содеянное, праведное и неправедное...

13-45. Сначала я лежал на спине, болела и спина, и левый бок, и правый, и грудь и живот. Я сосредоточился и пришел к выводу, что источник боли внутри, а не снаружи, болит мой живот, от него и все остальное. «Слушай, сказал я ему, давай будем болеть по очереди, сначала пусть болит левый бок, а на правом я пока посплю, потом наоборот, а потом я посплю на спине.»

Он внял моим уговорам, и мы славно поспали, хотя и с перерывами.

Утром живот разболелся с новой силой, наверстывая ночную немощь.

Но я начал делать гимнастику, позавтракал кашей, походил дважды по улице... Быть может, воздержание и каша пойдут мне на пользу...

2. Побег из времени.

Перефразируя Пушкина, могу сказать, что печатаю я и дарю друзьям свои книги – из тщеславия, то есть для того, чтобы произвести впечатление хотя бы на несколько человек, то есть хотя бы в этом узком кругу прославиться. А пишу... нельзя сказать, что *просто пишу* для себя, и что *простописание* доставляет мне удовольствие, как, например, некоторым игра на скрипке, игра в шахматы или пьянство, нет, пишу я с такою же целью, с которой другие принимают лекарство: всё болит, жить неумогу, застрелиться страшно и не из чего, и грех, и ближних жалко... ну, вот, несколько страничек чепухи, словно принял таблетку цитрамона от головной боли или аспирина, кажется, стало полегче.

Но есть и более важная причина того, что я пишу, ее изложу подробнее.

Я СПОРИЮ.

Спору с Богом, властями, народом, литературой, спору с обществом, друзьями, окружающими и природой.

Спору очно и заочно, то есть и так, что оспариваемые об этом не знают. Вот, например, я спору с Богом – знает ли Он об этом? Разумеется, труда Ему не составит знать – но интересно ли? Может быть, он смотрит на меня как на комара и думает: ну, чего жужжит? Не прихлопнуть ли? Но Ему лень...

Но больше всего я спору с обществом, с государством и сложившимся порядком вещей.

Страна наша оккупирована, разгромлена, обворована, почти всё в ней уже переломали и вывезли за рубеж, вот последний сохранившийся царский особняк захватили мародёры и выламывают бронзу, мрамор, фарфор для своих дач, оставили только ободранные стены...

Тысячи невежественных и вороватых поделили материальные богатства моей Родины, живут в саунах с телками, пьют вина заморские, едят перепелов и фазанов на золотых блюдах, копят золото на заморские виллы.

Они ничего не умеют, ничего не знают, ничем не интересуются, экономическая жизнь в России протекает вяло, население прозябает, культура и образование гибнут, народ вырождается и сокращается в численности; в войну население вымирало от голода и на фронтах, но бабы могли «еще нарожать», по замечанию Жукова, а теперь не рожают и бабы...

Они ничего не умеют, но смотрят на мой народ сверху вниз и на меня тоже, словно бы это мы ничего не умеем... И вот я взбеленяюсь и спорю!

Народу нашему я ничего доказать не смогу, они всем довольны, на выпивку и закусу им хватает, а больше им и не нужно – но я пытаюсь «доказать» что-то неведомое даже тем, кто меня и не слушает.

Напрасно вы похваляетесь, говорю я беззвучно сильным мира сего.

Нет у меня ваших денег и власти, но зато все остальное, что еще более ценно, У МЕНЯ ЛУЧШЕ, чем у вас.

У меня лучше друзья, родные и семья.

Самые прекрасные девушки тянутся ко мне и уделяют свое внимание – а их внимание невозможно купить, даже дружба может случиться по принуждению, но не любовь.

Вот поэтому я и пишу, мне необходимо подняться на вершину, достигнуть совершенства, и деньги, и признание, и слава не важны – нет, я должен научиться писать ЛУЧШЕ всех, чтобы я мог повторить о себе слова Пушкина: «Ты царь! Живи один! ... не требуя награды за подвиг благородный.»

Но мне важно одно: чтобы они все, богатые и власть имущие, эти распорядители судеб людских, распорядители мира, поняли, что только Я избран, что только я около Бога и Он благоволил мне, а они – только прах из праха, ничего нетленного они из своей жизни не выжили.

Я должен победить, чтобы отомстить не только за себя, но и за всех поэтов.

Женщины в моем споре играют не меньшую роль, чем стихи и романы. Романы с женщинами в том же ряду, что и романтические сочинения.

Но проходят десятилетия, а спор я еще не выиграл, поэтому я его не могу закончить, снова и снова пишу, снова и снова влюбляюсь, снова и снова пускаюсь на завоевание двух вершин: Любви и Творчества.

Но время властно и надо мной, уже и перо тяжело поднимать, не только верховостку переносить через канаву, поэтому начинается еще один спор, уже не с Богом и не с обществом, а с временем, я пытаюсь его преодолеть, от него убежать, так появляется новая книга: «Побег из времени».

Но время я победить не смог, и даже не убежал из него, поэтому книга оказалась не состоятельной, теперь она валяется «в самом дальнем, самом пыльном ящике стола», куда и собиралась отправить мои письма героя не состоявшейся книги.

Однако спор с временем не закончился. Поверженный, я продолжаю с ним спорить. А так как способом, которым я спорю с временем, является любовь, роковые встречи и соединение судеб, то вместо рукописного романа я составляю роман лирический, состоящий из чувств и слов, встреч и писем, разговоров и событий. Но любовь служит фабулой и той книги, которую я теперь пишу. Наверное, должно происходить трансцендентное преображение моей личности, жизни, чувств и мыслей в слова и строки, в образы и в их сочетания, я должен превратиться из живого человека в рукопись книги, или, говоря метафорически, действительное Я должно превратиться в свой условный Портрет.

18 марта 2015, среда, 22-00.

Всегда ли я был грешником, всегда ли пренебрегал другими – или, напротив, и теперь и прежде я был все тем же, меня несло, заносило, швыряло о камни, но я не помышлял кого бы то ни было обидеть, а, может быть, и НЕ обижал? Увлекался, горел, иногда зажигал... но при всех поворотах судьбы заботился о тех, кого судьба со мною связала, охранял их и защищал.

Возможно, я себя стараюсь выгородить – но пусть читатель решит это сам. Да, и кстати... Так как читателями могут оказаться и мои близкие, а мне огорчать их тоже не хочется, то сделаю одно важное замечание.

О ком я пишу, и что из себя представляет мой краткий очерк? Воспоминания, Докладная записка, Показания на следствии? Пишу ли я о себе и так, как было в действительности? Нет, как правило, мой литературный герой, подражающий мне, со мною не совпадает.

Все ли было так, было ли, или это вариации на некоторую общую для всех тему любви? Пусть каждый принимает тот вариант, который ему приятнее. Возможно, я никогда не целовался с посторонними девицами, хотя и мечтал о поцелуях. Возможно, я ангел... Возможно, *немного падиший*, но только, возможно, немного...

Побег из времени, товарный вагон.
 Куда мы движемся, непонятно.
 Быть может, лучше в осень бегом,
 В «шуршащие цветные пятна»?

Стоим на станции в никуда.
 Раскрыто небо, светло и ясно.
 И небо мчится по проводам
 Из счастья общего в судьбы частные.

Но я и прошлое хочу удержать,
 И с новым небом не разминуться.
 Нет, не сумею жизнь в книгу сжать!
 И в послесловие не убежать,
 И с предисловием не обмануться.

Побег из времени. И дум и чувств
 Хочу вобрать всё до края Млечного.
 Вот оттого и в грядущее мчусь,
 Вот отчего и в прошлом как в вечном.

Опять на станции. Каких времен
 Скиталец-пуганик беспечно-страстный?
 Куда отправимся? Товарный вагон.
 Гудок, стук стыков. И голос властный!

4. Болезнь и кризис в душе

19 марта 2015, пятница, 22-00. Был у врачихи. Водку пить она мне запретила, кроме как после бани или с дамой, но в баню мне нельзя по здоровью, а с дамами встречаться Бог не велит. Обложили меня со всех сторон, не знаю уже, как и жить. Спал, правда, уже не так плохо, может быть, еще поживу. А водку пить я уже и сам не хочу, и главная моя «дама» ее не пьет и мне не велит.

Рассказы про любовь больше писать не буду, писать я их не умею, возможно, из-за теперешних «Книг рассуждений» – в них мой назидательный тон уместен, а при описании "вздохов при луне" надо писать мягче, живее и *художественнее*.

Но рассуждения записывать еще буду, так как хочу разобраться со смыслом любви, понятным как будто каждой школьнице, но запутанным философами, в особенности Платоном, Шопенгауэром и Владимиром Соловьевым.

«Безвременье, тоска, усталость...» И, конечно, болезни.

То ли сердце болит, то ли дух изнемог...

Где вы, руки друзей, где вы, губы подруг?

Покачнулась земля и плывет из-под ног,
 Лишь метафоры снов – мой спасательный круг.
 О, привычная боль, ты сегодня больней!
 Растерялась душа в повседневной тоске.
 Я трезвей, чем вчера, только думы пьяней,
 Все богатства мои – в опустевшей руке. ...
 ... Оттого-то опять мое сердце болит,
 Да и духом, увы, беззащитно пал.
 Губы новых подруг не учили молитв,
 Ну а руки друзей сам я, видно, разжал.

Я из стихов приготовлю волшебный напиток.
 Заворожит он, окутает нежными снами.
 И не оставлю других неразумных попыток
 Хоть на мгновение юной понравиться даме.
 Я научусь колдовству, познакомлюсь с волхвами,
 Буду и дерзок и робок, слегка простодушен.
 Стану любимым, как прикажете, с Вами.
 Только сегодня побуду слегка непослушен.
 Я напишу, прикажите, чудесные книги.
 Может быть, хоть и на миг, но изведу глупую славу.
 Латы одену... А то, коль хотите, вериги...
 Все же я с Вами останусь – пускай не по праву!

Это старые стихи 2008 года, когда заканчивалось безвременье постюремного быта и начиналась новая полоса жизни. Не то ли происходит и теперь, только я пока не понимаю происходящего?

5. Возвращение волхвов

21 марта, суббота, 12-00. Вчера в университете в Петровском зале состоялся концерт ансамбля старинных инструментов, посвященный Иоганну Себастьяну Баху, в связи с 330-летием со дня рождения. А.Ю. сказал в своем вдохновенном выступлении, что его музыка учит и духовно поднимает все последующие поколения композиторов, она при кажущейся простоте до сих пор ставит в тупик композиторов и исследователей, в некоторых кантатах партия для голоса может начинаться в пяти разных местах и укладывается в партитуру наилучшим образом. Пела недавняя синичка, которая вдруг взнеслась на вершину, и я ей сказал после концерта, что ей немного осталось, чтобы встать рядом с гениальной Галли Курчи.

И, вероятно, вчерашний восторг повлиял на мою судьбу. В шестом часу утра я проснулся, пришли волхвы и обрушили на меня лавину идей. Пришлось всгать, на кухне я схватил бумагу и карандаш и кое что записал, но они после этого еще много со мной рассуждали, но уже я начал дремать и почти ничего не запомнил.

– Не волнуйся, – сказали они, мы придем еще, и снова будем тебе

помогать, и что нужно, то ты запомнишь и запишешь. К сожалению, ты пишешь плохо, и плохо запоминаешь, поэтому с тобою приходится нянчиться.

– Но почему же тогда избран я в авторы книги, которую мне без Вас не написать, а не кто-то более достойный, более образованный и талантливый?

– Да потому, что более достойных, увы, нет. Ты пишешь, как можешь, то есть плохо, *в силу своей немощи* (то есть *из-за того*, что немощен), но не по немощи пишешь, а по силе ее, ей соответствующей; а многие, которые берутся за такой труд, только по немощи и пишут. Другие же, талантливые и образованные, слишком уверены в себе, так как сознают свою силу, и пишут *в силу* оной *силы*, то есть насколько сильны. Но при этом они не сомневаются, видят ясно, излагают хорошо, и здание, которое они выстраивают, своей добротностью, завершенностью, отлаженностью и упорядоченностью всех частей весьма становится похоже на тюрьму. Вот так писал Платон, и всё у него было совершенно, и поэтому он даже описал образцовое, как ему казалось, здание государства и общества, но что за жизнь он изобразил в «Республике»? Духовное и социально-политическое рабство, то, что и осуществилось в вашей несчастной России при большевиках. Так же совершенно писал и Гегель, и тебе не написать как они. (И слава Богу!)

Вот отчего надо писать *в силу немощи* – чтобы в писании была и свобода, не одна только необходимость, пусть даже и слабости, и ошибки и несовершенства.

Но мы не ограничиваемся одними подсказками, иначе бы получился твой труд не самостоятельным, ты оказался бы простым исполнителем, записчиком того, что тебе надиктовывают, подобно тому, как о священных текстах говорят, что они *богодуховенны*, то есть вложены Богом как Его дыхание в души исполнителей.

Нет, необходимо, чтобы человек самостоятельно сумел понять, не нуждаясь в поводырях, и то, что в *бытии*, и что в *инобытии*. Человек теперь Богу нужен для *сотворчества*, с этою целью он и создан, а не для того, чтобы быть простой куклой, подвластной чужим пальцам.

Но нужен такой человек, которого бы его сила и сомнение не отвратили от небесных сил и не подвигли на самостоятельное только творчество, в котором Миф из формы понимания сверхчеловеческого стал бы только иллюзией, подменяющей смутное и непостижимое, неясное сказкой, легендой, личным сочинительством. Нет, ты должен написать и то, в чем уверен, и то, что кажется верным, и то, что кажется сомнительным, и то, что является тебе в снах и что, может быть, наиболее действительно и глубоко.

Однако, хотя ты и идеально подходишь к своей миссии, и слаб, и ничтожен, и погряз в грехах, страстях, слабостях, и ленив, и необразован, и все растерял, ничего не запомнил, бегаешь за девицами и они тебе заслонили весь свет, и о миссии вспоминаешь ладно если во сне, но есть возможность тебя образумливать, когда «требуется поэта к священной жертве Аполлон».

Надеемся, ты хорошо помнишь слова Рихарда Вагнера о том, что *все великое дается только через великую боль*? Вот с помощью *боли* и возможно тебя призывать к «священной жертве»! Именно поэтому тебе и даются язвы и

струпья, и Ангел сатаны тычет острым жезлом в бок, нанося тебе раны. И ныне ты заболел во-первых, потому, что необходимо искупить тебе свои вѣны, и потому, что надлежит утончить твой дух, чтобы он был свободен от земной суеты и смог видеть небесное.

Как и всегда, начиная с той злополучной ночи на 29 декабря 98-го года, когда ты заболел и принес покаяние, и кончая апрелем 99-го года, когда, наконец, ты искупил всё сполна и уже в основном была написана твоя книга «Боль и любовь» – так до сегодня, – все, что ты пишешь, оплачено твоей болью.

«Записки на пальме» ты писал, лежа на третьем ярусе нар, когда вопили три телевизора, два приемника и пятнадцать здоровых глоток и днем и ночью; и хотя ты не был болен, иначе бы не перенес обстоятельства, которые были тебе даны для творчества, но по выходе из тюрьмы заболел: работая грузчиком и перенося мешки с капустой и картошкой перед собою – глупый белоручка, не хотел грязными мешками пачкать белый халат на тебе, поэтому носил мешки перед собою на вытянутых руках – и у тебя разладилась твоя телесная ось, проходящая через тело и душу.

«Жизнь на краю» соединилась с *аритмией*, которая то усиливалась, то ослаблялась, пока ты ее писал, и вдруг почти спряталась, когда книга была написана.

«Поиски длиною в жизнь» привели тебя на хирургический стол: три дня ты терпел, превозмогая боль, наконец ночью тебя привезли в клинику и два хирурга восхитились твоей сибирской глупостью настолько, что согласились не резать, а *подождать до утра*, а там оно как-то *само собой рассосалось*.

Книги о литературе оплачены да и писались благодаря двум болезням и двум операциям, в результате которых, как сказала симпатизирующая тебе врачиха, у тебя «шлюзы прорвало» и теперь тебе не остановиться в своих идиотских многословных писаниях. Да и перестройка сарая была «при чѣм», чтобы не засушил ты свои крестьянские корни, но взамен ты разбил плечо.

Было и столкновение с финским трейлером на московской дороге в 97-м году, и язва, и насморк... но остановись, иначе ты уже *начинаешь хвалиться своими немощами*.

6. Своеволие

Есть и еще одна причина того, что именно на тебя возложена миссия культуры в ее связи с мифом: потомок ермаковского казѣка, ты и упрям и своеволен, хотя и сомневаешься, но горд и веришь *в силу слабого человека*.

Упование на волю Бога лишает его самостоятельности, относит к царству природы, тогда как человек в наибольшей степени относится к царству духа. Христиане ссылаются на слова Христа, что Он пришел исполнить не Свою волю, а волю Отца, пославшего его на смертную жертву – но Отец и Сын по Его же словам ОДНО. Миссия же человека состоит в том, чтобы найти собственный путь духовного постижения и спасения, ИЗБРАТЬ по своей свободной воле те ценности, на которые надлежит опираться и которые надлежит защищать в борьбе Добра и Зла.

Человек действует в не зависящих от него обстоятельствах, его судьба и история мира от него не зависят, но КАК поступить в том или ином случае, решает он сам, и что же, вместо того, чтобы поступить в соответствии с совестью, интуицией, долгом, обязательствами, традициями и голосом крови или любви он начнет гадать, а в чем же состоит воля Бога? То, что твой отец оказался на Безымянной высоте 19 августа 44-го года, зависело не от него, как и война, и отступление и наступление. От него зависело выполнить приказ, окопаться, поставить минометы и отражать наступление финского войска, что он добросовестно и исполнял. И от него же зависело, отступить ли вместе со всеми в безвыходной ситуации перед превосходящей силой (и, скорее всего, вместе же со всеми и погибнуть) или остаться на высоте одному, прикрывая отход своего отряда, и *пасть одному, но спасти остальных*, что он и сделал.

И он потому Герой, что исполнил свой воинский долг и поступил согласно со своей собственной свободной волей, которою его наделил Создатель.

Защищая отца и себя, ты защищаешь человека перед теми певцами рабства человека у Бога, которые человека почти приравнивают к бессловесному скоту.

7. Любовь как Сочувствие, Забота и Спасение

Итак, обстоятельства нам даются иногда почти так же, как дается актеру текст его роли, но как ее сыграть, зависит от него, и надо играть не бездарно. Мы исполняем нашу миссию, не отказываясь от своей воли, а через нее.

Любовь и дружба, сочувствие и долг – это те нити, которые соединяют людей, не отнимая у них индивидуальность, самость. Долг равен ответственности, хотя и не совпадает с нею.

В последние недели уныние часто овладевало мною: не только потому, что я понял, что плохо пишу, что слишком много слов и мало идей, но и потому, что меня стало мучить опасение, что своей независимой позицией в отношении церкви и христианского учения, а также учения о социализме, и своей оппозицией государству я смущаю тех, кто находит поддержку и утешение, к ним прислоняясь. Размышляет человек об обществе равенства и справедливости, и ему становится легче хотя бы по надежде, что это когда-нибудь осуществится и что этому можно содействовать; приходит человек в церковь, молится, слушает церковную службу, зажигает свечи перед иконами, и ему становится легче, он испытывает покаяние, преодоление грехов и благодать. И сколько бы спорного в христианстве ни было, но именно через него многие воспринимают дух святой. («Пришла баба в храм, поставила свечку, помолилась, и такая благодать разлилась у нее в душе! Кто это делает? – вопрошает Розанов. – Ни поэт не напишет, ни ученый не откроет...»)

И вот, я открываю правду о сожжении Александрийской библиотеки, но эта правда, когда ее узнает один из «малых сих», помешает ему в храме «поставить свечку, помолиться и получить благодать». Так нужна ли моя правда, полезна ли она или вредна и опасна?

Вот почему я сомневаюсь в справедливости того, что пишу, и обращаюсь к трем своим читательницам, которые меня любят и мне доверяют: если я беру на себя ответственность за них, то и они не должны отказываться от ответственности за меня. И поэтому я прислушиваюсь к тому, что они мне говорят и еще скажут. А слезы той, которая из-за меня плакала, жгут мое сердце.

Но я еще не разобрался, что верно и что неверно, мои книги – это мой собственный путь обретения Истины для себя и для других.

И в этом же ряду Любовь.

Страсть и забота, долг и мания, возделение и очарование, соединение любящих в духе и плоти – разнообразна любовь в своих проявлениях, в формах, в которые она отливается, как отливки скульптора; но скульптором любви является Бог, создавший идею любви и ее разнообразных проявлений, а человек – мастер-отливщик, он выбирает те формы, которые ему более подходят (сознательно или бессознательно), и живет, чувствует, мыслит и испытывает страсти, проявляя себя и свои способности, подчиняя себя или подчиняясь, сосредоточиваясь или разливаясь как река в наводнении. Ныне дети свободны в своих чувствах и в их проявлениях, в выборе возлюбленных, в браке и вне брака, их не отдадут замуж и не женят – по расчету и родительской воле. Религиозные наставления и философия тоже уже не диктуют, как жить, что делать, «давать или не давать», ни юноша ни девушка не читают прежде Платона и Шопенгауэра, не читают даже «трактата о любви» Стендаля (хотя его романы читают многие) – и все же не совсем разделены жизнь и литература, жизнь и церковь, жизнь и философия. Герои «Случайной любви» были настолько в плену страсти, что даже если бы они и прочитали сначала Платона, ничего бы не изменилось в их порыве, тяготение было настолько сильно, что они не могли перед ним устоять. Камень, который столкнули с горы, обречен покатиться вниз, и они тоже были обречены; но философия и литература повлияли на Автора, а, значит, повлияли и на его создания. Чаще всего в основании любви находится чувственное влечение, и она от этого не хуже и не лучше, и любовь Ромео и Джульетты точно такая же, как и у влюбленных в «Случайной любви», другие лишь характеры и обстоятельства.

Но иная любовь у Лоэнгрин и Эльзы, и в ней присутствует и Платон, и Шопенгауэр, и Новый Завет, и христианский религиозный миф, и античная драма, и музыка девятнадцатого столетия, неотделимая уже от всей культуры этого века, от его уже почти новой мифологии и новой свободы.

Вероятно, «другая любовь» и у Владимира Соловьева, написавшего статью о любви, с которой читатель уже знаком, и в которой смысл «половой» любви автор увидел не в соединении духа и плоти любящих, а в грядущем через миллионы лет мистическом взаиморастворении полов.

Но есть еще и «Любовь к ближним», есть еще и «Другая любовь».

И эти три любви не разделены между собою, они соединяются, перетекают друг в друга и влияют друг на друга.

Чтобы их понять и написать о них нечто существенное, не ограничиваясь только повторением сказанного другими, надо иметь и собственный опыт, и надо было читать, размышлять, влюбляться, испытывать страсти, страдать, надеяться, ревновать, грешить, каяться... Надо быть и писателем, и философом, иметь и религиозный опыт, и художественный, и духовно-мистический, и опыт любви.

Иногда кажется, что у культуры словно бы и нет другого содержания и другой формы, кроме любви (оставляя в стороне науку и философию). Пронизано любовью прежде всего искусство, особенно драма и музыка. В любом случае неоспоримо, что любовь является осью художественной литературы. К ней же относится эстетика, ибо без понимания того, как человек воспринимает красоту, любовь понять невозможно, в начале любви, еще прежде чувственного влечения, является ОЧАРОВАНИЕ внешними формами, «похоть очей», как говорит апостол Павел.

Но христианство, квинтэссенцией которого является грехопадение и первородный грех, отрицает любовь, связанную с плотью. И, следовательно, христианство принимает только «любовь к ближнему», не содержащую любви половой. «Истинно не жениться и не выходить замуж», целью праведной жизни должно стать монашество, то есть отдельное существование человека в связи с полом, мужчины особо, женщины особо, и если бы все приняли это требование, то история на сем и закончилась бы. Но ее окончание и является целью христианства, ибо должен наступить страшный суд и новое бытие.

Итак, чувственная (половая) любовь отрицается христианством, ибо она является грехом, а посему в основании Культуры лежит грех. Поэзия, проза и музыка девятнадцатого столетия, когда не содержит церковных форм, *греховны. Грех питает собою культуру и вдохновляет ее.*

Но без личного опыта писатель и поэт не напишут о любви, поэтому они непременно должны ее испытать, то есть должны быть грешниками. Именно грешниками они и являются.

Итак, чтобы писать о любви, надо влюбляться, писатель исходит прежде всего из собственного опыта. Но в этой связи уместно спросить – действительно ли Пушкин испытал те многочисленные романы, которые ему приписывают? Я спросил об этом у женщин в музее Анны Керн в Торжке, и они на меня яростно набросились: Да чтобы наша Анна?! Да как только мысль об этом могла придти кому-то в голову?! И разве прекрасное стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты – как мимолетное виденье, как Гений чистой красоты!» не опровергает все сплетни (ну, а что и сам Пушкин похвалялся мнимым её соvrращением, только доказывает, что почти каждый человек порочен, отчасти и Пушкин).

Итак, Пушкин грешник. И Толстой тем более. И Достоевский. И всякий поэт и писатель, пишущий о любви, – или они писали о том, чего не переживали?

Безгрешен только Владимир Соловьев – но он и написал отчасти пресоходную статью о любви, отчасти изобилующую глупыми фантазиями.

8. «Но кто из нас без греха?»

Но ведь и я писал о любви, и стихи и прозу, более того, пишу даже в полу-философском сочинении несколько уже глав, посвященных любви – ограничиваются ли мои познания только опытом тех писателей, сочинения которых я читал? И если у меня есть собственный опыт любви, то не значит ли это, что и я грешник и примером для тех, кои в моих сочинениях попытаются найти нечто ценное и полезное, касающееся не только греха, но и добродетели, служить не смогу?

Возможно, что это так. Но так как я пишу извне христианского мифа, то я могу и не разделять точку зрения христиан на первородный грех – я и не разделяю. Однако, с меня это не снимает ответственности за мое поведение, и отрицая врожденный грех человечества, призывая судить каждого только по его собственным делам и намерениям, но не по делам и намерениям его предков и потомков, я, тем не менее, во многом и сам христианин, и мое положение независимого редактора позволяет только свободнее судить и Новый Завет, и иудаизм, и историю церкви, и, но не воспрещает ко мне самому прикладывать некоторые из христианских критериев. Чтобы не запутаться, я не буду перечислять, в чем я еще христианин, но перечислю только, в чем я с христианством уже расхожусь.

Итак, прежде всего я защищаю человека от обвинений во врожденной порочности, защищаю и Еву (и всякую женщину) от того, что она будто бы исказила замысел Божий о мире, разрушила святость и нетленность мира, внося в него грех.

Каждый грешен лишь настолько, насколько грешен он сам лично, грехи рода. – не его грехи.

Хотя, впрочем, это и так и не так.

Разве мы не отвечаем за своих близких, за тех, кого любим, за свой народ?

Кроме того, в разделении полов заключена некая тайна, некий словно бы запрет на соединение, метафизическая пропасть, ощущение которой появляется при прикосновении к женщине с намерением близости.

Это ощущение особенно свойственно женщинам, не говоря еще о том, что они наделены таинственной и странной преградой между двумя формами их бытия, словно бы между существованием в невинности и... *порочности*? Культура не проходит мимо тайн, связанных с любовью – хотя она их не объясняет так, как объясняет наука тайны природы, но она их показывает, намекает на них. В произведениях о любви содержится и все то, что связано с существованием тайны и запрета и что называется целомудрием: стыдливость и страх, и *невозможность* переступить таинственную черту...

Но литература не обвиняет человека в том, что он решает черту эту пересечь, этот таинственный полог отбросить, она лишь рассказывает о переживаниях, связанных с Тайной, – так и в романах Наташи Ефремовой «Осколки памяти» и «Роза ветров», и в «Обнарове» Натальи Троицкой. Но так же и в повести «Случайная любовь» Рустема Юнусова, изображающей обнаженно-плотское начало, заключенное в любви, показывающей ее как «половой инстинкт», как страсть, то есть как те самые *похоть и вожделение*, о которых

сказано в Евангелии от Матфея: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну [за то, что *смотрит* на женщину и *желает* её?!]»

Но я не способен осудить героев любовной драмы, а уж тем более героинь, ни Манон в повести аббата Прево, ни «Даму с камелиями», ни Анну Каренину, Настасью Филипповну или Грушеньку из «Братьев Карамазовых», ибо разве отличается любовь, вырастающая из плоти, из ее похоти, от любви «одухотворенной», как у Наташи Ростовской, мадам Бовари, стэндалевских героинь? Разве она их ниже? Разве хуже? Разве *развратнее*? Разве те отказываются от радостей плоти, в отличие от этих? Нет, не отказываются ни эти, ни те. Эстетически все героини любовных драм вызывают то же самое восхищение, что и «Ромео и Джульетта», и такую же печаль о недовершении, о гибели, о трагической невозможности счастья в любви, как будто она и в самом деле проклята и преступна!

Кажется, что все это одно и то же, и источник тот же...

Но так что же, *другой* любви не существует, только та, что притягивает два тела в страсти (притягивая одновременно и души)? Или, напротив, *каждая любовь другая*, как и каждый человек, все они не совпадают друг с другом, и каждый и каждая – особый мир?.. Ибо понятийное представление действительности безжизненно, так как нет «человека вообще», но есть только «отдельные» (по выражению Штирнера); нет и «любви вообще», но у Анны одна, у Манон другая, и истину о любви не сообщает нам ни религиозный Миф, представляя, казалось бы, идеальный образ любви, ни философия, но только литература. Однако без религии и философии она рассыпалась бы на исключения, только миф и философия позволяют совершаться синтезу, и тогда оказывается, что только культура в целом способна нам дать представление о мире и человеке и объяснить их.

Впрочем, хотя мне и поручено пояснить в известных представлениях кое-что запутанное, но я могу распутать лишь то, что уже распутано в художественном Романе, но такого романа о любви, вмещающей *и дух и плоть*, еще пока нет; молнии его блистают, пахнет грозой, но роман еще не написан, и автор его, возможно, пока опалается молниями.

Призванный пояснять другим, я еще не умею пояснить себе...

9. Другая любовь

Ибо в мире есть и «люди мира и общей жизни», то есть люди «нормальные», которые любят как Безухов и Вронский, Наташа и Анна, и «люди лунного света», которые не любят ни мужчин ни женщин, но в каждом из них, возможно, ангелов; и такие как я, уже совсем безумные, которые любят какую-то непостижимой «другой» любовью и в ней запугались еще больше, чем мир сам в себе, поэтому для спасения нас, безумцев, я и пишу о любви, пытаюсь ее понять и во всеобщем и в исключительном – но для этого она мне и дана свыше, чтобы я ее узнал – но спасу ли я теперь нас обоих?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ РАЗГОВОРЫ С ВОЛХВАМИ

1. Болезнь и кризис в душе

29 марта 2015, воскресенье, 9-43. Около семи утра проснулся, туманно на улице, зари нет. Хотел еще поспать, но сначала муза наваяла мне новое стихотворение, потом пришли волхвы.

Надо признать очевидное: бога нет.
Мы его не видим, не слышим, не осязаем.
...Но если загорается в душе нашей свет,
Мы его к себе призываем!
И к некоторым из нас Он снисходит:
Приходит.

– Ну и как, – спросили волхвы, – есть Бог?

– А разве я в Его существовании сомневался? Если есть орган Его восприятия, то есть *душа*, то она Его видит и воспринимает, и для нее Он существует (ну, как, скажем невидимые звезды существуют для людей с острым зрением). Я вот даже стихи написал о Его существовании.

– Ну, положим, сам ли написал, это еще как сказать, муза, как видно, влюбилась в тебя, нашептывает, положив голову тебе на плечо.

Итак, в Бога ты веришь, даже знаешь о Его существовании, даже постоянно чувствуешь Его присутствие или в мире или в душе.

А Христос и Его пришествие, Его распятие и воскресение – существуют?

– Словно бы и да и нет, я вижу все словно бы в некоем тумане, вот Он несет свой крест, Его распинают, затем Он воскресает, но сие происходит не так, как последовательность событий во времени, происходит не во времени, а в *сущности*, но несовершенно.

И поэтому он все еще человек, не до конца ставший Богом, не до конца воскресший, и почти так же, как он, крест свой несут и другие. Разве мой отец, пришедший на Безымянную высоту, не нес свой крест, и разве не был распят, в том числе и по вине собственного народа, который поставил себе во главу бездарных и преступных вождей и командиров, и взводные вместе со своими взводами складывали неповинные головы на тысячах безымянных высот, чаще всего без нужды. Подвиг моего отца не в том, что он погиб, но в том, что когда защищаться стало бесполезно, он приказал отступить оставшимся в живых, а сам прикрывал их отступление и погиб для их спасения – как и Христос.

Свой крест несла и моя мать, работая с детства на бесконечной крестьянской работе, родила и вскормила пятерых. Дала им образование. В юности читала по слогам, и только когда я стал издавать книги, она вновь начала читать и прочитала Библию и Житие "протопа".

Когда я собирался отнести свои книги в школу (для похвальбы), она мне сказала: "Рано еще, не носи, не срамись".

И она, и семья, и крестьянское окружение, деревня и подлинная русская культура, крестьянская и дворянская, оказали на меня влияние гораздо более

обширное и более глубокое, чем социалистическое и христианское учения, вот почему я от них отстал и начал против них "вякать", против христианства мягче, не призывая его сторонников от него отказаться. Нет, говорил я, пусть и вера и храмы остаются, и те, кто находит в них свет, пусть и освещаются сим светом и находят в нем утешение.

«Но главное состоит в том, – заметили волхвы, – что и сам ты еще не до конца порвал с христианством.

Разве ты не помнишь, что еще в юности старенький отец Василий из храма, в котором ты венчался, сказал, что отпускает тебя в мир без окончательного расторжения духовной связи с храмом: *ты можешь вернуться к вере хотя бы даже перед смертью и тебя снова примут.*

Итак, тебя отпустили, но не отвергли, и даже предположили, что жизнь твоя будет не христианской: но да разве у Савла, ставшего потом апостолом Павлом, она была христианской до его обращения, совершившегося после встречи с Христом по дороге в Дамаск?

Так что мы приходим к тебе не случайно. Ты пишешь свою очередную книгу и в ней продолжаешь свой спор с христианством и его учителями, и даже свои обличения. Но споришь ты с древним учением. А разве с тех пор оно не изменилось? В древности было посажено семечко, оно взошло, возшедшее потом растило, оно разрослось, даже разделилось на три дерева, но в каждом почитается *крестная жертва* и *воскресение*. Но разве ныне мы нелюбовь к семье и отечеству, нелюбовь к человеку и обличение его в ветхозаветном первородном грехе ставим на первое место, даже онтологически? Почти всё ныне существует так, как ты того и требуешь, и культура проникла в храм и его наполнила, и церковь больше не воюет с культурой.

Но мы тебя не увещеваем примириться или, тем более, сжечь свои сочинения и отречься от них, мы ведь и сами волхвы, но не новозаветные пророки. Нет, *долаивай*, продолжи свои обличения и свою критику, у тебя есть должное призвание, и мы тебе даже в нем помогаем, как и Вольтеру, и Пушкину, и Максимилиану Волошину, тоже не ахти каким христианам, и уж тем более Лермонтову. В природе тоже все не так охранительно, как могли бы захотеть иные, есть и бури, и ливень, и град, но есть и солнце, и благодать соединения земли и неба.

Однако не было бы ясности и умиротворения в природе без бурь и ливней, без метелей и морозов, без наводнений и землетрясений. Ты – буря и сотрясение, ты вместе и Фома сомневающийся, и Павел по дороге в Дамаск.

Итак, *долаивай*. Новая твоя книга будет о чем-то другом, обличительный пафос уже иссякнет, ты дойдешь до необходимой границы и поиски твои возобновятся по-новому.

К тому же ты пишешь не для народа, а только для немногих, которые и без тебя читали и Вольтера, и Ницше, и Гегеля, и Пушкина, и Лермонтова, и Чемберлена, и социалистов и атеистов, поэтому никого ты ничем не смутишь. Но ты пишешь как чувствуешь, и этим немногим твоя книга будет полезна. Даже если бы ты писал только для себя, и этого было бы уже немало, ведь помимо тебя есть еще два пристрастных читателя, Бог и Дьявол, и не всегда Бог огорчен тем, что ты пишешь, и не всегда радуется написанному Дьявол.

К тому же, как ты, вероятно, догадываешься, что твоя литературная стезя не совсем обычна, и происходящее с тобою – это страницы словно бы уже написанной о тебе Книги, они необходимым образом появляются в твоей жизни, чтобы помочь тебе видеть, рассуждать, понимать. Понимаешь ты прежде всего на основании собственного духовного опыта, а его почерпаешь из того, что о тебе замышлено и тебе ниспосылается. Пишешь ты о любви, *вот она на тебя и обрушивается*, как ураган на бедный парусник. Если не потопнешь, то поймешь, что такое любовь.

Ты все стремился к наслаждению, радости, счастью, и по природе человек ты общительный и всеядный, тебе хотелось всё испытать, во всем разобраться самому. Ну и как, обрел ли ты счастье, счастлив ли?

– Тоже не просто ответить. И счастлив и нет. Я словно бы в некоем тумане, или посреди белой призрачной ночи. То я чувствую блаженство, окутан своего рода покрывалом, в котором мне хорошо, то блаженство тает (как и туман), и наступает печаль, огорчение, боль, иногда хаос и пустота. Но, к счастью, даже страдания и боль не остаются слишком надолго, и снова наступает туман. Чаще все же я счастлив, чем несчастлив. Но и страдания я не могу отвергнуть, они словно бы входят в мое блаженство, подготавливают его, возвышают, искупают, оправдывают.

– Да, ты, вероятно, понимаешь, что Боль – необходимое условие творчества, условие обретения того, к чему в творчестве ты стремишься. Если бы ты не поливал свою кровью то, что пишешь, то написанное представляло из себя букеты искусственных цветов, а не живых.

Но ты и счастливчик, никто не мучает тебя слишком, так, иногда чуть-чуть постагают крапивой, и снова бежишь за очередной вертихвосткой.

Впрочем, это так, к слову...

2. Трансцендентный прорыв

11-11. В четверг я был в Доме писателя, и там выступил с речью, стоящей того, чтобы ее пересказать.

Литература, сказал я, не только не умерла, но переживает расцвет, свой звездный час, схлынула пена обывательского внимания, писатель оказался в той самой пустыне, в которой и возможно явление на перепутье шестикрылого серафима, мы не утолили еще нашу духовную жажду, мы ее почти еще и не начали испытывать, для чего же мы призываем читателя?

Вот только теперь, в молчании, в отсутствие массовых обсуждений, в отсутствие зарплат и орденов и творческих командировок, когда чернь перестала читать и своим пустым гулом отвлекать писателя от его разговора с Богом – вот только теперь и началась кристаллизация гения литературы.

Но начаться она должна с обретения языка и дыхания.

Нелепо требовать, чтобы нас слушали, когда мы еще сами не научились говорить, когда нам еще и нечего говорить.

Но кроме литературного авторского языка и языка литературных героев должен быть у автора еще и третий язык, не только язык явлений и характеров, но язык судьбы и *надбытийного бытия*, язык, связанный с разделением бытия и восприятия на *Рациональное* и *Иррациональное*.

Неряшливость языка – это только один из грехов современной литературы, но сведение происходящего в художественном произведении только к бытовому, отсутствие *оТСТранения* судьбы от обыденности и отсутствие *оСТРанения* судьбы делают художественное произведение только частью сиюминутного (причем и современные литературные манифесты призывают только к этому). Из литературы исчезло *магическое*.

Но важно отметить, что магия содержится даже не в сильных событиях, а в художественном пространстве, в котором происходят эти события, пространстве, принадлежащем литературе, но не сырой реальности жизни, литературе, которая сама пронизывает эту сырую *реальность*, превращая ее в *действительность*.

Выдающийся писатель творит Миф и погружает в него читателя.

Основой мифа является язык.

Иррациональное входит в саму жизнь, оно меняет ее взаимоотношения, отношения причин и следствий, и именно поэтому жизнь протекает менее предсказуемо, чем даже погода.

Был ли я примерен в частной жизни? Да. Но не потому, что следовал нравственным наставлениям Ветхого или Нового Завета. Я был сыном крестьянина, и это в наибольшей степени определяло мою жизнь. Я работал и был примерен в работе, потому что, во-первых, "не трудящийся да не яст", а во-вторых, сам труд, по крестьянским обычаям, и был основой всей моей нравственности и всех моих добродетелей, а вовсе не наставления святых и пророков. Итак, рано утром, заспанный, мчался я на работу, потому что, как правило, далеко за полночь я читал. После рабочего дня ходил в музеи, театры и концертные залы, обычно с женой. Иногда мы ходили в гости, нередко гости приходили к нам на литературные и музыкальные вечера. По дороге на работу или с работы я или читал или писал рассказы и повести.

Однако, не будучи богобоязненным поклонником правил праведной жизни, я мечтал познакомиться с некоей красоткой и влюбиться в нее – и, наконец, случай пришел мне на помощь, однажды в метро она сама предложила встречаться. "Согласен! – воскликнул я, – но только в метро, по дороге с работы или на работу. Все остальное время, к сожалению, у меня занято."

Она была девушкой покладистой, и все же и ее хватило только на две встречи. Так и не удалось мне обзавестись не только любовницей, но и *просто "случайной знакомой"*.

Не так ли и многое и в частной жизни и в истории определяется не логикой событий, не логикой размышлений (а это две не совпадающие логики), не логикой, которую мы делаем основанием наших поисков истины и исторической правды, а чем-то другим, что выше нее? Безвестный пророк учит и лечит, его приговаривают к смерти, и за ее пологом Он определяет лицо мира, который отверг; семнадцатилетняя девушка является ко двору короля и меняет ход истории Франции и всей Европы; маршал Даву заблудился в тумане и Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо, закончилась эпоха европейских бурь и потрясений... Или роковые случайности и сами являются следствием некоего более высокого и глубокого замысла, чем замыслы причинно-следственных связей внутри безвольной материи?

Но годы все шли, уже и эти мечты перестали меня будоражить и вдохновлять, да и времени не становилось больше, хотя от претензий поучать народ я спустился чуть ниже, стал скромным "учителем *учителей*" (или "инженеров человеческих душ"), но учителя и инженеры меня слушали, и разговоры с ними требовали времени больше, чем разговоры с красотками. Правда, я стал даже более счастливым, чем когда "шопот, робкое дыхание" – неужели во мне говорит только тщеславие, неужели мне так важно внимание слушателей и читателей, спрашивал я себя, неужели только оно причина блаженства?

Но времени становилось все меньше – куда же оно уходило?

Издание литературного альманаха. Встречи на философских вечерах и литературных семинарах. Редактирование художественной литературы для издательства (за что не всегда мне платили, но я лишь того боялся, чтобы не заставили платить меня за удовольствие учить новых авторов – мне иногда казалось, что я снова учитель, как в юности, стою у школьной доски и блаженно-растерянно улыбаюсь, внимая радостным взорам школьников или студентов). Деревня и огород, лес и грибы и ягоды, детишки, которые бегают к нам на чаепитие, а мы привозим им из Питера узлы с одеждой и обувью... Домашние дела в городе и в деревне, музыка и книги, друзья и приятели... А ведь я пишу и новую книгу, правда, пишу урывками, в метро и на эскалаторе, в ожидании концерта, ожидая приема врача, ожидая встречи, ожидая сна... не пишу ночью, но приходят волхвы и музы, иногда приходится вставать и записывать хотя бы отдельные фразы...

А что-то случается и неожиданное, вчера извозил куртку в грязи, поднимая пьяного и волоча его к его дому; странное совпадение, в прошлом месяце я уже его волочил. Да кто-нибудь еще тащит тебя, спросил я его в раздражении? Нет, отвечает, только ты.

Может быть, кто-то заподозрит меня в христианской любви к ближнему? Нет, о, нет, только не это! Я ясно и точно сознаю свои чувства к этому человеку, как и ко многим ему подобным: кроме презрения и раздражения, и тягостного чувства напрасной потери времени он у меня ничего не вызывает. Да и те миллионы, которые ходят в церковь, ставят свечки, крестятся, причащаются, слушают проповеди и согласны с батюшкой, что *нет ничего выше на свете чувства товарище...* о, нет... и те миллионы, которые выше всего на свете ставят *христианскую любовь к ближнему*, пьяных на себе не таскают, как ни оглянусь вокруг, это я кого-нибудь тащу от пропасти, от края платформы, от края ямы и котлована, а то и просто из канавы или с дороги. Трижды, правда, мне повезло, в прошлом году тащил молодую симпатичную женщину, а когда-то давно совсем юную девчушку, барахтавшуюся в снегу, да еще раньше из сугроба вытащил почти уже совсем занесенную снегом от несчастной любви...

И все же я счастлив, хожу и улыбаюсь, болят глаза, болит нога, в задницу делают уколы, сегодня ночью даже рука разболелась – а я улыбаюсь блаженно!!!

Или я влюбился? Или хотя бы вдруг понял, что без жизни прожить можно (ну, например, в тюрьме жизни и нет), но без любви нельзя?!

Да, похоже, что именно так. Не скажу патетически, что я нашел смысл

жизни, цель бытия. Но решусь сказать немного иначе: нет ничего более достойного, более восторженного, более блаженного, благодатного, более оправдывающего и саму жизнь, более ее наполняющего, чем *полюбить другого более, чем самого себя*, более, чем свою жизнь. Или хотя бы любить не другого, а некоторую идею, творчество, родину...

Но лучше все же так полюбить какого-либо человека, а лучше всего полюбить женщину – более, чем себя!!! Что такая любовь существует, это известно многим, многие из нас появились на свет именно в результате такой любви. Что такая любовь существует, это известно даже всем, почти каждый из нас выпестован материнской любовью.

Но это все *другая любовь*, не та, в которой мы стремимся к обладанию и наслаждению и где *любим мы для себя, а не для другого*.

3. *Призвание*

4 апреля, суббота, 9-52. Лег спать во втором часу ночи и спал хорошо, музы не приходили, но в шесть пришли волхвы и до семи меня поучали, "дремота сладкая моих (даже не) коснулась глаз". Отчаявшись заснуть, я встал, умылся, включил компьютер, позавтракал, сделал гимнастику, пошел на улицу проветриться и совсем проснуться; вытряхнув все карманы, зашел в магазин и купил кусок сыру и горький темный шоколад – жене, походил еще немного и забрел в цветочный магазин, заново вывернул все карманы и наскреб на кустик гвоздики; через четверть часа проснулась жена, увидела меня за компьютером, удивилась, что я раньше нее встал, но когда на кухне увидела сыр, шоколадку и кустик цветочный в вазе, удивилась еще больше. С нею я еще выпил чаю и пересказал то, что услышал от волхвов – а ей приходится все то, что ко мне является, особенно для моих книг, за завтраком или за ужином выслушивать и укладывать в моей дырявой голове.

И вот, наконец, сел записывать новые разговоры с волхвами.

Во-первых, начну с того, что они мне сказали по поводу самих разговоров и того, что я их не успеваю запоминать и записывать.

"Не волнуйся по сему поводу. Мы как летний утренний дождь. Часть его остается на траве и листьях и высыхает и испаряется под солнцем, Другая часть стекает в ложбины и канавы, ручьи и реки и тоже не просачивается в почву твоего огорода, и только третья часть проникает в него, частично проходя еще глубже, до подземных вод, частично увлажняя землю и насыщая ее своими солями и другими питательными веществами, частично тоже испаряясь, и уж совсем малой частью отдавая себя корням растений, пробегая затем по стеблям и доходя до листьев и цветов, но отчасти и теперь испаряясь тоже.

И тем не менее, растения растут, цветут и даже плодоносят; вот так же и ты, помимо теперешней книги, которую продолжаешь писать, напишешь и следующую, и она сделает тебя известным. А что будет дальше, о том говорить пока рано, возможно, ты и впрямь возьмешь отпуск и начнешь читать философские книги, чтобы написать Историю философии, доступную даже ребенку, но не умалющую философских глубин.»

Затем заговорили мы о христианстве, возможно, ради него они и приходят, чтобы пояснить мне некоторые мои заблуждения и сделать мой

собственный взгляд менее догматическим, чем у христианских догматиков. Христианство, сказали они, не однородно и не цельно, есть Народное, всеобщее, и есть церковное, христианство священнослужителей, монахов и богословов. Есть то, которое включило в себя и Ветхозаветные псалмы, плачи Иеремии, книгу Бытия, Культуру, «двое станут единой плотью», венчание, крещение и отпевание, сельских и провинциальных батюшек, верующих и даже любопытствующих, то есть приняло всю жизнь; и есть принимающее только апостола Павла с его отрицанием жизни, Савонаролу, Торквемаду, Письма о девстве Блаженного Иеронима... монахов с их отрицанием плоти и жизни, фанатиков, нетерпимых и одержимых... а также патриарха и его царя, изгоняющих не только Пусси Райот, но изгоняющих и Христа, переворачивающего скамьи... Не христианство противостоит жизни, у него много учителей, отцов церкви и пророков, и противостоят жизни одни христиане, среди которых много достойных, в том числе и апостол Павел, а принимают жизнь другие христиане, среди которых также много достойных, например Франциск Ассизский, Сергей Радонежский, Жанна, Кампанелла, Томас Мор, Джордано Бруно, Галилей, даже Пусси Райот... и, конечно, знаменитые ученые, в частности, Коперник и академик Ухтомский!

Бах и Бетховен были христианами, но сочиняли музыку, Достоевский писал книги, а Суворов сражался; узкие монашеские проповеди об оставлении мира обращены только к монахам или имеют чисто литературное значение, церковь в своих проповедях и в своей богослужебной деятельности не призывает прихожан оставлять мир, но только жить достойно.

Так есть ли смысл в полемике с древним христианством, если за две тысячи лет оно само изменилось и принимает и жизнь и культуру, а церковь и христиане участвуют и в общественной, и в экономической, и в политической жизни, да и во всякой жизни, и любят, и рожают детей, учат их и воспитывают, поют и пляшут, но не разгоняют скоморохов и не уничтожают древние города, как исламисты на арабском Востоке?

И со вздохом принужден я согласиться с волхвами, что многое в моих возражениях и обличениях было вызвано горячностью.

Но не слишком огорчайся, сказали мне. Твой путь поучителен для многих, и книги твои не надо сжигать, пусть они остаются, они пробуждают волю к познанию исторических истин, но не закрывают читателю путь к пониманию. Позавчера ты ни в чем не сомневался, даже в том, что Господь сотворил мир за шесть дней. Вчера ты усомнился во многом. Сегодня ты ищешь пути для примирения Мира и Мифа, и это благотворно. Твой путь – это путь ищущего человека, человека, призванного Злом отделять от Добра – исправь то, в чем ты ошибался, в чем был неправ, и продолжай свои поиски!

Так для чего я призван, спросил я себя? Я пытаюсь развенчивать ложные кумиры, но для этого сам должен быть личностью более духовной, не отказываясь от почти всего человеческого. Мое призвание состоит в том, чтобы бросить вызов Власти в мире как власти черни над духовной аристократией, и победить эту власть.

Но из этого не следует, что мне надо идти в партизаны или на баррикады, создавать политические партии и писать политические манифесты. Мне можно оставаться собою, писать о любви, влюбляться и самому, ездить в деревню, копать огород и топить баню (Даже бегать за музами, добавили волхвы уже на прощанье).

Все, что я могу полезного и доброго сделать, проистекает только из того, что я умею, а умею я редактировать чужие книги и писать свои, дружить и любить, заботиться о близких и о тех, кого люблю – значит, мне нужно именно это делать и впредь – только *лучше*. Но разве не написала мне одна из тех, к кому я "приставал": "Ты – лучший!?"

4. Другая любовь

Чтобы понять, что такое море, и написать о нем, надо оказаться в его центре на паруснике во время урагана, крениться, соскальзывая в воду, терять мачты и якоря, паруса и шпангоуты, и налетать на рифы. Сидя в удобном кресле у камина, перечитывая, что о море написали другие, и приводя из написанного обширные цитаты, мы ничего не узнаем и сами ничего существенного не напишем. Точно то же относится к войне, голоду, тюрьме и смерти. Я – любимчик Господень, Он мне позволяет узнать все, что нужно, и Он же заботится о том, чтобы не было ни в чем недостатка, но при этом следит, чтобы не были мои испытания чрезмерны. Единственное, о мере чего не заботится Он, это Любовь, и позволяет мне любить сколько в силах, и напускает на меня своих красоток, чтобы они мучили меня насколько смогут.

А тут как раз пришла пора писать о любви, понять ее различные виды, от любви распущенной до платонической, от христианской любви к ближнему до нежнейшей любви к "дальней", и я подивился могуществу *Творца небу и земли* и нас, человек. Воистину, Ему все подвластно, и Он читает в душе как в книге, и знает не только то, что было, но и чему еще должно быть.

Бог меня любит, поэтому рассчитал он каждую букву и каждую запятую в тексте, повествующем о ниспосланной мне любви, и я дивлюсь, насколько все продумано и рассчитано, в какую дивную гармонию связано. Когда-нибудь я об этой любви напишу, но теперь еще не могу – ураган только вошел в силу и носит наш парусник, того и гляди, перевернемся; и берегов не видно, и куда плыть, неизвестно... Но я хожу по палубе и блаженно улыбаюсь.

Я счастлив, я согласен на все, готов ни к чему ни стремиться, ничего не желать кроме того, что необходимо *другому*.

Мне уже принадлежит весь мир, который прежде я хотел завоевать, но он был отделен от меня каменной стеной, а теперь он часть меня самого.

Отделял меня от мира мой эгоизм, мои желания владеть тем, что мне не принадлежало и не должно было принадлежать.

Ибо подлинно надо желать только Любви, и только она может мне принадлежать, если я откажусь от того, что с нею не совместимо. И вот, наконец, я согласился ради *нее* на жертвы. Пусть наша любовь будет только бесплотной, мы не соединимся в единую плоть, и я отказываюсь и от самого желания, от воображения и мысли о нем. Единственное, что я еще "вымолил" для себя, это сидение на скамейке, соединяя взоры и беря руки в объятия, и воспоминание

о том, что я не всегда был бесплотен, но только ради нее принес свою "чувственность" в жертву идеальной любви.

Но теперь наполняет меня умилением и восторгом то, что я получаю новую радость в любви, свободной от греха. Ибо двое, сидящих рядом, могут друг друга любить, и это не грех, грех лишь в требовании избегать друг друга. Любовь, способная ради близких приносить в жертву страсть и желание – ведь даже Вл. Соловьев согласен в том, что и чистая и идеальная любовь между мужчиной и женщиной содержит плотское влечение и от этого она не становится греховной – такая любовь не может вызывать осуждения. В других обстоятельствах, в которых мы могли быть свободны, отказ от плоти ее умалял бы, но мы НЕ свободны, и посему надо провести между нами черту, преграду, и ее не пересекать. Никакой человек, если только не живет он в пустыне, не должен отделяться от мира, он принадлежит миру в целом, и семье, и друзьям, и труду и творчеству. Грех не в том, что мы принадлежим миру, и даже тому в мире, что может являться искушением – грех существует или не существует в наших душах, в наших поступках и в наших желаниях. Отказываясь от греховных поступков, мы не обязаны отказываться от любви, ибо теперь я говорю о любви, которая не ищет ничего для себя, но только для *другого*. Не ищет для себя обладания и наслаждения, но беспокоится о благополучии и телесном и душевном здоровье того, на кого изливается.

5. «Садись и пиши!»

Но вижу, что недостаточно немногих почти иносказательных строк, и если уже я и впрямь понимаю, что такое любовь и что такое идеальная любовь, и существует ли любовь к ближнему, то я должен об этом написать. Мне кажется, что я всегда был только холодным или только горячим, поэтому-то либо дружил с теми или другими, когда был холодным, руководствуясь умом, либо любил, когда был горячим, руководствуясь сердцем – эротически или духовно, или и так и этак вместе, но всегда возвышенно, иначе не воскликнула бы обо мне одна из тех, которые вили из меня веревки (а они все вили из меня веревки!), что я лучший!

И вот слышу голос волхвов, назидующий меня в необходимом.

«Тебе дано блаженство любви, о которой тебе предстоит написать, когда почувствуешь близость совершенства. А теперь напиши о том, что умеешь, что важно не только тебе, избранному, но и каждому из любящих, быть может, не получивших наставление свыше, но не меньших, чем ты, ибо *в любви не бывает ни наибольших, ни наименьших, но все равны*.

Мы пока тебя оставляем, потому что и то, что мы тебе недавно говорили, ты перепугал и отчасти забыл. Но мы еще придем, и повторим тебе и прежде и скажем новое, да и голос любви тебе скажет не меньше, чем мы, только слушайся его и будь ему верен.»

6-7. *Не страсть, но нежность, не сила...*

Не страсть, но нежность, не сила, но слабость, не победа, но поражение – вот в чем истинная любовь! И вот в чем ее победа...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ

1. Вступление

7 апреля, вторник, 9-08. Проснулся около семи, и хотя и музы и волхвы не приходили, но сон убежал, и пришлось отдаться на растерзание дню.

В пятницу рано утром отправляемся, наконец, с женою в деревню, в субботу к полуночи вернемся, и пасху отпразднуем в городе.

Что за книгу я пишу, перевалив уже за середину, но не понимая еще ее тему, назначение и связующую идею? Или это книга о любви?

Тогда начну с того, что оглянусь на свое беспутное прошлое, и напишу о всяческой житейской любви, отправляясь от Владимира Соловьева и Шопенгауэра, затем о любви "платонической" и о христианской.

А затем продолжу разговор с Конст. Леонтьевым в связи с его собственными рассуждениями о Толстом, Вл. Соловьеве, Данилевском, Достоевском, о христианстве и крепостном праве. Быть может тогда, наконец, станет понятно, зачем и о чем эта книга. Возможно, она подводит черту под прошлым, под всем тем, что я уже написал.

2. Наводнение

Каждый человек переживает несколько различных эпох в своей жизни: шестнадцать лет назад, в 99-м году, я, как мне кажется, только что родился как писатель, а семь лет назад, в 2008-м году, словно бы началось становление во мне новой личности, и я родился в трех ипостасях, вытекающих друг из друга, неразделимых, но и не сливаемых.

Сначала я родился как герой лирических художественных произведений, которые и сами из его легкомысленного характера должны произрастать. Такой герой должен был бы петь в музыкальной комедии, объясняясь в любви "вертихвосткам", но так как я петь не умею, то судьба велела мне стать поэтом. И именно поэтому я влюбился и начал снова, после долгого перерыва, писать стихи. Обо всем этом я уже писал, но пунктиром напомним: мы встретились в Москве в метро, она поразилась, что я так трагически на нее смотрю, "будто мы уже никогда не встретимся", дала мне номер телефона, а рано утром, когда я в поезде подъезжал к Питеру, прислала смску.

Через полгода мы снова встретились; проезжая Москву, я пришел к ней домой (ей было 27 лет и она снимала квартиру), мы пили шампанское и целовались.

С нее начались мои "романы", за которые меня можно было бы и осудить, если бы они не были так бесплодны.

Но добродетель ли тому причиной (моя или тех, в коих влюблялся), характер, судьба, ангел-смотритель, или небесный Автор, который для меня и для них написал сцены из романа о рыцарской любви? Разумеется, в наибольшей степени содержание этих сцен было определено небесным Автором, мы же были простыми исполнителями любовных диалогов.

Но зачем небесному автору надо было вовлекать меня и их в искушения?

Вероятно, Он предполагал уже, что мне придется писать книгу о любви, поэтому хотел, чтобы в любви я сумел разобраться.

Но первый же опыт такой любви меня, напротив, запутал. Юная красотка встречается с Поэтом, уже не слишком юным (если даже говорить обиняками), целуется, волнуется, воображает... – и я поражен не столько тем, что в меня еще можно влюбиться, но что нет молодых мужчин, в которых следовало бы влюбиться вместо меня. Мне захотелось заплакать от огорчения и пронзительного сочувствия к нежным и трагическим созданиям, обделенным романтической любовью в нашем отвратительном и нелепом мире.

И вслед за этим на меня обрушилась лавина любви, и я начал писать стихи, сколько не писал во всю свою жизнь.

Вдруг бросилась мне на шею, встретив случайно на улице, бывшая ученица, которую я учил лет десять назад. Потом моя новая ученица обвила меня за шею руками, но сначала стояла у двери, меня провожая, и мы смотрели друг на друга, не в силах расстаться...

Потом уже в Питерском метро я познакомился еще с одной восторженной девушкой, и дружба наша растянулась на несколько лет.

И, наконец, шестнадцатилетняя школьница написала мне письмо в связи с моими еще прежними стихами, которые ей дал кто-то из учительниц, и я отозвался на ее строки множеством поэтических строк, мы ринулись в письма, пока через три года она не опомнилась и не заявила в сердцах: *Никогда, никогда, никогда больше я не встречусь с этим человеком!!!*

Это все, вероятно, было подготовкой во мне новой личности.

Да, вскоре я начал работать Редактором, начал исправлять и поучать молодых авторов, в переписке с писательницами, еще их не видя, я был тем же влюбленным поэтом, что и в переписке с юной школьницей.

Кажется, и они почувствовали, что это не заметки редактора, не исправление запятых, а своеобразные любовные послания к начинающим авторам.

Итак, я родился как Редактор, но оставался и "героем-любовником" музыкальной драмы.

Но уже я был и поэтом, а потом начал писать и собственные книги (литературные эссе и исследования), а потом начал и философствовать в дополнение к стихам и Запискам редактора. Вот эта моя новая личность – это синтез Поэта, Редактора и Философа.

И то, что во мне теперь происходит, соединяя и чувство и мысль, отчасти созидает и новую личность, отчасти связывает то, что во мне уже существует, поднимая его до Инобытия.

3. Испытания прекрасных душ

Но главной особенностью моих романов являлось то, что они состояли из романтических порывов, из воспарений душевной экзальтации, из воображения и мечты, определяющих душевную жизнь юных и чистых душ, может быть, я и влюблялся в них потому, что и сам по характеру был не совершеннолетен, желать любви, в которой присутствует плоть, я еще не был готов (несмотря на... да, может быть, как раз потому, что я уже прожил немало, но развитие мое устремилось не к раскрепощению плоти, но души).

Ветер влюбленных порывов, обрушившийся на меня, привел к множеству стихов, о достоинствах которых в целом я сам судить не могу, хотя на моих подруг они производили сильное впечатление. Именно стихами я их и обольщал, поэтому приведу несколько из тех стихов и здесь.

Сентябрь, мой брат, печален и серьезен,
В трудах прилежен, в праздности спокоен.
Поэт, философ более, чем воин,
И с другом мил, и с недругом не грозен.
Похвал себе по праву ты достоин.
Теперь и я и сдержан и умерен,
Лишь краски дня беспечный взор пленяют.
Но ангелы мне слабость извиняют,
И осени до декабря я верен.

Небо низко, лужи мокры...
Да каким еще быть лужам?
В мир чудес закрыты окна,
Никому никто не нужен.
Тускло, хмуро, где-то ноет...
Дверь скрипит, ребенок плачет.
Крот упорно землю роет,
Будто это что-то значит.
Осень, осень. Непогода,
Нездоровье, невниманье.
Жизнь напрасна, тщетно знанье.
Равнодушная природа
Равнодушно умирает.
И беззвучен крик в тумане.
Слезы в горле... и в стакане...
Где наш Бог? Никто не знает...

* * *

О, Муза милая моя!
Я вдохновеньем Вам обязан.
Я Вас люблю. Я к Вам привязан
Прочней, чем к солнцу. Не тая
Своих признаний от бумаги,
Набрался я еще отваги,
И посылаю кружева
Из пылких слов и междометий.
Я прислан к Вам из тех столетий,
Где были ценными слова,
И где порой платили кровью
За возвышенье над любовью.

Вот отчего *моя печаль*
Светла. И все-таки как жаль,
 Что я пришел к Вам слишком поздно!
 И укоризненно и грозно
 Взирает время на меня.
 И Вы и время слишком правы.
 Вы так божественно лукавы,
 Что мне уже не нужно славы...
Без Вас не мыслю даже дня.

 О, время! Цéну назови!
 И к Вам, мой ангел, я взываю –
 Не к милосердию – я ль не знаю? –
 Немилосердны все в любви
 Земной. Взываю к восхищенью.
 Вам я несу лишь то, что тленью
 Не подлежит. Седьмого дня
 Мы часть. Мы призваны к творенью.
 Так не предай меня презренью!
 Твори меня! Люби меня!

Прошло несколько лет, музы то убирали мои стихи «в самый дальний, самый пыльный ящик стола», то клялись в сердцах, что «никогда, никогда больше я не встречу с этим человеком!», и вдруг одна из них, вспомнив, написала письмо, подводящее, кажется, черту под эпохой нежных романтических порывов.: «...соскучилась... и вот вам пишу... У Вас удивительные стихи, перечитываю, вспоминаю и не могу понять... неужели они были написаны для меня? Вы – чудо! ...и сейчас воскрешаете меня от тоски и безысходности. Спасибо! За восхищение, за понимание, за то, что вы во мне видели Музу... Вы необыкновенный человек, вы и в обыденном находили красоту и воспевали её. А я не умела этого ценить.»

Ну, что ж, если, мой ангел, примете стихи, написанные уже другой, то посылаю их, прощаясь с прекрасным прошлым, перевода его в воспоминание и в литературу и отчасти в Миф.

Ночью спать не давали то страх, то тоска, то простуда.
 В половине девятого день пробудился с зари.
 То ли ждать невзначай мимолетного чуда,
 То ли в ночь вместо звезд запалить фонари?
 Что огонь говорит? «Я уже догораю!»
 В этом мире, который я так, ненавидя, любил,
 Шел по краю, смеясь, шел, влюбленный, по самому краю...
 Говорят, был безумен. А может быть, только чудил?
 Что теперь? Буду жить, пережду непогоду.
 Мне и в воду не надо глядеть, чтоб узнать –
 Буду так же любить – душ сияние, сказки, природу;
 Буду ждать: дождь пройдет, – и прольется на нас благодать.

4. *Искушения прекрасной плоти*

Но ведь и я был человек, и хотя влюблялся в шестнадцатилетних как их неискушенный ровесник, но развивался вместе с ними, запросы плоти искушали и их и меня. Но воспринимая меня не как мужчину, а как подругу, как наперсницу, как романтического поклонника, они делились со мною своими "снами", и вот мое письмо в ответ на одно из таких признаний юной первокурсницы, только чуть ли не впервые окунувшейся в поток мужских взглядов (той, которая со мною "больше встречаться не будет").

«О "цветении... трепетании сердца и помутнении разума" пишите, чтобы я был с мечом в руках наготове, но только не пишите конкретно. У таких прелестных девушек, как Вы, «трепетание сердца» словно трепетание лепестков розы. Девушки – часть природы, тает снег, бегут ручьи, корни пьют воду, льется березовый сок, потом происходит "цветение"... мне кажется, что я чувствую так же, я тоже девушка... но смели пусть облетают Вас стороной или, по крайней мере, чтобы я о них не знал.»

Но случались и неожиданные происшествия, к которым я не был готов, и они могли бы закончиться, быть может, плачевно даже для идеальных героев идеального романа.

... Итак, прелестным июньским утром еду я в электричке в Малую Вишеру, думаю о философии, о Платоне и Аристотеле, а прелестная барышня спрашивает, что делать, если будут проверять билеты... Оказывается, у нее вырвали сумочку из рук, вместе с деньгами и документами, и денег у нее нет не только на билет, но даже на еду, а у меня их тоже нет, и пришлось нам идти на шоссе (не из-за контролеров даже, а потому что из Малой Вишеры, которую она называла Вишэрой, не шли до вечера электрички) – и ловить проезжающие машины и проситься проехать бесплатно... И денег наскребли мы на половинку черного хлеба, запивая его ключевой водой. В микроавтобусе она заснула, и когда лежала на спине, я бесстыдно любовался ее голым животиком, а когда переворачивалась, взирал плотоядно на полуголую попку. Какая там бесплотная любовь, какой "мне Платон друг" и даже Аристотель? И вот при таком устройстве моей личности – как мне избежать хотя бы метафизики?

Все равно ведь и я не вечен, а там уж за все с меня спросят, так что граждане праведники, погодите обличать! (Это я говорю своим бывшим братьям по вере.)

Мы с нею уже почти сроднились, почти уже были как брат и сестра, она бегала писать за кустик, а я сторожил наши сумки, потом бегал и сам, и уже почти ничто нас не смущало, и поэтому я позвал ее ночевать в моей деревне, около Боровичей.

И она на мгновение заколебалась, но мне показалось, что не потому, что не верила мне, а что не верила себе. «А ты дашь мне честное слово?»

И я на мгновение заколебался (но не потому, что не верил себе, а что не верил уже ей), и каким бы беспутным я не был, но какой-то мистический метафизический ужас пропел мне песнь об охранении душевных сокровищ, вверенных мне – и это мгновение решило нашу судьбу, она покраснела, опустила голову и прошептала, что все же попробует доехать сегодня до Москвы, потому что иначе родители будут за нее волноваться.

Да еще со мною была злосчастная коробка с одеждой, которую я вез брошенным деревенским детям, а то бы я поехал с нею в Москву. В Бологом (которое она называла Болегое) я посадил ее к автомобилисту самому старому, самому дряхлому, и заставил его поклясться, что он на нее даже не посмотрит (а я немало поездил из Москвы в Петербург и даже обратно, и не обольщался насчет проезжающих.)

Ну, вот, стояли мы на шоссе, сияло солнце, неслись мимо суровые машины, хлеб был вкусен, ключевая вода еще вкуснее, ее синие глаза доверчиво были распахнуты в мир – разве целого июньского дня, наполненного солнцем, воздухом, стихами, взглядами, и тонкой кофточки, прикрывающей обольстительное даже хуже, чем если бы не прикрывала, не достаточно, чтобы влюбиться? Так как же мне стать праведником?!

Я ведь не пристаю к пролетающим мимо меня красоткам, живу самой напряженной, самой праведной жизнью, а вдруг врежется пуля в мою слабую плоть, и я, разумеется, схожу с ума...

5. Возвращение

Что со мною происходило в течение нескольких лирических лет "цветения, трепетания сердца и помутнения разума", об этом я не буду писать, потому что это уже будет другая книга, быть может, во многом противоположная данной, ибо я в большей степени "девушка", чем философ или редактор или ... но лучше нам не знать точно, как я жил и что со мною происходило, и кто я на самом деле.

(Кстати, надо было мне предупредить читателя, что не всем меня можно читать, а только тем, кто меня любит – или за стихи, или за "Записки редактора", или за искренность и откровенность, или за несусветное вранье.)

Но что бы со мною ни происходило, несомненным было то, что я уже был не властен в своих поступках и намерениях, неведомая сила меня подхватила и понесла, и не только события определялись этой силой, но и образ мыслей и чувств, характер, отношение к миру и к людям, смысл жизни, иерархия ценностей.

Неожиданно после нескольких лет «цветения... трепетания сердца и помутнения разума» случилось со мною нечто новое, N. прислала записку, плакала и просила написать ей хоть несколько слов, а я не смог ей ответить, все уже ложились спать, пришлось компьютер выключить.

Утром ей написал, она не ответила. Послал смску – в ответ молчание. Звонил по телефону, обещала перезвонить, но я в метро, через полчаса только буду на улице. Кажется, я уже до конца все понял: надо думать не о себе, а о ней, заботиться о ней, утешать ее, ничего от нее не требуя и ничего не ожидая. Разве одного только того, что она во мне нуждается и просит о помощи – недостаточно, чтобы быть счастливым? Разве ее слез мало, чтобы быть несчастным? И Бог с ней, с любовью, только бы у нее было все благополучно, чтобы она не плакала и не грустила. Вот только это и должно меня заботить, а не любовь...

Выступая через несколько дней на литературном вечере, в прениях, посвященных поиску Истины, я сказал:

Истина, быть может, существует, но какую истину следует искать, ту ли, которая устраивает нас, но огорчает до слез тех, кого мы любим, или ту, которая нам кажется сомнительной, но утешает наших близких?

Если моя истина доводит *ее* до слез, то не нужна мне такая истина, что́ мне дороже, *её любовь* или *истина*?

Если моя любовь доводит *ее* до слез, то не нужна мне такая любовь, что́ мне дороже, *ее* радость или моя любовь?

Отныне я буду искать не истину, а свет, освещающий наши души, и мир, в котором мы живем. Буду искать не истину, а радость, преодолевающую печаль. Буду искать не истину, а соединение душ, не истину, а понимание, не истину, а милосердие.

Но разве истина противоположна любви, а не подтверждает *ее*? Разве любовь противоположна радости, а не является *ее* источником? Разве не любовь освещает наши души и мир, в котором мы живем? Разве не любовь соединяет души, не в любви находим мы понимание и милосердие?

Однако, обратившись к культуре, мы увидим, что хотя именно любовь является источником истины, но служит она причиной добра и зла, радости и боли, она же приводит еще к большей любви, она же приводит и к ненависти, через любовь человек очищается и возвышается, через любовь он наполняется добром, а то и желанием зла.

И Яго, и Макбет, и Отелло, и Дездемона, Ричард Третий и король Лир, Настасья Филипповна и Рогожин, Достоевский и Толстой, Пушкин и Швабрин, Лермонтов и Демон – все они любили, все они были движимы любовью, но в равной степени она приводила и к возвышению и к падению, и к греху и к святости. С грустью я увидел, что грех растворен в жизни, и во всем растворен, что́ исходит из жизни, и в том, что *ее* продолжает, насыщает, поднимает и воодушевляет, в честолюбии, силе, желании, грех содержится и во всяком наслаждении, как соль в пище, как минеральные соли в воде, как азот или углекислый газ в воздухе. Грех содержится в любви, а, следовательно, он наполняет культуру и он же *ее* воодушевляет.

Во имя любви началась Троянская война, мужчина стремится покорить мир, чтобы бросить его к ногам женщины, мужчина стремится покорить женщину, чтобы насладиться ею, чтобы она ему служила и угождала, чтобы она была его частью, чтобы она с ним – а не он с нею – стала единой плотью.

Плод, сорванный с Древа познания и ставший источником греха, ставший источником порчи мира, внесения в него тлена и смерти, не был ли плодом, вкусив который, мужчина и женщина познали любовь? Не был ли он плодом, в котором содержался источник любви?

А, следовательно, все, что способствует утверждению любви и утверждению жизни, насаждает грех, способствует ему, и только умерщвление любви и плоти умерщвляет и грех, и только монах, не прикасающийся к женщине, безгрешен, и только фанатик, борющийся с культурой, уничтожающий *ее*, безгрешен, и только отшельник, отказавшийся от всех радостей жизни и спящий во гробе, а пуще всего отказавшийся от любви, безгрешен.

Но тогда как могут относиться к любви, как могут *ее* возносить и

славить слова апостола Павла? – «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. *Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.*»

Как могут примириться миф и культура, если грех – в сердцеvine культуры, ее источник, то опьянение, которое соединяет и мужчину с женщиной?

Или мы говорим о разной любви, и любовь мужчины и женщины, о которой писал Вл. Соловьев (то есть "половая" любовь) – это один вид любви, любовь же христианская, в которой заповедается «возлюбить ближнего» – это второй вид любви, а та любовь, о которой сказал так проникновенно апостол – это еще *другая любовь*, и не внушенная Эротом, и не проповеданная Моисеем в скрижалях?

И, следовательно, существует три вида любви, и они, быть может, более отличаются друг от друга, чем любовь и ненависть, или, быть может, представляют собою вариации одной любви, как бывают вариации музыкального сочинения?

Существует ли такая любовь, в которой любящий "*не ищет своего*, не раздражается ... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит" – спрашивал я себя, и вот, наконец, узнал: *да, существует.*

Но многие спрашивают, существует ли какая бы то ни было любовь между мужчиной и женщиной, та или другая, и даже утверждают, что никакой любви нет, а что это выдумка поэтов, или что это фиговый листок, которым человек, испытывающий плотскую жажду, ее прикрывает. Какие-то гормоны, дескать, разыгрываются в теле, и оно начинает томиться и стремиться к другому телу, и более ничего.

Ну как когда камень катится с горы под воздействием силы тяжести, мы же не говорим, что камень *стремится вниз*, испытывая жажду падения?!

Но кроме камня существует и лыжник, летящий с горы, и тоже под воздействием силы тяжести, но не говоря о том, что он может ускорить или замедлить движение или даже остановить его, он еще может двинуться вверх на гору. Личность во всяком случае состоит из души и из тела, и во всяком притяжении двух существует и притяжение душ и притяжение тел, и вот этот синтез двух притяжений – а точнее говоря, чувство, лежащее в основе притяжения, само и являющееся этим притяжением, – и называется любовью. Если в пределе нет либо одного, либо другого, то испытываемое человеком чувство является либо похотью, либо платонической, бесплотной, идеальной (?) любовью. Но в большинстве случаев, какая бы возвышенная, какая бы чистая или идеальная любовь ни соединяла двух, и они тоже испытывают эротическое желание, ничуть не умаляющее притяжение душ. Впрочем, возвышенность и благородство стремлений и притяжений зависит даже не от

того, что именно притягивается, обольщение плотью может переживаться возвышенно, эстетически изящно, глубоко, нежно, благородно, и притяжение душ может быть грубым и вульгарным.

Так и алмаз и уголь образуются углеродом, но разница между ними не больше ли, чем между духом и плотью? Кто же прямолинейно противопоставляет чувственную плотскую любовь любви только духовной, пусть перечитает "Озорные рассказы" Бальзака...

Итак, любовь между мужчиной и женщиной соединяет в одном слитном чувстве и дух и плоть, и тот, кто воистину любил женщину, согласится со мною, что и ее тело – храм, и ее душа – убранство храма, или музыка, которая в нем звучит.

Но что же такое *другая любовь*?

В половой любви целью является соединение и душ и тел, полное слияние двух, но в этом слиянии один из двух – постоянно или на мгновение, глубоко или частично растворяется в другом, подчиняется другому. Любовь приносит радость, восторг, вдохновение, блаженство – но полнота наслаждения достигается, когда *мужчина обладает женщиной*.

И все же, что такое любовь, что в ней важнее, дух или плоть, да и что из себя представляет само это *чувство любви*, словно электрическая дуга вспыхивающая между двумя полюсами, с помощью рассуждений невозможно ни увидеть, ни понять, и только в культуре, только в музыке, драме и романе мы способны его сопережить и понять – или в опыте собственной жизни. И мы знаем, что не в одном наслаждении проявляется любовь, она содержит еще заботу о другом, помощь, сотрудничество, рождение детей и любовь еще и к ним, продолжающую любовь половую. В любви содержится сострадание, сочувствие, утешение, радость и огорчения, через любовь двое возвышаются, но иногда и падают. Обстоятельства жизни накладывают на любовь ряд условий, подвергают ее испытаниям – и это каждый из нас знает по романам о любви и по трагедиям Шекспира. В силу тех или иных обстоятельств двое могут полюбить сильнее, претерпевая совместные испытания, или могут разлюбить, разочаровавшись в возлюбленном.

Что же является целью любви?

Судя по собственному опыту, приобретаемому прежде всего в юности, целью является как будто соединение двух, навсегда или на время, соединение, достигаемое в браке... и когда цель достигнута, заканчивается художественное произведение, повествующее о любви. Если же внешние силы препятствуют соединению, то целью любви является смерть, одного или двух (Анна Каренина, Идиот, Ромео и Джульетта, Леди Макбет, Травиата, Трубадур). Часто кажется, что сильная, всепоглощающая любовь роковым образом изначально имеет целью смерть влюбленных, словно бы наслаждение, счастье, блаженство от переживания слияния недостаточны, словно бы они слишком малы или даже низки, чтобы именно в них была цель любви. Не воскликнуть ли, что полнота любви достигается только в смерти, и только смерть отменяет все наши рациональные рассуждения и возносит любовь на метафизическую высоту, на которой она и является собою, на высоту, на

которой преодолевается банальность земного, банальность житейского благополучия?! Но тогда не оказывается ли смерть и целью жизни, ибо именно в смерти человек возносится на трагическую метафизическую высоту, на которой преодолевается банальность житейского благополучия – *только надо смерть достойно пережить?!*

(Но пока мы рассуждаем, пишем, читаем о смерти, ее нет – будем же радоваться жизни, не забывая древний завет – «Помни о смерти»!)

Итак, целью любви является как будто *соединение двух*, и духовное и телесное, и в то же время подлинной любовью оказывается любовь трагическая, завершающаяся смертью – не значит ли это, что смысл и цель любви не в том, чтобы «двое стали единой плотью», и даже не в том, чтобы две души слились в одну, а в чем-то другом?

6. Любовь как трагедия и Трагедия любви

Философия, мыслящая понятиями, то есть сущностями, множествами, общностями, не содержит в своих рассуждениях ничего из того, что реально существует, ибо реально существует только частное и индивидуальное, например, существует волк, пойманный щенком и выращенный маленькой девочкой, и привязавшийся к ней (в повести Владимира Эйснера), так что их привязанность являлась не чем иным, как любовью; даже, точнее говоря, реально существует только *особенное*. Волка, не имеющего индивидуальных качеств отдельного волка, нет в природе, да если бы он и был, то что же это за убогий был бы и худосочный волк?! Вот так же и с любовью, хотя я и сказал, что, возможно, есть три вида любви, но у каждого двоих своя любовь, и часто особенные Любви так отличаются друг от друга (как и люди), что еще можно ли говорить о видах любви, а не столько ли их, сколько отдельных любовных романов? Потеря подлинности при переходе от индивидуального к общему восполняется в художественной литературе воссозданием индивидуального (не типичного и не типового) в образах героев, а в моей псевдо-философии тем, что я делаю героя из самого себя, и мой "полуфилософский" рассказ становится аналогом художественного повествования. Кроме того, в текст я ввожу образы и положения и целые даже сцены из известных произведений искусства и литературы, и таким образом рассуждаю не при помощи понятий, а при помощи индивидуальных героев и связанных с ними положений, событий, идей.

И что же такое "любовь как трагедия"? – это всякая любовь, о которой мы читаем в великих романах, ибо счастливой любви в них не бывает. Я вдруг подумал, что и "Случайная любовь", на которую я часто ссылалось – тоже любовь несчастная, трагическая, и не потому, что она "случайная" и двое молодых вели себя легкомысленно, стремились не к любви, а только к наслаждению, – ибо не в том дело, что от знакомства до "падения" прошло слишком мало времени (не так уж и мало, во французских фильмах утром знакомятся, а вечером вместе ложатся в постель), а в том, что по непостижимым причинам юная особа отвергла случившуюся с нею любовь, прекрасную в эстетическом отношении, посчитав ее за своего рода "опытный образец".

Итак, культура говорит нам о том, что "подлинная", "настоящая", "страстная" и "жертвенная" любовь непременно трагична, а, значит, и целью любви не является только соединение и наслаждение, и если как будто бы является, в том или ином частном случае, то трагедия такой любви и состоит в том, что это было ошибкой, что произошла подмена целей, о которой герои догадались не сразу. Да, был и я молод и беззаботен, и мне казалось, что надо покорить девушку, как завоеватель покоряет крепость, но даже в тех случаях, когда крепость заявляла о капитуляции, некий инстинкт подлинности останавливал меня на краю обыденности, легкомысленное падение не происходило, крепость оставалась не покоренной и не разграбленной.

Но поскольку всякая любовь трагедия, и вся литература об этом свидетельствует, то нет нужды приводить примеры, каждый роман является примером трагической любви и, следовательно, другой любви не бывает (не *другой* как отличной от любви, известной в культуре и в жизни, – о ней еще речь впереди – но не бывает любви счастливой, избежавшей трагедии).

Трагедия заключена либо в самой любви, следует из нее, является ею, либо во внешних обстоятельствах, как в любви, соединившей моего отца и мою счастливую мать. Война и Безымянная высота навсегда разъединили их и смерть явилась завершением любовного счастья – но все же завершилось только счастье, но еще продолжалась любовь, и я помню слезы, которые капали мне на щеки из материнских глаз. Потом умерла мать. Но я начал искать могилу отца, наконец, нашел ее, поставил крест, но еще предстоит многое сделать из того, что я замыслил в начале – и поэтому их любовь еще не закончилась, и я – ее неотделимая часть, и еще должны пролиться слезы на могильный холм и на памятник, завершающий его, не только из моих глаз, но и из глаз тех, кто продолжает меня.

Но не бывает любви (как и самой жизни) без противоборствующих обстоятельств, и когда они накладывают на любовь ограничения, то или герои борются с обстоятельствами, или начинает меняться сама любовь.

Один из великих примеров такой любви связан с именем адмирала Александра Васильевича Колчака, полярного исследователя, командующего Черноморским флотом, спасшим его от гибели в семнадцатом году, верховным правителем Востока России. За несколько лет до этого он встретил любовь своей жизни, Анну Тимиреву (Сафонову), дочь директора Московской консерватории, влюбились они с первого взгляда, но поскольку оба были связаны семейными узами, то ограничивались короткими встречами, краткими разговорами и записками. В восемнадцатом году Анна с мужем уехала во Владивосток, там она вновь встретила Колчака и ушла к нему как жена, оставив семью. В девятнадцатом году в Иркутске они сидели в одной тюрьме, иногда виделись в тюремном дворе, и ночью, когда его повели на расстрел, она услышала и проснулась. Колчака расстреляли, а она после этого с краткими перерывами присидела *тридцать семь лет!*

И ее любовь – та же, о которой пишет Вл. Соловьев и повествует мировая культура, то есть это любовь между женщиной и мужчиной, и так же это любовь трагическая, как это только и возможно в такой любви.

(Но сверх того я сделаю два замечания. Адмирал был расстрелян за то, что он любил Россию и защищал в Гражданской войне ту Россию, которую любил. Те, которые его расстреляли, Россию не любили, и воевали не за Россию, а за другое – быть может, тоже достойное, по их мнению, об этом я теперь говорить не буду. Но Россию они не только не любили, но в большинстве своем ненавидели, и Россию и русский народ – во всяком случае, в воспоминаниях участников той давней бойни, подвизавшихся с этой, с красной стороны, я не встречал хотя бы упоминаний о том, что они Россию любили и любили *русский народ* – хотя о *любви к народу* они говорили. И второе замечание – о судьбе Анны, полюбившей белого адмирала. Ее не расстреляли. Она сидела в тюрьме, потом еще, и еще, и так она просидела *тридцать семь лет!* – больше половины сознательной жизни. За что? Быть может, Истина находилась у «красных» – но пока они не покаются в том, что Анна сидела за свою любовь так долго и безвинно – так же как и католическая церковь не покается в том, что сожгла святую Жанну Орлеанскую – метафизически и трансцендентно они ВНЕ Истины и Добра, и не о чем с ними спорить и разговаривать. Если же это ничего не значит, то нет того Бога, с которым я соотношу свои мысли и чувства и надеюсь на Его достойное понимание, и нет той Истины, которую я ищу, и о которой надеюсь на достойное обсуждение, а есть... так, чепуха какая-то, обывательское благополучие или неблагополучие тех или иных частных лиц, но не их трагическое и достойное ВОЗНЕСЕНИЕ. Ибо люди могут забыть все что угодно, и это не значит, что их не было, но если *роковое* забывает Бог, то это доказывает, что его и не было, и нет, и не будет!)

Да, это удивительная любовь, достойная восхищения, любовь высокая и трагическая – но это та любовь, о которой нам повествуют искусство, история и литература, и даже ветхозаветный миф, говорящий, что «крепка как смерть любовь!»

9 апреля, четверг, 16-51. Любовь между мужчиной и женщиной имеет, вероятно, два существования: обычное, житейское, происходящее во времени, не претендующее на поглощение личности в себе, не возвышающееся НАД жизнью, а входящее в нее; и существование в вечности, поглощающее и жизнь в целом, ограничивающее ее только любовью. И существует такая любовь не только в культуре, но все, кто от несчастной любви кончает жизнь самоубийством, переживают именно такую любовь, и кончают они жизнь самоубийством не потому, что таковы особенности их личности, а потому, что таковы особенности их любви.

Разговаривал со своей внучкой о любви, и о том, что целью *любви* является *смерть как переход от временного к вечному*, но что если судьба влюбленным благоприятствует, то в таком случае та любовь, о которой повествует культура, преображается из небесного состояния в земное. Нет, она со мною не согласилась, она сказала, что после брака любовь не заканчивается, а по настоящему только начинается, и что *целью любви является рождение детей*. Вспомним, что говорил Владимир Соловьев, приводя

примеры великой любви, которая как раз всегда была бездетна, и попытаемся примирить оба представления о любви (или оба ее вида): в одном отношении – к вечности – они чуть ли не противоположны, но объединяет их то, что влюбленные в обоих случаях стремятся соединить физическое и метафизическое в целостность, то есть соединить мужчину и женщину и в единую душу, и в *единую плоть* – и в их индивидуальной любви и в семье.

И все таки, *житейскую любовь*, возвышенную и не очень, крепкую почти как смерть и легкомысленную, как часто у меня, *любовь романтическую* и романтическую, на великих образцах которой мы воспитываемся, о которой вздыхаем и проливаем слезы, Соловьев относит к одной любви, «половой».

Христианская же «любовь к ближнему», если она существует, это, без сомнения, любовь другого рода, не содержащая пола и чувственности, даже, если верить Страхову (а он пишет в согласии со всем святоотеческим преданием), не содержащая *чувства*. Любовь бесстрастная, РАВНО ко всем.

Но верить ли Страхову, да и существует ли вообще христианская «любовь к ближнему», об этом мы узнаем позже, а пока мы не выяснили даже, что такое «другая любовь», и существует ли она.

Но, к счастью, мы достаточно ясно поняли, что любовь, являющаяся сердцевинной культуры, *любовь трагическая*, не могущая давать счастье возлюбленным и рождать детей (а у Анны Карениной хотя и родился, но умер вскоре после родов, ибо Толстой-художник всё глубоко чувствовал и знал даже без волхвов, в отличие от Толстого-моралиста), являющаяся *только* любовью, затмевающая жизнь, вдохновляющая поэтов и влюбленных разного рода – в обыденной жизни не слишком распространена, хотя и я сам встречал и тех, кто, как Отелло, бегал с ножом за любимой, и тех, кто сигал из окна как Бальмонт, и тех, кто резал вены и пил отраву, да и я сам... (но обо мне хватит, и так слишком много...)

К счастью, наши любимые, в отличие от литературных героинь, вовремя шепчут «согласна», а то и хватают нас за рукав и тащат к венцу, даже не дождавшись предложения, поэтому у нас еще остаются силы на счастливую семейную жизнь, мы даже не успеваем узнать, что всякая *подлинная любовь* (по Соловьеву), которая встречается как будто только в романах – трагична, мы радуемся, что нам повезло, что у нас все благополучно, что наша любовь избежала трагедии – и не узнаём, что обречены на нее с самого начала, что трагедия в любви счастливой заключена как язва, и разъедает ее ежедневно, ибо если любовь не побеждает жизнь, то жизнь в конце концов побеждает любовь. И это и является *трагедией житейской любви*, и даже не только потому, что жизнь ведет себя как коррозия, разъедающая гранит и алмаз, но и потому, что сама любовь противостоит жизни и не дает ей возможности мирного сосуществования, любовь претендует на вечность, а жизнь временна, и хотя умирают они обе, и жизнь и любовь, но любовь утверждает свою победу над обстоятельствами и временем, отрицая жизнь, убивая ее и затем останавливаясь навсегда, становясь вечной, как любовь Ромео и Джульетты или Тристана и Изольды, а жизнь ждет *воскресения*.

Романтик Достоевский, сочувствуя любви, отправляет своих героев на смерть или на каторгу, но не показывает сцен счастливой семейной жизни; реалист Толстой завершает возвышенную любовь грязными пеленками, заставляя читателя не умиляться, а страдать. Так чего же мы хотели бы – чтобы Наташа погибла? Да. Как погибла нежная и прекрасная Тая, героиня романтического романа Натали Троицкой о любви ...

7. Другая любовь

10 апреля, Страстная пятница, утро. Глубоко символично, что о *другой любви*, поразительной и почти безумной, я пишу в *страстную пятницу*, но все таки еще утро, и еще не иссякла надежда, что, быть может, распятие не наступит.

Когда́ было разбито мое сердце? Тогда ли, когда я ее в первый раз увидел и, кажется, не только чувство, но и знание пронзило мне сердце? – но знание чего? **Что́** нам предстоит? Я и теперь не знаю этого. **Что́** нас соединит? Но будем ли мы соединены хоть чем-нибудь кроме иллюзии и воображения? Или, быть может, **что́** из себя представляет это наваждение или этот обет, который, без сомнения, был вручен нам свыше и изменил в сущности, если не событийно, по крайней мере мою жизнь? Кажется, действительно предчувствие будущего и смутное понимание его мне было дано в первое же мгновение, когда я ее увидел, но метафизический смысл происходящего является только теперь, когда я занялся исследованием любви в ее целом.

Или мое сердце было разбито тогда, когда она вдруг зарыдала, без всяких, как кажется, оснований – а что я ей сказал? Что буду любить ее не только как «ближнюю», то есть как нечто всеобщее, но и как *особенное*, то есть прежде всего как красивую молодую женщину, и что так я решил потому, что только так я смогу ее до конца понять и **спасти**, ибо любовь христианская, безличная, любовь к всеобщему «ближнему», не существует.

Ибо уже в первое мгновение встречи я почувствовал, что она дана мне для того, чтобы я спас ее, хотя я не понимал тогда, что спасать придется и меня тоже, потому что ее слезы прожгли мне сердце, и я поклялся, что сделаю все, пожертвую всем, только бы она не плакала.

Но все же окончательно сердце мое было разбито позже, и это было словно во сне или в бреду, и тогда я обратился к Богу с мольбою и поклялся, что от нее уже ничего не буду требовать или ждать, пусть она меня больше не любит, пусть мы больше не встретимся, пусть она обо мне забудет, не вспомнит, не позвонит, не напишет, не скажет, что она меня любит, соскучилась, и жить без меня не может, и хочет увидеть, и я не напишу ей, что целую и ту скамейку, на которой мы сидели, рукавичку, которой она погладила мою холодную руку, розовый гранат, сверкнувший из под пряди волос, и пусть я буду тосковать безответно, пусть она любит другого, пусть она даже смеется надо мною, все что угодно, – только бы никогда не оказалось правдой то, что привиделось мне словно в бреду!

Неожиданно она мне позвонила, и я, радостный, закричал ей: мой ангел, солнышко, ласточка! Но на другом конце детский голос в каком-то отчаянии – это была ее дочь, четырехлетний ребенок – все повторял одно и то же:

«Бабушка! Бабушка! Бабушка!» В соседней комнате что-то происходило, слышались как будто рыдания, и снова детский голос: «Бабушка! Бабушка! Пожалуйста! Не надо!»

Я вдруг как будто воочию увидел, что она прижимает к груди пистолет (который она мне уже показывала), или уже умирает... А накануне она говорила, что если я умру или ее брошу, то она покончит с собой. А потом еще сказала, что жить больше не хочет...

Детский голос вдруг умолк, и она сказала: *Я сейчас! Ничего нельзя изменить.*

Наступило молчание, сердце мое еще билось и с каждым его ударом я ждал выстрела.

Потом она вдруг отчетливо сказала: *Я не уйду. Но мы не будем больше встречаться. Любовь – это грех. Забудь меня. Прости!*

Почему меня самого не приговорили к расстрелу? – я пошел бы на смерть равнодушно. Я понял окончательно, что готов от всего отказаться, что прежде мне казалось значительным. Я жаждал ее любви – хорошо, пусть больше не любит, пусть даже не вспоминает. Пусть мы никогда не поцелуем друг друга, никогда не прижмемся, даже мимоходом. Она потребовала, чтобы я не желал ее даже мысленно – хорошо, я согласен и на это. Чтобы я не говорил и не писал о любви, – что ж, и на это согласен, *не поминайте имя любви всуе...*

Теперь она настаивает на том, чтобы я больше и *не любил ее*, ибо она думает, что любовь греховна. Ибо мы любим и радуемся тому, что любим, наслаждаемся любовью, ибо любим мы для себя. *А надо любить для другого*, любить настолько, чтобы отказаться от любви, если это необходимо.

Так, хорошо, я больше тебя не буду любить!.. Какие еще жертвы принести ради тебя? И кому? Я их принесу.

Но если не будет ни встреч ни писем, ни чувств ни мыслей, ни подчинения, ни воли – то зачем же мы встретились? Разве не затем, чтобы я смог тебя понять и **спасти**? Но как я тебя спасу, если мы откажемся от всякого бытия?

Я думал, я надеялся, что кроме известной любви между мужчиной и женщиной существует еще *другая любовь*, способная отказаться почти от всего *своего* ради *другого* – от **плоти**, желаний и стремлений, от наслаждения и радости взаимности – во имя сочувствия, во имя сострадания, – но ты уверяешь, что и эта любовь греховна, что надо отказаться и от нее.

Следовательно, греховно соучастие одного человека в судьбе другого. Каждый пусть живет сам по себе, спасает только себя, или, если им движет сострадание к кому-нибудь, то пусть помогает другому без любви, *без-страстно*. (Ибо христианство порицает страсть).

И что же тогда значат слова апостола Павла, прославляющие любовь?

«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.» *«Любовь ...не ищет своего*, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Надо ли от нее отрекаться? Никто не знает, что и как надо... И я тоже...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

1. Константин Леонтьев

12 апреля, воскресенье, православная Пасха, 21-34. Опять проснулся около семи, пришли волхвы и заново продиктовали мне стихотворение о любви, но и сегодня сразу его не записал и вновь мучился, пытаюсь дописать его по смутным впечатлениям.

Предыдущая глава была посвящена *другой любви*, не совпадающей с любовью *половой* (как называет ее Вл. Соловьев), или *эротической* (как предпочитаю называть я), соединяющей мужчину и женщину. Разница между той и другой любовью состоит в том, что *просто любовь* вмещает в себя то особое притяжение мужчины и женщины, когда двое *стремятся стать единой плотью*, а *другая любовь* пытается голос плоти заглушить – в силу тех или иных обстоятельств, например, когда они не свободны, или же их разделяет нечто другое существенное, например, *возраст*, как бывает в дружбе между учителем и ученицей (и у меня это было тоже, я называл ее «девочка у двери»), так как обычно *она*, провожая меня после урока, стояла на пороге, а я на ступеньках лестницы, ведущей вниз, и так мы стояли подолгу, глядя друг на друга, пока однажды она не сказала, что хочет меня проводить, и около метро мы неожиданно стали целоваться).

Такая любовь, возможно, связывала протопопа Аввакума и боярыню Морозову, вероятно, они любили друг друга как мужчина и женщина, но протопоп был в браке и не мог преступать не только семейные узы, но и узы церкви, которыми он был связан еще более, чем семьей. Возможно, любили друг друга основатели Франциск Ассизский и святая Клара, но они были связаны монашеским обетом.

Объяснил я или нет, что такое *другая любовь*, но и что такое *любовь*, то есть любовь НЕ другая, а та, в силу которой мы почти все появляемся на свет, я пока не сумею объяснить тоже.

Но существует, уверяют философы, еще и *платоническая* любовь, исключаящая эротическое притяжение в силу своего характера (но что такое ее характер и почему она происходит, я, честно сказать, не знаю, возможно, так можно было назвать дружбу с девушками в школе и в университете, когда мы нет «любовного томления»), а также «влюбленную дружбу», как я ее называл (чаще всего между мужчиной и юной девушкой), и такова моя дружба с К., школьницей из Карелии, и дружба с В., продолжающаяся уже тридцать с лишним лет.

Со мною дружили дети, и даже в последние годы, и что это была за дружба, какое чувство они испытывали по отношению ко мне, я точно не знаю, но похоже, что они в меня по детски влюблялись – а что и в десять, и в двенадцать, а тем более в четырнадцать лет девочка способна влюбляться, не вызывает сомнений. Об одной такой влюбленности я и расскажу.

Вчера мы с женой возвращались в город, сначала мы проходим С--во, потом надо подняться в гору полтора километра, до шоссе.

В С--ве на пригорке стояла девушка, отвернувшись от нас, и делающая вид, что она просто гуляет и остановилась поразмыслить. Это была К., которая раньше бегала к нам в Перелого, потом меня дичилась, и вот теперь, когда ей исполнилось семнадцать лет, ожидающая меня на шоссе. Раньше она была в меня влюблена (конечно, по детски, то есть без той страстности, которая сопровождает романтическую любовь, как у Ромео и Джульетты).

Она проводила нас до шоссе, и мы там стояли в ожидании автобуса (который так и не подошел, и мы поймали попутку) и успели поговорить и о любви, и о литературе, и о современной молодежи. Оказывается, у К. нет подруг и друзей, потому что с ее одноклассниками ей не о чем разговаривать, никто из них не читает книг и даже, как будто, ни о чем не размышляет. (Впрочем, я надеюсь, что и такие, как она, и такие, как я, все же и еще существуют, и рано или поздно найдет она и подругу и друга, тем более что она девушка симпатичная).

Итак, и в этой главе я буду говорить о любви, и о той и о другой, а также и о любви христианской, то есть о «любви к ближнему».

Так как я не пишу ни научное, ни социологическое исследование, то у меня нет собственной «научной» концепции, в которую я вовлекаю любовь, высказывая о ней определенные положения и подтверждая их цитатами из десятков авторов. Нет, так случилось, что меня заинтересовали взгляды на любовь Владимира Соловьева, о нем много пишет Константин Леонтьев (так же мне интересный писатель), который, в свою очередь, пишет и о Толстом (что позволяет мне прежний разговор о Толстом продолжить), и о Данилевском в связи с Соловьевым, и о Достоевском, и о Страхе.

Итак, несколько великих русских авторов девятнадцатого века словно бы собрались у меня за столом и ведут между собою спор. В центре этого спора Константин Леонтьев, это он их собрал на страницах своей последней книги «Записки отшельника», а я пригласил его к себе за стол вместе с его соратниками и оппонентами. Разговор, как я уже заметил, идет вокруг тех самых проблем, о которых я пишу и в своих предыдущих книгах и на этих страницах: судьба России и "русский" вопрос, смысл и правота (или неправота) христианства, что такое любовь и в чем ее смысл, что такое "любовь к ближнему" (или вообще христианская любовь), да и существует ли она?

После того как эти вопросы будут исчерпаны, мне надо бы ответить на главный вопрос: а в чем же смысл этой книги, зачем я ее пишу?

2. Наука, философия, литература

13 апреля, светлый понедельник, 8-25. Уже и не удивился, что около семи утра пришли волхвы и предиктовали, о чем надо писать далее.

Итак...

Во всяком сообществе или группе, состоящих не совсем из случайных элементов, например, будь это охотники, рыбаки, пианистки, старшеклассницы – элементы их тяготеют к некоторому среднему, которое мы называем *нормой*, и несомненно, что *нормальный* писатель не влюбляется постоянно то в пианистку, то в старшеклассницу, то в дочь охотника или рыбака.

Средний, нормальный элемент множеств исследуется учеными, и они постепенно формулируют картину мира – но что именно они исследуют? Только то, что относится к неживому миру и элементы чего по сущности своей одинаковы, как, например, электроны, причем, даже если и случатся электроны, у которых вдруг душа набекрень и они летят не туда, куда надо, то ученые ими пренебрегают.

Живой мир, множества растений и животных или сообщества людей если и исследуются психологами и социологами, то точно так же, то есть постольку, поскольку они ведут себя как нечто цельное, то есть одинаково, как всеобщие явления природы, а не собрания своевольных личностей. Так, например, Гюстав Лебон исследует Толпу, и оказывается, что элементы толпы, бывшие живые лица, подчиняются тому, что появляется в них как черты и особенности именно толпы как единой личности.

А как рисует картину мира философ? Да, увы, и философ отвлекается от индивидуальностей и говорит о всеобщем, лишенном особенных своеобразных черт. Поэтому и философ, исследуя романтическую любовь, роковое стремление к смерти влюбленных не решает отнести к существеннейшему свойству идеальной любви как трагедии, стремящейся освободиться от временной формы и стать вечностью – в преодолении временной жизни.

Любовь существует и в подлинном мире, представляющем собою синтез *хаотической Реальности* и *гармонической Культуры*, и философ (в данном случае Вл. Соловьев) их столкновение – идеальной любви и реальной жизни, приводящее иногда, как и в романах, к самоубийству влюбленных, а чаще всего к иссяканию любви, как иссякает река, текущая в пустыне и не питаемая притоками, начинает втискивать в русло некоей своей воображаемой эволюционной реки, по Дарвину: у любви, дескать, есть стремление и цель – привести в конце концов двуполое человечество к однополому существованию, мужчина и женщина именно поэтому становятся единой плотью (временно), но постепенно это их временное состояние станет вневременным.

Спорить с Учением Вл. Соловьева о *смысле любви* так же трудно, как и со всяким предположением о будущем. Ну, например, почему бы не предположить, что у людей со временем вырастут крылья (под влиянием любви) и они начнут летать? Ведь спрашиваю я у "ласточки", не чувствует ли она, что нечто мешает ей под лопатками! И превращение влюбленных со временем в птиц вполне, мне кажется, допустимо, но скорее под влиянием магических свойств любви, а не при помощи эволюции.

Но возвратимся к норме всеобщего среднего и ненормальности *частного*, а тем более *особенного*. Писатель повествует не о толпе, не о множестве, не о типе, а об индивидуальности, и чем эта индивидуальность более *особенная*, как Настасья Филипповна и князь Мышкин, тем более она выразительная, большее впечатление на нас производит и больше напоминает. Таковы великие произведения искусства, и Дон Кихот, и Гамлет, и «Записки из "Мертвого дома"» (*особенным* в последней книге является та *несвятая*

обитель, в которой страдают герои повествования), и менее крупные, но выразительные произведения, как, например, "Сон смешного человека" или "Случайная любовь" Рустема Юнусова.

"Люди в раю живут, да не знают, что живут в раю, а если бы узнали, то и стал бы рай на Земле", заявляет герой Достоевского, "Смешной человек". Поскольку большинство людей серьёзны и совсем не смешны, то ученый или философ написали бы, скорее всего, "Сон НЕсмешного человека", возвещающего всем ту банальную истину, что кругом "одна суета и суета сует" (впрочем, эта истина стала банальной из-за постоянного повторения) или что "на свете счастья нет" (но поэт, с *лица необыцим выраженьем*, заканчивает ее словами: Но есть покой и воля!)

Итак, "люди в раю живут!" – утверждает это *особенный* герой, и потому его утверждение тоже *особенно*, справедливо ли оно для всеобщего человека, "человека толпы"?

Да, живет и мучается, влюбляется, ищет, разочаровывается и умирает средний человек социологии – да не до конца средний, вдруг и он (как сказала Жанна Д*Арк, оправдывая мерзкого ничтожного подлого человека, каким его считает христианство) бросается наперерез скачущей лошади, чтобы спасти ребенка, и гибнет под ее копытами.

И поэтому справедливы ли наука и философия с их усредненной картиной "мертвого мира"? Конечно, нет! Тем более что в индивидуальном, а особенно в *особенном* содержится и всеобщее, и только в *особенном* оно и содержится, как *особые точки кривых (точки разрыва, перегиба, точки экстремума)* позволяют ее понять и знать, а произвольная всеобщая точка о кривой ничего о ей не говорит, а, следовательно, ничего не говорит и ни о какой всеобщей точке этой кривой. Только исследуя поведение функции в *точке экстремума* и *на бесконечности*, мы узнаём функцию и в ее всеобщем.

Только через индивидуальное и через *особенных* героев художественная литература и искусство представляют и всеобщую жизнь.

В героях романа читатель узнает себя. В его среде узнает пространство и собственной жизни.

Но еще поразительнее отождествление действительной жизни и романного мира, когда романическое повествование НЕ совпадает с повествованием нашей жизни, когда герои романа и герои жизни поступают противоположно тому, что делаем мы.

3. Случайная любовь

Мой собственный герой не совпадает со мною, как автором, хотя пишу я от первого лица. Еще на первом курсе друзья уличали меня в несоответствиях, когда увлеченно рассказывал я им о своей бесшабашной жизни в школьные годы. Теперь я более сдержан, и все же и теперь мои *полуфилософские* записки наполнены романтическими историями, за которые иные читатели меня упрекают (а кстати, *полуфилософия* – это мое собственное изобретение, это способ *философствования*, сближающий философию с литературой, позволяющий ей говорить на языке *частного* и *особенного*, то есть говорить о живом мире, а не о мертвом).

Некоторые читательницы обвиняют меня в разнужданности, и если я и теперь рискну преподнести им очередную любовную историю, то они уже могут и швырнуть в меня моими книгами.

Однако, делать нечего, я, помимо всего прочего, рассказываю о себе читателю, еще и исповедуюсь в грехах, поэтому историю рассказать мне придется (хотя почему охранители нравственных устоев не побивают камнями тех актеров и рок-певцов, на шеи которых вешаются буквально сотни поклонниц и тащат в постель? А иные приходят в гримерную уже голыми – как описывается в романе Н. Троицкой "Обнаров"?)

Как меня ни обличают "старцы", голыми девушки ко мне не прибегают, и "романы" мои пристойны, да даже почти безупречны.

Пристойна и та история, которую я расскажу, для иллюстрации совпадения литературы и жизни даже в тех случаях, когда в действительной жизни происходит нечто противоположное романной истории (что лишний раз доказывает, что литература не копирует жизнь, поведение ее героев подчиняется собственной логике).

В конце десятого класса, перед самыми выпускными экзаменами, у меня разгорелся роман со студенткой-практиканткой, красавицей, умницей, обаятельной и притягательной девятнадцатилетней девушкой. Мы жили в школьном общежитии, встречались по ночам и целовались до потери сознания, накануне ее отъезда ее соседки по комнате ушли гулять с кавалерами и оставили нас одних, предупредив, что придет через четыре часа. Сознание нас снова оставило, мы сначала сидели на кровати, потом она упала на спину и я над нею склонился....

Эти минуты предопределили мою судьбу, я словно бы создавал для себя стереотип поведения. Как и росистым утром, проходя лесною опушкой, я не мог пересечь поляну, приминая цветы и траву, но обходил ее по краю, так и в объятиях юной красавицы я не решился ступить на такую же поляну, но еще волшебнее, таинственней и беззащитней. Она молчала и сильно дышала в волнении, разжигая меня еще больше – но метафизическая пропасть между нами и притягивала и взывала к сдержанности.

И я не решился ее перешагнуть. Мы тоже были два юных героя повести «Случайная любовь», и была ли эта любовь *случайной*, я не знаю, я вспоминаю ее и через пятьдесят лет – но благодаря этой таинственной ночи я и стал таким, каков я теперь – вдыхающий женщину как "поляну цветов" и способный к "*другой любви*".

Но разве и всякая любовь *не другая*?!

4. НЕ случайная любовь

В согласии с обыденным, не философским, представлением о любви в ней содержатся два начала: *метафизическое* душевное родство и физическое влечение плоти. Но бывает, и нередко, что стремятся обладать друг другом два совершенно непохожих, чуждых друг другу человека, и тогда обычно говорят, что "противоположности" притягиваются (если считать, что они притягиваются как две электрически заряженные частицы – но так ли это? Возможно, мужчина и женщина и в самом деле во многих отношениях

противоположны, но притягивает их все таки нечто другое – иначе необъяснимо, почему притягиваются иногда друг к другу и женщины (в лесбийской любви)?

Что в любви содержится, лучше попытаться увидеть, глядя на нее несколько по другому, сравнивая ее с другими сходными чувствами.

И тогда, сравнив любовь с дружбой, мы поймем, что в идеальной любви непременно содержится *дружба*, что она и составляет в основном то, что в любви идеального. Мужская дружба не требует непременно духовной близости, она возникает часто случайно, в силу обстоятельств, например, при нужде в компаньоне, собеседнике, поверенном, или даже в собутыльнике – скучно одному. Но дружба между мужчиной и женщиной (в особенности если она не соединяется с физическим влечением) непременно основана на сходстве мыслей и чувств и отношений если не к миру в целом, то к тем или иным отношениям в нем или к его частностям, например, на общем интересе к спорту, музыке, литературе...

Бывает, что мужчина и женщина связаны чувством, которое я называю "влюбленной дружбой", то есть когда дружба пропитана легкой влюбленностью, особого рода взаимностью, не тождественной физическому влечению, но не отрицающей его. Так я дружил с Машей, к которой приходил "полюбезничать" в офис: я с удовольствием смотрел на ее милую фигуру, легкие женственные движения, красивое лицо, притягательную грудь – но значило ли это, что я ее "хотел"? Скорее всего, она мне нравилась и как женщина, но основным чувством все же являлась дружба и сходность отношения к миру (это она притащила для деревенской Ани мешок шикарных вещей, которые стали для Маши маловаты – она вышла замуж и "раздобрела").

В идеальной любви непременно содержатся и все те чувства, которые скрепляют семью: общая любовь к своим детям; особое чувство материнства, которое у женщины распространяется и на мужа, отца ее детей (а иногда женщина и изначально относится к мужчине по матерински, и настоящий мужчина нуждается в такой любви и ценит ее); симпатия к окружающим, к общим друзьям, к родным и знакомым, не говоря уж о близких родственниках (в моей идеальной женщине было даже больше любви к моим родным, чем я мог надеяться); иногда встречается и чувство, похожее на зависимость, подчиненность, покорность – но это отношение к мужу как к главе семьи, как к старшему, отношение дочери к отцу.

И, наконец, в некоторых случаях женщина ведет себя и чувствует себя по отношению к своему мужчине как ученица к учителю и наставнику (часто это бывает при любовной связи молодой женщины и старшего мужчины, но иногда и при равенстве возраста).

Во всяком случае, в меня девушки влюблялись обычно как ученицы в учителя, а часто они и были моими ученицами.

Только в таком идеальном случае любовь имеет шансы на победу над жизнью (включая в жизнь и злополучное время, разрушающее плоть).

Если физическое влечение существенно преобладает в любви, то когда

двое стареют, они начинают меньше друг другу нравиться, постель все в меньшей степени их примиряет после ссор, и когда-то казавшаяся вечной любовь постепенно терпит поражение в противоборстве с жизнью.

И, наоборот, если преобладает в любви дружба, то со временем такая *любовь побеждает и жизнь*, и боги на них радуются, как на Филемона и Бавкиду, и дают им вторую молодость. (И из этого следует, что даже *идеальная любовь*, в которой есть прочная основа в виде дружбы, духовного родства, семейных уз, со-чувствия и взаимопомощи, сохраняется как *любовь* только через плоть, через молодость и красоту и телесную жажду физического взаимообладания).

Но боги вместо молодости и красоты могут дать двум любящим тоже немало: двое растворяются в семье как ее духовная основа, как ее Идея, пронизывающая прошлое, уходящая в память о себе и своих корнях; и они растут и ввысь как будущее, реализуя себя в потомках, сначала в детях, затем во внуках. Преображение любви происходит дважды: сначала при рождении ребенка чисто плотская любовь-наслаждение дополняется любовью к детям, затем предметом любви становится семья в целом, следовательно, соединение полов как цель любви заменяется на заботу о близких.

5. Любовь духовная и платоническая

В современном словоупотреблении оба эти вида любви часто не различаются, словно платоническая любовь и есть духовная и наоборот. Идею такой любви находят читатели (скорее, исследователи и эпигоны) в диалогах Платона «Пир» и «Федр». В первом диалоге кроме восхваления пьянства я ничего большего не нашел, а второй диалог, по правде сказать, уже не помню, а перечитывать его не захотелось. Дело в том, что повествуется в обоих диалогах о *любви к юношам*, что мне чуждо, тем более что во всех моих и статьях и стихах и рассказах речь идет только об одном виде любви: к девушкам, женщинам, или к «Прекрасной даме». (И хотя Платон мне друг, но женщина мне дороже!) И таким образом о любви к мужчинам и юношам пусть пишут сами женщины, если они в наш пустой и лишенный романтических порывов век еще способны их любить.

Но так как термин "Платоническая любовь" является лишь метафорическим аналогом "любви духовной", то можно далее о "Платонической любви" не рассуждать, а поговорить именно о "духовной любви" – что она такое и существует ли она?

Человек состоит из духа и плоти, и в любви соответственно этому два начала, два стремления: физическое и метафизическое, то есть духовно-душевное. Духовное наполняет собою все отношения к явлениям и идеям, духовное присутствует и во всякой любви одного человека к другому, ибо только в пределе один человек может стремиться к другому и желать его только физически, но в действительных проявлениях любви два человека соотносятся между собою вместе и физически и духовно-душевно.

Что же тогда имеется в виду, когда говорят о любви духовной?

Я хочу ограничить предмет своих рассуждений и не буду говорить о

любви к музыке, литературе, собирательству книг, любви к творчеству, которое может заполнить человека настолько, что в нем уже не остается места для какой бы то ни было другой любви; не буду говорить о любви к "родной коммунистической партии" или к вождю, которая так же может стать его единственной страстью – нет, меня интересуют только отношения между людьми, ограничивающиеся симпатией, равнодушием и антипатией, или дружбой, безразличием, любовью и ненавистью.

Что же имеют в виду, говоря о любви духовной? Во времена моего детства и юности к духовной любви призывали девочки и девушки, вступающие в робкие отношения дружбы и первой влюбленности, боящиеся эротических домогательств своего друга или возлюбленного. О духовной любви иногда говорят и сегодня, и имеют в виду то же самое; вероятно, правильнее было бы отделять от любви (половой, эротической) отношения дружбы и "влюбленной дружбы", которая занимает промежуточное положение между любовью и дружбой, поэтому вместо неопределенной "духовной любви" следовало бы говорить о дружбе.

Мужчина и женщина сближаются в дружбе, в *любви*, в деловых отношениях, в браке (где эротические отношения возможны без любви, как и брак возможен без любви, а в века христианского господства только без любви брак и существовал); в сочувствии и сострадании, в помощи, заботе (например, в заботе родителей о детях); но существует и *другая любовь* – является ли она необходимой заменой *любви*?

Мой опыт говорит только, что *любви* часто приносятся жертвы. Если два человека не могут любить друг друга из-за внешних стеснений (как адмирал Колчак и Тимирева), то они ограничивают себя в проявлениях своей любви, ограничиваясь иногда взглядами и письмами. Иногда любящие требуют друг от друга жертвы не только в проявлениях любви, но и в ее переживании, религиозно настроенная женщина заставляет друга поклоняться, что он не будет желать ее даже мысленно. Но любовью подчас движет такое сильное сострадание, что и без клятв отказываешься от любых домогательств, только бы она была счастлива.

Все это *другая любовь*, но не то же ли это, что и НЕ другая любовь, но несчастная, ограничивающая себя по необходимости?

Заглянул на евангелический сайт, там говорится о *духовной любви*, источник которой в Боге, и даже отвергается мое духовно-душевное, противополощее плотскому, но, ссылаясь на евангелие, утверждается: **«Нам нужно возненавидеть душевную любовь, распяв ее на кресте!»**

Могу ли я найти взаимопонимание с такой верой? Могут ли культура и философия найти взаимопонимание с такой любовью?

Поэтому я уклоняюсь от подобных обсуждений, НЕ рассматриваю более смысл *духовной любви*, определяя *духовное* только как одну из двух сторон *душевно-плотской* жизни и "половой" любви, и ограничиваю свой разговор тем ее содержанием, которое представлено в светской культуре.

Ибо что же делать нам? Что делать Гамлету, Дон-Кихоту, Манон и Анне Карениной, Лермонтовскому Демону, Евгению Онегину, отвергнутому Татьяной, что делать Чацкому, самому Достоевскому, Розанову и мне?..

Во-первых, страдать. Во-вторых, если любовь неотделима от сострадания, то делать все то, что требуется состраданием, любовь подождет.

В-третьих, если любовь и сострадание требуют принести в жертву любовь, то пожертвовать любовью.

Но какая еще любовь существует и «право имеет», кроме любви и сострадания, мы будем еще осуждать, когда придут и займут свои места за столом все участники сегодняшнего Разговора.

Правда, речь могла бы пойти не только о любви и видах ее, но еще и о Боге евангелистов, которые говорят, что хотя духовная любовь вдохновляется Богом, но одной ее недостаточно, надо еще любить и Бога, и эта любовь – к Богу – должна заполнить все наше существо и изгнать из него душевное и плотское, то есть весь наш эгоизм, все наше Я (ибо душа и есть центр нашего Я). И хотя духовная любовь должна быть направлена еще и на мир и на человека, но начинать надо с возбуждения ненависти к той любви, которая направлена на себя, и даже возненавидеть себя. А дальше я уже не увидел любви и к миру, но только ненависть. Вот так "у подлинных" христиан: начинают с любви к ближнему, заканчивают ненавистью и к себе, и к людям, и к миру, но всеобъемлющей любовью к одному только Богу. Хотя никто из них Бога не видел, как говорит апостол Петр, а братьев своих видит всегда.

6. Начинают собираться "достойные" собеседники

Константин Леонтьев уже за столом и я не буду его прерывать до поры до времени, хотя бы он и отклонялся от заявленной темы, ибо все то, что он говорит, мне интересно и близко.

Сначала он вспоминает свою молодость, пришедшуюся на пятидесятые годы (девятнадцатого столетия) и начало шестидесятых, увлечение идеями *прогресса, либерализма и равенства*, от которых он очень быстро излечился:

"Поэзия действительности невозможна без того разнообразия положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе..." – говорит он, отрекшись мимоходом от Гоголя и Жорж Санд.

14 апреля, светлый вторник, 11-00. Только забрезжил рассвет, принужден был встать, заболела голова, а далее и все, что только умеет болеть. Вышел на улицу, рассуждал о равенстве, во имя которого Ленин и Троцкий почти уничтожили русский народ, притом какая злоба ими двигала, воистину она могла свернуть горы на их пути или приказать горам исчезнуть! Ленин ненавидел страстно, Троцкий – бесстрастно (но ведь и у французского Наполеона была эта бесстрастность, и у русского Жукова, небрежно передвигающего миллионы живых людей на шахматной доске как жертвы пешек за качество).

А сколь многие в плену *уравнительности*, отождествляя его с справедливостью! Глядят ли они на мир, на горы и доли, и на звездное небо? Справедливо ли, что одни низины ниже моря, а иные моря выше гор? И беспрестанно реки свергаются вниз, и то холод, то жар, то ветры веют, то бури клокочут, то штиль замирает над поверхностью вод, и бесполезные висят паруса? Справедливо ли, что золотые россыпи и алмазные жилы,

нефтяные подземные реки, пустыни и оазисы, но нет в природе ни в чем равенства? Справедливо ли, что красавицы нас сводят с ума, а дурнушки иногда управляют великим народом, что бесталанные забирают себе богатства, а умные и талантливые зато пишут книги, которые их не кормят?

Нет правды на земле! Но правды нет и выше?

Правдиво ли устроен наш мир, в котором во всем царит неравенство, ибо ИНАЧЕ и реки бы остановились, и ветры бы замерли, и меня бы совсем никто не читал, потому что я был бы как все, не умнее других?! Да и не только бы я поглупел, но и красотки бы подурнели, поделившись с другими, и тогда уж я точно бы такую справедливость не перенес, и не только поднял бы бунт на земле, но взбунтовал бы и небо!

Но вдруг представляю я себя не помещиком со ста крепостными, а захудалым крестьянином – стал ли бы я на стороне такого неравенства вопиющего, или пошел бы с Робеспьером и Троцким жечь помещичьи усадьбы?

Разумные доводы, оправдывающие то неравенство, которое защищает Леонтьев, явились бы позже, когда устроители равенства отобрали у крестьян все «излишки» зерна вместе и с тем, которое оставлено было на семена и на хлеб, революционные комиссары расстреляли целую крестьянскую Тамбовскую губернию вместе со стариками, женщинами и грудными детьми, а попрятавшихся потравили газами; а затем половину населения загнали за колючую проволоку, а вторую половину заставила тех сторожить.

Как-то странно устроен мир: чтобы оставалось неравенство, почти и не надо усилий, только следить, чтобы нечистые на руку не воровали, ленивые не отлынивали от работы и ретивые не шли в разбойники; а для сохранения равенства надо следить за каждым, чтобы он не высовывался, чтобы у него не появлялась лишняя копейка, чтобы он вдруг не более эффективно работал и не становился богаче других.

Неравенство не требует и уравнивания всех точек зрения, не нуждается в тотальной идеологии; но равенство следит за единомыслием и навязывает его, и во имя единомыслия устанавливает беспощадный террор по отношению к тем, кто «шаг влево, шаг вправо» из подконвойной колонны.

Самые свирепые диктатуры, самые кровожадные «демократии» устанавливались там, где народ добивался *равенства*.

Неравенство, которое защищает Леонтьев, основывалось на древнем еще установлении – отбирать десятину в пользу государства и тех, кто его устроит. Разве не достаточно было работающему крестьянину девяти десятых результатов его труда?

18-00. Затем Константин Леонтьев, как истинный мракобес (каковым он и был) рассуждает о взаимоотношениях науки и веры. И интересны его рассуждения не тем, какими доводами он доказывает приоритет веры перед знанием, но тем, что слышат у него благодетельные нынешние защитники двухтысячелетней, дескать, гармонии между учеными и церковью: замри, наука, спрячься в угол, не рыпайся, и когда позволено будет подать робкий голос, тогда и подавай! (а то же касалось и культуры в целом).

Разбирая современных ему публицистов, Леонтьев жалуется тех, кто «предпочел христианскую набожность общеевропейской учености»

Затем роняет небрежно «Семья сильнее школы, литература *гораздо* сильнее и школы и семьи».

Остается только горестно развести руками: сегодня литературу можно совсем не учить, но и школа и семья проигрывают окружению, телевизору и Интернету, да и у многих даже живое окружение умалилось в сравнении с неживым воздействием двух экранов, телевизионного и компьютерного, воздействием *виртуального* мира.

«Только одна литература... всемогуща; только она одарена огромным «престижем» важности, славы, *свободы и удаления*.» – увьи!

Но при этом Леонтьев не слишком жалуется литературу, непочтительно отзывается о Гоголе, что он дескать, «наложил на литературу свою великую, тяжелую, а отчасти все таки хамоватую лапу». Но мне интереснее его отзыв о Толстом, которым я и хотел бы закончить свою предыдущую критику Толстовских воззрений на культуру.

«...как то, что коринфская колонна лучше всех колонн; как то, что Шекспир есть величайший драматург всех времен, или как то, что Лев Николаевич Толстой в «Анне Карениной» и в «Войне и мире» выше всех романистов нашего времени и за последние тридцать-сорок лет во всем мире.

(Прошу при этом понять, что я различаю *этого* прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны» от его же теперешней тени... Что он – искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какого-то своего рода умственное детство?..)»

И далее поясняется, что именно вменяет Леонтьев в вину графу Толстому:

«...если новый Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и в Церковь у людей неопытных и слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни даровит был Толстой прежний, этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из своего ума!»

[Прежде чем продолжить философский разговор...

Не колеблю ли и я ВЕРУ, не имеющий столько литературных заслуг, как Лев Николаевич? Хотя меня почти никто и не читает, но вдруг даже в одну душу зароню я сомнения, которые эту душу смутят?

Я немало об этом думал, как и о том, что в юности, влюбляясь в красотку, не перебежал ли я дорогу более достойному, но не умеющему так привлекать, как, почему-то, это удавалось мне? Так, может быть, лучше мне было не родиться? Не поступать в университет (я занял чье-то место), не жениться (кроткая барышня составила бы счастье более достойного), ... и еще тысячу «не»... Это вопросы бессмысленные, и ответы на них бессмысленны тоже, и Коперник, доказавший, что Земля вертится вокруг солнца, а не наоборот, смутил ВСЕХ христиан Европы – или надо было продолжать верить как до него? И апостолу Фоме не надо было сомневаться? И что же тогда делать во всем, что так или иначе чему-нибудь да противоречит?]

15 апреля, светлая среда, 11-16. Вчера был на вечере, посвященном Ольге Берггольц, читала стихи и отрывки из ее дневников Ирина С., исполнялись музыкальные сочинения Баха и его сына Ансамблем старинных инструментов под управлением Кискачи. Я проплакал весь вечер.

Думаю о собственных сочинениях. Во-первых, мои стихи преимущественно вторичны. Во-вторых, эти книги о литературе не более чем *комментарии* к чужим сочинениям, так можно написать и сто книг и тысячу – но надо ли? И в-третьих... надо ли мне вообще писать и печатать? И если даже писать, то надо ли печатать? (Правда, многое складывается и само собою в пользу «НЕ», не печатают и не читают).

Роман я написать не могу, видимо, талант не продолжается в эту сторону, хотя некоторый талант редактора и комментатора у меня есть...

Итак, я написал три книги Записок редактора, и эта книга тоже такова, четвертая в этом ряду. Возможно, она могла бы представлять литературно-философский интерес, если бы в центре ее я поставил *Смятение* автора, который в таком случае стал бы героем уже отчасти художественного произведения, так как в основе смятения столкновение *Страсти* и *Долга* – но Долг запрещает приоткрывать завесы, как он же запрещает уступать Страсти.

Несмотря на исключительное благополучие моей жизни – и в двух тюрьмах посидел только по полгода и не испытал никаких особенных тягот, меня любили и там; и в советском сумасшедшем доме просидел только два с половиною года, и меня любили и там, тогда как большинство населения сидело в нем пожизненно (то есть «жили в аду, но не знали, что живут в аду»... хотя сколь много самых достойных, талантливых, тонких, которым и российская культура обязана чрезвычайно, *видели и оцущали, знали и страдали* (а если и были счастливы, то отгоргая сумасшедший дом) – и Ольга Берггольц, и Теодор Адамович Шумовский, и Юрий Борисович Перепелкин, и Олег Волков, и Даниил Андреев, и Шульгин, и множество других, поэтов, писателей, философов, математиков, ученых, инженеров! – и вот, несмотря на благополучие моей жизни, по своему и моя жизнь и я сам трагичны, во всяком случае, «маленькой трагедией» мою жизнь можно было бы назвать. Даже как математик я кое что сделал, теорема моя о непрерывности и полноте вещественных чисел должна была бы занять место в Учебниках для студентов вместо недостаточных рассуждений Дедекинда, и сам Учебник мог бы занять место на полках учебной литературы, по крайней мере, в нем многое изложено лучшим языком, чем у других – но сие мне даже не снится. Я был блестящим преподавателем, но сначала мне запретили преподавать, а потом для меня не находилось места. Я кое что написал неплохо – но ни один издатель не захотел меня напечатать. Я издал Радзивилловскую летопись, за что должен был бы заслужить признательность своего народа – меня вместо этого посадили в тюрьму. Пенсии я получаю менее трети той, которую получают все, с кем я работал, даже у кого была меньше зарплата.

Но нет, не подумайте, что я голодаю. На электричках я езжу бесплатно. На огороде у меня растет картошка, морковь, лук и огурцы. Времени мне удается подработать то там, то сям. Я редактирую чужие книги, и кроме счастья получаю иногда некоторые деньги. Пью я теперь совсем мало, и когда

приходится выпивать в компании, то друзья стараются с меня взять поменьше. В городскую баню хожу уже реже (на моем огороде своя). Одежду не покупаю совсем вот уже двадцать лет, у меня много родных и друзей, и то, что не подходит им из одежды, подходит мне. Бываю даже в кафе, притом с девушками, но это они меня приглашают и сами платят за нас обоих (сие, конечно, постыдно, но зато показывает, как они меня любят!)

Бываю в гостях, даже далеко (даже в Белоруссию меня пригласило их правительство за свой счет, в Германию тоже). Кстати, и в родной стране правительство временами кормило меня бесплатно, в 2004-м году за то, что я издал Радзивиловскую летопись (и за что чествовали меня белорусы), меня пять месяцев кормили бесплатно в бывшей женской тюрьме на улице Лебедева. Иногда и мне удается заботиться о других. Десять лет я вожу одежду и обувь, игрушки и книжки деревенским детям, все то, что собирают в Питере мои друзья, притом вожу постоянно, нагружаю рюкзак на себя и жену. В тюрьме делился сахаром и всем, что присылали мне в передаче, с отверженными. Детей, правда, развращаю, покупаю им конфеты и мороженое, их бабушки временами меня за это ругают. Пьяниц развращаю тоже, иногда даю им в долг пятьдесят рублей (обычно они возвращают сей долг).

Но жизни удается, как злomu псу, в меня вцепляться и рвать мою плоть. Вот и теперь по ночам чуть не плачу. А ведь мне еще надо если уж не писать мой никому не нужные книги, то хотя бы *редактировать чужие рукописи* (а за это меня искренне благодарят многие, и не постесняюсь сказать, что я неплохой редактор. Я даже – что уж поделаешь, когда мир меня отвергает! – приведу позже некоторые свидетельства авторов, словно бы показания на судебном процессе – в мою пользу!).

Да, *мир меня* отвергает, ругает, *гонит*, но многие люди в этом мире меня иногда даже прижимают к своему сердцу, как и я их.

И все же мне бывает очень плохо, и я уже начинаю думать, не пора ли мне умереть. Но ведь и близкие еще отчасти от меня зависят, я не обуза, не камень на шею, многим, как ни удивится писатель, читая мои стенания (это я нечаянно написал, но думаю – надо ли исправлять? Писатели как раз и являются моими единственными читателями), я еще помогаю.

И все же мне плохо, устал бегать и по врачам, устал от лечения, и времени жалко, хотя я и езжу с компьютером. Но Долг не всегда приоритетен, вот и теперь, когда пишу сии горестные заметки, я его нарушаю, потому что вопиют три дела: надо продолжать вставлять рисунки в книгу Ю.П. и надо заняться составлением очередного номера журнала, и надо прочитать повести ***.

Трудно стать ангелом! Если бы было легко, многие б стали... И все же я думаю о том, что я делаю не так, как надо, я еще не совсем пропал, не совсем живу для своих удовольствий, я не хочу быть причиной слез и страданий, и не грехов я боюсь, но не могу причинить вред и обиду другому. И уже близок к тому, чтобы согласиться стать хотя бы наполовину ангелом.

Но Долг вопиет, пора остановиться в моих заметках, вернуться к тому, что должно. Кое что сделаю еще для себя – еду к врачу, затем встречаемся втроем, а среди нас и моя подруга, отпразднуем пасху, – и потом уже, вернувшись, буду и сегодня и в следующие дни работать неустанно только по требованию долга.

7. Душа, дух и тело

Как ухитряются евангелисты разделить дух и душу, как разделяют гонители плоти душу и плоть, если мы не видели человека, у которого бы плоть уже была умерщвлена (то есть, умерла), а дух (или душа), то есть сам человек был еще жив; и также мы не знаем того, у кого плоть продолжала бы неистовствовать, а души уже не было (не в фигуральном, метафорическом смысле дрянного, бездушного, бессердечного человека, а в буквальном).

Точно так же невозможно разделить и цельную любовь (то есть любовь между мужчиной и женщиной) на две части, на любовь духовную (душевную) и любовь физическую, телесную, плотскую. Очевидно, что и последняя любовь существует, и первая, но только в достаточно условном смысле. Последняя, чисто *физическая*, не что иное как эротическое стремление к женщине, которое в большинстве случаев нельзя называть любовью, особенно если нет индивидуальной избранности, но только в пределе, когда вожделяющего мужчину привлекает именно эта женщина, ее тело, формы ее тела со всеми его особенностями, и есть притяжение именно к ней, к ее целостности, но в грубой форме предельного желания ею обладать – это все таки любовь, но в слишком упрощенной форме; и также односторонняя, узка, неполна любовь-дружба, когда почти нет чувственной связи, но только симпатия к личности, к характеру, мыслям, поступкам (как любовь ученицы к художественному руководителю театральной студии на Урале, известному режиссеру и актеру Оболенскому).

Другая любовь, о которой я уже много говорил, иного характера, это та же самая любовь, что и у Рогожина к Настасье Филипповне, но *ограничивающая* себя в силу необходимости – нравственной, социальной, сословной и потому односторонняя, половинчатая не по внутренней природе, а по внешнему принуждению. Можно было бы сказать, что любовь Рогожина порочная, а любовь князя Мышкина – святая, но в действительности это одна и та же любовь, только иногда в силу обстоятельств и внешнего принуждения жертвующая частью себя, а иногда и всю своей полнотой. «Я отойду в сторону, я не буду мешать вашему счастью! – говорит удачливая соперница в забытой мною повести, уже получившая власть над предметом своей страсти и устыдившаяся, отчаявшаяся построить свое собственное благополучие на обломках чужого.

Другая любовь – это не монашеская изначально бестелесная любовь, а полная огня и силы, но отказавшаяся гореть во имя другого.

Но тогда зачем же она начиналась?

О, это в каждом случае свое особенное начало; счастье у всех одинаково, а горе индивидуально, говорит Лев Толстой в начале «Анны Карениной».

Любят не душой, не телом, любят только всей личностью, в любви вмещено все, святое и низкое, высокое и бесстыдное, тихое и неистовое, скрытое и обнаженное. Любовь и таится – и обнажается на площадях. И уступает – и стремится к победе. И покоряется и властвует.

Только после того, как один из двух возлюбленных приносит себя в жертву, эта любовь отчасти теряет плоть, но не теряет притяжения к плоти.

Она тоже прекрасна, как всякая трагедия, но в мировой культуре она представлена скупо, ибо эта любовь редка. Как и жертва.

Ее и можно было бы назвать *духовной* вопреки тому сиропу, которым обильно нас потчуют евангелические христиане, если бы плоть не сохранялась в ней как потенциальная энергия, если бы это не плоть привносила в нее особую красоту.

Два человека могут, любя друг друга, не вступать в близкие отношения, могут даже совсем не встречаться – по причине связанности своей долгом и обязательствами – значит ли это, что их соединяет *духовная* любовь? Да какая же она духовная в ожиданиях елейных христиан, если они пылают страстью друг другу как Ромео и Джульетта, как Тристан и Изольда, а то даже как Рогожин к Настасье Филипповне, то есть с точки зрения елейности низко и грубо?! Их любовь почти во всем та же, что и романтическая любовь европейской трагической любовной драмы, только за одним исключением: внутренне наши герои стремятся друг к другу, внешне же – сдержанны. Следовательно, любовь их *другая*, но вмещает и то и другое.

И снова сбежать никуда не успел
От боли, болезни, бессмысленных дел,
Тоски, раздраженья, веревки.
От душ неуклюжих, бесчувственных тел –
Куда меня звали и сам захотел –
От смерти и жизни-воровки.

Но снова дороги вовсю замело,
Не виден ни лес, ни поля, ни село,
Попрятались люди и волки.
Не высуну нос за околицу сам,
Никто не заходит, живу по часам
И слушаю басни и толки.

Нет толку от мыслей, от чувств и от книг,
Жду нежных мгновений – да жизнь только миг!
Жду писем, признаний, жду лета.
Замерзла околица, ель за окном...
Да всё не о том я, да всё не о том!
Замерз, видно, Стикс. Даже Лета.

Ах, кто там? Кто б ни был, на миг отзовись!
Махни рукавом на беспутную жизнь!
Я жду только краткого мига.
Со мною компьютер, мобильник, слова...
Но печка не греет, погасли дрова,
И даже не пишется книга.

Последняя слава, последний побег...
Отчаянье, воля, злой ветер и снег...
Поэт, математик, скиталец...
Но плохо меня понимает рука,
Не смеет, не знает нажать курка...

И дрогнул предательски палец...

Ах, если ты есть, отзовись хоть на миг!

Спаси от отчаянья, ветра и книг,

Спаси нас обоих от слова!

Что б ни было – Женщина, Родина, Бог –

Всего было много, связать вас не смог...

Но это, поэты, не ново...

8. Толстый Вова

Но возможно ли разделить человека на дух, душу и тело, и, соответственно этому, разделить любовь на духовную (у святых, у монахов и у правильных христиан); и недуховную (у всяких там Джульетт, Наташ, Изольд и Анн, и тем более у тех, кто их домогался)? Всякая *любовь к женщине* (а не к сестре во Христе или к товарищу по классовой борьбе) относится и не может не относиться к полу, а потому и является любовью *половой* (как это исследовано у Вл. Соловьева и у Шопенгауэра в его «Метафизике любви»), а потому сколь бы она ни была возвышена, как бы ни вызывала наше восхищение, она не может быть любовью духовной.

Так, быть может, дружбу еще и можно с натяжкой причислить к любви духовной? Пример такой дружбы, связывающей меня с подругой, я приводил, теперь приведу пример самой обычной приятельской дружбы, которая связывает меня с одним из наших Питерских писателей.

Познакомился я с ним (десять лет назад) следующим образом: вдруг раздается телефонный звонок, и пьяный голос говорит: «Читаю твою книгу, на каждой странице ты пишешь о поцелуях. Какие могут быть поцелуи в нашем возрасте? Встречу – дам в морду!»

При встрече вместо этого он робко сунул мне две свои тоненькие книжки. Так началась наша дружба. Его прозвали «Вовой толстым» за толщину; впрочем, он оставался вполне симпатичным мужчиной, а толщина позволяла ему выпить много и сравнительно долго не пьянеть.

И вдруг, полгода назад, у него случился инсульт. Но он упорно продолжал пить. Случился второй инсульт. Затем третий.

Теперь это худенький *старичок*, как Розанов в конце жизни (как тот сам пишет об этом) – а с Розановым у «Толстого Вовы» много общего.

Но к чему относится его толщина, к духу, душе или к плоти? Разумеется, писатель А. толст не духом и даже не душою, но справедливо ли сказать, что он «толст телом», и подчеркнуть эти слова так, будто тело само по себе? Тогда и влюбляясь в красивую девушку, не скажем ли мы, что влюбились в «ее тело»? А так как у красивой девушки красиво все, в том числе и глаза и губы, и грудь и *попка*, и она тоже производит на мужчин впечатление, и совсем недавно мне очень нравилась одна такая красотка, она была изящна и совершенна как статуэтка, и сзади на нее смотреть было особенно приятно – то не влюбился ли я ... что логически следует из предыдущего?

Следовательно, это не тело у Вовы было толсто, а Вова был толст, и не душа у него была даже стеснительна, а сам он был стеснителен, и невозможно

не только разделить человека на якобы составные части: дух, душа и тело, но и не существуют они как его части. [Но одно краткое замечание, не относящееся к делу, я сюда добавлю. Пока «Вова толстый» оправдывал свое шуточное имя, мы с ним ходили и к пивному ларьку (последнему в городе), где добавляли к пиву по сто грамм, и в компаниях бывали не совсем трезвых, и ничего с нами не делалось, а тут вдруг я прихожу к нему домой, и мне уже нельзя (ну, в крайности, пятьдесят грамм), а и он тоже стал совсем как Розанов, маленький, шуплый и тощий... И вспомнил я рассказ Джека Лондона «Слезы А Кима», и подумал, что пусть бы он, наконец, и дал мне в морду, как когда-то грозился...]

9.

И поэтому и плотская любовь – только метафора, так как телá не влюбляются и не любят, и *духовная любовь* – метафора еще в большей степени, и только *другая любовь* оправдывает свое имя.

А есть ли за метафорами все таки действительное содержание, мы увидим, продолжив (в следующей главе) беседы за Круглым столом.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ (продолжение)

1. *Пока спорящие рассаживаются за столом*

17 апреля, чистая пятница, 16-41. Ночь меня мучает, и мне кажется, что жизнь моя уже кончилась, но потом постепенно что-то меняется, и вдруг наступает мгновение, когда я уже и не помню злосчастной ночи...

Но ей посвятил я сегодня такие строки:

Может быть, пора застрелиться,
Птицею взлететь в небо,
С миром бестелесности слиться,
Будто никогда не был?

Или, может быть, с кручи
Взять и воспарить птицей?

и так далее...

Так себе, конечно, стишки, но строки эти промежуточные, между своими философскими глубокомысленностями и комментариями к чужим, здесь позволительно быть и человеком обыденности, таким, как все.

Но возвращусь все же к «умному разговору», насколько могу.

Константин Леонтьев обличает Достоевского и Толстого и всю прекрасную либеральную публику в незнании церковных установлений и в неверии, и так как он для умных сегодня авторитетен, да и мне симпатичен во многом (но не во всем), то мне и удобно на него ссылаться в разоблачении глупости публики, которая называет себя христианской и вякает против меня, против моего *отпадения* от христианства.

Во-первых, не во всем я отпал.

Во-вторых, от кого еще и отпал, надо разобраться.

И в третьих, я ли отпал или христиане гораздо больше меня отпали от христианства?

Или даже отчасти не церковь ли отпала? – в ней тоже разные силы, да и церквей множество, да и православий тоже, и у нас в России – нет канонических оснований считать во всем правыми никониан (тем более, что хотя Аввакум был сожжен, но и Никон осужден и сослан), нет абсолютных догматических оснований считать правыми староверов, и уж тем более нет оснований считать правыми сергианцев, подпавших под власть большевистского дьявола и согласившихся ему служить, тем более что зарубежная русская церковь осудила церковь сергианскую (то есть советскую) и призвала верующих уйти в катакомбы (и в России и донныне есть катакомбная церковь).

Но даже не в этом дело. Давайте договоримся сразу, что я разговариваю сам с собою, отчасти с Богом, никого ни в чем убедить или переубедить не пытаюсь, я сам по себе, а вы сами по себе. Покажется любопытно, заглянете на огонек (у нас и печка горит), послушаете, о чем разговаривают православный Леонтьев с бывшим социалистом Достоевским, который забыл Евангелие, по мнению Леонтьева... (Да брось ты, Костя, да он его и читал-то в отрывках и ни разу не перечитывал, а то, может быть, и совсем не читал!); с рационалистом и язычником Толстым, читавшим в Евангелии только что ему нравится и излагающим его на свой лад; скрытым католиком Владимиром Соловьевым, прочитавшим, вероятно, всех богословских писателей, а, как известно, от большой образованности православными не становятся; почти националистом Данилевским, большим ученым биологом к тому же, что вдвойне не способствовало горячей вере; философом Страховым, его другом; и проходящими мимо чиновниками и деятелями церкви.

Чтобы существенно закончить с моим *отпадением*, оставив лишь частности (хотя я еще и с Константином Леонтьевым тоже вступлю в пререкания), обозначу важнейшие тезисы.

Существует христианский миф, в центре которого Иисус Христос, и отчасти ученики Его; и существует, кроме того, учение Церкви, в центре которого тексты и Нового и Старого заветов, апостолы, ученики Христа, и «отцы церкви», видные церковные учителя и богословы, святые, подвижники, «папы римские» и неримские, и деятели церкви, от которых, как показывает история, зависит еще больше. Разве не Торквемада определил лицо церкви на несколько столетий? Не Лютер? Не Кальвин? Не всемирные церковные соборы? Но разве в них участвовал Иисус Христос?

Я с Ним не во всем согласен – но это наше с Ним личное дело, ибо Он нигде не сказал, что за нас решать это будет церковный собор, папа или епископ Николай из Мир Ликийских, ставший вдруг одним из главных святых западной церкви, наместником если не Бога на земле, то самого «вседержителя зимы», Деда Мороза?

Или, кого и как мне любить, будет решать самозванный покровитель *всех влюбленных* (с каких это пор христиане покровительствуют любви?)!

Но это цветочки, ягодки, вопреки природе, были вначале.

Главный спор ученых и философов, поэтов и просто деятелей, в отличие от во всем уподобившихся растениям недеятельных и не трудящихся разного сорта церковным и околоцерковным властителям душ – вопрос о **свободе воли** и о том, руководствуется ли человеческая жизнь своей личной волей и сама во всем совершает свой выбор, за который и будет держать ответ, или надо передоверить все свои поступки Богу?

Христос в мучительных своих колебаниях, взойти ли на Голгофу, восклицает: Но да будет воля Твоя, а не моя! – ибо пришел он с миссией принести себя в жертву за онтологический первородный грех человечества, дано ему было задание от небесного воинства пострадать за людей, искупить их грех.

И потому он, как солдат, хотя и в оправданных человеческих страданиях и сомнениях, приказ небесного воинства исполнил. Быть может, и отец мой страдал, когда исполнял свой воинский долг и остался на Безымянной высоте, спасая солдат своего взвода? Конечно, Христос пострадал за все человечество, отец мой за немногих, но дело ведь не в количестве, а в смысле жертвы?! И я, отстаивающий достоинство человека перед теми, которые приказывают ему быть рабом, тоже остался бы, и я ищущий в своих поступках и мыслях и чувствах отражение божества – но не думаю я, что я безвольное орудие чьих то сил, что я марионетка в чьих то руках, что Бог насадил нас на земле как зомбированных оловянных солдатиков а не как правомочных и достойных его соотрудников, со-творцов земной жизни.

Это главный спор, и совокупная богословская рать меня раздавит в мгновение ока как неразумную букашку, случись мне предстать перед ними где-нибудь на амвоне – но споры такого рода решаются не на амвонах, и когда Лютер восстал против обожествления пап, против их власти решать за народы, против догмата об их непогрешимости, и в том числе против тезиса, что «лучше человеку не прикасаться к женщине», то в мгновение ока в Германии была низвергнута папская власть (ибо Лютера поддержали князья государственные, оказавшиеся сильнее князей церкви), и он, будучи священником, женился (а кто остался католиком, так и остался безбрачным), и богослужение в церкви стало вестись на немецком языке, и дух святой на епископов уже не передавался от папы (якобы преемственно от Христа), и содержание самого учения изменилось и Миф интерпретировался уже по иному (в частности, идея апостола Павла о предопределении и главенстве ВЕРЫ перед ДЕЛАМИ заняла главное положение вместо идеи Петра о том, что «вера без дел мертва»). Пышное богослужение в католической церкви мне художественно ближе, чем скучное протестантское молитвенное собрание, но смысл восстания личности за попорченную человеческую волю я приветствую без сомнений!

Этот же спор продолжался во всех европейских революциях, и в большевистской тоже (*не Бог, не царь и не герой! Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!*). Большевики нагромодили гекатомбы трупов, расстреливая человека из орудий, из пулеметов, травя собаками в лагерях, ногами в кованых сапогах, страхом, унижением, голодом... ах, да не могу и перечислить, это было невиданное в истории презрение к человеку, ненависть к нему, какое-то бессмысленное истребление человека и человеческого в человеке,

горы «бесплезного страдания», как пишет Ольга Берггольц (но о большевиках поговорим еще позже) – но СПОР был начат во имя свободы.

У меня тоже есть задание: в какой-нибудь степени найти оправдание и для христианского мифа и для большевистского (коммунистического), для двух противостоящих тоталитарных мифов, претендующих на абсолютную всеобщность. Кроме *нее* в христианского Бога веруют многие, кого мне тоже больно одолевать сомнениями, да и сам я разве не верил десятилетиями? Разве мне есть куда пойти? Строительство коммунизма провалилось (но оно меня не привлекало, ибо было жестоко и лживо), «царство чистогана» мне противно – куда же мне пойти? В кружок философов, писателей и ученых? Пытался я такой кружок создать. Сначала это было объединение друзей на основе общей любви к свободе и культуре (на литературно-музыкальных вечерах в нашей квартире) – и вечера эти были наполнены любовью, благодатью и счастьем, хотя мы были не единомысленны. Потом, в девяностые годы, пытался я собрать друзей вокруг издательства и журнала – эгоизм нас разъединил, а государственная задница раздавила. Наконец, в последние десять лет собрал я философов и писателей вокруг альманаха «Русские страницы» – мы разбрелись также, потому что радость общего дела оказалась вторична в сравнении с тщеславием: каждому захотелось самоутвердиться при помощи типографского станка, а до друзей и общего дела у большинства просто не было дела.

И вот... Христианство мне (в его церковно-богословской форме) во многом чуждо. Коммунизм (в его марксистско-сталинской форме) даже ненавистен. Однако мною движет любовь – а не тщеславие и самоутверждение. Мои подружки смотрят на меня с надеждой, а некоторые с надеждой смотрят на Христа или Маркса, поэтому смиренно я, дерзкий, отодвигаю свои разногласия в сторону, и думаю, КАК примирить непримиримое, атеизм с религией, Бога с богоборцами, ненависть к России с любовью к ней, **бунт личности и смирение**, свободу человеческой воли – и рабство... нет, с рабством смириться я не могу... нет, еще не до конца меня распяла жизнь, и **то, что я готов сделать во имя любви к человеку, особенно к женщине**, я не готов сделать из страха, несмотря на все болезни, которые на меня напустились, и по ночам терзают до слез и до мыслей о самоубийстве.

Да, я обещал одной **прекрасной даме**, что примирюсь и с коммунизмом и с христианством – и я примиряюсь. Но волхвы мне сказали: Да ладно уж, Васька, *долаивай*, в следующей книге ты скажешь нечто положительное, и примиришься, и *лев возляжет рядом с ланью*.

Следующая твоя книга будет твоим ПРИМИРЕНИЕМ. А теперь, последний воин русского бунта, стой, не сгибаясь, на Куликовом поле!

Вот какие стихи я сочинил сегодня.

Пока, поскользнувшись на скользкой дороге,
Иное уже надсадил – не ропшу.
Хотя и не волчьи – несут меня ноги,
Со мною Христос и античные боги,
И лучших богов я, кланусь, не ищу!

Пока меня любит *Прекрасная дама*,
 Пока меня любят, и дух мне открыт,
 Я буду и сам тот же любящий самый,
 Я буду окном, а хотя бы и рамой
 Всего лишь – в тот мир, что невольно забыт.

Пока мне любовь так блаженно открыта,
 И лица открыты доверчиво встречь,
 И даже хотя и *ничто не забыто*,
 Меняю все горести волчьего быта
 На русскую милую общую речь!

2. Константин Леонтьев защищает Данилевского от Соловьева

Вл. Соловьев в «Вестнике Европы» напечатал статью, в которой, разбирая «Россию и Европу» Данилевского, критикует его за национализм, за теорию культурно-политических типов, по которой России и славянству отводится в грядущих исторических временах чуть ли не главная всемирная роль.

Но Вл. Соловьев занят идеей об объединении наконец-то разделенных христианских церквей, католичества и православия, и на этом пути русский национализм, славянофильство представляются ему главным препятствием. Он готов допустить оригинальность и великое предназначение России, но лишь в том отношении, чтобы она стала почвой, основой такого объединения, способствовала ему и чуть ли не сама пошла в Каноссу, как некогда в 1077 году германский император пришел к римскому папе, прося у того прощения.

Господин Леонтьев начинает с того, что статью Вл. Соловьева признает интересной и побуждающей к размышлениям и спорам, и не отвергает мысль об объединении католичества и православия в каком-то возможном будущем, но спрашивает: «Зачем я пойду в Рим за Вл. Соловьевым? Мне ни для личного спасения, ни для процветания нашей отчизны этого не нужно. ... Зачем же я пойду в Рим, когда никто, имеющий право духовно мне повелевать, этого мне не предписывает?»

«Если бы мне было категорически объявлено свыше, иерархически объявлено, *что вне римской церкви нет мне спасения за гробом*, – и что для этого спасения я должен отречься и от русской национальности моей (которая мне так драгоценна), то я бы отрекся от нее не колеблясь, как отрекались первые христиане и от узкой иудейской народности, и от слишком широкой римской государственности (там, где она посягала на их внутренний мир).»

Во-первых, на ум приходят слова одного из первых наших славянофилов, А. И. Кошелева (в письме к И. С. Аксакову), что *без православия русский народ дрянь* (в Интернете идет полемика, не Достоевский ли это сказал, но никто не может указать конкретно, где это было сказано) – и хотя господин Леонтьев так не говорит, но сама поспешность отказа по приказанию иерархов церкви от русской национальности, причем *не колеблясь*, стóит слов о ничтожности русского без православия. Речь идет даже не о том, что православная религия на первом месте, а русская национальность – на втором, а что даже она неизмеримо ниже, ибо «я бы отрекся от нее не колеблясь».

«Если кликнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю! –

Я скажу: Не надо рая,

Дайте родину мою!» – вот как ответил ему (не зная о том, что отвечает Леонтьеву) великий русский поэт Есенин.

Не потому ли мы и заклали Россию и русский народ инородческому интернационал-социализму, что так мыслили наши даже словно бы национальные философы (по мнению Леонтьева). Он ведь защищает Данилевского от Соловьева, русскость Данилевского от безнациональной всемирности – но чего стоит эта защита? И сам Леонтьев оказывается национален ли?

Тут уже и не знаешь, комментировать ли дальнейшую защиту русскости от всемирности (если так условно представить национальные идеи «России и Европы» Данилевского, предпочитающего Россию Европе, в сравнении с христианством Соловьева, предпочитающего Европу России).

Защиту Вл. Соловьевым объединения церкви в той форме, в которой Россия уступит Риму («пади пред папой, о, царь России!») К. Леонтьев отвергает, «за Россию ему все же обидно», но он приветствует у Вл. Соловьева «ясность мысли», в противовес Толстому и Достоевскому (в их публицистических сочинениях) [и вот эти выпады против, без сомнения, великих русских писателей, но по туманным причинам имеющим столь необоснованно много влияния на тогдашнюю ищущую публику, мне кажутся весьма ценными и я их приведу]:

«чего хочет гр. Л. Н. Толстой, хотя бы по вопросу о "*невоспитанности детей*" или о "*непротивлении злу*"? Я отказываюсь понять и знаю, что очень многие даже сомневаются, *думает* ли в самом деле гр. Толстой то, что говорит; слишком уж это бессмысленно и темно. Или потрудитесь так же постичь Достоевского в его пушкинской речи об *окончательной мировой гармонии!* ...Достоевский, видимо, пророчит *окончательную* гармонию социальную, историческую, *международную*, имеющую водвориться только благодаря некоторому преобладанию русского народа с его "мирением" и вообще с его высшими нравственными качествами. Неужели эти высшие социально-нравственные качества у народа нашего так уж несомненны?»

История доказала беспочвенность благоговения Достоевского перед народом, и скепсис Леонтьева мне ближе, и даже чуть ли не готов я согласиться с славянофилами в их унижении русского народа – но презрение к толпе и черни, составляющим во всяком народе большинство, и в русском тоже, это одно, а любовь к своему народу в его мистическом бытии, к его творческой силе, сосредоточенной в лучших его сынах – это другое, русские христиане в русской национальной идее не видели ничего кроме православия, ни большинство славянофилов, ни Достоевский, ни Леонтьев. Зачем же и что же защищает Леонтьев от Вл. Соловьева, действительно всегда нападавшего на национальную русскую идею, если и сам ее сводит к православию?

Но, впрочем, будем справедливее. Разбирая нападки Соловьева на книгу Данилевского и приводя несомненные достоинства унижаемого труда, Константин Леонтьев говорит в его пользу много основательного и полезного для всех, кому идеи Данилевского и его книга «Россия и Европа» дороги.

3. Важные отдельные замечания

В связи с теорией Данилевского Константин Леонтьев рассматривает и современное ему состояние общества, и то изменение России, которое вызвано было отменой крепостного права и ослабило дворянство, поднимая «третье сословие» и таким образом европеизируя Россию. Леонтьев сетует на освобождение крестьян, говоря, что только благодаря прикреплению крестьян к земле «Россия из полудикого агрегата княжеств возросла до степени великой и просвещенной мировой монархии». И далее:

«все основы стеснительны для большинства: это должно быть признано, я думаю, социологической аксиомой. Все, что усиливает личную свободу (т.е. своеволие большинства, не есть основа, а большее или меньшее расшатывание основ. ... перенести кой-как свободу – можно, считать ее основой – нельзя.

Итак, все то, что можно назвать основой, в данной *современности* есть нечто и *стеснительное*, и связанное неразрывно с прошедшим государства и нации.»

Точно так же г. Леонтьев оправдывает свое звание «мракобеса» (данное ему еще советской историографией), когда рассуждает о науке.

Мы уже читали о необходимости подчинить науку религии, теперь г. Леонтьев рассуждает о всесиле ее даже в его время, и о нежелательности такого чрезмерного ее влияния на жизнь, «ибо человек, воображая, что он господствует над природой посредством всех этих открытий и изобретений, только еще больше стал рабом ее; убивая и отстраняя одни силы природы (вероятно, высшие) посредством других, более стихийных и грубых сил, он ничего еще не создал, а разрушил многое и прекрасное, и *освободиться* ему теперь от подчинения всем этим машинам будет, конечно, нелегко.

... отчего бы этой проклятой оргии прикладных усовершенствований не найти свою точку насыщения в разумном и не совсем уже позднем негодовании человечества?»

А ведь и в самом деле, во что превращена сибирская тайга, леса в Европе, какими стали реки, озера, моря, окрестности городов и сел! Мы живем на свалке, и размеры ее возрастают. Мы нуждаемся в новых медицинских открытиях, потому что болеем все больше. Культура стала индустрией развлечений. Зависимость человека от власти возрастает. Подлинная близость людей все меньше, "виртуального общения" все больше. Любовь перестает играть важную роль в жизни, заменяясь на телесное удовольствие. Семья становится призрачной, дружба поверхностной, вера превращается в ритуал, человек становится не только более эгоистичен, но и более одинок.

Чтение Леонтьева поучительно.

В прямой связи с перенасыщением жизни прикладными усовершенствованиями оказывается и *многокнижность*.

В одной Германии, – говорит Грановский, – за один прошедший год напечатано столько же книг, сколько их было напечатано со времени гуттенбергового изобретения...»

«Не все очень умные люди пишут и печатают, и не все те люди, которые пишут и печатают, умны...» – но не значит ли это, что мы все более погружаемся во власть книжного оумта? (и не благо ли, что вдруг народ перестал читать? Те, кто пишет для Бога, сосредоточатся, а кто пишет из тщеславия, быть может, призадумаются. А я и не удивился бы, если бы оказалось, что еще в древнем Риме какой-нибудь Зенон или Диоген сетовали на то, что слишком много книг... Но зато Леонтьев приводит поучительные сетования Руссо на то, что слишком много пишут и слишком много печатают – в середине 18-го века!

4. Страх Божий как основание нравственности

На чем основывается нравственность? По позднему мнению Льва Толстого (в обоснование которого он написал роман «Воскресение»), она основана на раскаянии и *любви к ближнему*, по мнению Константина Леонтьева (которое являлось и официальным богословским мнением, то есть мнением церкви), нравственность основана на *страхе божьем*, то есть на представлении о грехе и наказании за него. Но тут возникает тонкая грань: чего боится нравственный человек? Греха или наказания за него? Большинство боится наказания, что подтверждается практикой средневековых индульгенций, то есть выкупов за грехи, да и жажды отпущения грехов после формального проговора их на исповеди у священника – но чего боится подлинно нравственный человек.

Чего боится Леонтьев? И в чем для него христианство?

Нелепо думать, что он боится наказания, и что в страхе Господнем для него вся суть христианства – но пишет он и о нравственности и о церкви и о религии так, словно в том чувстве, которое соединяет простолюдина с Богом, и в страхе, и в любви к церкви (неотделимой от «любви к *родной* коммунистической партии») – для него главное в христианстве.

Ну а в чем «главное в христианстве» для других, для бывших комсомольцев, ставших вдруг ревностными православными, для моих друзей, находящихся в храме успокоение от тягостей повседневности, для *неё*, для которой в церкви и в Иисусе Христе последнее утешение и спасение, для меня, так давно пишущего об этом учении и, возможно, уже понимающем его?

Бог, которого надо бояться, это не Христос, это Бог ветхозаветный, но существующий не для евреев, которых Он избрал, а для прочих, которые без спросу, самовольно к нему пришли и, естественно, кроме страха ничего не могут испытывать, как и гости, пришедшие без спросу.

Но хотя и говорил Христос, что «Он пришел спасти (прежде всего) свой народ», – но невозможно основывать веру в Бога и любовь к Богу на страхе.

А какова же причина страха? Во-первых, это наши собственные грехи, во-вторых, онтологический первоуродный грех – у Константина Леонтьева в этом первичном ветхозаветном мифе сосредоточено чуть ли не все христианство, и с таким его пониманием, с такой обращенностью к Ветхому Завету у него связано и отношение к русской истории, критическое отношение к послепетровской эпохе, когда светское в жизни стало преобладать, когда появились театр,

литература, университет, ученость, танцы, свобода хотя бы в быту хотя бы для правящего сословия, возвышение личности, выраженное наиболее ярко в пушкинской поэзии – и возвышенное отношение к допетровской эпохе, с ее *Домостроем* (в котором не надо искать нечто исключительно плохое, с ним связаны прочные семейные устои), с ее патриархальными горизонтальными и вертикальными связями, с ее преобладанием в быту колокольного звона, воскресной службы, домашней церкви в богатых семьях, «проповеди и исповеди». И все же Бог допетровской эпохи – суровый и отстраненный, вера в него не отделима от страха, а Бог послепетровской эпохи – это Спаситель, проповедующий Любовь (хотя мы еще не выяснили, какую).

[Разумеется, мои комментарии к сочинениям Константина Леонтьева – это не богословские выводы, а впечатления читателя, основанные на *сопоставлении* житий протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, Домостроя, фресок в средневековых русских монастырях – то есть того скромного багажа знаний и впечатлений, которым располагает среднеобразованный человек, подобный мне – и блестящего века Екатерины и тем более блистательного девятнадцатого столетия, с его преобладанием литературы и театра, музыки и светских салонов, определивших характер эпохи, наступившей вследствие реформ Петра.

Почему роскошная Петербургская жизнь была так не симпатична Константину Леонтьеву и так по душе московский быт семнадцатого столетия (вряд ли он хорошо представлял себе дух и быт более ранних эпох) – разумеется, для меня загадка, так как я и славянофильскую критику русской истории после Петра представляю себе плохо, нет ли тут отчасти того, что выражается поговоркой «Не по хорошу мил, а по милу хорош»? Ну, по душе некоторым русским интеллигентам девятнадцатого столетия монастырская жизнь (тем более что их паломничества по *святым местам* примерно то же, что наши туристические праздные поездки в экзотические страны), а театр и великосветские балы не по душе – почему бы и нет? Но представлять в литературе определенный образ православия как каноническую истину – это уже накладывает на писателя значительную ответственность. Вот почему я не утверждаю, что более прав, чем г. Леонтьев, в своем представлении духа христианства и православия в частности. И вот почему я оговариваюсь, что рассуждения на этих страницах – это только мои литературные впечатления].

Но предпочтения Константина Леонтьева не случайны, они неотрывны от его отрицательного отношения к *многокнижности*, характерной для девятнадцатого столетия, к доминированию научного духа и исследования, *знания над верой* и в особенности «к этой *проклятой оргии прикладных усовершенствований*».

Да, у Константина Леонтьева все его взгляды связаны в неразрывное единство, в то время как мои представляют собою чуть ли не хаотическое, случайное смешение всего, многое из которого несоединимо, представляют собою словно бы некий смерч, который какой-то внешней силой уравновешен, сохраняет единство, но содержит в себе самые разнородные предметы и идеи.

Но о взглядах своих я написал уже немало, хотя и не уверен, что сам в них разобрался, теперь же разговор идет о русском философе, тоже *полуфилософского характера*, как и я сам (что меня к нему и притягивает).

Я с ним спорю? Да. Я с ним соглашаюсь? Да. Он мне и чужд и близок, и многое меня в нем восхищает. Дитя двадцатого столетия, я сторонник научного прогресса, но при этом я мистик, и противник и научного рационализма и вот этой самой «научной оргии» не только прикладных *усовершенствований*, но и подмены полноты бытия одной только техникой и технологией.

И я вдумываюсь в его идеи, чтобы лучше понять себя, вникаю в его какую-то ветхозаветную религиозность, которая мне чужда, чтобы найти новые основания для возрождения утерянной религиозности своей. *Страх* или *любовь*, *польза* или *добро*, *знание* или *вера* определяют нравственность – об этом разговор еще впереди.

5. На чем же основываться, на страхе или на любви?

Но перечитал и вижу, что рассуждения мои не полны. Что Леонтьев основывает нравственность на страхе, это мне чуждо, я предпочитаю основывать ее на любви. Но прежде того надо совершить еще выбор: основывать ли нравственность на *рациональных* основаниях, как Аристотель, вероятно и Конфуций, Толстой, Руссо, весь современный мир Просвещения и Гуманизма (чуть ли не считающий центром евангельской проповеди выражение «относись к другому так, как ты хочешь, чтобы он к тебе относился»), то есть на основаниях разумных и научных или исходящих из житейского опыта – или на *иррациональных* основаниях, даже скорее метафизических и трансцендентных, на Мифе, то есть на религии, на учении церкви, на вере.

Что миф можно опровергнуть, показав его ненаучность, несомненно, тем более что доказательств существования Бога нет и быть не может (иначе была бы бессмысленна вера) – но миф никогда и не претендовал на доказательность, на возможность его проверки в эксперименте, на возможность выстроить его в виде своего рода математической системы, связывающей начала и концы от аксиом до теорем.

Миф добровольно или принимается или отвергается (тем более в наше время, когда наконец-то провозглашена "свобода совести") – а что в прежнее время никакой добровольности не было и "страх божий" был ничем иным как "страхом перед начальством", не только нравственность выводило из "страха Божия", но и саму веру и самого бога, и, следовательно, в каждом отдельном случае трудно было сказать, человек верит по совести или по приказу начальства, и точно так же, трудно было понять, по какой причине он нравствен (хотя стоила ли чего-нибудь такая нравственность?)

Но представим себе, что разумные люди, математики и физики, в уютной обстановке, сидя за бокалом вина, решают, достаточно ли оснований, чтобы принять миф... Нет, говорят они, оснований недостаточно... И что же? Устроимся согласно тереме Евклида или Архимеда... И вдруг мы понимаем, что без мифа скучно и невозможно жить! Ведь и для любви нет никаких

рациональных оснований, она ни на чем не основана, идешь по Невскому, сталкиваешься взглядами, поворачиваешься... Зачем? Множество знакомых, которых хорошо знаешь, а тут человека видишь в первый раз, не измерял и не соразмерял его, не испытывал, но предлагаешь ему подарить весь мир и даже с неба достать звезду. И также разве возможно доказать, что лучше *заботиться о другом*, чем о себе? Нет, это ниоткуда не следует.

Все основания мифа содержатся в мифе, но не вне его, более того, внешние основания ничего не меняют в мифе, не добавляют к нему и не убавляют. Точно то же самое, что и в романе: кто из героев хорош, есть ли у романа достоинства, в чем его цель и содержание, – все это содержится или не содержится только в самом романе, но не в свидетельствах читателей или очевидцев.

Еще очевиднее это по отношению к поэтическому произведению. Возможно, автор стихотворение переписывал, заменял строки, выбрасывал строфы, наконец он поставил точку – вот этот текст и является стихотворением, отвергнутые слова и строки к нему не имеют никакого отношения.

Не только нравственность, но и вся наша жизнь может основываться на мифе, или на "теории разумного эгоизма", или на "моральном кодексе строителя коммунизма" (который как "отче наш" вытекает тоже из мифа, но другого, мифа о коммунизме). Даже представление о том, что можно основать жизнь на неких разумных основаниях, является мифом, в центре которого превращенная в миф Наука.

На чем основывал свою жизнь я сам? Я ее основывал на Идее русского народа как метафизической сущности, на Идее личного Бога и на идее совокупной культуры, составляющей целостный Миф. Но необходимо было связать в единое целое Народ (мой народ, не тождественный народу в целом), Бога (моего личного Бога) и Культуру (которая хотя и была шире тех образов ее, которые навязывались человеку в последние триста лет или как христианская культура, или как классическая, или как советская, но не совпадала с культурой в целом.)

Я был принужден христианский миф (существующий только как множество мифов) заменить моим Мифом, а для того вместо стихов и рассказов перешел к сочинению рассуждений, или систем рассуждений, в центре которых поставил себя самого. Но я частный человек. Мне неудобно быть мифом даже для себя самого, не говоря уж о других. Да еще с моей чрезмерной независимостью пересеклись интересы окружающих, к которым я не безразличен. К тому же, соединяя свои личные представления о мире и истории с культурой, я присоединял к культуре и очень многое из христианства.

Так, может быть, не отходить от него слишком далеко, примириться с христианством пусть не во всем, но в самом значительном, примириться и с церковью, пусть не во всем? Тем более что я и тем христианкам, которыми дорожу, обещал примирение?

Страх Божий я не принимаю. Но разве мои дорогие требуют от меня,

чтобы я его принял? Зато я принимаю любовь и добрые дела, и в значительной степени христианскую веру, а к тому же еще и веру в чудо, которая тоже принимается многими, и на такой довольно широкой основе хотя и нельзя будет призвать «обнимитесь, миллионы!», но предложить обняться со мною моим близким и тем, кто меня любит – можно!

Так как я сам для себя решил до конца рассудить, какова историческая роль христианства и церкви (и Константин Леонтьев здесь очень кстати, ибо он подтверждает все мои обвинения в адрес и *учения*, и *церкви* и ее *деятелей*, но только считает, что все, что она сделала, в том числе сжигая Александрийскую библиотеку, было правильно), то я продолжу и свои "хулы на церковь", и свои сомнения, и свои разочарования, а когда закончу их, то подведу черту и протяну Мифу руку в знак примирения.

Разумеется, верующие закричат: "Ату его, он еще хуже кощунник, которые плясали в храме, призывая богородицу прогнать царя"! Но разве Христос пришел только к тем, которые утверждают, что они верующие?

Он когда-то сказал, что «пришел к своему народу, чтобы его спасти», но апостол Павел сподобился доказать, что Христос пришел и к язычникам, а потом даже, что к язычникам прежде, а к евреям потом (и евреи как-то и не торопятся отказываться от Моисея в пользу Христа). Так нельзя ли предположить, что Он пришел не только к язычникам, но и ко мне тоже? А если так, то будет ли Он со мною разговаривать, уж мы с Ним сами вдвоем решим, тем более что и волхвы разрешили мне "*долаивать*".

И хотя Константин Леонтьев считает, что иерархи за нас решают, в частности, за него, спорить ли с Владимиром Соловьевым или соглашаться, выходить ли замуж, читать ли книги и ходить ли в церковь, но это его личные взгляды, сам Христос нигде ничего подобного не говорил, Он сказал только, что «*Азь есмь Истина и путь*», но нигде не говорил, что и иерархи тоже суть Истина и путь. И где в Новом Завете говорится, что *дух Истины*, которым руководствовался апостол Павел (и который ... но об этом ниже)...?

Ибо я отвлекся.

Свои взгляды я преимущественно основываю на любви, что согласуется и с взглядами апостола Петра и евангелиста Иоанна. О любви много пишет и Константин Леонтьев, в связи с знаменитой речью на открытии памятника Пушкину. Вот к этой-то речи и к тому, что о ней пишет философ, мы и должны перейти.

Но прежде надо закончить "выяснение отношений" с философом, совершенно справедливо пытающимся нравственность основать не на разуме (то есть сделать ее *рациональной*, превратить в мораль как свод гражданских законов), а на мифе, то есть сделать ее трансцендентной.

Нравственность Константина Леонтьева основана на Ветхозаветном мифе о "первородном грехе" и на ветхозаветном "страхе Божиим", то есть она ветхозаветна, а поскольку и Заповеди Моисеевы в значительной степени рациональны и представляют собою во многом не миф, но мораль, то и его нравственность не слишком далеко отстоит от рациональной нравственности Льва Толстого.

Нравственность *трансцендентна* и еще существеннее, что выводится она из *любви*, которая и сама трансцендентна не менее, чем Новый Завет, Иисус Христос, распятие и воскресение.

И в проповедях своих Спаситель не случайно не повторил весь свод заповедей Моисеевых, но только две, в которых, сказал Он, содержится всё, весь Закон и Пророки: Возлюби Господа Бога своего всею душой и помышлением, и возлюби ближнего своего как самого себя.

И на этих двух и основана нравственность (а на какой больше, на какой меньше, или только на одной из них, от этого зависит очень многое в исторической судьбе народа, от этого зависит даже сама судьба исторического христианства, о есть связанного с земным человеком и земным народом и земной церковью, а не с их "небесными" подобиями или прообразами – те идеальны, а мы все – НЕ идеальны, включая и церковь, те на небе, а мы все здесь, те не подлежат суду, а мы все подлежим, включая и церковь, те в духе только, а мы все в теле, и наша церковь – мирская организация, союз верующих, отражающий свой небесный прообраз.

Итак, Константин Леонтьев из *страха Божия* выводит не только нравственность, но и веру и мировоззрение (и это более скудно, чем у евреев, ибо у тех еще и вера в свою богоизбранность, а у нашего философа такой веры, в богоизбранность или хотя бы в великое будущее русского народа, нет).

А я вывожу свои взгляды, и даже свои хулы на историю и церковь из *любви*.

6. На чем же основываться, на любви только к Богу или только к человеку?

Казалось бы, сказано ясно, возлюби прежде Бога, а потом человека, но не говорится, что Бога не люби или человека ненавидь. Но поскольку любовь к Богу поставлена на первое место, то деятели церкви, профессионалы в отношениях с Ним (как существуют политики и социологи, профессионалы во взаимоотношениях с обществом, и как существовали идеологи, профессионалы в истолковании истины), даже присвоили себе и Бога, и общество, и истину.

То, что Бога надо любить в первую очередь (а Бог принадлежит им, только они его понимают и знают и только они имеют право о нем говорить и его истолковывать, а все остальные занимаются *отсебятиной*, особенно я), они истолковали таким образом, что человека не только надо любить только во вторую очередь, не только не надо любить, но даже надо ненавидеть и презирать и всячески мучить, и средневековая мания и практика обвинять человека во всевозможных грехах и подвергать его пыткам для признания в них, основана именно на таком истолковании слова божьего.

В чем бы мы не признались, если бы у нас вырывали язык, жгли каленым железом, удушали, топили, дробили кости, разрезали и вытягивали жилы? И в чем бы не признались они сами? А они бы признались, что «их Бог» – это дьявол (ибо так оно и было), и по человечески мучительство других людей было их манией и призванием.

Но и те, которые любовь к человеку поставили на первое место, а бога

возненавидели, как большевики, возненавидели и человека, ибо и в советское время в течение тридцати шести лет попытка была узаконена как средство установления истины на допросах.

(Меня, правда, не пытали, но однажды, в 1971 году, прикрутив к передвижному креслу, покатали в особую комнату, где должны были провести операцию, после которой мои антинародные и антисоциалистические взгляды сами собою должны были исчезнуть, вероятно, со всякими и другими возможными взглядами. Там я некоторое время пребывал в одиночестве, готовясь к вечной жизни в качестве растения, затем вдруг вошли трое, о чем-то тихо поговорили между собою, и покатали меня обратно, ничего не говоря. Тело мое экзекуции подвергнуто не было, но впечатление тоже было не слабое. Во всяком случае, если бы надо было сознаться, только бы избегнуть перехода в растение, то я бы сознался в чем угодно, не колеблясь.

Была ли это инсценировка казни, был ли это *страх Божий* и проистекла ли из него какая-либо нравственность? Странно только то, что из этого страха не произошло ничего, и хотя я никого особенно не разлюбил, ни человека, ни Бога, но сосредоточился на время в себе, и к человеку и к Богу стал в некоторой степени безучастнее.

Потом я жил достаточно благополучно, пока поздний социализм не вознамерился вместо заповедей Моисеевых и проповедей Христа выдвинуть свои собственные заповеди, под именем Морального кодекса строителя коммунизма.

Я никогда не состоял в комсомоле (правда, был пионером), не состоял ни в какой партии, ни "за" ни "против", и ясно было всем, что к строителям коммунизма я не отношусь, тем более что и к гражданам нашей социалистической родины меня отнести было тоже нельзя, так как высокое собрание профессиональных психиатров "отнесло" меня к душевнобольным, но тем не менее, когда разразился психоз подписания этого кодекса гражданами нашей страны, меня тоже призвали его подписать. И никто не смел и подумать, что один из трехсотмиллионного народа, который весь был все как один, вдруг заартачится (тем более что и кодекс по существу был не плох).

А я его подписывать не стал (один из трехсот миллионов).

Меня уговаривали. Стращали. Обещали отпуск и спирт и денежную премию. Но я держался. Наконец объявили, что меня вызывают в головной институт в Отдел кадров. Я что-то заподозрил, взял с собою зубную щетку, мыло, полотенце, карандаш, бумагу и пачку сладких сухарей.

В отделе кадров меня попросили подождать в коридоре. Тут в окно я увидел, как подъехала машина (точно такая же, как в марте семидесятого года, когда меня арестовали), из нее вышли трое, прошли мимо меня, внимательно оглядев, затем меня вызвали в Отдел кадров, усадили за стол и положили текст, который мне нужно было подписать.

Я сопротивляться судьбе не стал, и написал дрожащей рукою, что претензий к Кодексу я не имею, но подписать его не могу в силу чисто личных соображений. Трое прочитали мои слова, внимательно меня оглядели, вышли и уехали, а меня отпустили домой.

На следующий день меня вызвали в Партком (к которому я не имел никакого отношения), там же сидел директор. «Но ты можешь хоть нам объяснить, что это за личные соображения, из-за которых нас вызывали уже трижды на бюро Обкома?»

«Могу. Я приставал к сотруднице. Если я подпишу Кодекс, а она расскажет о моих приставаниях, я брошу тень на советский народ».

«Можешь приписать эти слова к предыдущим?» «Могу». Я приписал и расписался. Директор встал и пожал мне руку. И я понял, что система доживает последние дни, так как меня не пытали.

7. Filioque, исхождение «Святого духа» и «Духа истины»

Раскрыл очень умную книгу и стыдно стало, что я претендую на объяснения сложных вещей, опираясь на узкий круг знаний. Но все же не только ученые люди имеют право рассуждать о сложных вещах, Николай Федоров в подзаголовке к «Философии общего дела» приписал: «Записка от неучёных к Учёным, духовным и светским, к Верующим и неверующим», и тем поддерживает меня в моем самомнении.

К тому же, я не пишу научных исследований какой бы то ни было проблемы, я пишу рассуждения о самом себе, притом, возможно, для нескольких близких мне людей, другие меня читать не будут, и это хорошо, они будут читать людей ученых, так что и ладно, и не надо меня слишком уж упрекать в самомнении!

Но оставим чрезмерный стыд и продолжим шествие дальше.

На чем основано мнение Константина Леонтьева, что только то он имеет право делать, что ему иерархи церковные разрешат или прикажут?

Думаю, на непонимании Божественной Троицы.

В Символе Веры говорится: «(Верую) И в Духа Святого, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.»

Но Дух Святой через Иисуса Христа нисходил и на учеников, а через учеников на церковь и священнослужителей. Значило ли это, что священник сам был исполнен Духа Святого? Думаю, что Церковь и священники были проводниками, через которых исходил в мир Дух Святой, и это давало им возможность крестить, отпевать, венчать и принимать покаяние и отпускать грехи, как в мире техники через проводник течет электрический ток, но сам проводник не становится при этом ни током ни вместилищем его.

(И сие, что через священство нисходил Дух Святой – но разве только через священство? Не мог ли разве он нисходить, например, на святых да и не только? А разве на того, к кому «явился шестикрылый серафим», не сошел Дух Святой? – позволяет миропомазывать Царя, что и позволяет говорить, что власть от Бога. Глава светской власти ныне клянется на Библии – но разве это заменяет миропомазание? И разве делает такую власть легитимной в религиозном отношении? И позволяет говорить, что власть от Бога?)

Есть ли нечто еще, что позволяет человеку словно бы мыслить и рассуждать, имея неразрывную связь с Богом? Да, и это называется «Духом

истины», Дух истины изливается на избранного человека от святых, от Ангелов, от Бога, от архангелов и серафимов, как о том повествуется в стихотворении Пушкина «Пророк». Отцы церкви, как видно, были исполнены Духа истины, и имели нечто, что сообщало истину их творчеству и их воле.

Вот так святые Елизавета и Екатерина явились к Жанне и велели ей идти в Орлеан и дали ей сверхведение и силу.

Но связь священства с небом иного рода, как я о том уже сказал. И потому иерархи не имеют силы разрешать или не разрешать Константину Леонтьеву идти в Рим, он должен руководствоваться либо голосом тех сущностей, которые, быть может, к нему приходили – как ко мне приходят волхвы, либо голосом своей совести, либо разума, либо волей.

Вот почему, хотя на учеников Иисуса Христа и сошел Дух Святой в День пятидесятницы, но он не исходил от Сына, но только от Отца, а от Него нисходил и на Сына, а через сына и на учеников Его, а от них Он нисходил и далее.

Но надо различать, когда человек принимает в себя Дух Святой, и получает силу и власть "связывать и развязывать", как святые и Отцы церкви; и когда Дух Святой через него только действует или говорит в определенных обстоятельствах, как через священника или иного церковного писателя.

И хотя через священника изливается Дух Святой в проповеди, при крещении, отпущении грехов, но сам священник не получает способности от себя своей волей руководить другими людьми (хотя и может давать советы – но и всякий может давать советы).

И когда усердно верующая (бывшая комсомолка) заявляет, что «я теперь не живу своей волей, а "как батюшка скажет"», а Константин Леонтьев ждет, что скажут иерархи, идти ли ему за Владимиром Соловьевым в Рим, отрекаясь от русского народа, то здесь нет сходства с Спасителем, заявившим, собираясь на Голгофу, «но да будет воля не моя, а Твоя». Ибо Сын Божий был послан Отцом на крест, и обещал исполнить волю Отца.

Нас же, грешных, Бог обычно не посылает по поручениям, но призывает верить в него, и даёт нам *свободу нашей воли*, по которой мы и поступаем, то есть по своей, а не по Его, и только потому мы подсудны, что сами отвечаем за наши поступки. Если же мы собираемся жениться, и спрашиваем у Бога, какова будет Его воля по поводу этой женитьбы, то скорее всего Господь пошлет несмышленного жениха к его отцу, а не будет сам распоряжаться на свадьбе. Таким образом, я думаю, разрешаются все глупые споры, жить ли по своей воле или по воле Бога. Да ведь есть еще и невеста, и ее родители, да есть и начальство у глупого жениха...

Но *Дух Истины* нисходит часто на многих словно бы и недостойных людей, во всяком случае не святых и не духовных: то на поэтов, то на ученых, как, например, на Коперника, то на простую крестьянскую девушку, как Жанна Д*Арк.

Блажен пишущий, когда на него нисходит Дух Истины.

Нисходил ли он на меня? Ответу словами Жанны Д*Арк, что если я не был его удостоен, то кротко молю о милости, а если был, то в восторге благодарю за милость ко мне, недостойному.]

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ (окончание)

1. Миф и культура. От противостояния к синтезу

21 апреля, вторник, 1-29. Уже не только ночь меня мучает, но и день и вечер, и хотя работы общественной еще больше, чем раньше, но спешу закончить сии Записки, чтобы ... впрочем, не знаю даже, что изменится, когда я их закончу.

22 апреля, среда, 9-47. Приходили волхвы, хотя спал крепко – хотя все тело болело еще сильнее.

Они мне рассказали и о том, зачем и почему я пишу, какой смысл в моей литературе, и о противостоянии Мифа и Культуры.

Миф (в частности, христианство, и в еще большей степени ислам), выражает собою мужское начало, *в начале* своего доминирования исключительно завоевательное, разрушительное, подвергающее все окрестное «мечам и пожарам». Женское начало культуры миф сначала даже не стремится подчинить, но только изнасиловать, разграбить и уничтожить (не задумываясь даже об использовании), затем начинается эпоха подчинения и присвоения культуры, когда все лишнее в ней (по мнению мифа), отсекается и уничтожается, но кое что и усваивается, и, наконец, перед общим закатом, происходит попытка и семейных отношений, *любви и рождения детей*.

Но как только мужское начало в истории слабеет, то уже «женщина» стремится взять власть в свои руки, и два периода противостояния сменяют друг друга – в Великой французской революции происходит изнасилование и уничтожение мифа, но затем культура частично примиряется с ним, пытается облечь собою мужское начало, превратить его в часть себя, происходит их мирное, уже без «мечей и пожаров», противостояние, когда и миф пытается показать себя в творчестве, церковные писатели пишут книги проповедей и нравоучений, расцветает теология (а затем теософия), когда музыка заполняет храм, а литература уделяет внимание религиозным проблемам – и это весь 19-й век. Но отсюда начинается уже внутреннее разрушение и падение сначала мифа, а затем и культуры.

В России период мирного противостояния мифа и культуры тоже был в девятнадцатом веке, затем культура (с помощью государства, как и в европейских революциях) тоже подвергла его «мечам и пожарам».

Во мне – последние нападки на миф, поздние претензии к нему, судебное преследование за прошлые преступления, обвинительное заключение. Но есть ли смысл в продолжении спора, ибо сегодня мы пропадаем оба, культура облекла своими цветочками и кружевами миф, и ничего кроме клумб, вышитых подушечек, мужчин в женских панталонах и курящих женщин...

Только во мне сосуществуют и мужское и женское начало, рациональное и иррациональное, учёный и мистик, только во мне сосуществуют любовь и сострадание, ненависть и прощение, а потому от обвинений и критики я должен перейти к созиданию.

2. Общие рассуждения о любви

23 апреля, четверг, 9-29. Но, думаю, настала, наконец, пора обсудить и то, что Константин Леонтьев говорит о речи Достоевского, и с чем я по большей части согласен (а то я все с ним спорю, и читатель уже недоумевает, что же у меня с ним общего, и почему я считаю, что я и сам мракобес, как и знаменитый русский философ).

Так как разговоры у нас идут преимущественно о любви, то припомним, что мы уже о ней говорили.

В-первых, отталкиваясь от исследования Вл. Соловьева, долго разговаривали мы о "половой" любви, смысл которой философ нашел не в семье и рождении детей, а в грядущем, через миллионы лет, объединении полов в единой цельной личности, не то двуполой, не то бесполой (если сливающиеся два пола растворятся друг в друге).

Во-вторых, разговаривали мы о "другой" любви, которая отличается от известной всем любви тем, что является чаще всего любовью жертвенной, когда счастливая любовь невозможна из-за связанности долгом, который влюбленные не смеют нарушить; или когда их разделяют сословные или религиозные перегородки... Если это любовь безответная, то чаще всего она сосредоточена в женщине, именно женщина и источник и хранительница ее.

К *другой любви* можно отнести отношения князя Мышкина и Настасьи Филипповны в романе Достоевского «Идиот» (хотя что мешало им быть счастливыми, сказать трудно. Были ли серьезные препятствия у князя Мышкина, чтобы жениться на Настасье Филипповне? Перечитав роман трижды, я их не увидел).

Несомненно, что житейских историй, связанных с "другой" любовью, но не отразившихся в страницах романов, великое множество, тем более в прежние времена, когда долг был святыней для большинства, «не то, что в нынешнее время»...

Но любовь и по Вл. Соловьеву, и по Достоевскому – это примеры "половой" любви, в одном случае ее вдохновляет и наполняет чувственное влечение, особого рода притяжение мужчины и женщины, в другом – то же самое притяжение, но преодолеваемое или преодоленное. Огонь любви между мужчиной и женщиной полыхает и обжигает или согревает влюбленных, или же угли огня спрятаны под пеплом – но это один и тот же огонь. Если же он погашен, то остается лишь воспоминание – можно ли его считать любовью, хотя бы и "другой"?

Однако к *другой любви* можно отнести и *сострадание*, которое может существовать и само по себе, а может и порождать любовь, ту или *другую*, или сопутствовать любви. Сострадание сопрягается с подобными ему чувствами жалости, сочувствия, великодушия, милосердия. [Жестокая эпоха большевистской революции и последующего строительства «самого справедливого в мире общества», приведшая к десяткам миллионов жертв, связана была с новой нравственностью, которая дискредитировала многие человеческие чувства, а *жалость* объявила прямо таки чувством постыдным, соединила ее с презрением и желанием унижить другого; я уже и синичку со

сломанным крылом боялся пожалеть, так как боялся, как бы меня не обвинили в желании ее "унизить жалостью" – по писателю Горькому).

Однако, *Любовь* не исчерпывается отношениями мужчины и женщины, не исчерпывается эротическим чувством.

Любят играть в шахматы, любят власть, любят унижать и причинять боль. Но мы ограничимся чувствами, *связывающими между собой людей*, да и то опустим то, что известно и так слишком хорошо и в жизни, и в философии, и в художественной литературе, то есть не будем рассматривать родительскую любовь, любовь детей к родителям, братьев и сестер, родных и друзей...

Но два особых чувства нуждаются в рассмотрении, это «всемирная любовь» по Достоевскому, связывающая не двух человек в любви или дружбе, а словно бы как магнитное поле пронизывающая множество людей; и набившая многим оскомину «любовь к ближнему».

Правда, «всемирная любовь» была открыта до Достоевского, не она ли – в призыве Гете (точнее, Фауста) «Обнимитесь, миллионы!»?

Однако в русском обществе она стала известна после речи Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве в 1881 году, вызвала резкую критику Константина Леонтьева, и мне весьма интересно ее обсудить вместе с ним на «Круглом столе». Почему? Потому, что я считаю, что источником любви является Род, а в конечном счете Пол, а тогда уж, как это ни удивительно, и то странное событие, которое вмещается в вину человеку, то есть когда Ева, по наущению Змия, сорвала запретный плод, вкусила сама, дала вкусить Адаму, они узнали впервые чувство стыда (ибо были наги, но не чувствовали неприличия своей наготы) и узнали разделенность полов, то есть когда *пол* стал существовать не только потенциально, но и актуально.

Итак, источником Любви является Пол и взаимоотношение полов.

(И это очевидно и для родительской любви и для любви к родителям, не говоря уж о Манон Леско и Травяте).

Патриотизм и любовь к Родине – то же самое чувство, которое соединяет Род и семью, это расширенное чувство любви детей к родителям и родителей к детям, соединенное еще со всем, что семью и Род окружает: Природа, Культура, Язык, историческая память. Но, быть может, существует и иная любовь, выходящая за пределы *любви родовой*?

3. Достоевский и его речь на открытии памятника Пушкину

25 апреля, суббота, 22-01. О выдающемся событии – открытии памятника Пушкину в Москве – Константин Леонтьев говорит *иронически*, не упускает заметить, что не все вовлеклись во всеобщий энтузиазм, вот Лев Толстой высказался так, что *в этом балагане* участвовать не собирается.

Вероятно, Лев Толстой не слишком жаловал Пушкина, во всяком случае, не так восхищался им, как я и мои современники. (Вероятно, потому, что Пушкин был недостаточно религиозен, был плохим христианином, и вместо того, чтобы писать «божественное», писал о любви). Вероятно, и Константин Леонтьев не слишком жаловал Пушкина (по той же причине). Но он не слишком жаловал и Льва Толстого (за его еретические писания и отход от канонического христианства).

Ну, я бы сказал, что я сам не слишком жалею Константина Леонтьева за то, что он не слишком жалуется Пушкина – если бы на писателя и философа смотрел только с такой точки зрения: угодны мне его воззрения или нет. Но я смотрю на жизнь и литературу шире, чем Константин Леонтьев, и хотя в нем принимаю не все, но читаю со вниманием все его речи, независимо от того, созвучны ли они моим мыслям.

27 апреля, понедельник. С горечью думаю о том, что не видать мне известности, ибо и у великих ее нет. Читаю Константина Леонтьева – прекрасный писатель, стилист, глубокий философ – а кто его помнил в протяжении почти ста лет? И почти всё, что я пишу о любви, есть и у него, только что не произносит он моего термина "другая любовь".

«Как любить? Есть любовь-милосердие и есть любовь-восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два вовсе несхожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. *Любовь моральная*, то есть искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т. д. может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, то есть производимая (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или *милосердия*, может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей. На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. ... Об этом можно написать целую книгу. ...»

Но, однако, что сетовать на невозможность славы, когда гораздо горше была бы *невозможность любви* – а разве я могу пожаловаться на пренебрежение к себе? Нет, напротив, меня даже смущает то внимание, которым я незаслуженно пользуюсь – смогу ли я его оплатить?! смогу ли я искупить тот невольный грех, что меня любят вместо другого?! Так что Бог с нею, со славою!

Тем более что хотя Константин Леонтьев и знает, на какие роды разделяется любовь, что она бывает и нравственной, то есть *состраданием* и милосердием, и эстетической (в этом случае, если иметь в виду любовь между мужчиной и женщиной, вызванною красотой и привлекательностью женщины и мужественностью и благородством черт мужчины, то это именно эротическая, или половая любовь, о которой писал В. Соловьев), – но так ли безоговорочно надо соглашаться с разделением сострадания (милосердия) на природное и божественное? – словно в человеке всё, что он получает при рождении, наследуя от родителей внешние черты или склонности, пол и национальность, никакого отношения к Богу не имеет, словно весь этот мир, и природа и человек, отделены от божества непроницаемою стеной и воистину этот мир под управлением только Дьявола, Дух Святой не проницает его, и в солнечном тепле и свете нет благодати, а все, что положительного может войти в человека, дается только через аскетический подвиг или от церкви. Такой взгляд на мир повсеместно распространен в христианской среде, хотя он

внутренне противоречив, и священники и святые живут в мире, и церковь стоит на земле, и церковные книги печатаются, и чудеса и подвиги происходят среди нас, и даже огонь благодатный, если этому верить, нисходит с небес на эту грешную землю, да и Сам Иисус Христос сошел на нее.

Вот эта вера в то, что **не** Бог сотворил мир и устроил землю, а только религия и церковь, напоминает мне большевистский взгляд на жизнь: «Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это!»

Русский народ, среди многих своих особенностей, отличается (как я надеюсь) и мягкостью характера, способностью к милосердию, это родовая национальная черта, это особенность *Русской души*. Душа же, как я надеюсь, нечто не совсем "естественное", а метафизическое, и даже если предположить, что плоть человека повреждена дьяволом, и имеет только "естественное" происхождение, то все же душа даже грешника, даже и по церковным представлениям, создана Богом, и так же Бог участвовал и в созидании *русской души*. Так что если мы не *порождения ехиднины*, то врожденная в нас мягкость характера, великодушие и милосердие, выработаны ли они в житейских бурях и страданиях, или же в результате "подвига отшельнической жизни" (не большего, впрочем, чем подвиг повседневного крестьянского труда или рождения восемнадцати детей, как у моих бабушки и дедушки) – различаются ли трансцендентно как естественное и религиозное?

4. Достоевский и его речь о Пушкине и всемирной любви

Но, все же, пора прочитать вместе с К. Леонтьевым речь Достоевского.

28 апреля, вторник. Начинает К. Л. с того, что ничего нового на открытии памятника Пушкину не говорилось, все те же люди, созданные предшествующей эпохой, и все те же мысли, что и в его эпоху.

«Правду сказали в "Вестнике Европы", что и в том "смирении", которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных... Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекларированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском "смирении, терпении, любви" говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах. Славянофилы прозой излагали то же самое. О "всеобщем мире" и "гармонии" (опять-таки в смысле благоденствия, а не в смысле поэтической борьбы) заботились и заботятся, к несчастью, многие и у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевавший междоусобия и цареубийства; Гарibaldi, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему – Прудон, по-своему Кабе, по-своему – Фурье и Ж. Занд. В программе издания "Русской мысли" тоже обещают царство добра и правды на земле, будто бы обещанное самим Христом. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного всепримирительного стремления к многообразному – чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина.»

В этом отрывке для меня много важного, сказанного автором словно между прочим, настолько ему это казалось известным и само собою разумеющимся: и избитость основной мысли Достоевского о всеобщей любви и всеобщей гармонии, словно бы самих собою воцарившихся на земле, стоит только захотеть; и *несовпадение этой мысли о елейном объятии миллионов с христианством, если не противоположность ее*; и сомнительность и пошлость «русского "смирения, терпения, любви"»; и несовпадение с христианством «демонически пышного гения Пушкина.»

«Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, – тем более что эта не слишком новая мысль о "смирении" и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которое ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними сухими и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.» – ну, словно бы говорится сегодня о нашем полуверноподданном, полупатриотическом, полухристианском и полукommунистическом обществе.

«...речь г. Достоевского ...в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание космополитической любви, которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так непримиримо!»

«*Во-первых, я постичь не могу, за что можно любить современного европейца...*» – это К. Л. писал в девятнадцатом веке, когда Европа блистала и ее гений еще возрастал! А что бы сказал он сегодня, когда все хуже, гаже, неизмеримо пошлее, самодовольно, презрительно и ненавидяще Россию?!!

Далее К. Леонтьев говорит: «любовь может быть прежде всего двоякая: *нравственная*, или сострадательная, и эстетическая, или *художественная*. Нередко ... они действуют смешанно. В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства – совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые – вовсе не различены.»

И, самое важное, «возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно доброе чувство к людям без особых, определенных, в одно и то же время вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, – вот вопрос? Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, – вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполнинский рычаг христианской проповеди. *Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и его апостолы, а,*

напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...»

Рациональное отношение к бытию до того составляет сегодня сущность человека, что он не в состоянии понять, что именно добавляет к завтракам и обедам, поездкам на службу и встречам с друзьями Культура и Религия – поэтому сей отрывок из речи философа я комментировать не буду, бесполезно, человек двадцатого и двадцать первого столетия нас уже не поймет!

«Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение», и поэтому «пророчество всеобщего примирения людей о Христе не есть православное пророчество, а какое-то общегуманитарное. Церковь этого мира не обещает. [Говорит знаменитый христианский философ, выражавший господствующую христианскую точку зрения!]

Для того чтобы в наше время члену плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовется вообще "мистиком", – надо иной калибр ума, чем мы видим у подобных профессоров и фельетонистов. Но положим... положим, что либерал дошел премудростью человеческого до страха Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших нередко познается; русские либералы немощны, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились – живут в томлении кроткого прозелитизма, **писать вовсе перестали...** Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважительного и теплого снисхождения возбуждали бы тогда эти скромные люди!.. Но теперь их даже не следует любить; мириться с ними не должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб они опомнились и изменились, то есть самого высшего добра, идеального... А если их поразят несчастья, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться в надежде на их нравственное исцеление. ... Без страданий не будет ни веры, ни **на вере в Бога основанной любви к людям**; Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту личным идеалом; Он не обещал нигде торжества поголовного братства на земном шаре...»

5. Отступление. В чем сущность христианства?

Нет, так скоро, как я ожидал, нам не прочесть речь Достоевского. Христианство христианству рознь, как и любовь любви, и как ни надеялся я на примирение с ним – с каким именно: христианством Савонаролы и Торквемады или Пушкина и Достоевского (а последний, как суетует К. Леонтьев, даже Евангелия мало цитирует в своих романах, и церковную службу не описывает, и монашескую жизнь)? – но и с христианством К. Леонтьева мне примириться сложно, хотя с ним, как с философом и страстным человеком, я не только не во всём разделен, но во многом согласен.

Почему мне сложно принять тот или иной миф? Потому что власть мифа над обществом и душою отождествляет собою *тоталитарное сознание*, или, иначе говоря, *духовное рабство*.

Давно ли мы освободились от Маркса и Ленина? Прежде чем читать Пушкина, мы изучали Пушкина «в свете марксистской критики»; Козьму Прутковка читали глазами Ленина, изучая его труды по эстетике (трудов этих

не было, но мы их изучали), и Льва Толстого узнавали только «в зеркале безумной русской революции». Что же нам предлагает Константин Леонтьев? *Любовь как следствие страха Божия*, квантовую физику в преломлении вселенских соборов, «рабов, повинующихся своим господам» и писателей, которые бы *писать уже перестали*... Правда, это последнее меня чрезвычайно умилило, не забывайте, что я редактор, а девять из десяти писателей, которых я редактирую, испещряя страницы их книг (на полях) десятками примечаний, поправок, поучений и комментариев, ими пренебрегают, пропускают без внимания, даже не читая, и потом мне приходится почти столько же трудиться, убирая их, сколько я их писал.

И вот я в сердцах иногда и думаю, «*как бы они все были тогда привлекательны и милы, если бы писать вовсе перестали!*»

Хотя, все же, я их люблю и таких, каковы они теперь, не делающие усилий к исправлению, и захочу ли я, чтобы они бросили писать и стукались головою об пол вместо этого?

Что за христианство отстаивает К. Леонтьев? О, оно существенно отличается от того, которое сегодня пытается достучаться до сердец прихожан, и которое лелеют те, до чьих сердец оно достучалось. Сегодняшний верующий не захочет услышать «Рабы, повинуйтесь своим господам», а тем более отождествить себя с рабом и радостно повиноваться своему господину – и многое другое он не захочет услышать в проповедях и прочитать в Новом Завете (и разве он его читает?). А тогда христианин ли он?

Согласен ли он с нападками на свободу, с требованием принимать тот порядок вещей, который существовал еще до первого пришествия Христа и не пытаться его изменить, повиноваться власти, какой бы она ни была, и если она жестокая, то терпеть ее, ибо все дается «по грехам нашим», и то, что дается, надо кротко принимать? И готов ли он отменить цивилизацию и технический прогресс, усовершенствования железных дорог, медицины, связи, не говоря уже о полетах по небу?

Невольно начинаешь думать, что все христианство для К. Леонтьева сводится только к защите того порядка вещей, который угоден господам (тем, «кому на Руси жить хорошо»), – а угоден ли рабам? Одним хорошо и здесь, и хорошо будет там, потому что им легче, освобожденным от тягот ярма, жить по правилам, а рабам труднее, дети голодные плачут, жена ругается, выпьешь с горя, да невзначай и подерешься...

Итак, *рациональная* политическая проповедь, защищающая привилегии – вот чем оказывается христианство для К. Леонтьева. И так же и христианская нравственность, *основанная на страхе божьем*, а не на любви, оказывается рациональной, как и у Толстого, основанной на «любви к ближнему».

Дети в классе должны бояться учителя; прохожие на улице – жандарма; дети в семье должны слушаться родителей, боясь их; да и «жена да убоятся мужа»! Что же принесло христианство, в чем его благое значение? В *страхе божьем*? Да и он имеет ли благие плоды? Традиционная семья всегда была скреплена любовью и послушанием вместе, и у эллинов, и у римлян, и у славян; государство скреплено было уважением к порядку, и страхом в меньшей

степени; общество же никогда не было однородно и единосушно, но когда и было таким, как при недавних тиранах, то вырождалось. Христианский миф скрепляет воедино государство, общество и семью властью страха, обещая даже не светлое будущее, не рай на земле, не личный успех, а потустороннюю райскую жизнь для горстки праведных, для остальных же «плач и скрежет зубонный»... Так в чем же привлекательность Мифа?

Единственное разумное объяснение состоит в том, что миф существует двояко: так, как в действительности существует, со своим текстом, проповедью, апостолами, пророками, святыми, богословами, священством и церковью; и так, как в действительности НЕ существует, а преломлен в народном сознании, в личном представлении, в культуре и в отголосках мифа (ну, как в эхе преломлен подлинный звук).

Была проповедь Христа, распятие Его для искупления грехов, обещание второго пришествия и суда, проповедь Его учеников с призывом жить аки во гробе и ждать конца света – было ожидание апокалипсиса и Учение, заполняющее это ожидание. Но так как апокалипсис не наступил, то наступило взаимодействие церкви и личности: призыв измениться к лучшему, *покаяться, обрести прощение, получить утешение* (и это главное!). Вместо апокалипсического учения о конце света (которое иудеи отвергли, ибо они всё еще ждут чего-то лучшего, что обещано *только им*, избранным) явилась Троица *покаяния, прощения, утешения*. Есть ли место в этой Троице **Спасению**, центру всего христианства, трансцендентной идее его, связывающей онтологию, насущное бытие и эсхатологию? Нет. Подавляющее большинство верующих не озабочено *спасением*, не знает, что это такое, и не ищет его.

Спасение и апокалипсис, правда, не совсем тождественны, они должны бы дополнять друг друга, но у К. Леонтьева кроме апокалипсиса, страха божьего и защиты *повиновения* в христианстве ничего нет.

6. И снова о всемирной любви

Ссылаясь на слова Эд. Гартмана: "Если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом, когда бы то ни было осуществилась, то человечество достигло бы до степени нуля или полного равнодушия ко всем отраслям своей деятельности», К. Леонтьев замечает: «Я уверен, что Достоевский, говоря о "здании человеческого счастья", о "всечеловеческом братском единении", об "окончательном слове общей гармонии" и т. д., имел в виду нечто более горячее и привлекательное, чем та кроткая, душевная "нирвана", на которую здесь указывает Гартман. А горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное обуславливается непременно более или менее сильным и нестерпимым трагизмом жизни...»

«Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки с одной стороны, а с другой – неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот жизнь, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом гармония.»

Увы, все это верно, как и то, что равенство в обществе невозможно, ибо

остановится всякое движение, даже реки текут только потому, что одни участки земной поверхности ниже других.

Верно также и то, что мы когда-то умрем, что мы стареем, простужаемся, устаем, разочаровываемся, делаем ошибки, даже проигрываем сражения – но вытекает ли из этого, что и **не надо** пытаться искать верные решения, пить чай с медом, сражаться с болезнями, со старостью, искать верных и преданных, любящих, и надо очаровываться только теми, кто нас обманет, – чтобы не уменьшить трагизм жизни? Или даже надо быть жестокими, совершать преступления, обманывать и обижать?

Подобного рода рассуждения – типичный пример логической ошибки, оправдывающей нежелание изменять мир, жизнь, или хотя бы случайные обстоятельства жизни. Вот так рассуждает и апостол Павел: Впереди конец света и страшный суд, поэтому не лучше ли лечь во гроб заранее?

В известном смысле каждая частная жизнь напоминает усилия Сизифа: мы вкатываем камень в гору, не успели вкатить, а тут и смерть... Но ведь это только метафора! Действительная жизнь совершенно другая: мы любим, страдаем, испытываем блаженство, ищем и находим истину (но совсем не ту, которая говорит о тщете попыток изменения трагических обстоятельств жизни), спасаем терпящих кораблекрушение, совершаем революции, совершаем ошибки, но и исправляем их, совершаем подвиги, иногда нам удается спасти даже целую страну (хотя нас и сжигают за это на костре)... А самое главное – это то, что мы постоянно изменяем мир, сажаем цветы и деревья (хотя и они когда-то умирают, но это не уменьшает нашу радость), помогаем и другим жить и радоваться жизни, учим и лечим, пишем книги и даже их редактируем...

«Любить? Но кого же? На время не стоит труда... А вечно любить невозможно!» – восклицает Лермонтов. Но почему бы тогда не воскликнуть, что жить вечно нельзя, так стоит ли жить временно?

Благонамеренный человек стремится следовать долгу, чести, быть справедливым, помогать хотя бы тем, кого любит или кому сочувствует, защищает близких, Родину, пытается достигнуть совершенства в творчестве – быть может, он тем самым уменьшает зло и боль мира, то есть смягчает его бедствия, а, следовательно, способствует наступлению «кроткой нирваны», и лучше поступает разбойник, подстерегающий с кистенем в руке?

Скорее всего, не надо всерьез спорить с теми, кто защищает зло и несправедливость мира (связанные, в том числе, с социальным и личностным неравенством), ссылаясь на то, что и зло, и несправедливость, и неравенство необходимы. Они необходимы, они существуют, и *«надобно, чтобы приходило зло в мир, но горе тем, через кого оно приходит»*, говорит Христос.

Так правильный ли христианин Константин Леонтьев?

И все же... и все же... я пытаюсь понять, что такое **любовь**, а сбиваюсь на **веру**: хочу понять, возможно ли любить, как следует любить, и существует ли любовь, а после двух трех слов о любви вдруг вязываюсь в пространную дискуссию о христианстве... Нет, так нельзя, надо вернуться к любви и разобраться только с нею, остальное подождет.

7. И снова о всемирной любви

Итак, ввязался я в дискуссию о всемирной космополитической любви к человечеству, которой нет даже и в христианстве, нет и в иудаизме, и из-за которой справедливо ругается Константин Леонтьев, противопоставляя ей не паточного елейного Иисуса Христа, а того, который пришел судить небо и землю и ясно и недвусмысленно обещает скорый конец света, ибо *эта земля негодна и неисправима*.

Но и этот Константин Леонтьев – всего лишь христианский догматик, так как само начальное христианство трансформировалось, ибо конец света не наступил, жизнь продолжается, все время *спать в гробе* неудобно, поэтому христианство, обращенное к народу, обещает нечто иное: живите и старайтесь не сильно грешить, а если согрешите (ибо кто из нас без греха?), то *покайтесь и получите прощение; надейтесь и получите утешение; а там будет* (может быть) *и еще лучше*.

И бессмысленно спрашивать, кто прав. *Христос пришел спасти даже грешников* (к тому же, «кто из нас без греха?»), монашествующие же богословы пишут о том, что все мы, даже святые, *смердим* (неужто и *с такими* он садился за стол и преломлял хлеб?) – но и про то и про другое действительно написано в Евангелии, кому что любо, тот то и вычитывает.

И что христианство, а что ересь, пусть выясняют другие, ибо *с меня хватит* выяснений!!! – ибо я пришел ныне (после того как сострадание стало любовью) примириться с любовью.

Но все таки странно, что человек притягивается к мифу и не может жить без него – почему это так? Я объяснить не сумел, пусть попытается другой, более проницательный.

И в чем смысл мифа? Об этом не сможет полно и исчерпывающе сказать даже более проницательный.

Но и еще для меня не менее важно – почему разумных и проницательных не слушает человек толпы?

Почему любят тиранов, любят власть, «родную коммунистическую партию», почему вдруг снова полюбили Сталина, почему так любят и нынешнюю власть, при которой все ожидания и все упования прежних поколений оказались разрушены?

Нет, и этого я не знаю, и сомнительно, что когда-нибудь узнаю.

Поэтому хватит, больше я эти загадки не буду разгадывать: ни любовь к тиранам, ни растворение в мифе, ни в чем смысл христианского мифа.

Но прежде чем оставить в покое вечные вопросы и сосредоточиться на любви, суммирую кратко взгляды К. Леонтьева на отношение христианства к обществу и истории (наиболее точно отражающие евангельское учение).

Во-первых, на земле все плохо и никакими усилиями частных людей и обществ изменить это положение дел невозможно; мир обречен и наступит Конец света и Страшный суд, и только на *том свете* все будет так, как Господь и задумывал, то есть хорошо.

Во-вторых, так как изменить ничего нельзя, то и не надо пытаться, а надо с кротостью и покорностью принимать настоящее положение дел, не вмешиваясь в него, властям же надо подчиняться всяким, даже плохим.

[И поневоле возникает мысль о том, что такая проповедь как раз и полезна богатым и власть имущим: живи в свое удовольствие, делай что хочешь, когда «рабы повинуются господам своим», а «дети покорны родителям...»]

Хорошо это или плохо? Господам, конечно, хорошо (но и им хорошо ли? Не развращает ли и их вседозволенность и безнаказанность при полной возможности рабов?) – но хорошо ли рабам?]

И в третьих... здесь придется объясниться пространнее...

«прогресс, – говорит К. Леонтьев, – верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты... надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. Христианство же не верит безусловно ни в то, ни в другое, то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле».

Однако, хотя общество и условия жизни существенно изменить нельзя, то есть «всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже», но к лучшему может измениться сам человек. Поэтому, утешает Константин Леонтьев (в противоречие ли с христианством, которое ничего хорошего не обещает?), «старайтесь быть добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее».

Но тут же добавляет: «Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже полезные нам язвы. *Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его...*» – и затем поясняет, почему именно: «поззия земной жизни, и условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, *ввиду высших целей*, сопряжения вражды с любовью. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники».

И далее добавляет еще: «Теплота необходима для организма, но ни единственным материалом, ни единственной зиждущей силой для организма она быть не может. Нужны твердые, извне стесненные формы, по которым эта теплота может разливаться, не видоизменяя их слишком глубоко даже и временно, а только делая эти твердые формы полнее и приятнее.»

Константин Леонтьев был врачом и участвовал в той же Крымской компании, что и Лев Толстой, и он лечил больных и раненых, хотя и понимал (как знаем и все мы), что болезни и войны будут всегда и мы не в силах их устранить из нашей жизни. Но однако же мы лечим больных, хотя и не можем устранить болезни!

«Всем лучше никогда не будет!» – возможно, что и так. Но люди разделяются по тому, что одни пытаются поступать так, чтобы хотя бы некоторым (а, быть может, и многим, а, быть может, и большинству?) становилось лучше, а другие приносят в этот мир зло и несчастья, и сколько

бы ни было верно, что и зло и несчастья *необходимы* в мире, но горе тем, через кого они в мир приходят!!! Человек добродетельный необходимо должен нести в мир свет и добро, а сохранится ли необходимое высшим силам равновесие между добром и злом, это не наша забота, а высших сил, пусть уж они уравновешивают!!

Притом, общественная и экономическая жизнь меняется независимо от взглядов консервативных мыслителей, приходят к нам и Чингис-ханы и Гитлеры, оккупируя русскую землю и создавая *твердые формы*...

И правота тех, кто не участвует в общественной жизни или настаивает на неизменности общественных форм, никак не может быть доказана, хотя и необходимость реформ и революционных изменений жизни недоказуема тоже. Надо ли было отменять Крепостное право? В девятнадцатом веке я не жил, а при большевистском Крепостном праве, когда крестьянин не мог уехать из деревни, прошло мое детство, *И их иго я не считаю справедливым, и бремя их легким*... Ну а дворянская культура, и весь девятнадцатый век России и мне близки и дороги, и в симпатии К. Леонтьева к тому строю и быту я не вижу плохого. Глядя на сегодняшнюю деревню и сегодняшних крестьян, которые даже картошку уже посадить у себя на огороде не могут, как Вова, которого встречаю вечно с похмелья, и он просит у меня пятьдесят рублей на поправку... (всегда давал, а тут что-то разозлился и не дал... хотя сегодня жалею...) – так вот, если бы голосовали сегодня, освободить ли крестьян, я бы скорее всего воздержался.

Но все же, крутя вокруг да около («в поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам»), я приближаюсь к той знаменитой речи Достоевского, в которой он призвал *обнять миллионы*.

Правда, и сам Константин Леонтьев не сразу приближается к цели. Сначала он долго рассматривает православные мотивы в романах Достоевского и недоумевает, почему мотивы эти мало выразительны, что в «Преступлении и наказании» кроме чтения Евангелий нет более ничего, ни икон, ни службы в церкви, ни чтения «душеспасительных» книг; что в «Бесах» наконец упоминаются иконы, а в «Братьях Карамазовых» даже появляется монастырь и старец Зосима, но... «и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... Отшельник и строгий постник, Феропонт, мало до людей касающийся, почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо»... и далее философ еще много излагает в пользу этого «но», повторять не буду, читатель и сам увидит...

Кстати, мне стал он вдруг понятнее, не только как консерватор и мракобес, но и как христианин – он того же толка, что и протопоп Аввакум, с тем же мрачным христианством, которое претендовало заполнять человека вместо самой жизни. Потому-то К. Леонтьев и стремится в допетровскую Русь, там все ему близко, нет ни европейской учености, ни железных дорог...

Что же меня с ним сближает?

Быть может, кризис в моей душе, который начался, когда мне еще было двадцать лет, да так и не окончился, и вот меня несет от берега к берегу, да вдруг и стремнина влечет за собою.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

НОВЫЙ РАЗГОВОР СЕМИ СОБЕСЕДНИКОВ*1. Отвлекаясь на ненависть*

7 мая, четверг, 16-53. Напасти, напавшие на мое тело, не отстают от меня, все так же больно сидеть за компьютером, и всё остальное жалит меня то больше, то меньше, но почти не переставая.

Удивительную книгу я пишу: далеко уже расписался за середину, а о чем она, не знаю. Какова ее тема, цель, что именно я хочу объяснить себе и читателю? Слово бы я только комментирую взгляды Константина Леонтьева – но ведь я претендовал и на что-то еще?

8 мая, пятница, раннее утро. Только начал заниматься день, как пришли волхвы – на границе сна и яви. Они мне что-нибудь рассказывают, сегодня даже стихи навяли (вместо муз – музы боятся их суровости и назидательности и приходят отдельно от них). Я заснул, проснулся – ничего не вспомнил. Но волхвы продолжили со мной разговор, словно бы и не уходили. «Вот так и жизнь твоя и философия: ты носишь воду в решете, и другого не будет дано, только так. Но не кручинься чрезмерно, если будешь упорен, то в конце концов наносишь и решетом воду, вон сколько книг уже написал! А если бы она не выливалась по дороге, что бы было? Самое важное, самое необходимое в конце концов остается, даже если только и по капельке доносится – но зато какие это золотые капельки!

Я еще не совсем проснулся, но их хорошо слышал, и даже кое-что запомнил, в частности, и то, что стремление понять и объяснить мир как целостность и единство связано и с устройством человеческого общества по "вертикали власти" – в основе сущего Бог, но и на земле почти всем правит его наместник – монарх, и поэтому все происходит по божественной воле, либо направляется ею.

Но миф, повествующий о единоначалии, сам же это единство и разрушает. Любимое творение Бога – человек – сотворен как мужчина и женщина, и как бы ни пытались исправить эту двойственность, что дескать Ева сотворена из ребра Адамова, – но одним человеком они не являются. Да тут еще является Дьявол, да злополучное яблоко, происходит грехопадение, мир испорчен и надо его отринуть и ждать конца света, гибели мира и «жизни будущего века». Но пока конец света не наступил, надо *жить аки умереть* и к женщине не прикасаться (только если уж совсем не в состоянии...). Странная религия отрицания мира, но человек ее полюбил и за нее держится.

Вл. Соловьев пытается разрушенное единство исправить, создает теорию любви, в которой обе половинки человека в результате нее в конце концов воссоединятся (эволюционным путем, через миллионы лет). Впрочем, эта теория любви в корне христианству противоречит, в христианском мифе любовь бесполовая и, во-первых, к Богу, во-вторых, к *ближнему*, *половая* же любовь оказывается только греховной и незаконно-рожденной.

Но кто те, кто повествует о любви, принимает одну и отвергает другую?

Иисус Христос, Сын Божий, Он хотя и был для спасения человечества воплощен и рожден Марией-девой, но непорочно и безполо. И *без любви*.

У апостолов, пишущих о любви, своего опыта земной любви, возможно, не было. Их подруги, раскаявшиеся блудницы (которым они потом в двухтысячелетней истории единственным благоволили) имели обширный опыт любви, но довольно односторонний (или, скорее, слишком *многосторонний*), не как у Тристана и Изольды.

Итак, мир испорчен, и его надо *разрушить* (и хотя дело разрушения предоставлено Богу, но если в этом мире следует жить, не прикасаясь к женщине и не рождая детей, и *не заботясь* о завтрашнем дне, – то он и сам по себе рухнет, как рушится дом, в котором не живут, а еще пуще рушится дом, к которому относятся с ненавистью. Но разве только мизантроп восторгается проповедью скорой могилы на месте мира, пессимист, нелюдим – нет, зажигаются верой в нее и юные сердца?! Вот этого я понять не могу!)

Большевики, как христианская секта, думают так же, но, разрушив этот мир, они хотят построить мир новый, свободный от порчи.

Но не в нем ли прошли наше детство и юность? Не он ли, этот дом, наполнен столь прекрасными произведениями искусства и культуры, которые создавали возвышенные сердца и умы?

Так и деревня, в которой я родился, наследовала все язвы старого мира – но добро и красоту я научился любить именно в ней. Страсть к отрицанию и разрушению вдохновляется не только благородным негодованием к злу и несправедливости, но и слепой ненавистью к тому, в чем человек не находит личного и родного, это страсть чужеземца, эгоиста, завоевателя, не способного к любви и прощению. И во мне эта страсть клокотала не раз, и все же я пришел к тому, что надо найти с прошлым миром общее, родное, надо с ним примириться – не со всем, не во всем – но с лучшим в нём, а худшее – перестроить или исправить!

И я уже пытаюсь отвергнуть ненависть, ибо теперь иные стихии завладевают моим сердцем. Возвращаюсь к любви – какую же любовь принимаю я, и какую отвергаю?

В предыдущих главах мы уже согласились, что в литературе и философии существуют преимущественно три вида любви: любовь между мужчиной и женщиной (которую еще называют философы любовью *половой*), "любовь к Богу" и "любовь к ближнему". Любовь родовая (или семейная) к родителям и детям, к родным не представляет собою загадок, и редкий романист подвигнется написать роман о несчастной любви между родителями и детьми ("Домби и сын" Диккенса и «Семейные ценности» Елены Лобановой – одни из редких исключений). "Любовь же к Родине" хотя и связана с любовью *родовой*, даже в значительной степени проницается из нее, но, как видно из "Тараса Бульбы" Гоголя, с нею не совпадает...

9 мая, суббота, около полуночи. Ночью думал, что уже умираю... Нет чтобы встать и походить и что-то предпринять, но продолжал лежать и ожидать смерти...

В середине дня прошли с женой по Невскому вместе с громадными толпами детей и внуков ветеранов, шедших с портретами своих отцов и дедов...

Потом пришли к художнику М., выпили и закусили, от него через Благовещенский мост дошли до седьмой линии и вернулись домой в десять часов вечера.

Русский народ в двадцатом столетии претерпел невиданные бедствия, но он же сам их и вызвал... Уничтожив власть дворянства, буржуазии и монархии, он доказал свою неспособность к управлению страной, и выдвинув в начальники еще худших, чем сам, сознательно или бессознательно стал орудием возмездия.

И поэтому мне и жаль этот народ, и я понимаю, что жертвы Войны были отчасти наказанием народу за его вины.

Впрочем, я снова отвлекся от темы моих записок...

2. Семь собеседников

Константин Леонтьев сначала защищает Н. Я. Данилевского (которого я теперь считаю единственным самобытным русским философом, создавшим теорию расслоения человечества на семь культурно-исторических типов, каждый из которых обладает внутренним единством) от Вл. Соловьева, то есть защищает "Россию и Европу" славянофила Данилевского от Европы "европейца" Соловьева; затем пытается понять Россию глазами Тютчева; затем объясняет правильное православие слишком вольным или недостаточным христианам Толстому и Достоевскому – и при этом на всех них светит "солнце нашей поэзии", то есть Александр Сергеевич Пушкин, который словно бы в их внутренних распрях и не участвует, хотя, возможно, их порождает.

Вот они, семь явных и неявных участников страстной беседы, для меня важной тем, что я хочу понять, что лежит в основании нашего мира, да, скорее сказать, не мира – что мне до мира, когда горит мой собственный дом?! – а моей России?!

Я предчувствую, уже уверен, уже и не сомневаюсь, что нет ничего прочнее и основательнее любви – но что это за любовь, та ли, которая заставила Тараса Бульбу убить собственного сына, плоть от плоти и кровь от крови, во имя отечества, во имя *товарищества*, которое он ставит выше, чем любовь к сыну? Или это та любовь к Богу, которая заставила апостола Павла отказаться от своих соплеменников и от религии отцов, и от другого Бога, с которым он появился на свет и с которым вырос?

Или это та любовь (к гордой полячке), которая привела прекрасного и романтического юношу к предательству товарищей, родины, отца и брата, но о которой сказано еще в Ветхом Завете "Крепка как смерть любовь!?"

Или это любовь, заставлявшая отречься даже от Родины во имя высшей правды, и русских, и немцев, одних, отвергая большевиков, других, сопротивляясь нацизму?

По Константину Леонтьеву, разумеется, любовь изучать труднее всего, но нелегко ее изучать и по Достоевскому и по Толстому: пока разговаривают и действуют их герои, нам как будто все и понятно, но стоит им самим начать философствовать, и ясное становится совершенно неясным.

У Леонтьева в основании любви страх Божий – «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом» – этот же страх должен был бы лежать и в основании любви Анны Карениной к ее мужу, тогда бы не было Вронского, не было бы и романа о преступной любви...

...но вернемся же к речи Достоевского и к ее восприятию Константином Леонтьевым.

Сначала он анализирует, в какой степени представлена церковь и религия в романах Достоевского. «"Братья Карамазовы" уже гораздо ближе к делу. Видно, что автор сам шел хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался все больше и больше к Церкви. В романе "Братья Карамазовы" весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением; некоторые из действующих лиц высшего класса признают за ними особый духовный авторитет. ... Правда, и тут как-то *мало* говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна...»

А если бы совсем *ничего* не говорилось?

Но все же Леонтьев радуется, что «такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше пытается выйти на настоящий церковный путь; нельзя было не радоваться тому, что он видимо стремится замкнуть наконец в определенные и священные для нас формы лиризм своей пламенной, но своевольной и все-таки неясной морали. Еще шаг, еще два, и он мог бы подарить нас творением истинно великим в своей почительности. И вдруг эта речь! Опять эти "народы Европы"! Опять это "*последнее слово всеобщего примирения*"! Этот "всечеловек"!»

«Мы не знаем, что будет на той новой земле и на том новом небе, которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, по *уничтожении* этой земли со всеми человеческими делами ее; но на земле, теперь нам известной, и под небом, теперь нам знакомым, все хорошие наши чувства и поступки: любовь, милосердие, справедливость и т. д.— являются и должны являться всегда лишь тем коррективом жизни, тем паллиативным лечением язв, о которых я упоминал выше. Теплота необходима для организма, но ни единственным материалом, ни единственной жизнующей силой для организма она быть не может. Нужны твердые, извне стесненные формы, по которым эта теплота может разливаться, *не видоизменяя их слишком глубоко даже и временно* ... Так говорит реальный опыт веков, то есть почти наука, вековой эмпиризм, не нашедший себе еще математически рационального объяснения, но и без него трезвому уму весьма ясный. Так же точно говорит Церковь...»

Я в своих исканиях попадаю от одного художника (философа) к другому словно из огня да в полымя, я словно постоянно между молотом и наковальней: между наковальной старорусского допетровского консерватизма, незыблемости, неизменности – и молотом новых идей, стремящихся все прежнее снести до основания – то это вселенская любовь Достоевского и Вл. Соловьева, непременно растворяющая все русское в европейском или

даже вселенском, то это смерч большевистского обновления мира, камня на камне не желающий оставить от прежнего мира, «до основания его разрушить», да и даже вместе с основанием – но что в основании?

В основании культура, память, милосердие (любовь), Россия.

А тут еще и моя собственная свалившаяся на меня «другая» любовь, которая мне ясно и неопровержимо доказала, что все истины мира не стоят не только слезинки ребенка, но и её слезинки, той, которую я люблю какою-то бесконечною жалостью.

Нет, не могу я дышать тоталитарными истинами христианства и большевизма, запрещающими сомневаться и мыслить, истинами, среди которых «кто не с нами, тот против нас!», и «шаг в сторону, конвой стреляет без предупреждения!»

Глупенькая наивная романтическая девочка, она не понимает, что и ее застрелят, не рассуждая, те, кому она поклоняется, или сожгут на костре как ведьму, особенно если она не откажется от меня? А неужели она откажется от меня во имя отвлеченных бездушных античеловеческих истин? Ибо мне уже до конца понятно, что ни в той ни в другой истине настоящего живого страдающего человека нет, ни ее, ни меня, а есть какой-то уродливый человек будущего, или двуполо-безполый (по Вл. Соловьеву), либо только «слушающий музыку Революции» и никакой другой музыки не слышащий (по декадентам), либо совсем отказавшийся от всякой музыки кроме музыки расстрелов всех, кто не с ними, – по Ленину, Сталину, Троцкому и Маяковскому.

Но, однако же, что говорит Достоевский? Послушаем еще...

3. Земная гармония и христианство

«Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно найти и в песнях Беранже, и еще больше у Ж. Занд, и у многих других. И не только имя Божие, но даже и Христово имя упоминалось и на Западе по этому поводу не раз. Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство этою речью г. Достоевского, есть новшество по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей; но этот оттенок не имеет в себе ничего – ни особенно русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей европейской мысли XVIII и XIX веков.»

«Итак ... вы позволяете себе отрицать не только возможность повсеместного "воцарения правды", "мирной гармонии" и "благоденствия" на земле, но даже как будто противопоставляете все это христианству как вещи с ним несовместные, изображаете все это чуть-чуть не антитезами его... "Писатель, которого вы сами высоко цените и которого вы в начале предыдущего письма назвали не только даровитым и вполне русским, но и весьма полезным, шаг за шагом, слово за словом, явился у вас под конец того же письма человеком, почти вредным своими заблуждениями, чуть-чуть не еретиком!.." Но чего же вы хотите после этого? Чего же вы требуете от России нашей и от нас самих?

О воцарении "правды" и "благоденствия" на земле я не буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все люди, мне кажется, разделяются,

очень просто, на расположенных этому идеалу верить и на пожимающих только плечами при подобной мысли, противной одинаково и реальным законам природы, и всем главным и самым влиятельным из известных нам положительных религий. Для убеждения первых (то есть верующих в "благодеяние" и "правду") нужно говорить долго и подробно, а это невозможно ... вторые же (не расположенные этому верить) поймут меня и с полуслова.»

«Русские победителями вступают в Эрзерум. ... Природа Кавказа...; вид убитых и раненых; усталость походной жизни; возможность опасности, которую Пушкин так рыцарски любил; ... под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле. Вот это гармония, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и в жизни самой, и в искусстве. ... А если бразильский император сидит в Петербурге за столом в обществе русских ориенталистов, до того уже все восточное давно утративших, что их очень трудно отличить со стороны от любого европейского бюргера, – то это не столько гармония, сколько унисон, очень мирный, скучный, немного деревянный и очень бесплодный.»

*Увы, все это перекликается и с моими собственными чувствами о невозможности как-нибудь иначе устроиться на земле кроме как **трагически!***

А, значит, то злополучное яблоко, которое Ева сорвала с Древа познания добра и зла, с древа жизни, было необходимым началом земной жизни!!!

А значит, иначе и не должно было быть, и пол, грех, любовь, – и *грех, неотделимый от любви!* – вот та ось, вокруг которой вертится вся земная жизнь!!! И зачем же нужно было беспорочное зачатие Христа, зачем же нужно было его повеление не прикасаться к женщине, когда и по Леонтьеву, защищающему (посконное) христианство от великого девятнадцатого столетия, расширившего жизнь наконец-то до пределов, даже и до революции и антихристианства, выходит, что иначе жизнь не могла устроиться?!

То он защищает войну, страдания, боль и кровь, ибо без них невозможны героизм, жертва, милосердие! – то он призывает умильно усесться в уголке кельи, уткнуться в святоотеческие писания монахов-пустынников, одолеваемых соблазнами голых женских видений и победивших плоть и естество, и в этом одном найти цель и смысл двухтысячелетних исканий.

И далее: «Братство по возможности и гуманность действительно рекомендуют Священным Писанием Нового Завета для загробного спасения личной души; но в Священном Писании нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал... **гуманность новоевропейская и гуманность христианская являются несомненно антитезами...**»

И несомненно для всех, кто хоть что-то читал, что *религии*, от иудаизма до большевизма, *не являются проповедями гуманизма, человечности*, призывами «жить мирно» и любить друг друга (в смысле всеобщем), но противопоставляют человека и Бога и призывают жить не для человека, но для Бога, и в этом смысле *бесчеловечны*. Религиозные войны, избиения гугенотов, сожжения еретиков, ученых и ведьм – не исключения из благой евангель-

ской проповеди возлечь льву рядом с антилопой, но существо этой проповеди. И только в провозглашении борьбы как смысла земной жизни эта проповедь и состоит – только не борьбы с окружающим миром, государством и обществом, природой, в конце концов, а борьбы с природным в самой человеческой личности. Если не может в ней возобладать *сверхъестественное*, то должно тогда возобладать *нестественное*, если не мистицизм, то химера, кликушество, суеверие, святошество, обскурантизм и посконный догматизм.

Если не может человек возделывать эдемский сад в мире, то тогда должен он удалиться в пустыню. Если не способен к *возвышенной любви, вмещающей пол*, то пусть тогда культивирует какую-то иную противоестественную любовь, от «платонической» (в которой бы и не было греха, если бы это была любовь мужчины и женщины, стремящихся как-то обойтись в своей взаимности без чувственности, а не любовь мужчины-философа к юноше) до «всемирной любви к всечеловечеству» (над которой уже смеется Леонтьев) и до «любви к ближнему», которую и он прославляет, но образцы которой в его записках с Афона и в особенности в «Записках» Страхова производят впечатление не только душевной нирваны (над которой они смеются), но прямо таки патоки, в которую они с удовольствием погружаются.

4. Земная гармония и вселенская любовь как плод смирения

К. Леонтьев против растворения русского народа во всемирном или в европейском братстве (хотя его не ужасает нисколько растворение этого же народа в христианском братстве).

«Достоевский, подобно великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы и *радуется* тому, что нам, русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма. Именно бесследно! Ибо что мы принесем на этот (по-моему, скучный до отвращения) пир всемирного однообразного братства? Какой свой, ни на что чужое не похожий, след оставим мы в среде этих *смешанных людей грядущего?*..

"толпой"... если не всегда "угрюмою"... то "скоро позабытой"...

Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда...»

«Именно мыслей-то мы и не бросаем до сих пор векам! И, размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесследно во всем и во всех. Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?..»

Меня это тоже не только не радует, но и страшит. Но «какой свой, ни на что чужое не похожий след оставим мы», какую же «мысль плодovitую»?

Константин Леонтьев знает, он пишет: «Было нашей нации поручено одно великое сокровище – строгое и неуклонное *церковное православие*» – кстати, заимствованное у Византии в девятом веке и неизменно хранимое, как в 18-м веке заимствовали мы у Европы науки и культуру, но и развили и преумножили! Но и с этим *сокровищем* надо обращаться осторожно, так как

«чтобы быть православным, необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения; а иначе из самого Священного Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство и другие лжеучения, которых так много и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия (или вообще из Библии).»

К. Леонтьев цитирует одно из самых знаменитых мест в речи Достоевского о смирении: «*Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной "ниве"... Не вне тебя правда, а в тебе самом; ... Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, ... и поймешь наконец народ свой и святую правду его.*» – и недоумевает: «*В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь... Подражать его нравственным качествам? ...не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще личные, в тесном смысле, качества наших простолудинов были бы все уж так достойны подражания.*»

А я и большее скажу: мне представляется вся эта речь о смирении перед народом простым лицемерием «барина» перед «мужиком» или, в лучшем случае, просто набором пустых прекраснотушных слов.

5. Невозможность вселенской любви

Как мы видели, сначала и Константин Леонтьев говорил о «любви к ближнему» как о любви отвлеченной, христианской, и из-за того, что она противоестественна и невозможна, то и у него происходило сложное ее выведение, как почти невозможного следствия из теоремы, – из Страха:

«Да, прежде всего страх, потом "смирение"; или прежде всего смирение ума, презрительно относящегося не к себе только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным человеческим умам, беспрестанно ошибающимся. Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху пред именем Божиим, к послушанию учению Церкви, этого Бога нам поясняющей. А любовь – уже после.»

Но возражая Достоевскому и его проповеди отвлеченной вселенской любви (не более отвлеченной и не более противоестественной, чем «любовь к ближнему»), он противопоставляет этой любви всеобщей, ко всем и никому, любовь вполне постижимую, не к «ближнему» как к отвлеченной категории, некому общему наименованию неизвестных душ, а к вполне конкретным тем, кто встречается нам в частных обстоятельствах (ссылаясь на речь г. Победоносцева почти в то же время, что и речь Достоевского, но по другому поводу): «под рукой, – милосердие к живому, реальному человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать действительно как брату в этот час..»

Но и здесь прежде любви к конкретному человеку проповедуется любовь к Церкви, о которой так поэтически говорится, что её «прекрасный сосуд не разбит еще, не расплавлен догла на пожирающем огне европейского прогресса.» Слово бы и не было «Крестового похода детей», «Варфоломеевской ночи», сожжения на костре Жанны Д*Арк, уморения голодом в земляной

яме прекрасной, как Жанна, боярыни Морозовой, и сожжения протопопа Аввакума, перед тем сидевшего в земляной яме в Пуустозерске.

Но, положим, это в прошлом, пора и забыть... И разве я вспоминаю, когда вижу красивую девушку и влюбляюсь в нее – разве я вспоминаю про церковь? Да и при чем она здесь?

И разве я вспоминаю про церковь, когда деревенской Анечке, разутой и раздетой, приносил одежду и обувь? И когда Сереге давал пятьдесят рублей, чтобы он опохмелился? И когда плачет душа моя, если *любимая* плачет, потому что ее обижали, и она вспоминает свои обиды и не может утешиться?

Или, напротив, все имеет значение, и в те длинные зимние вечера, когда я, пятилетний ребенок, ждал свою мать из лесу с вязанкой дров, а мне казалось, что уже глубокая ночь, и слышал вой волков, и молился просто: «Боженька миленький, пожалуйста, защити!» и добавлял в конце, уже поверив, что Боженька мать и меня защитит, еще несколько слов «И всех добрых, и всех несчастных!» – то разве я в Бога не верил? – но в какого-то своего, домашнего и родного. [И как же я был умилен, когда вдруг услышал, когда моя миленькая, перепугавшись, вдруг так же сказала, как я в глубоком детстве, и так же добавила "И всех добрых, и всех несчастных"].

И все же в связи с речью Победоносцева, К. Леонтьев возвращается к «смирению перед народом» и находит, в чем перед ним надо смиряться.

«Когда мы в стихах Тютчева читаем о долготерпении русского народа и, задумавшись, внимательно спрашиваем себя: "В чем же именно выражается это долготерпение?" – то, разумеется, понимаем, что не в одном физическом труде, к которому народ привык... Значит, не в этом дело. **Долготерпение и смирение русского народа выразились и выражаются отчасти в охотном повиновении властям, иногда несправедливым и жестоким, как всякие земные власти, отчасти в преданности учению Церкви, ее установлениям и обрядам.** Поэтому смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как смирение перед Церковью».

Противопоставляя любовь к церкви и любовь к человечеству или даже только к Европе, Леонтьев пишет: «Любя Церковь, знаешь, чем, так сказать, "угодить" ей. Но как угодить человечеству...?..» И далее: «Любить же современную Европу, так жестоко преследующую даже у себя римскую Церковь, – Церковь все-таки, великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические оттенки, отдаляющие ее от нас, – это просто грех!»

Но так же противостоит любви к человечеству (или к отвлеченному ближнему) любовь к отдельному конкретному человеку, для каждого своему, данному в конкретных жизненных обстоятельствах.

13 мая, среда. Долготерпение и смирение народа, которыми умиляются и которые проповедуют Тютчев и Константин Леонтьев как религиозную народную черту, таковы, словно бы для дворян и крестьян существовали две разные религии. Как польский шляхтич был тождествен спеси и гордости, так русский дворянин руководился гордостью и честью. Вызывая на дуэль своих обидчиков, он не вспоминал ни заповеди Моисеевы, ни проповеди Иисуса Христа, и удачливые дуэлянты убивали своих противников без всякого смущения, не заботясь о загробной жизни. И также и начальству, и земному и

небесному, дворяне покоряются тоже не всегда спешили, даже и царю, что мы увидели 14 декабря 1825 года.

Сознавал ли консерватор Леонтьев, сокрушаясь об отмене крепостного права, что им движут классовые чувства, чувства рабовладельца (а он иногда и приводит сии слова «рабы, повинуйтесь господам своим», являющихся одной из заповедей Христа)?

Сие не значит, что я безусловный сторонник «свободы, равенства и братства», которые дискредитировали себя уже в Великую (и безобразную не менее) Французскую революцию, не говоря о большевистской в России.

Равенство уничтожает культуру, ни дворцы, ни балы, ни бриллианты в ушке невозможны при равенстве (а в маоистском Китае невозможны были даже те милые выпуклости на теле женщины, которые так восторгают мужчин).

Но разве религиозный миф не одинаково должен был быть обращен ко всякому человеку? Разве не одно и то же возлюбление церкви, подчинение начальству, страх божий как основание любви, и прочая и прочая должно бы быть и у помещика Троекурова и у почти однодворца Дубровского?

Но нет! Леонтьев, проповедуя главенство религии и церкви не только над культурой, но и над самою жизнь, словно бы не понимает, насколько он стесняет этим жизнь и быт у бедных сословий сравнительно с богатым. Этим и на работу не надо ходить, и начальству подчиняться, у него за счет земельной ренты обеспечено безбедное существование, а мне надо и огород возделывать, и картошку сажать и убирать, и погреб выкопать, и на литургию бы я другой раз и рад сходить, но выбираю между литургией и камерным концертом (хотя, может быть, на литургию я не иду, предпочитая свидание с миленькой?) Но и без этого крестьянин (то есть я) занят больше помещика!

И сложно мне и спорить с К. Леонтьевым, и с ним соглашаться: церковь у него так назойлива, как недавно «родная коммунистическая партия», которая была ведь тоже «ум, честь и совесть эпохи!», но *мировая гармония*, земное коммунистическое или буржуазное благоденствие мне подозрительны и неприятны так же, как недавнее строительство «светлого будущего». Меняются слова, но не меняется сущность: у Достоевского покорность властям, смирение и вера и труд «на родной "ниве"» автоматически должны были привести к мировой гармонии, при советской власти та же покорность властям, та же вера, только в иного, марксистского бога науки и окончательной истины, и неустанный труд для будущих счастливых поколений гарантировали "светлое будущее"... *жаль только, жить в эту пору прекрасную...*

Свободы и своеволия нет ни там, ни здесь!

Что же до любви к ближнему, то, как ни странно, оба мифа к ней призывают, но неясно только, кто это такой, *ближний...*

Леонтьев так комментирует слова Достоевского о гармонии:

«"Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее не достоин, зlobен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить". – Недоговорено тут малости: не упомянуто о самом существенном – о Церкви. Пересказано лишнее – о какой-то окончательной (?) гармонии.»

Итак, все ясно: надо любить церковь, почитать народ за то, что он любит церковь и слушается начальства, испытывать страх божий как корень любви к ближнему (и, по возможности, ближних в буквальном смысле, по обстоятельствам, иногда тоже любить или жалеть...).

О семейной жизни не говорится, и о любви к женщине тоже, скорее всего, они не имеют существенного значения для спасения.

Но не говорится и о том, что значит спасение души и в чем оно состоит и достаточно ли для спасения того, что сказано; не говорится и о том, что будет на том свете и какая там будет любовь и будет ли, – но об этом не говорит и церковь.

Если это резюме всех споров Константина Леонтьева с Достоевским и с Европою, то меня это резюме тоже как то не вдохновило.

Мне кажется, нет, я уверен, что мои размышления о "другой любви", о том, что значит любить женщину, возможна ли эта любовь без плоти – важнее и необходимее, чем споры о вселенской любви.

6. Россия и Европа

«"Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. ... О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! ... будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!"

Что-нибудь одно из двух – или я прав в том, что эта речь промах для такого защитника и читателя Церкви, каким желал быть Ф. М. Достоевский, или я сам непроницателен в этом случае до невероятной глупости. Пусть будет и так, если уж покойного Достоевского во всем надо непременно оправдывать. Я и на эту альтернативу соглашусь скорее, чем признать за этой космополитической, весьма обычной по духу в России выходкой какое-то особое значение!»

Начиная с защиты Н. Я. Данилевского от нападок Вл. Соловьева, не только европеиста, но и прямо космополита, резко выступающего против всякого подчеркивания национальной идеи (хотя быть христианином и значит

быть космополитом, ибо «отныне несть ни эллина ни иудея!»), как и будучи большевиком значит быть космополитом), Леонтьев защищает национальную идею от растворения ее в европеизме... удивительны судьбы православных приверженцев национальной идеи, как ныне коммунистических. Два учения, резко враждебных идее нации, резко интернациональных, нашли себе почву в России; но вот ныне просыпается национальный дух, и мечутся в потемках и христиане и марксисты, пытаясь с ним примирить отрицание народности.

Правда, по национальным домам разбежались в конце концов и христиане, сначала спора по догматическим вопросам, так же как в прошедшее столетие разбежались и интернационал-социалисты и коммунисты марксистского толка, споря так же сначала по догматическим вопросам.

Что ждет нас всех в будущем, сегодня предугадать труднее даже, чем в девятнадцатом столетии. Недавно мы пережили два страшных раскола Европы на два лагеря, а сегодня впервые почти вся Европа объединилась против России... но имеет ли это чрезвычайное значение, сказать трудно, так как, возможно, Европу ждут потрясения, связанные с "мирным" нашествием на нее народов Азии и Африки... а, возможно, и нас всех ждут потрясения, связанные с чрезвычайным падением доли европейских народов в общем объеме человечества. Арийская раса, претендовавшая недавно на мировую гегемонию, растворяется в океане остального человечества.

Недавно, кажется, Константин Леонтьев восклицал: «как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!" воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица...: "О, как мы ненавижим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!"» – и мне хотелось пожать его руку, потому что и мне был противен дух самодовольного европейского мещанства – но не придется ли ныне вернуться к пафосу Достоевского перед сознанием общей опасности, когда речь идет о самом существовании европейских народов в их исторической самобытности (а, значит, и о культурной, духовной и племенной), и не окажется ли что "народы Европы и не знают, как они нам дороги!"?

Защитили же мы Европу от нашествия немецкого нацизма?! Возможно, нам же придется ее защищать от нашествия новых гуннов.

Только вначале нам еще придется и себя защитить – возможно, прежде всего от самих себя.

Но мы опять уклонились от исследования любви. Результат предыдущих рассуждений состоит в том, что вселенская любовь – это химера, не потому что мы **не** поднялись до такой высокой любви, не способны подняться до нее, хотя она, якобы, как и Эверест, на самом деле существует, но потому, что ее нет в природе вещей и явлений, хотя Эверест существует.

Всякая любовь существует только потому, что существует *любовь к женщине*, то есть "половая любовь", и из нее происходят и любовь к Родине, к семье, к братьям и сестрам, а любовь к женщине не может существовать иначе, как половая любовь, связанная с особым эротическим влечением к ней, с желанием *физической близости*.

7. Что же в основании мира?

18 мая, понедельник, 14-14. Застрял на любви, о которой, казалось бы, не только другие уже сказали всё, что они о любви знают, но и я сам.

Но не зря и застрял, что-то, быть может, и новое мне удастся о ней сказать.

Константин Леонтьев, как кажется, уже доказал, что "вселенская любовь" если не абсурдна, то и в этом случае лучше бы ее не было; а я и уверен, что ее и не существует даже, это вздор, почерпнутый из прекраснодушных мечтаний и неправильно понятого христианства.

Как ни покажется странным, но любовь существует только единственная, то есть только "любовь половая", любовь между мужчиной и женщиной (а поэтому мне предстоит доказать еще, что и «любовь к ближнему» – химера и вздор, хотя Эверест и существует!) – а во-вторых, и всякие предпочтения и привязанности, влечения и страсти, так или иначе если и не вытекают из "любви половой", то имеют к ней некоторое отношение.

Из любви половой вытекает любовь родовая, то есть между родителями и детьми, любовь к родным, к своему роду, клану, племени; и *любовь к народу* – то есть и национализм и патриотизм. (Хотя народ и надо отличать от племени, в нем его составляющие объединены не только рождением, но и общей историей, памятью, культурой и языком.)

Но каждый человек, рожденный женщиной если и не по любви в полном значении этого слова, то хотя бы по *вождедению*, во всяком случае греховно, является следствием соединения, и таковыми являются и черты его личности, и его склонности, и вся его жизнь определяется рамками родовой любви, связывающей между собою членов рода-племени, к которому он принадлежит.

Следовательно, всякое предпочтение, которое связывает человека с тем, что он предпочитает, является продолжением его рождения, определяемого через взаимность полов, продолжением и его пола и *черт* его личности. И рукоделие, и охота, и страсть к питию, к собирательству книг – продолжение того соединения полов, которое привело к рождению! Да и вся жизнь народа – не что иное как половая жизнь, из вкращения Евою яблока произошедшая по изгнанию из Эдема.

Лучше ли было бы всем нам, если бы прародители остались безгрешными?

И хотя Вл. Соловьев достаточно показал, что успешнее рождаются дети у двух, соединившихся в единую плоть без всякой страсти кроме той, что называется *вождедением*, но все же именно любовь и является причиной рождения детей. Надо только признать, что в любви есть множество элементов: и *душевная склонность*, и нежность, и *сострадание*, и еще особого рода притяжение – *страсть*, не сводимая только к чувственному влечению, но есть кроме них (душевной склонности, *сострадания* и *страсти*) также и чистое чувственное влечение (которое, и не только оно, есть и в "*страсти*", ибо страсть – синтетическое чувство). Если расположить разные виды и формы и случаи любви, по соотношению в ней *чувственности*, в некий ряд, то такое влечение, в котором останется лишь чувственная жажда, будет граничным, и

можно считать его предельным видом любви, в которой любви как будто бы и нет (как натуральное число есть мера дискретного – счетного – множества, но тогда НОЛЬ является мерой такого счетного множества, в котором, по мере того как мы считаем и убираем из множества элемент за элементом, не остается ни одного элемента. Поскольку понятие множества постулируется, то есть является аксиомой сродни аксиоме о параллельных прямых, то необходимо присоединить к множеству всех множеств и ПУСТОЕ множество, а ноль – к множеству натуральных чисел). Так и иррациональное число является пределом *рационального ряда чисел*, но, в отличие от нуля, нет и необходимости и возможности причислить и его как предельный случай к числам рациональным, так как у нуля и других натуральных чисел есть общее происхождение – способ образования, МЕРА, а рациональное число – произвольное количество произвольных частей единицы или отношение двух натуральных чисел, чего нет у иррационального.

Подобно этому в характере человека Вейнингер отмечает присутствие мужского и женского начал, которые в нем варьируются от нуля до единицы (если только не считать монахов беспольными). Половая двойственность проявляется не только в том, что в мире людей существуют два пола (помимо физиологических и психологических отклонений от нормы), но и в том, что двойственность половой определенности присутствует и в каждом отдельном человеке.

Так же двойственна и "половая любовь". Она не является только душевной склонностью, или *симпатией* (в частности, дружбой), но она не является и только чувственным влечением, чувственной жаждой – *вождедением*, хотя в любви непременно содержится чувственное влечение, иногда в форме отрицания, вытеснения, преодоления. Любовь предстает в трех формах (хотя вначале я поименовал ее только как *страсть* для упрощения рассуждений): *страсть, нежность, сострадание*. Как в человеке есть и душа и тело (плоть), так и в любви есть и душевное влечение и плотское (хотя многие и полагают, что словом *любовь* человек только прикрывает свою похоть, а любви нет – ее существование не доказывается, хотя мы с нею встречаемся на каждом шагу. Но и существование Бога не доказуемо, хотя религиозный человек ощущает Его присутствие в мире. Не доказуемо существование Добра и Красоты, и Истины, и Лев Толстой утверждал, что их нет – хотя перед этим в своих романах доказал, что они есть. Спорить бессмысленно. Но таким людям необходимо сочувствовать. Они же сочувствуют нам, обуреваемым страстями. Только мы, даже разочаровываясь в любви и в добре, в истине и красоте, по-прежнему знаем, что они существуют, а они, вдруг узнавая, часто на склоне лет, что есть добро и любовь, которыми они были обделены, переживают крушение всей своей жизни. Вот за что их надо жалеть).

Итак, половая любовь существует (в крайности, в форме "чистой" *чувственной страсти*), и только она и существует как любовь, а другие формы любви либо происходят из половой, или определяются ею, как, например, *любовь к отечеству* – и постулат апостола Павла "отныне несть ни еллина ни иудея" провозглашен он для тех, кто, быв сначала и "еллином и

иудеем", сменил свою "половую ориентацию", став христианином, или, в новые времена, став "пролетарием, у которого нет отечества"; но как же тогда множество частных случаев, когда и евреи крестились в православие, но затем становились не только христианами, но и русскими, и русские принимали иудаизм (крестьяне Тамбовской губернии), уезжали в Палестину и становились евреями, не говоря уж о татарских князьях и немцах?

Дело в том, что народ не является родом, то есть не является только родом. Как в человеке и душа и тело (или и дух и плоть), так и в народе и племя, и язык, и культура, и вера, и история и память, или и Племя и Культура (если в культуре считать и язык, и веру, и историю). Плотское и идеальное составляют человека, плотское и идеальное составляют и любовь, плотское и идеальное составляют и народ.

Но не надо ли все, мною сказанное, доказывать, приводя ссылки на авторов, их книги, и происшествия исторической жизни?

Нет, читатель уже, наверное, заметил, что как и в художественной литературе, я ничего не доказываю. Там Настасья Филипповна не доказывает свою добродетель, но через свои слова и поступки, которые рассказываются автором, склоняет читателя к мысли, что если она и не совсем добродетельна, то и не совсем блядь. Моя книга также не философское и не математическое, тем более не научное сочинение, поэтому я хотя и спорю с другими авторами, но не доказываю с их помощью свои положения. Моя книга – Роман обо мне самом (как и другие книги), а я – герой этого романа.

Показывает справедливость или несправедливость того, о чем я сообщаю читателю, как и в художественном романе, и вся ткань его, и все то, что со мной происходит, и все мои слова в совокупности.

Во-первых, я болен, у меня болит спина и поясница, даже болит проклятая жесткая табуретка, на которой я сижу перед компьютером... болит, впрочем, и нежесткая, и даже мягкая... Сплю я плохо, не высыпаюсь, раздражен и немощен. Пытаюсь лечиться, но уже никаких денег не хватает, и мази, пилюли, иглоукальвание и даже растяжение на каком-то средневековом колесе (которое, кстати, не только ворочается и гудит, но вдруг само начинает мне что-то лопотать по-японски женским голосом, чего я не понимаю) – не помогают.

Пишу я о любви, читая, правда, и чужие книги, и ссылаюсь на них, но не для того, чтобы их выставлять в качестве доказательств. Доказательства содержатся во всем том, что составляет мой роман в целом, то есть мои чувства, рассуждения и происшествия.

Ну, вот, например, болезнь... Имеет ли она отношение к любви? Разумеется! Как и все остальное, что происходит с героем этой книги.

Придя на растяжение на этом чертовом колесе, встретил в коридоре я неврологиню, которая мне это растяжение прописала (а перед тем я подарил ей другую свою книгу), тут же подошла и другая, которая меня как раз и растягивала, и только мы стали разговаривать, как подошла еще одна и спросила, что у нас тут за собрание. «Любовный треугольник», – ответил я. «Да, – подтвердили мои лекарки, – мы думаем, делить ли нашего пациента или спасти его вместе, но тогда придется спасти не только его тело, но и душу.»

И только я написал о душе, позвонила моя подруга, и я ей сказал, что пишу как раз о любви, и решаю последний роковой вопрос: возможна ли любовь без плотских желаний. Что дружба не только возможна, но и несовместима с такими желаниями, это очевидно, что любовь совместима с дружбой, это можно объяснить, но существует ли идеальная бесчувственная любовь, чистая и непорочная? Если читатель решит, что такая любовь – это любовь "платоническая", то он глубоко ошибается, ибо "платонической" любви далеко до чистоты, и с христианской точки зрения это любовь "содомическая", более чем греховная, и любовью не является (как не является и болезнь здоровьем). Чистой любовью уместнее считать "случайную любовь" Рустема Юнусова, то есть чистую страсть, нежели чистый блуд.

Интересный анализ проводит Константин Леонтьев, сравнивая монашество и семейную жизнь в своих "письмах с Афона"; он говорит, что монашество – это своего рода предел семейной жизни, некий идеальный образец ее, который показывает идеал воздержания для семьи, ибо и семью можно считать отчасти монастырем – хотя супруги и живут в половой связи, но они ограничивают себя ею, что не менее сложно, чем полное монашеское ограничение от половых отношений.

[С такой точки зрения монашество можно было бы оправдать и считать необходимым. Но оно все же не является предельной формой семейной жизни, несмотря на то, что может показывать для нее пример, а является ее антитезой. Апостол Павел сказал, что истинно человеку не прикасаться к женщине, и отсюда и проистекает монашество во-вторых, как во-первых из первых монашеских общин, которые возникли в ожидании конца света еще в апостольские времена].

Итак, "платоническую" любовь нельзя считать формой половой любви, это не соединение полов, а их разобщение, и не только плохо от нее рождаются дети, но и никак, как не являются половой любовью и вакханалии на острове Лесбос, которые затевала Сафо, или партийные собрания в недавние времена, сколько бы ни клялись их участники в любви и к партии и к народу.

Точнее всего мы определим и поймем половую любовь, исходя из мифа, повествующего о ее происхождении. Упрощая исходное состояние природного бытия человечества в те времена, можно было бы сказать, что в Райском саду было два принципиально различных вида плодов, метафорически говоря, с семенем и без семени, Ева вкусила тот плод, который был с семенем, благодаря чему пробудилось или возникло знание о существовании и противоположности полов, стыд и телесная жажда. Как воскликнула одна болящая женщина: "Бесстыдница сожрала яблоко, и теперь все мы за это расплачиваемся тем, что в мир вошла боль!" Правда, благодаря этому в мир вошло многое, но в контексте нашего разговора важно отметить, что в мир вошла "половая любовь", душевное и телесное притяжение, *сочувствие* и *вожделение* (вот, видимо, так эти две составляющие половой любви правильнее всего и именовать!), в мир вошло *зачатие* и *рождение*, *род* и *народ* и история!

Человек разделен на дух и плоть. Возможно, он мог бы существовать

только как тело, как существует камень; возможно, он мог бы существовать только как душа, как существуют ангелы... но человек существует как синтез духа и плоти, поэтому он еще разделен на Адама и Еву, поэтому у Адама существует притяжение к Еве, и оно является синтезом *сочувствия* (или душевного влечения) и *вожделения* (или плотской жажды). Этот синтез я и называю любовью.

Предельным положением половой любви является любовь БЕЗ душевного влечения, то есть одно только *вожделение*, и этот предел я отношу к половой любви как ее крайность. От этого тоже рождаются дети, но этого одного корня недостаточно, чтобы из него выросло дерево культуры, то есть **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ** (то есть соединение сырого реального мира с культурой, одухотворяющей мир). Следовательно, мир, в котором мы живем, рождается ежеминутно и погибает, вырастая из *половой любви*. Следовательно, именно *половая любовь* лежит в основании мира, в котором мы живем и страдаем. И либо этот мир надо проклясть и отвергнуть, жить аки во гробе и ждать конца света, отказываясь от любви и творчества, либо его надо благословить и всемерно преображать, одухотворяя, то есть его надо **СПАСТИ** (по христианской терминологии).

И я, как мне было предсказано, пытался спасти свой народ, но у меня из этого ничего не вышло, народ меня хотя и не распял, но сначала заточил в тюрьму и в сумасшедший дом, потом заточил только в тюрьму, милостиво признав меня здравомыслящим, но преступным, а теперь просто меня обходит, не слушая и не читая, продолжая поклоняться власти и уничтожая природу, леса и реки России.

Но судьба ко мне милосердна, милосерден ко мне и Бог (я милость Его ко мне именно так понимаю), и мне поручено спасти хотя бы одного человека, несчастную женщину, красивую, умную и добрую, но запутавшуюся в уклонениях жизни (а кто из нас в них не запутывался?!)

Меньше ли спасение одного человека, чем спасение мира?

И если мне это удастся, жизнь моя будет оправдана, и я почувствую себя счастливым и исполнившим свое призвание (пусть и не во всей полноте).

И все, что со мной происходит ныне, отчасти чудесно. Я пишу книгу о взаимоотношениях Богословия, Философии и Литературы, и вдруг оказывается, что в центре ее должна быть *Любовь*.

Я читаю умных, чтобы понять, что такое мир, как и для чего он создан Богом, на чем он основан, и вдруг оказывается, что и в основании мира лежит Любовь. Но мнения умных для несомненной ясности бытия недостаточно, и мне дано испытать самому все то, о чем я пишу, и "алгебру гармонией поверить", то есть сухую алгебраическую философию подлинным личным духовно-душевно-телесным опытом, неотделимым от сострадания, чувства вины и греха. Вот почему я пытаюсь понять, что такое Любовь: чтобы понять, как должно чувствовать и поступать, чтобы спасти дитя (по существу, дитя) от мира и самого себя (возможно, и от меня тоже).

Кажется, уже почти все, что мне надо, я знаю. Но остался последний "камень преткновения" – возможна ли *любовь* между мужчиной и женщиной БЕЗ жажды ее плоти? Если один предел любви, "чистое" вожделение, то есть

любовь БЕЗ собственно любви (без душевного влечения) я назвал любовью, то не является ли любовью и другой предел, в котором нет чувственной составляющей любви, нет эротического, нет вожделения? И не надо ли, стремясь любить без греха, от этих плотских искушений избавляться, ибо только в них грех?

Но возможно ли от них избавиться, оставаясь мужчиной и человеком, во-первых, и надо ли от них избавляться, во-вторых? Что нужно себя в определенных обстоятельствах ограничивать, и даже испытывая жажду наслаждения, не переступать границу, разделяющую двух, когда они связаны долгом, это понятно многим, и с этим и я согласен – но надо ли пытаться засушить корень, из которого произрастают цветы жизни? Даже святые, удаляясь в пустыню, искушенные в борьбе с соблазнами плоти, не в состоянии от них избавиться, то и дело являются к ним обнаженные красотки, и манят, и простирают руки, – а я то совсем не святой! Они не могут избавиться от видений, стоит ли мне даже пытаться? И не только потому, что это мне не по силам, но и потому, что я не думаю, что мир надо ограничивать в искушениях – *но надо себя ограничивать в поступках!*

19 мая, вторник, 23-10. Вышел погулять перед сном. Сыро, полутемно, черемуха цветет и наполняет ароматом двор, я вдыхаю ее запах и пьянею... и вдруг девушка, шедшая по другой дорожке, свернула в мою сторону, подошла к черемуховому кусту и пыталась наломать букет. "Чего мужчина не сделает ради женщины?!" – воскликнул я, поспешив ей на помощь. Девушка оказалась не менее красивой, чем в виденьях монахов, и хотя она простерла руки ко мне, принимая несколько цветущих веток, но греха из этого не последовало, мы "устояли".

Нет, невозможна Любовь без соблазна, то, что не соблазняет, является лишь дружбой, и хотя любовь может произрасти и из дружбы, и из сочувствия, и из сострадания, и из жалости, но в ней непременно должно содержаться то, что, вероятно, и содержалось в том "плоде познания добра и зла", который сорвала и вкусила Ева. То вино жизни, которое опьяняет, и без которого жизнь пресна. Хотя я не говорю, что всегда надо вкусить от плода, и испить водицы, как Иванушка, из всякого источника, который нам повстречается.

8. Любовь к ближнему

Позвонил некто, сетовал, что я копаюсь в давно отжившей культуре, которая никому не нужна. Но культура, говорю я ему, не только возделывание (culture) почвы, но и сама почва, из которой произрастает действительность нашей жизни. Возможно, она во многом недостаточно хороша, даже плоха, но вот я на днях еду в деревню, чтобы вскопать огород и засадить его картошкой и овощами. На нем почва тоже местами неудовлетворительна – так что же, срыть теперь с него всю старую землю и возить откуда-то новую?

Полночь. Константин Леонтьев поучает: «Будьте свободолюбивы, если вам угодно, на почве политической (хотя и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться), но ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно

у Церкви». А я собираюсь исследовать основополагающее понятие христианства "любовь к ближнему" и подвергнуть его критике – но не почва ли это религиозная, на которой надо "учиться скромно у Церкви"?

Трудно написать что-то не избитое, если слушаться то одного, то другого, если клянуться то авторитету церкви, то авторитету власти, то общественному мнению, то охранителям, то нигилистам. Вот этот, позвонивший, типичный Базаров, но в своем отрицании культуры он уже и Базарова забыл, и Тургенева, не говоря про Лермонтова и Фета; а о последнем он выразился, что это все никчемная поэзия никчемных людей. Так ведь и из живописных полотен суп не сварить (он художник), возразил я ему.

В значительной степени причина моего отщепенчества в том, что я потомок русских людей, и хотя из крестьян, но по отцу я происхожу из ермаковских казаков, я генетически свободолобив. Кроме того, я учился в школе в "столице" красноярских лагерей, учителя мои были из ссыльных, из отсиденцев, из недострелянных дворян. Кроме того, я родился и жил в сердце Сибири, в которой жил не столь рабский народ, как в европейской России, в значительной степени пропущенный через большевистские и сталинские мясорубки. Кроме того, на кровавой войне, в которой мы потеряли на одного немца десять своих, был убит мой отец, а девять из десяти наших убитых убиты по вине нашей власти и нашей партии и наших командиров, мой отец – один из девяти. Тот народ, который рожден от чекистов, от командиров, от секретарей партийных ячеек, от агитаторов и горланов, от бездельников, призывающих работать, от следователей и конвоиров, численно превосходит мой народ, из детей, рожденных матерями от убитых отцов, женами эзков, женами ссыльных, раскулаченных, умерших от ран, голода и болезней.

Вот почему я живу в безнадежной стране, где даже тот русский народ, который под предводительством "комиссаров в пыльных шлемах" захватил власть в стране, превратил народ в рабов в степени неизмеримо большей, чем при дворянах, и истреблял его и мучил в степени неизмеримо большей (если все таки полагать, что и при дворянах кого-то истребляли, например, пятерых же дворян, вышедших с войсками на Сенатскую площадь, чтоб свергнуть царя) – даже и этот народ, ненавидящий дворянскую культуру, вымирает.

Но самая горькая правда состоит в том, что этот народ, называющий себя русским, происходящий от комиссаров, матросов, чекистов, насилующих гимназисток, пролетариев, раскулачивающих крестьян, но частично происходящий и из тех деревенских, которые работать не любили и не умели, и совсем в малой степени происходящий из работающих крестьян, казаков, дворян и других "недобитых" советской властью – этот народ уничтожил не только дворянскую культуру, но в более значительной степени ненавидел и уничтожал, почти до пустыни, культуру крестьянскую, деревянное зодчество, старинные песни и танцы, былины и сказки, загадки, пословицы, поговорки и присловья, вышивки и украшения.

Этот народ в городах уничтожил архитектурное наследие предыдущих веков, но деревню он уничтожил ВСЮ. Даже названия их исчезли из географических карт. Мое крестьянство уничтожено марксовым пролетариатом, который, конечно, потерял мало, *даже не потерял своих цепей.*

Уничтожена и природа, вырублены и проданы за границу кедровые и хвойные леса, уничтожена рыба вместе с реками и озерами, многие старинные города затоплены, окрестности городов и сел превращены в свалки. Христианство обещает Страшный суд. Этих ли Бог будет судить (а они уже переметнулись на сторону Бога, уже отбивают ему поклоны и ставят свечи) – или Он будет судить меня, *последнего непокорного в покоренной стране?!*

Но даже если бы эта «любовь к ближнему» существовала, была возможна, и необходимо было бы и таких ближних любить, о которых я написал, я бы от этой любви отказался.

Но вправду ли она существует? Вправду ли возможно и необходимо так любить, как это советуют христианские учителя? Вместо любви к женщине, вместо дружбы, вместо сострадания, сочувствия и жалости?

Об этом мы и продолжаем наш разговор.

Монашеское общежитие, которое К. Леонтьев сопоставляет с семьей как ее предел, в действительности не является ни примером для нее, ни границей. Семья основана на половой любви и рождении детей, даже если по некоторым причинам двое не заводят детей, то они не удаляют из своих отношений взаимное чувственное влечение. Можно предположить, впрочем, немало вариантов иного жития вдвоем вместе, мужчины и женщины, но если они не ложатся в одну постель для слияния в одну плоть, то их житие ни в каком случае не является той семьей, о которой мы говорим, сравнивая ее с монашеской кельей.

В монастыре отношения скреплены (если скреплены), по мнению многих, именно "любовью к ближнему", о такой любви пишет Н. Н. Страхов в своих "Воспоминаниях о поездке на Афон". Он приводит пример настоятеля, которого братия обожала, он же ко всем относился равно, и из подробного рассказа философа выясняется, что отношение это было не только равным, но и равнодушным.

В общежитиях пожил я и сам немало, хотя не в монашеских, – и во время учебы в школе, и во время учебы в университете. Бывали у нас и коммуны, когда мы, собираясь по несколько человек, покупали вместе продукты и готовили пищу на всех, объединялись мы и с девушками. Однажды, почти полгода, я приходил в комнату к пятикурсницам (когда сам учился на первом курсе), они ко мне относились почти как к своему ребенку, и мы тоже вместе ежедневно ужинали. Позже было и так, уже на третьем курсе, что я жил в комнате у девушек, за шкафом. Ужинали мы тоже вместе.

Что меня объединяло с ними, что нас и всех объединяло друг с другом?

Разумеется, мы испытывали чувство симпатии, то самое чувство, которое в различных градациях связывает людей, представляя собою множество чувств различной природы: общность интересов, сочувствие; дружбу, расположение, благожелательность, терпимость, уважение (и даже в той его крайней форме, которая заключена в известном пьяном выражении "Ты меня уважаешь?"), равнодушие, готовность придти на помощь... Вероятно, я поименовал все множество эмоциональных проявлений между людьми, которым приходится сталкиваться между собою.

Но читая Евангельские проповеди, описывающие отношения между людьми, начинаешь подозревать, что богоизбранный народ был ограничен в оттенках чувств, поэтому в них кроме «любви к ближним» не идет речь о сочувствии, сострадании, великодушии, милосердии... А как относиться к военнопленному, он *ближний* ли? К троцкистам, дворянам, бывшим бело-гвардейцам, к ментам, чиновникам, «новым русским», к тем, кто поддерживает нынешнюю власть и к тем, кто выступает против нее? Покажите мне того, кто мог бы руководиться в отношениях с окружающим миром этим странным делением его на ближних и дальних, не учитывая многообразия жизни!

В спорах со мною христиане обычно начинают пенять и мне и моему народу, что прекрасный завет христианский мы не умеем исполнить, что слишком мы любим себя, а ближних любим меньше, чем себя.

Мать любит своих детей больше себя – но это ее дети, отвечают мне. Так надо ли ей и чужих детей любить как своих? Права ли она, предпочитая своих чужим, хотя, при нужде, не отгаливая и этих, как и я сам по мере сил о некоторых из них заботился, привозил одежду, угощал чаем или обедом, когда они прибежали ко мне в гости, покупал книжки с сказками.

Но все же я не исполнял евангельский призыв *возлюбить ближних*, и читающий мои книги пусть сам решит, был ли я занят только собою, посылно ли заботился о других.

Существуют народные обычаи, и они справедливы: голодного накорми, не имеющего крыши над головой приюти – но надо ли голодного еще и полюбить, не достаточно ли для него милосердия?

Жизнь сложна. И эта сложность не вмещается в прямолинейные формулы евангельских поучений и даже в народные правила (традиции). Потому человеку и дана *совесть*, и именно она, а не Евангелия и даже не традиции, должна руководить поступками людей.

Спасая своих солдат, мой отец остался на Безымянной высоте, прикрывая их отход, и погиб.

Немец Гааз встреченному нищему, дрожащему от холода в своих лохмотьях, отдал шубу с плеча. Но немец был барин, и был достаточно обеспечен, по-видимому, он вскоре купил себе другую шубу.

Пока я пишу эту книгу, со мною и самим происходит многое, что меня ставит в тупик. Судьба меня столкнула с красивой женщиной, и чтобы ее спасти, я решил в нее влюбиться – но не как в "ближнюю", а как в женщину. Быть может, я ее таким образом и спасу (если не погублю сам себя). Но я не утверждаю, что всем надо так поступать. В конце концов, я не уверен, что и Христос, пожалевший блудницу, ее *возлюбил* как ближнюю, вместо того чтобы просто пожалеть в ней красивую молодую женщину.

Надо быть милосердным и сострадать в страданиях всем, с кем сталкивает судьба, и по мере сил помогать им – и я готов!

Вот это более ясный Завет, коренящийся в сердце народа.

Так какие же чувства связывают (а иногда и разъединяют) людей? – прежде всего Любовь между мужчиной и женщиной, то есть любовь незаконная, отвергаемая христианством, ибо законная любовь проистекает из страха Божия, как доказал Конст. Леонтьев; дружба, милосердие, сострадание.

Всё, что следует из любви "родовой", это прежде всего любовь родительская, любовь детей к своим родителям, любовь между родными. И, наконец, любовь к Родине, которой бы не было, если бы Ева не сорвала запретный плод.

Творчество, труд, увлечения и страсти, игра, собирательство книг и предметов искусства. Любовь к свободе. Любовь к Природе и ко многому, что с нею связано, например, к охоте, рыбалке, путешествиям...

Если и есть еще любовь к Богу, то она содержится в любви к женской красоте, в сострадании, в любви к Родине и культуре, в любви к свободе. Нет у меня и вселенской любви к человечеству, нет и неопределенной "любви к ближнему". Но ее нет и в природе мира.

9. Сочувствие

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.
Но нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.*

Ф. Тютчев

23-17. Был в гостях, говорили о России и русских, о жестокости народа. Я приводил в пример случаи из своей жизни, о поведении самых простых, не утонченных и не образованных людей, и все же склонялся к тому, что народ не так прост, каков он на поверхности жизни. Он и таков и не таков... И что бы мы о нем ни думали, что бы он сам ни вытворял, каким бы глупым и раблепным не был, он *превосходит сам себя*, и милосердие и сострадание в нем не только живы, но это в нем основные черты, ибо народные черты – это черты женские, именно они передаются от поколения в поколение, мужчины играют в судьбе народа второстепенную роль.

И житейские истории, и художественная литература показывают удивительную взаимосвязь в народном быте сострадания, и даже жалости, – и любви. Страсть преходяща, вожделение насыщается, но те семьи живут счастливы и прочно, в которых женщина сначала пожалела мужчину, затем полюбила. И наша несчастная война доказала это на миллионах примеров. Возвращались с войны калеки, без рук и без ног, а женщина плакала и умоляла: Ну хоть без руки и ноги, но лишь бы живой! И принимала, и жалела, и любила, и заботилась, и мужчина возвращал ей ее святую любовь сторицей.

Что же, следовательно, в начале, страсть или сочувствие?

Необычна и судьба этой книги. Я давно уже понял, что все то, что со мною происходит, не случайно, не само по себе и само для себя, но все это словно бы примеры к тому, о чем я пишу. И хорошо еще, что не пишу я о смертной казни, иначе дописывал бы свои последние страницы, лежа на эшафоте.

Я пишу о любви, и естественно, что я влюбился. Ибо любовь – это сочувствие двух друг к другу, и даже если это любовь с первого взгляда или с первого слова, то еще первее отзывается сердце на стук того сердца, которое оказывается рядом. *Любовь содержит в себе сочувствие, понимание, восхищение, страсть и нежность, то есть этическое, эстетическое, и даже логическое.* Потом уже бывает "*похоть очей, похоть воображения, похоть плоти*", как это называется в христианстве. Но и это еще не все, но позже...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ, НАРОДНОСТЬ и КУЛЬТУРА
как истоки и основное содержание
ИСТОРИИ



Знаменская площадь

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мужчина и Женщина. Род и Народ**1. Что в основании мира?**

22 мая, пятница, 15-35. Спал очень плохо, болела одно, потом другое, потом я подумал, что дальше так жить невозможно и лучше уже умереть. Но смерть ужасна с эстетической точки зрения, не говоря уж о том, что не хочется расстраивать родных и друзей. Умирать на их глазах невозможно, надо либо уйти в горы, как алеуты, либо в глухую тайгу, построить там нечто вроде последнего приюта, укрыть его от диких зверей и умереть.

В семь часов сон окончательно меня покинул, я пал духом, повозился немного и решил встать с ночного одра.

Хорошо, что я пишу о любви, и высшие силы не оставляют меня своей заботой, они присылают мне мысли, чувства и происшествия, связанные с любовью, жизнь протекает так, словно я читаю рассказ о ней в той книге, которую еще тшусь написать, и так как во многом она уже написана без меня, то мне остается ее только править, то есть *редактировать*; следовательно, получается так, словно я продолжаю свои «Записки редактора».

Хорошо, что я пишу о любви, а не об эшафоте, а то дописывал бы ее страсти, пока палач точит топор, а не по дороге на свидание...

Античные Мифы вбирают в себя жизнь в целом, а в Новом Завете нет ни детей, ни семьи, поэтому любовь в нем – безжизненная абстракция, в то время как глубоки и многообразны отношения, связывающие даже жителей маленькой деревушки. Вот я наливаю стопку водки Юре, который мечтает дожить до пенсии и считает годы, остался еще один. «Васёк! – кричит он мне, – разве я ради стопки к тебе заглянул? Нет, мне хотелось тебя поприветствовать!» Вот я угощаю ребятишек, забежавших ко мне на огород из соседнего села. Вот моя добрая молочница заставляет меня взять у нее в подарок банку с солеными огурцами, хотя она взяла из приюта на воспитание ребенка, у нее пьющий муж и взрослая дочь, и огород для них немалое подспорье. Кто я такой, пришлец из города, за что меня угощать?

Что это – обязательная *любовь к ближнему*? Нет, это наша *взаимная*, но своеобразная любовь, не по принуждению «казенной» *небесной морали*, а подобная запаху цветка, который пахнет лишь потому, что не может не пахнуть.

Иногда мне казалось, что это пристрастие к «любви к ближнему» сродни нашему прежнему идеологическому помешательству, когда все чувства и мнения разделялись на две группы: принципиальность и беспринципность. И поэтому обрадовался я, когда вдруг у Константина Леонтьева увидел, что он признаёт и оттенки чувств, и сами разнообразные чувства, а не только армейское их разделение на два лагеря.

«Есть любовь – милосердие и есть любовь – восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два вовсе несхожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов.»

Вот молодец! – подумал я. Но рано, как оказалось, я радовался.

Дальше он пишет:

«Любовь моральная, то есть искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т. д. может быть *религиозного происхождения* и происхождения естественного, то есть производимая (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может дойти и самая черствая душа *долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей.*»

Что тут скажешь? Что же такое *жизнь* и в каком отношении она к Богу? И что же такое *мир* и в каком отношении он к Богу? Разве Бог только на небе, и никак на земле? Разве и небо только на небе? А где же ходил Иисус Христос? И где подвизаются святые?

Если жизнь и мир не приглушили, а даже развили в добром человеке его чувство милосердия и любви, то, вероятно, и жизнь этого человека была достойной в целом, хотя, возможно, он и ошибался и грешил и падал. И поелику она была достойной, то дух святой присутствовал в этой жизни, как присутствует он в мире в целом, а не только в некоторых его частностях, и в труде, и в творчестве, и в любви.

Но по К. Леонтьеву только черствая душа *«усилиями аскетической борьбы»* способна дойти до *религиозной любви*. Вероятно, *религиозное* даже и не часть мира и не часть жизни, а присутствует вечером в молитве и на службе в церкви, или в келье монастыря, или в скиту в пустыне.

Теперь я окончательно понял, что и «любовь к ближнему» есть не что иное как *религиозная любовь*, а не мирская, и как христианская религия и Сам Христос не от мира сего, то и всё с нею связанное не от мира сего. Но тогда и христианство не может быть основанием мира, ибо оно основание *мира не сего*, то есть *НЕ мира*, и «любовь к ближнему», будучи *религиозной любовью*, существует не для мира, **не** в мире, а только у тех и для тех, кого пришел единственных и спасти Иисус Христос, то есть *грешников* и «черствых душ». (?)

2. Сострадание и родовая любовь

Хотя миф о грехопадении исходит из Ветхого Завета, но *только в христианстве Первородный грех и грядущее Искупление исчерпывают всю Онтологию и Эсхатологию Истории и человечества.*

Еврейский народ неотделим от иудаизма, в иудаизме и его священных текстах содержится его история, философия и судьба, но и его протекающая в грехах и соблазнах жизнь представляют собою не меньшую ценность, чем жизнь грядущая. Бытие еврейского мира не противостоит Инобытию или сверхбытию, но составляют вместе единство.

Но христианские народы отреклись от своего языческого прошлого, и смысл жизни почерпают в инобытийном. Вот и «любовь к ближнему», и Первородный грех, и Искупление, и Спасение Души – ничто из этого не укоренено в мире, но всё *не от мира сего.*

На чем же стоит мир? Мир стоит, как ни странно, на том Плоде познания (добра и зла), который вкусила любопытная Ева, на ее Страсти и из нее произошедшего стыда и из них произошедших целомудрия и добродетели, и из всех них произошедшей любви между мужчиной и женщиной, а затем и семьи и Рода, то есть родовой любви, затем и Культуры и Народа.

Итак, основанием *жизни* является любовь, но эта любовь двойственна, двулична, она *открывается* как любовь часто через страдание, сопряжена со страданием, и через них проникает в наш мир Откровение *иного* мира – но это иное откровение, нежели христианское откровение о грехе, искуплении и конце света, оно благословляет жизнь, а не отрицает ее.

3. Неполнота истории и культуры

Но я не беру на себя миссию учить и спасать народ, сумею ли я сначала любовью "греховной" любовью спасти только одну печальную девушку?

И я не говорю, что счастье – единственная цель человека. Я пытаюсь сделать счастливым не себя самого, но тех, кого я люблю. И также пытаюсь спасти не свою душу, но тех, кого я люблю. В этом различие мое с христианами, сосредоточившимися на спасении собственных душ.

Извне европейским народам, как и христианство, явился и марксизм, и он совпадает с христианством в отрицании того мира, в котором мы живем, его прошедшей истории и культуры. Как и христианство, он провозгласил уничтожение и разрушение мира, теперь уже христианского, своею целью.

Но еще раньше буржуазность водворилась в европейскую жизнь через разрушение христианского мира, уже совсем сокрушительно в Великую французскую революцию. И теперь европейские народы живут под знаменем «свободы, равенства и братства», сводящихся к погоне за личным успехом. Правда, в некоторых отношениях жизнь у них складывается благополучнее, чем у нас, в России, личной свободы и независимости от государства у них больше, чем у нас, но их благополучие и высокомерная уверенность в собственной непогрешимости напоминают мне наше недавнее советское прошлое, такое же самоуверенное и кичливое, а их погоня за сытым успехом гораздо хуже той одержимости осчастливить весь мир, которая возвышала по крайней мере мечты нашей молодежи о будущем.

Да, мы живем в ужасной, почти полицейской стране, в которой успех возможен только для obsługi богатых и сытых – но все же эту страну и этот наивный и легковверный до глупости народ я не променяю на твердокаменных и тупоумных французов и немцев, а особенно англичан. У меня, разумеется, нет ни автомобиля, ни достаточного дохода, чтобы пригласить подружку в плохонькое кафе, книги мои не читают, одежда у меня с чужого плеча – но я переписываюсь с талантливыми, красивыми и умными женщинами, они меня приглашают и в кафе, иногда и в театр, они мною восхищаются, а некоторые даже позволяют себя целовать.

Счастливее ли я был бы в самодовольной Европе, свобода которой достигла ворот Содомы и Гоморры?

Но еще важнее, что только в моей стране, среди этого иногда глупого,

чаще несчастного народа я нахожу отзыв в самых чистых, самых горячих сердцах, и от меня зависит, смогу ли я им помочь, смогу ли я их **спасти**, способен ли я их **любить** так же возвышенно, как они любят меня?

Вот почему я медлю порвать и с христианством, и с марксизмом, ибо мои подруги, те, которыми я так дорожу, которыми я так восхищаюсь, которых я так люблю, находят в них утешение.

Христианство обещает *преображение* будущего человека, только *будущего*, ничего не обещая в настоящем, как ни стараются подвижники при помощи невероятных *«усилий аскетической борьбы»* подняться на небо; марксизм обещает в *будущем* построить новый счастливый мир; современное буржуазное общество обещает счастливую и свободную жизнь в настоящем. Но, как ни странно, только христианство, не обещая человеку счастья, дает ему утешение, и не случайно над воротами храма написано «придите ко мне все труждающиеся и непокойные, и я упокою вас». И так же только социализм, принеся человеку невероятные тяготы, зажигая многие сердца надеждой на лучшее будущее. Счастливое буржуазное настоящее НЕ утешает человека в его горестях.

Многие философы и историки советуют учиться у Истории и Культуры, ибо разве их тысячелетний прогресс не содержит в себе ответов на вопросы и заботы человечества? Но глядя на кровавые революции и бесконечные войны, раздирающие Европу, трудно поверить, что у Истории можно чему либо научиться. Новую надежду принес девятнадцатый век, на сцену вышел научный Прогресс, вслед за ним удивительный прогресс промышленности, со скоростью пара на моря вышли корабли-пароходы, по железным дорогам побежали паровозы, вслед за ними автомобили и аэропланы, – но заботы и тяготы труда не отступали, и от научного прогресса человек обратился к прогрессу социальному, надежды были возложены на *социализм*, о котором Леонтьев в 1890-м году писал:

«Социализм (то есть глубокий и *отчасти насильственный* экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (то есть представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя.» – читатель, живший в двадцатом столетии, это хорошо знает.

Не потому ли человек и хватается за иллюзорное утешение мифа, что в естественном мире, несмотря даже на науку, он уже разочаровался, и надежду связывает только с миром чудесного? Если не *здесь*, то хотя бы *там*? Если не в *настоящем*, то хотя бы в *будущем*? Если не *при жизни*, то хотя бы *после смерти*? Да, вот в этом последнем пункте наука уступает мифу, смерть их обоих не только разделяет, но даже противопоставляет. Несмотря на все свои сверхъестественные достижения, наука обещает человеку помощь только при его жизни, а миф обещает ему вечное блаженство (если, впрочем, иногда не вечную муку) и после смерти.

Однако, несмотря на то, что наука не может дать человеку вечность, но он сам ее способен получить иначе: через ненавидимую христианством любовь.

Любовь между мужчиной и женщиной уже создает иллюзию бесконечности (если не саму бесконечность), и влюбленные забывают о том, что они временны; или им кажется, что времени после любви не существует; или им кажется, что оно НЕ существенно. Но при этом любовь не замкнута в самой себе, она продолжается в семье, в роде и в народе, а *семья и народ создают образ не кончающейся истории.*

Сами по себе всеобщая история и культура не полны без отдельных народов, и даже европейская культура, казалось бы, единая, стремилась разделиться на национальные культуры, так чтобы каждый из представляющих ее народов был бы не только исторической личностью, но явлением большим, чем личность, *творцом форм истории,* то есть **культурно-историческим типом**, по представлению Н. Я. Данилевского.

И не так ли и человек существует двояко: он должен продолжиться в вечность через семью, род и народ, но еще иным суждено стать творцами культуры. Смутное желание быть личностью-творцом есть не у каждого ли крестьянина, украшающего дом, деревню, передающего из поколения в поколение сказки, предания и легенды своего народа, поющего и созидающего его песни? И потому есть две культуры, письменная дворянская и устная крестьянская.

Начиная свою книгу с чтения К. Леонтьева, защищающего от Вл. Соловьева идеи гениального русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского, я к ним же и возвращаюсь, потому что удивительным образом в центре споров оказалась Любовь, одновременно и скрепа и основание Личности, Народа и Культуры. И, возможно, история остается еще неполна, даже вместе с творческой энергией человека и народа – но *БЕЗ* них, предоставленная всецело воле Бога, станет ли она полнее? Нет, без них должны будут закончиться старое небо и старая земля – но только кто из проповедников уничтожения старого мира видит хотя бы смутно *новый мир* и дерзнет нас уверить, не видя его, что он лучше?

4. *Счастье вопреки неотменимой трагичности мира*

25 мая, понедельник, 21-00. Я в деревне с женою, мы счастливы: сияет солнце, цветут черемуха, яблони, терн, расцвели *жарки.*

Пишу книгу о любви, поэтому высшие силы заставляют меня влюбиться, чтобы книга моя опиралась на действительность (как ее воспринимает душа), потому что любовь понимается из собственного опыта более, чем из чужого, – но можем ли мы с уверенностью сказать даже в конце жизни, что такое жизнь, и что такое любовь?

Поэтому-то мы и прибегаем к помощи культуры, и если недостаточно драм и романов о любви, то читаем Платона, апостола Павла, Константина Леонтьева и Владимира Соловьева...

Но они не удовлетворили мою жажду познания, и пришлось мне взяться за Шопенгауэра, посвятившего «Метафизике любви» несколько глав в своем главном философском произведении «Мир как воля и представление».

Начинает знаменитый философ с того, что высказывает свое мнение о других не менее знаменитых философах, писавших о любви.

«Больше всего занимался этим вопросом Платон, особенно в "Пире" и в "Федре"; но то, что он говорит по этому поводу, не выходит из области мифов, легенд и шуток, да и касается главным образом тогдашнего греческого [содомии]. То немногое, что есть на нашу тему у Руссо, в его "Рассуждениях о неравенстве", неверно и неудовлетворительно. Сказанное Кантом ... очень поверхностно и слабо в фактическом отношении, а потому отчасти и неверно. Наконец, толкование этого сюжета у Платнера, в его "Антропологии", всякий найдёт плоским и мелким. Определение же Спинозы стоит здесь привести ради его чрезвычайной наивности и забавности [нет, не стоит]. Таким образом, у меня нет предшественников, на которых я мог бы опереться или которых должен был бы опровергать: вопрос о любви возник предо мною естественно ... и сам собою вошёл в систему моего мировоззрения.»

И что же такое любовь?

«всякая влюбленность, какой бы эфирный вид она себе ни придавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте; да, в сущности, она и есть не что иное, как точно определённый, специализированный, в строжайшем смысле слова индивидуализированный половой инстинкт.

..... конечная цель всех любовных тревожений, разыгрываются ли они на комической сцене или на котурнах трагедии, поистине важнее, чем все другие цели человеческой жизни, и поэтому она вполне достойна той глубокой серьёзности, с какою всякий стремится к её достижению. Именно: то, к чему ведут любовные дела, это ни более, ни менее, как *создание следующего поколения.*»

Владимир Соловьев возражает Шопенгауэру и доказывает, что без любви, то есть на основании только одного *полового инстинкта*, дело воспроизведения человеческого рода совершается успешнее, чем с любовью (а то, что в девятнадцатом столетии вообще было принято выдавать замуж своих дочерей, не спрашивая их согласия, но семьи были гораздо многодетнее, чем ныне, доказывает, что природа не нуждается, кажется, в любви для своего продолжения); а кроме того, любовь чаще всего приводит к страданию, а не к счастью...

И все же только благодаря любви человек бывает и *счастлив*, вопреки неотменимой трагичности человеческой жизни, следовательно, источник его счастья не в той любви, которую исследуют философы.

5. Половой инстинкт и родовая любовь. Личность и народ

Блаженство любви (если это не любовь к самому себе, к собственным удовольствиям и наслаждениям) неотменимо, даже когда любовь трагическая (ибо и все великое дается нам через боль, по словам Вагнера).

И если я ныне не только счастлив, но и несчастлив, то несчастья мои связаны не с женщиной, а со страной и народом. В России все "не так как у людей", и камни падают вверх, а вниз склоняются души. Но доказать в нашей стране никому ничего нельзя, ибо это страна мудрецов и святых, живущих среди дураков.

Но оставим дураков в покое, пусть они поклоняются своим злодеям, —

нельзя ли попытаться мудрецам и святым, не споря больше с глупцами, освободить страну от духовного и физического ига, так чтобы камни, наконец, начали падать вниз, а души возноситься ввысь?

А пока только в России полководец может потерять подо Ржевом несколько армий, но Россия выигрывает эту войну, которая становится и ее поражением. "Бабы наконец-то устали рожать" и народ вырождается, святых и мудрецов слишком многих истребили на войнах с русским народом, а те, которые "всем довольны", живут для себя.

Еще удивительнее, впрочем, другое – полководец бездарно истребил несколько армий, но именно ему поставили памятник на Красной площади!

Впрочем, я счастлив вопреки нашим бессмысленным поражениям, и источником моего счастья является любовь, – та любовь, которую философы пока не сумели объяснить достаточно верно, хотя именно через нее может возродиться Россия. Однако вернемся к философам.

Шопенгауэр пишет, что «то, к чему ведут любовные дела, это ни более, ни менее, как *создание следующего поколения.*»

Но это ли является целью любви? Разве одного инстинкта недостаточно? Как показывает Владимир Соловьев, любовь даже препятствует размножению, в девятнадцатом столетии, пока женщину выдавали замуж вопреки ее воле, она рожала исправнее и безотказней, те же, кто успел и тогда еще "эмансипироваться" и жил по любви, уже и тогда не рожали, а доказывали теоремы, писали романы и боролись с отсталыми взглядами на свободу женщины. Наша эпоха – это эпоха безоглядно свободной любви, одна моя юная подруга уже успела выйти замуж семь раз, но не родила ни одного. При этом замуж выходят все по любви, ложатся в постель тоже только по любви, но целью ее почему-то никто не ставит зачатие, но все только *обладание и наслаждение*, как ни надеялся Шопенгауэр доказать, что целью любви являются дети.

Так не является ли только половой инстинкт, как и у всего живого, причиной и средством воспроизведения рода и народа, и любовь ни при чем, и у нее свои причины, поводы и цели, не связанные с возникновением и расширением народов, но лишь с обладанием и стремлением к власти и наслаждению?

Но разве не всякая женщина доставляет наслаждение? Тогда почему только эта? Почему влюбленный готов отказаться и от наслаждения и от обладания, и даже от самой жизни, если любовь НЕ взаимна? Что именно преследуется в любви, из-за чего она возникает, что составляет ее содержание?

О, как мучительно, как неотвязно,

Тебя люблю!

Уж не последнего ли соблазна

Я в кубок смертный себе налью?

Скажи, и стану послушной тени,

Верней сережек в твоих ушах!

Любовью правит все тот же гений

Что в самых лучших о ней стихах!

Скажи – не буду вчера и завтра,

Ни слова, строчки, страниц письма.
Но разве это не вышний автор
Нас свел сегодня вдвоем с ума?
Скажи, и кротко как снег растаю,
Дитя всех истин, во всем солгу.
«Вскормлю руками признаний стаю»,
Скажи – и рукопись не долистаю,
Не допишу, зачеркну, сожгу!
Забуду жизнь! Откажусь от рая!
На что еще тебя обменять?
О как мы близко стоим у края
О, как мне трудно тебя обнять!
Нет, не одно тяготенье плоти –
Сиянье звездное твоих очей!
В томленье, в творчестве, в труде и в поте
Преображенье святых ночей!
И лишь теперь я увидел ясно
Печаль доверчивого лица,
И как мучительна, как прекрасна
Истома жертвенного венца!

Затруднения, связанные с пониманием и объяснением человека, того же рода, что и затруднения в объяснении любви. В человеке есть и душа и тело, то есть матерьяльная и идеальная части, и так же в любви есть и половой инстинкт и нечто неопределимое, что и сбивает с толку философов, заставляя их отождествлять любовь с половым инстинктом или искать для любви объяснений, никак не связанных с стремлением к воспроизведению рода.

Но дело в том, что "пол и характер", определяющие, по Вейнингеру, любовь и поведение человека, дихотомичны, то есть двойственны, двулики, нет одного пола, нет одного характера, нет одной любви, более того, нет одного полового инстинкта, но у каждого пола все свое. Воспроизведение рода – это только инстинкт женщины, или ее воля к жизни, так что *любовь движет мужчиной, женщиной движет половой инстинкт*.

(Необычные заключения можно найти и у гениального юноши Вейнингера, разочаровавшегося в женщинах до того, что в каждой из них он искал и находил шлюху и проститутку, после чего в отчаянии застрелился.)

Половой инстинкт того рода, о котором пишет Шопенгауэр, движет женщиной, и он состоит в жажде и необходимости воспроизведения рода. Именно поэтому женщина ищет и находит того, кто будет ее мужем и отцом ее детей, обольщает его, заставляет на себе жениться (каждый найдет в своей памяти немало сему явных примеров), и художественная литература показывает в ярких картинах, как вокруг женщины роится рой поклонников, одного из которых она уже наметила себе в суженые, и *обольщает*, пока он не сдастся и не принимает окончательное решение принадлежать только ей (то есть, якобы, ее *победить* и вступить триумфатором в побежденный город, то есть возлечь с нею на ложе любви).

Половой инстинкт движет только женщиной, мужчиной же движет жажда обладания, нечто совсем иное; но природа его наделила этой жаждой, чтобы он не сбежал на хоккей или в кабак, но исправно соучаствовал в осуществлении женщиной ее миссии зачатия, а затем (несмотря на все его порывы сбежать на хоккей и в кабак, на рыбалку, охоту, революцию и войну – а влечения к сим предметам сродни его влечению к женщине – участвовать в воспитании ребенка, к которому чувство у него появляется даже позже его рождения, да и то не то же ли самое чувство, что и страсть к писанию книг, к войнам и революциям и походам с друзьями в баню?)

А женщина и рождается с любовью к ребенку, с страстью, привязывающей ее к нему, она играет в куклы и дочки-матери еще в колыбели (мужчина же в колыбели хватается за пистолет и кричит «тра-та-та!, ломает и разбирает все, что попадает ему в руки – и странно, что потом его все же начинает привлекать созидание... Но эту страсть я исследовать и объяснять не буду, хватит с меня любви).

Итак, если и можно сказать, что мужчиной движет половой инстинкт, то во всяком случае он у него вторичен, а движет им страсть к обладанию и наслаждению. Эта же страсть и созидает в нем Любовь, смешиваясь с идеальными влечениями к красоте и сочувствию, так что *любовь – это стремление к обладанию и наслаждению вместе с страстью и восхищением красотой и вместе с жаждой сочувствия и сострадания.*

Но ничто не бывает тождественно своему понятию, даже формулы физики, как нас учили в школе, относятся только к идеальным явлениям, камень падает, равномерно ускоряясь, только в пустоте, а не в воздухе, и души возносятся ввысь «через тернии к звездам».

Поэтому художественная литература описывает только то, что отклоняется от ровного течения жизни, предписанного половым инстинктом или жадной обладания, в каждом мужчине есть и мужское и женское, как и в женщине подчас проявляется мужское, и она начинает писать романы и искать мужчин не с целью рождения от него детей, но с целью победы и наслаждения (в юности я мучился вопросом, а *хочет* ли женщина так же, как хотим ее мы, воистину грешные, но так до сих пор я этого и не знаю, хотя имею откровенных подруг – но или они не хотят мне выдавать последнюю женскую тайну, или не знают этого сами).

И так как женщина – не «идеальное твердое тело», то и центр тяжести у нее не там, где в бездушной материи, и ее походка и звуки голоса подчинены одному: обольщению! А мы ее обзываем вертихвосткой... Она же ищет отца ребенка (как учит Шопенгауэр), и именно ребенок – ее и матерьяльная и идеальная страсть, вот в ком сосредоточена любовь по-женски! Если только не повезет ей встретить мужчину-ребенка, и счастливы тогда они оба, она и на него и на детей изливает свою материнскую любовь, прекраснее которой нет на свете, и которая превосходит и страсть Ромео, и Тристана, и Отелло, и уж тем более всех «братьев Карамазовых», включая и их отца.

Но женщина не только женщина (или не только та, о которой уже я отчасти сказал), ею движет и страсть к творчеству и любви, таковы Софьи

Ковалевские, Жорж Занд, Н. Т. и Н. Е., и, разумеется, D, такова почти каждая в какую-то пору своей жизни, даже когда еще ей рано выходить замуж.

Известное число девушек сходит с ума и погружается в любовь, почти неизвестную мужчинам – *любовь к кумиру*, которому она хочет отдаться, даже если она одна из легиона. Но о такой любви написано немало, я слышал от них самих рассказы-воспоминания, но если не могу пока разобраться даже с любовью идеальной, то пусть о «точках перегиба» напишут другие.

Но есть и «точки разрыва», к ним я отношу известное число девушек, уходящих в "путаны". Описывать и объяснять их я тоже не буду, хотя я и был с ними знаком – не как потребитель, но как приятель, товарищ, утешитель...

Да, после этих слов уместно вспомнить, что мужчина еще отчасти и женщина (как и я сам), и если в его характере женского слишком много, то он ведет себя не совсем так, как другие.

И вот, кажется, только теперь я окончательно стал мужчиной. И, как и положено по природе, меня нашла в своих поисках, уже отчаявшись в них, идеальная женщина (конечно, не для того, чтобы я родил ей ребенка, но как заболевшая кошка, ищущая траву исцеления. Она меня назначила исцелителем, обольстила, влюбила в себя, и я согласился стать ее другом, рабом, подругой, ее мамой и даже отчасти ее ребенком. И в конце концов и я, как то делают и другие влюбленные в «точке разрыва», – и я воскликнул: Согласен на всё! Согласен безо всего! Согласен не осаждать, не побеждать, не грабить покоренный город, но быть в нем тем, кем назначит меня моя госпожа!

Она же меня назначила гением, ангелом, святым, она меня назначила даже Богом!

Но ах, как трудно быть Богом! И надолго ли продлится женский каприз?!

Но я отвлекся. Когда я умру, она напишет обо мне лучший в мире роман о любви, я завещаю ей его написать, в этом романе не будет ни слова правды (как и в том, что пишу я сам, когда пытаюсь писать о любви и о самом себе), ни слова правды в том смысле, какова правда протекающей и уходящей жизни, но все будет самой высшей правдой, до последнего поцелуя, той правдой, о которой мы все мечтаем.

Любовь женщины – это не совсем та «половая любовь», о которой писал Владимир Соловьев, и совсем не та «половая любовь», о которой писал Шопенгауэр, ибо любовь женщины – это Родовая любовь, пронизывающая семью и Род и созиданная народ. *Точкой экстремума* и условием непрерывности в этой любви является *любовь материнская*, но и *любовь мужчины* дополняет родовую любовь, хотя любовь мужчины вся состоит из точек разрыва или из особых решений дифференциального уравнения, описывающего родовую любовь. Любовь женщины является основанием бытия, любовь мужчины – основанием культуры, и когда талантливая женщина пишет роман *о любви*, то главным героем в этом произведении является именно мужчина, а, например, Елена Лобанова в «Фамильных ценностях» пишет о подлинной *родовой любви*, и, разумеется, центральной героиней является женщина-мать, ищущая еще и своего отдельного женского счастья (и находящая его, разумеется, в избраннике, которого она отвергла когда-то).

Женщина созидает Род и Народ, мужчина созидает культуру. Народ достаточно целен, культура вся состоит из исключений.

По-видимому, та любовь, о которой мы читаем в романах, из-за которой стреляются на дуэли, стреляются, обманывают, сходят с ума – это преимущественно страсть, овладевающая мужчиной, при этом женщина ведет себя по меньшей мере странно, она кокетничает с другими, дает уклончивые ответы на прямые вопросы, недоговаривает, иногда обманывает, и не всегда знает, любит ли она сама, любит ли именно этого. Можно подумать, что неопределенность – женский способ существовать.

Но бывает ведь и женская страсть, разве о ней мы тоже не читаем в романах, и леди Макбет, и «Леди Макбет Мценского уезда», и Анна Каренина, и «Идиот», и «Обнаров» Наталья Троицкой; бывает и неразделенная женская любовь, и взаимная, как в легенде о Тристане и Изольде, а не только жажда материнства?! Но все же квинтэссенцию мужской любви я нахожу в «Египетских ночах» Пушкина, когда мужчина соглашается заплатить целой жизнью за объект своей страсти – *«ценою жизни [получить] ночь одну»!*

Можно было бы сказать, что в основании и мужской и женской любви лежит *половой инстинкт*, если забыть, что это *инстинкт воспроизведения рода*, влечение, *имеющее целью* именно рождение детей, но не жажду овладения и наслаждения, которая движет мужчиной не только в связи с женщиной, но и в честолубии, в жажде власти и богатства, в игре, во всякой деятельности, сопряженной с азартом – считать ли их модификациями *полового инстинкта*? И точно так же, во всех тех случаях, когда девушек выдавали замуж независимо от их желаний, и когда они не испытывали к мужу (часто уже престарелому) никакого инстинкта, не только полового (если не считать половым инстинктом отвращение), справедливо ли было считать, что брак и рождение детей в таком случае не связаны были с половым инстинктом?

Но действительность такова, что женщина, не отвлекающаяся на страсть к мужчине, рождает больше и полностью реализует свой «половой инстинкт» в материнской любви, а та, которая любит и ищет «мужчину своей мечты», не успевает ни родить детей, ни подчас найти того, кого ищет.

Или женщина ищет совсем не возлюбленного, а мужа и отца своих детей, и именно их она и любит (но иногда любит и его как и их)?

Итак, брак, в котором родители жениха сватались к девушке, которую уже облюбовал жених, основан был на влечении жениха именно к этой девушке, то есть на его *любви* (в каждом случае, быть может, своей: или она "приглянулась", или из работящей семьи, или из бедной семьи и он ее пожалел, или она на него "по своему" поглядела, то есть успела избрать, даже если и виделись они раз-два) – и на будущей любви невесты к ее будущим детям. Она о детях думала всегда, она знала, что они у нее будут, она их уже любила, и если жених не вызывал ее антипатии, то справедливо было сказать, что этот брак основан был на его любви, временной и преходящей, и поэтому, возможно, не столь значащей по последствиям, и на ее любви, *родовой*, служащей основанием созидаемого народа.

Следовательно, *ее любовь и служила вечности, ее любовь и была созидательной* (а чему служила его любовь)?

Да, только ее любовь служила тому, что и у других женщин, одному и тому же, отчасти себе и своей семье, отчасти всему народу, ибо именно женщина кормила своих детей грудью, воспитывала их, пела им колыбельные, рассказывала сказки, посылала затем мужа и детей на войну, встречала их с войны, тех, на которых не приходили похоронки, воспитывала и внуков, и пела им колыбельные и рассказывала сказки... разве случайно и Родина – это «Родина-мать»?!!

Но бывала ли у женщины своя собственная, отдельная от семьи индивидуальная любовь?

Бывало и так, как о том пишет Лев Толстой в романе «Анна Каренина», но счастливой от этого она не становилась; бывало и так, как о том пишет Пушкин в «Евгении Онегине» – "Но я другому *отдана* и буду век ему верна" – но становилась ли она счастливой и в этом случае? Впрочем, не будем жалеть женщин по этому поводу: счастливее ли их и мужчины со своею безумной любовью к женщине?

6. Любовь мужская и любовь женская

Материализм совершенно справедливо связывает дух с материей, отказываясь признавать независимое от материи существование духа в субъекте (будь то ангелы или черти или привидения), но, полагая, что личность всецело обусловлена материей (плотью, телом), материализм и вовсе отрицает душу и дух, так что личность для материалиста – это мыслящее и чувствующее тело, а сложные идеи и глубокие и вдохновенные чувства – модификации или даже иллюзии простейших физиологических движений, таких же, как у амебы.

Вот и любви никакой нет, говорит материалист, а есть просто известное желание соединиться с женщиной. Правда, почему именно с этой, и ни с какой другой, материалист предпочитает не объяснять.

Но и я исчерпывающего объяснения этому субъективному пристрастию не дам, в каждом отдельном случае оно имеет свои причины и свои объяснения.

Итак, то, что исследует философ под именем «половой любви», существует в сложном соединении трех ее разновидностей: любви мужчины к женщине, подобной же любви женщины к мужчине и совершенно своеобразной материнской любви. Именно последняя и основана на *инстинкте*, если понимать под инстинктом врожденные чувства, безусловно наступающие в известных обстоятельствах, как, например, чувство голода, *почти независимое* от воли, характера, национальности, образования и социального положения (правда, современная погоня за наслаждениями, доставляемыми суррогатной любовью, уже приносит свои тлетворные плоды, и чем больше стремится девушка к любви, чем более она ее ищет в «сексуальных связях» с мужчинами, тем менее она оказывается способной к любви материнской, незаслуженно отодвинутой в культуре мужской домогательной страстью.)

Но ни одна из разновидностей этой любви не существует сама по себе и даже самый смиренный влюбленный, как герой «Гранатового браслета» Куприна, не может любить только собственный условный образ, *она* присутствует в его чувствах или как принимающая его любовь или отвергающая.

Почему я отделил женскую любовь от мужской? Разве она не любит точно так же, как он, разве не к тому же стремится? Нет. Любит мужчина, и он изливает на нее свои чувства, женщина либо отвечает его воле любви, либо ее отвергает, но составляет ли это правило? Все исключительно, и исключениями и посвящены романы, новеллы, оперы и сказания.

Женская любовь представляет собою нечто иное, чем мужская, хотя бывает она иногда такою же, как и у мужчин, в том случае, если женщина по характеру склонна к тому, чтобы наступать и навязывать свою волю избраннику, то есть если она ведет себя подобно мужчине; в противном же случае она иная, и пусть уже женщины ее объясняют в своих романах.

И все же всякая почти любовь исключительна, и всегда ли мужчина влюбляется по своей воле, если, как мы видим, именно женщина его избирает, и помогает ему остановить на ней свое внимание? А тем более если она его *назначает* на определенную роль, в пределах которой любят по разному: роль ли это мужа, любовника, возлюбленного...

Или это роль редактора и философа, поэта и няньки, *необходимого собеседника*, подруги, пророка, рока и судьбы...

7. Что в основании любви? «Любовь к ближнему» или сострадание?

В любви есть плотское и душевное, в различных пропорциях. В исключительном случае в любви есть только плотская жажда (*любовь физическая*).

Если же плотской жаждой в зависимости от обстоятельств влюбленный готов пожертвовать, то это уже любовь почти идеальная.

Но если мужчина не испытывает по отношению к женщине «греховных» чувств, то его чувства к ней вовсе не "любовь", "без греха" мы можем любить сестру, мать, дочь, подругу, автора, которого привелось редактировать...

Но является ли *желание обладания* самой существенной чертой любви мужчины к женщине? И требует ли любовь непременно взаимности?

В большинстве случаев именно так, но история и культура вырастают из исключения и из случая, так же, как случайна встреча в "любви с первого взгляда" или "первого слова", так же случайны и исключительны дружба, взаимопонимание, приходы волхвов и муз, вдохновение и рифма, если только на небе не помогают поэтам, философам и романтикам иногда добиться победы, иногда вовремя умереть. Слишком назойливо материя настаивает на своем приоритете, подменяя собою совсем не матерьяльные, не плотские причины и явления. Так и «половой инстинкт» – не матерьялен, к тому же не только он в основании любви, не только из него она вырастает.

Ибо в основании народа, в основании исторической жизни народов – *родовая любовь*, которая вырастает из полового инстинкта, к которому *потом* присоединяется симпатия душ, сочувствие, дружба и материнское чувство? *Хотя не вырастает ли и родовая любовь из движений души скорее и неотвратимее, чем из пробуждения плоти?*

Движение плоти возникает позднее, чем движение души, но без плоти осталась бы просто дружба, а с нею – нечто странное, часто на всю жизнь.

А вспомним Отелло: «Она меня за муки полюбила! А я ее за состраданье к ним.» И это так близко русской душе – *любовь, вырастающая из сострадания.*

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Личность и Народ. Временное и Вечное

1. Что в основании мира?

29 мая, пятница, 12-56. Вчера был в Союзе писателей, на секции «критики и прочая», и ночью спал плохо, в значительной степени оттого, что сегодня уже окончательно бросил пить. Ну, немного только красного сухого вина с близкими, а от всего остального буду воздерживаться.

Книгу, возможно, уже заканчиваю, хотя еще ее даже не поименовал и не представляю до сих пор вполне, чему она посвящена. Отчасти тому, что жизнь трагична, что только в любви можно найти утешение, хотя и любовь трагична, что преодолеваем мы тяготы жизни, разочарования и повседневное уныние, тем не менее, только через Любовь, а которой соединены и любовь к женщине, и к народу, и к миру в целом, любовь к которому разбивается на множество форм: и любовь к красоте, и восхищение, и сочувствие, и сострадание всему живому, и сострадание тем, кому плохо. Есть и более сильные чувства, и даже страсти, например, трудолюбие, жажда творчества, духовная жажда (та самая, о которой пишет Пушкин в «Пророке»), но сострадание (неотделимое от милосердия, великодушия, жалости, сочувствия) – необходимая ось отношений человека к миру. Лучше быть недалеким, нежели иметь черствое сердце.

В своих заметках я склоняюсь к тому, что из любви к женщине как и из женской любви, хотя она не совпадает с мужской, но ее дополняет, проистекает или произрастает родовая любовь, а уже из нее любовь к своему народу. Но во всякой любви плотское и духовно-душевное соединены, во всяком частном случае любви непременно присутствует эротическое чувство (или половая любовь). Только неверно, как Фрейд, все в мире объяснять через видоизменения полового влечения, включая творчество. Но не буду спорить, я пишу не научное исследование, а собрание рассуждений и воззрений, читателя приглашаю просто всматриваться в мир и в самого себя, и тогда, я надеюсь, он во многом придет к сходным выводам.

Но я пишу о любви применительно к общему человеку, почти человеку толпы, для которого безотчетное влечение к женщине является главным корнем всей его чувствительности. Сам же я испытываю во многом другие чувства, часто связанные с чувством восхищения и обаяния женской красотой, подобно тому как восхищаемся мы музыкой и красотой природы – я не столько хочу обладать женщиной, сколько ею восхищаться. И я ее созерцаю – всю, и лицо, и глаза, и очертания тела, и движения, и походку. Я слушаю ее речь и интонации и звуки голоса. Наблюдаю в покое и в движении, улавливаю переливы чувства, и грусть и радость. Но это же самое со мною происходит в Концертном зале, в Театре, в филармонии – так кем же восхищен я: женщиной или актрисой (которую, конечно же, является всякая женщина)? Разумеется, я их почти не разделяю. Но эротическая страсть в моем восхищении чаще всего вторична, хотя... но об этом в другой раз...

Говоря о мире, необходимо уточнять, о каком мире мы говорим; к тому же

меня не слишком волнует и человечество. Разумеется, я говорю о России, о русской природе и о российском обществе. Но что такое и общество? Некоторое время находил я удовлетворение в обществе историков, критиков и литературоведов, но часто и в этом обществе мне становится несколько тоскливо, так что не имею ли я в виду только самое избранное общество, скажем, из трех человек?

Итак, в основании мира (то есть того мира, который ограничен Россией и русским народом, отчасти Античным миром и отчасти Европой, совсем в малой степени иными мирами) лежит любовь. В основании любви красота и сочувствие, но вместе с ними и страсть, разбуженная решимостью Евы. Считать эту страсть чем-то низким несправедливо, она так же неотделима от красоты и сочувствия, как и другие движения души.

Но почему не смогу я создать цельную систему сущего, жизни и истории, в отличие от большевиков? Да потому, что оглядываюсь я окрест себя, и вижу столько замечательного, что годится и в основание и на стены дома-мира, и на крышу, так что *простую* и цельную систему представить я не могу. Не одна любовь, но и красота. Не одна красота, но и целесообразность, намерение, мечта и идеал, воля, сила, мужество и стойкость, помощь богов, судьба, случай...

Ах, как все просто у марксистов – классовая борьба и социальная справедливость, все поровну, от всех по способности, но только чтобы никто не пискнул, а то в тюрьму или в ров всех, кто около пискнувшего стоял, не только родных, но и знакомых, не только знакомых, но и незнакомых.

Ах, как все просто и у христиан, и в частности православных, у *каждого из нас и волосы на голове сосчитаны*, и «Рукой Всевышнего Россия спасена», и если только имеешь веру с горчичное зерно, то и горы сдвинешь с места.

Правда, ко многим подвигам способна и любовь, и не к бóльшим ли, нежели вера? «*Если ... имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто...*» – говорит апостол Павел.

Не будем долго допытываться, какую любовь имеет в виду апостол, ибо действительная жизнь представляет нам немало примеров и материнской любви, и любви к отечеству, и женской верности и преданности, и любви-страсти, соединяющей мужчину и женщину – все они имеют один общий корень – *родовую любовь* (которою была и *любовь к ближнему* у иудейского племени). Есть, правда, примеры и сочувствия, великодушия, сострадания, милосердия, не представляющие собою *родовой любви*, но они и являются именно тем, чем являются, то есть *состраданием и милосердием*, и объединять их под знаменем *любви к ближнему*, отнять у человека и присоединить к Богу, не значит их возвеличить, словно бы у человека нет ничего достойного, словно бы даже высокие чувства, исходящие из его природы и из его души – все только низкие (а разве и душа его не является тоже его природой, которых, таким образом, у него две, ибо и душу мы знаем только от рождения, как и плоть, и она так же со временем возрастает и развивается, а если и укоренена в вечности, то мы этого не знаем, не видим, не вспоминаем).

А разве недостойна и любовь между мужчиной и женщиной, которая, по

христианской традиции, уж точно не имеет божественного происхождения, ибо она отвергнута Богом-Отцом как плод грехопадения? Ибо говорит апостол Павел, который, по-видимому, говорит то, что согласно с духом и буквой учения: «Хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда [уж так и быть, только бы хуже не стало!], каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.»

Но, правда, ПОЧЕМУ касаться – это плохо, и почему «половая любовь» так нехороша, что и Сам Спаситель вочеловечился на земле (для спасения человека от первородного греха) в обход того пути, которым вочеловечиваемся мы, грешные, и почему мы из-за этого грешные, и почему женщина не чиста, и почему нехорошо быть женщиной и лучше оставаться в девстве (или в целомудрии), и почему все сие такой ужасный грех, что и все естество мира повредилось благодаря опрометчивому поступку любопытной Евы, – об этом христианство внятно не сообщает, хотя именно через «половую любовь» и рождение существуют и род и народ.

Таким образом, если под одним именем «любви» соединить и любовь к женщине, и сочувствие, то очевидно, что у любви два источника, один связан с плотью, а другой, по-видимому, только с душой. (Но так как и любовь к женщине невозможна без сочувствия, то справедливо считать, что у любви идеальные причины и побуждения, а плоть – только своего рода средство, с помощью которого любовь проявляется. Так же как идеальна и красота, но для ее полного выражения необходима материя.)

Поскольку человек рождается и с душой и с плотью, то его свойства и черты его характера в значительной степени врожденные, а, следовательно, имеют человеческую природу.

И, я полагаю, *доброта, милосердие, сострадание* – тоже врожденные человеческие качества.

Но Константин Леонтьев уверяет, что любовь может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, но что «Религиозного происхождения *нравственная любовь* потому уже важнее естественной, что ... до религиозной любви, или *милосердия*, может прийти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей.»

И невольно вспоминаю злую шутку советского времени «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это!»

Чтобы не втягиваться в богословские споры, вспомним о том, что Бог создал не только мир, но и человека, а потому всякая любовь имеет, в конце концов, помимо человеческого еще и божественное происхождение, да и плоть человека, которую «католики, большие чем сам папа», объявляют греховной, имеет то же самое происхождение, что и душа.

Я не знаю, что находится в основании мира, я назначаю это основание, как метафору, как рифму к предыдущей строке. Можно ли сказать, что они уже существовали прежде, чем я их обозначил?

В основании мира находится то, что отвечает моему взгляду на мир, так что в значительной степени и основании и сам мир субъективны.

2. Личность и народ

31 мая, воскресенье, Троица, 17-04. Вчера приехали гости (И---на, Валечка и папа Миша), сегодня уже уехали вместе с моей женой, я их проводил, мы заехали в Юрьево, в сорока километрах от нашей деревни, повидали Аню. Назад доехал с трудом, долго стоял на шоссе, машины пронеслись мимо. Однако же на некоем драндулете доехал до С---го, оттуда пришел в С---ово, купил еще хлеба и рванул в свою деревню.

Только пришел – ливанул дождь...

А дальше не интересно рассказывать про происшествия жизни, выскажусь о народе.

Он разнообразен, но по большей части я его любить не могу, хотя бы потому, что большая часть его оправдывает Пиррову победу в Отечественной войне, которую мы одержали, уничтожив лучшую треть своего народа (в том числе моего отца), потеряв всемеро больше, чем немцы.

И, однако, в основании мира, говорю я, та любовь, следствием которой мы все. Следовательно, и тот народ, который я любить не могу.

Но это та самая любовь, которая привязывает меня к женщине, и ради женщины пытаюсь я примириться с народом. С Валечкой ходили мы по огороду, нарвали им в дорогу мяты и цветов. Пошли скосить траву на дорожке к колодцу, я показал ей, как косить, у нее неплохо получалось.

Воскресенье, Троица, 22-20. Вчера сломалось крыльцо, я грохнулся ребрами на ребро перекладки. Перепугался, но хотя ворочаться ночью было тяжело, и дрова колоть было тяжело, обеими руками топор держать не мог, но сено кошу, землю ковыряю, дышу свободно, похоже, что я свои ребра только ушиб, поболят и перестанут.

Приехали гости с моей женой уже в восьмом часу вечера, Миша еще помог наколоть дров на последнюю закладку, и баня получилась на славу. Завтра протоплю хоть для себя одного, тоска меня вдруг начала одолевать, только что за ужином допил сухое вино, которое мы вчера пили.

А если бы не любовь, которая на меня вдруг свалилась, как будто небо свалилось на землю, не погряз ли бы я в тоске совсем? Или это даже не любовь, а какое-то новое неизвестное чувство?

Людей связывают друг с другом несколько чувств, не одно какое-то, и я их перечислю...

Во-первых, родовой (или половой) инстинкт и любовь мужчины к женщине, и вытекающие из этих двух стремлений чувства привязанности к родным, в частности, родительская любовь и любовь детей к родителям.

Во-вторых, сознание общности с народом, любовь к Родине (даже если и смешанная с горечью, как у Радищева и Чаадаева, и даже временами с ненавистью, как у Печорина и Герцена), любовь к родному языку, истории своего народа, к его преданиям, мифам и сказкам, к национальной культуре – и это все любовь, вырастающая из отвергнутой христианством *любви между мужчиной и женщиной* (а потому оно не знает любви к народу!).

И в третьих, отдельных людей связывает между собою некоторое чувство притяжения друг к другу, подобное притяжению мужчины к женщине, но

лишенное полового желания, то, что называем мы вообще симпатией, и что в определенных случаях является дружбой (*филия-philía*, см. Аристотеля).

Наконец, в четвертых, необходимо отметить доброжелательное или не доброжелательное отношение к тем или иным отдельным людям или группам людей, например, к чиновникам, к пьяницам, разбойникам и ворам... и равнодушное отношение к большинству людей, с которыми судьба нас не сталкивала или сталкивала мало.

При этом к единоплеменникам мы относимся в среднем доброжелательнее, чем к представителям чужого народа, особенно когда оказываемся за границей.

3. Я сам и Народ

А кто такой я сам? Для *русских* я единоплеменник, но часто русских почти ненавижу, хотя и тут же жалею. Другое дело, что к *русскому народу* я отношусь еще сложнее. *Русские* – это сумма индивидуальностей, принадлежащих к русским, но эта сумма еще не является народом, так же как не составляют семью муж и жена, едущие в разных поездах.

Русский народ – это Личность, в которой индивидуальности как таковые почти не существуют.

Но дело в том, что этот образ народа все дело усложняет: я исхожу из того, что в этой личности (еще даже и неизвестно, личность ли это) соприкасаются две почти противоположные личности, говорящие на одном языке, но общего языка не имеющие, одна личность – безумный, бестолковый, тупой и вредный *Большой народ*, вторая – мягкий, умный, тонкий, привлекательный, милосердный и прочая в этом же роде – *малый народ*. Их можно представить как целостность в виде семьи, *Большой народ* – это Муж, *малый народ* это кроткая жена, живут они хуже, чем кошка с собакой, и хотя этот жестокий и грубый муж жену постоянно терзает, но деваться ей некуда, не идти же в чужую семью приживалкою, нянею или домохозяйкой.

Власть принадлежит *Большому народу*, но поскольку он туп, то выбирает себе управителей (или они сами себя выбирают), как правило, таких же жестоких и тупых, как он сам.

Уж эти управители отыгрываются на всех, иногда и от *Большого народа* остаются одни косточки, как в войну с немцами, но *Большой народ* своих управителей в обиду не дает, он их любит, и заменять на умников из *малого народа* не хочет.

Вот так мы и живем.

Так кто же я сам?

По всему я из *малого народа* и *Большой народ* не люблю, и мечтаю о том лишь, чтоб свергнуть иго его, которое мне не дорого и не сладко, но заставляет вопиать и кровоточить.

Однако все еще сложнее.

Если внимательно всмотреться в мою родословную, то очевидно, что отец и мать мои, хотя и не были образованы (а образование и ум – не главный определяющий признак, в *Большом народе* тоже не мало умных, умнее иногда и наших, как Троцкий и Гитлер, Маркс и Ленин, и множество других

дьяволят... да, и что Сталин и жесток, как они, и хитер – несомненно, но умен ли, этого я пока не решил), и в *малом народе* наивных и не шибко далеких хватает (в значительной степени его признак – отношение к творчеству, из *малого народа* поэты и гении, но, увы, бывают и здесь исключения, и Маяковский – одно из них)... итак, по бабушке, матери и отцу я несомненно принадлежу к *малому народу*, но мой дед, воевавший за красных в Гражданскую, а потом даже с другими мужиками при создании колхоза обсуждавший планы *обобществления баб* – из *Большого народа* – это точно.

Да и мои родные делились по такому же принципу – женщины почти все принадлежали к *малому народу*, мужчины – к *Большому* (мой отец – исключение, как и я сам). Но все же не принадлежим мы к *малому народу* всеми корнями, так как и вообще оба эти народа в значительной степени прорастают друг в друга...

Вероятно, это связано с соотношением в личности мужского и женского начал, и я в значительной степени психологически принадлежал к женскому роду, хотя и влюблялся с первого взгляда, но девушки бессознательно вели себя так, будто это я их выбираю, хотя и будущая жена моя сначала меня отвергла, а потом назначила в женихи, и я подчинился, как и положено в этих "любовных играх" мужчинам.

Таким образом, претендуя на восславление моего *малого народа*, я расту и из почвы *Большого народа*, и не могу его отвергать всецело, ненавиждать его только как чуждое, особенно в последнее время. Следовательно, надо мне найти некий общий знаменатель, точки соприкосновения, пути понимания, общие причины, цели и идеалы, да и возможно ли разделить на два народа и жить порознь; в античные времена аристократия пыталась главенствовать, и хотя она была не плоха, но и она развратилась.

И поэтому, если мы свергнем новое монгольское иго и сами станем править государством, лучше не станет?

А все же, если попробовать?

Народ будет представлен *народными трибунами*», как в Риме, «малый народ» – Сенатом, а над всеми нечто вроде Конституционной монархии...

Это мы уже проходили! – все закричат... Так мы проходили уже всё-ё-ё!! Нового, совершенно нового, уже никогда не будет, а будут только разделение, соединение, вражда, раскаяние, ненависть и любовь, что бы мы ни начали нового, оно уже описано Аристотелем или Платоном. Но надо спасать Россию и русский народ, поэтому оправдано всё – и новая революция (Русская национальная революция) и Новая диктатура!

4. Гений или один из всех?

Гений я или не гений? – не такой уж странный вопрос, и не один я им бываю озадачен. Но меня на этот вопрос подвигает не неумное тщеславие и самомнение, а причины более оправданные, например, смею ли я возбуждать надежды на новую жизнь в невинной девочке, потому что если я один из всех, то ничего я не смею изменить существенно в ее судьбе, а только внесу сумбур в повседневность и умножу ее печали.

Ныне же этот вопрос задаю я в связи со своими писаниями: на днях

получил я статью о второй книге «Записок редактора» (а это четвертая), и там говорится, что тексты мои – вторичны, неостановимый ассоциативный поток графомана, ни глубины, ни новизны, ни откровения. А вчера на меня напала подруга: Вот, мол, ты жалуешься, что только что сломал три ребра, упав с гнилого крыльца, и баня у тебя рухнет, и дом вот-вот упадет, и машины нет, и переехать поближе не можешь, потому что беден – а кто в этом виноват? Почему же ты не можешь жить лучше? Ума не хватает? Энергии? Желания?

Человек хотя бы в чем-то властен же над судьбой, каждый может и денег заработать, и баню купить, и на дом накопить (за целую жизнь-то!), и крыльцо починить?! Ах, ты книги пишешь? Так сделай сначала то, от чего зависит и твоя жизнь, и жизнь близких, а потом пиши свои книги, или уж пиши их и одновременно, но не в ущерб насущному!!!

И возражений найти я не смог. Надо ли мне было предыдущие книги писать? И надо ли уж эту, четвертую, если в тех не сумел сказать ничего существенного? Если я гений, то писания мои оправданы. А если я не гений, к чему склоняюсь все больше, то кто же тогда я и зачем я пишу?!

Свой образ жизни как лучший сравнительно с погоней за успехом и житейским благополучием я прославлял в своей книге «Жизнь на краю» и вот теперь думаю: если я *как все*, то зачем сбиваю с толку читателей, они мне поверят, прельстятся на песнь соловья, а потом опомнятся, когда поймут, что соблазнились кукушкой, да будет поздно. А если я гений, то годится ли для нормальных людей то, что годится для гениев? Впрочем, разве не главный мистический смысл моего призвания в том, что я один из всех, во всем подобен всеобщему человеку, в страстях и слабостях, в грехах и соблазнах?

5. Крестьянский сын или притворяюсь?

31 мая, Троица, воскресенье, Но крестьянин ли я, или только притворяюсь им? Начало вечера, *половина восьмого*, картошку я посадил теперь уже всю, но дел неотложных еще уйма, а силы уже иссякли. Какой же я крестьянин?

Нет, пойду еще хотя бы до девяти поработаю...

21-10. Да, слово почти сдержал, в девять без сил рухнул у компьютера... Впрочем, пойду ужинать, попробую съесть свой суп с крапивой.

22-35. Пал духом, думал, что жизнь прошла зря, и ничего хорошего меня не ждет. Но было множество звонков *от нее*, даже деньги на мобиле кончились, затем и займы деньги кончились, но мне стало лучше...

Может быть, не все так плохо, как кажется?..

Ну, действительно, крестьянин из меня уже не получится, но и четверть крестьянина, если я сажаю картошку, да потом вырою погреб, отремонтирую веранду и даже отремонтирую баню (пусть и не до совершенства, но до приличного положения) – тоже хорошо!

И свои книги все же сжигать не буду, оставлю почти как есть, хотя и попытаюсь улучшить, редактируя. Разве не пропалываю я и грядки, не рыхлю, не подсыпаю землю к картофельным кустам? Вот и здесь отчасти комментарий к сочинениям умных философов (но ниже покажу, что и они пишут много глупого и неверного), отчасти возражения их глупостям, отчасти собственные рассуждения...

6. Что привлекает друг к другу мужчину и женщину?

Как и обещал, начинаю нападать на философов. Шопенгауэр пишет о любви между мужчиной и женщиной, и причину любви находит только в «половом инстинкте»: «то, к чему ведут любовные дела, это ни более, ни менее, как *создание следующего поколения*», – пишет он.

«То, что в индивидуальном сознании сказывается как половое влечение вообще, без направленности на определённого индивида другого пола, взятое само по себе и вне явления, есть воля к жизни. То же, что в сознании проявляется как половой инстинкт, направленный на какую-нибудь определённую личность, есть само по себе воля к жизни в качестве конкретного индивида. В этом случае половой инстинкт, хотя он сам по себе не что иное, как субъективная потребность, умеет, однако, очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения и этим обманывает сознание: природа для своих целей нуждается в подобном стратегическом приёме.»

Итак, действует не сам человек, а природа в нем. (Сравни у христиан: «Не я, но воля Бога во мне!») Материалистическая философия и теология совпадают в своем стремлении лишить человека «свободы воли», его собственной самости, его *своеволия*. А Шопенгауэр обнаруживает себя как самый вопиющий, самый вульгарный материалист.

Помню, в отрочестве я взялся читать его «Афоризмы житейской мудрости» и был потрясен тем, насколько его взгляд на мир в каждой мелочи выдает вопиющего обывателя – но он обыватель вдвойне: материалистический обыватель!

Но попробуем читать дальше.

«Но какой бы объективный и возвышенный вид ни принимало это восхищение, оно в каждом случае влюбленности имеет свою исключительную целью рождение известного индивида с определёнными свойствами: это прежде всего подтверждается тем, что существенною стороною в любви является не взаимность, а обладание, т.е. физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви нисколько не может утешить в отсутствии обладания... ..люди, сильно влюбленные, если они не могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, т.е. физическим наслаждением. Это доказывают все браки поневоле, а также и те многочисленные случаи, когда ценою значительных подарков или другого рода жертвований приобретает благосклонность женщины.»

Ну, что ж, слаб человек! А в любви две причины, два источника, и она пьет из обоих. Сильнее ли половое влечение, чем идеальная склонность? Я думаю (и литература меня поддерживает), что в каждом случае особо, у Золя в его «Жерминале» склонность плоти оказалась сильнее, но противоположных примеров не перечесать...

«Истинной, хотя и бессознательною для участников целью всякого романа является то, чтобы родилось на свет именно это, определённое дитя: как достигается эта цель – дело второстепенное.

Каким бы воплем ни встретили жёсткий реализм моей теории высокие и чувствительные, но в то же время влюбленные души, они всё-таки

ошибаются. В самом деле: разве точное определение индивидуальностей грядущего поколения не является гораздо более высокою и достойною целью, чем все их безмерные чувства и сверхчувственные мыльные пузыри?»

«Да и может ли быть среди земных целей более важная и великая цель? Она одна соответствует той глубине, с которой мы чувствуем страстную любовь, той серьёзности, которая сопровождает её, той важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в своём возникновении.»

Итак, смысл и цель любви, по Шопенгауэру, состоит, во-первых, в обладании, во-вторых (и даже обладание не важно само по себе) – в рождении ребенка. А одинаковы ли мотивы и ожидания у мужчины и женщины, это Шопенгауэр не исследует, не различая полов в их отношении к инстинкту.

Кстати, одно замечание: Надо ли отождествлять половое влечение, страсть – и половой инстинкт? Я думаю, тонкие психологи меня поймут и разъяснят (если читать будут), а пока продолжим...

А далее Шопенгауэр исследует, какие мотивы и скрытые пружины лежат в основании выбора действующих лиц грядущей любовной драмы, озбоченных, как это ни странно, не собственным представлением о счастье, не собственным вкусом и предпочтением, а (по большей части *бессознательно*) *волей рода, ибо «воля индивида выступает в своём повышенном качестве, как воля рода»*. С этой точки зрения философ исследует проявления этой воли, определяя, чем руководствуется женщина при выборе возлюбленного и чем руководствуется мужчина.

Но приведу лишь несколько цитат, и не думаю, что их интересно и комментировать.

Полжизни я мучился в рамках общественного мировоззрения, в котором действовали не люди, а манекены (по Марксу), или народные массы, классы, сословия, прослойки, единые и одновременно борющиеся между собою противоположности, инстинкты, воля Бога, воля природы, воля бытия, жизни, объективной реальности... ХВАТИТ!!! НАДОЕЛО!! Дайте пожить пусть и по дурной, но по собственной воле (как говорил Достоевский, тут же, правда, передумавший).

«Так как на свете не существует двух совершенно одинаковых индивидов, то каждому определённом мужчине должна лучше всего соответствовать одна определённая женщина, критерием для нас всё время является здесь то дитя, которое они должны произвести.»

И далее философ исследует, какой нос и какой стан ищет именно этот мужчина, и какую физическую силу и рост – женщина, имея в виду совершенство будущего ребенка, которого им надлежит родить.

Но после анализа любви, проведенного Вл. Соловьевым, не стоит более останавливаться на глупостях, до которых могут прийти вульгарные материалисты (впрочем, как и вульгарные идеалисты, включая В. С.).

Приведу несколько житейских и литературных примеров, не для опровержения этих глупостей, а для иллюстрации того, что и культура и жизнь разнообразнее, непредсказуемее и иррациональнее в своих проявлениях, чем пошлая и тошная механика и физиология (и даже психология), берущиеся низвести человека то на уровень камня, подчиняющегося закону всемирного

тяготения, то на уровень амебы, руководствующейся чисто рефлексивными биологическими движениями.

Князь Мышкин влюбился в Настасью Филипповну, взглянув на ее фотокарточку. Между мною и Натали завязалась симпатия, которая не исключала бы в других условиях бурный роман, уже по переписке, к которой затем присоединились звуки ее голоса, пока она не разочаровалась во мне. А почему разочаровалась? Вероятно, почувствовала – но вовсе не по внешним признакам, а по характеру – что я более женствен и менее мужествен, чем каким интуитивно она меня желала видеть.

Ну а дружба-любовь, к которой изо всех мужчин не один ли я оказался способен, тем более опровергает тот бред, который несут философы и писатели о любви, ибо в философии нет «лица необщего выражения», а значит, нет конкретной личности, но в действительности любит, ненавидит, страдает и сходит с ума не тип некоторого человека, не общий характер, а только определенный человек. Так же ошибаемся мы, говоря, например: *Ну, все мужчины (женщины) таковы... или все русские... все немцы...!*

7. Каковы причины, смысл и цели любви?

В любви действуют два побуждения и две цели: во-первых, Плоть и стремление к ней, и жажда обладания. Но плоть действует на нас и той красотой, о которой говорил Данилевский как о высшем предназначении материи (воплощать красоту). И, несомненно, *нет ничего более совершенного в божественном мире, чем женщина!*

В человеке есть и душа и плоть, и обе живы, и плоть не менее душевна, чем душа, они неразделимы, и когда страдает ребенок от боли, мать, не испорченная философией и дурной физиологией, знает, что болит у него душа, и целует его, и ему становится легче.

В любви действует *завоевательный и разрушительный инстинкт мужчины*, не являющийся еще родовым инстинктом; но в еще большей степени материнский инстинкт женщины, изменяющий даже мужчину.

Стремление к красоте и восхищение ею. Так как иногда интеллектуальное и эстетическое переходят друг в друга, то можно влюбиться при разговоре, так влюбляется в нас, грубых мужчин, женщина. И иногда ей удается и из философа или разбойника сделать приличного человека.

11-05. Но пора идти на огород сажать картошку. Быть крестьянином важнее, чем быть философом. Так же важнее быть женщиной, несмотря на все наши мужские книги.

14-30. Кто я, крестьянин или графоман? Хотя картошку я уже посадил, но из-за жары спасаюсь в доме у кампутера, а крестьянин (каким и я был в глубоком детстве) продолжает работать до глубокой ночи.

Любовь – это один из универсальных принципов мироздания, а не личина полового влечения, хотя они неотделимы друг от друга так же, как Дух и Плоть. Через Любовь временное соединяется с вечным, и вечность растворяется во времени.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СМЫСЛ ЛЮБВИ

1. Редактор как читатель и собеседник

2 июня, вторник, 15-42. Но попробую все же слегка оправдаться.

Во-первых, скучно в одиночестве, без жены; во-вторых, не выспался, так как не дает спать и энергию отбирает сломанное ребро... и тому подобное...

А уже через 10 мин выходить и я начинаю скучать по деревне.

Наскоро одеваюсь, собираю чемодан на колесах, пью чай и бегу.

Может быть, и цветочков возьму с собой с огорода?

18-47. Как обычно, времени хватило не на все, с грустью посмотрел на доцветающие нарциссы и море купавниц за изгородью, и побежал на автобус.

Пусть я не вытягиваю на крестьянина, но деревня меня привлекает, только жить здесь в одиночестве я не могу; к тому же в одиночестве я тут же тянусь за рюмкой с вином, вчера даже пил полусладкое, которого обычно сторонюсь.

Итак, вывод таков: я немножко крестьянин, немножко философ и поэт, по обетованию Маяковского: «Землю попашет, попишет стихи!»

Но счастлив я преимущественно как редактор рукописей, приходящих в издательство, мне приходится исправлять стилистические ошибки в тексте и давать советы. Но никогда не говорю я даже слабым авторам, что они взялись не за свое дело, и лучше не писать, а себя постоянно ругаю – так в чем же дело? А в том, что писательство обычно вреда не приносит, ни автору, ни читателю, исключая случаи, когда по заказу автор пишет не то, что думает.

И каждый создает то, что может, в меру образования, кругозора и таланта.

Но с раннего детства меня укоряли то ленью, то несобранностью, то отвлечением на ненужное и неважное, приговаривая при этом: *Кому много дано, с того много и спросится!*

И я понимаю, что должно спрашиваться с меня много, и пока еще я не оправдал надежд, ни чужих, ни своих, а надеющиеся в меня верили!

Мимоходом спросил я себя, не гений ли, и горестно ответил, что, увы, пока нет. А окружающий мир, тем не менее, смотрел на меня именно как на гениально одаренного ребенка, а позже и юношу... но время шло, и все реже я слышал уверения в своей гениальности. И у меня болит душа – неужели не оправдаю я надежд мира, который меня так любил? (А что временами претерпевал я невзгоды, не в счет: забота обо мне любящих сторицей искупала козни недоброжелателей и врагов... впрочем, враг у меня всегда был только один: государство).

И вот, не дождавшись признания, славы, и широкого круга читателей, стал я неожиданно редактором, то есть читателем чужих произведений, и на этом поприще приобрел и признание, и славу (в узком кругу), и друзей и поклонников. А еще важнее – достойных собеседников. Разговаривая с авторами, каждый из которых тоже был по своему гениален, я узнавал даже больше, чем прежде, читая книги признанных творцов. Редактор – это самый подлинный читатель, к мнению которого автор прислушивается, что-то

меняет в написанном – мог ли я на это надеяться, читая Толстого и Константина Леонтьева, даже когда я был прав? А какие письма мне пишут те, кого я читаю? И как восторженно иногда они меня любят! И так как это почти одни только женщины, то что такое любовь, я пытаюсь понять, вглядываясь именно в наши с ними отношения. Несмотря на все глупые ожидания Шопенгауэра, мы не собираемся заводить детей. Несмотря на безумные ожидания Владимира Соловьева, мы не будем соединяться в одну двуполоую личность. Нам и так хорошо, восторженно влюбленным, не ожидая измены, не боясь соперников в лице других читателей, даже всемерно их приглашая в наш клуб, не считая годы и морщины – какие морщины у мадам де Сталь, у Жорж Занд, у несравненной Сафо?!

Стану ли я гениальным писателем, так ли теперь это важно, если уже удалось мне стать любимым читателем моих любимых писательниц? А одна из них читала даже меня (нет, уже не одна...), она своим волшебным чарующим голосом произносила: «Обожаемый Василий Иванович!» – и я почти начинал обожать сам себя...

... ах, деревня! Я устал, болело ребро, томила жара, затевать что-то серьезное было нельзя, так как в четыре надо было уже уйти, вот я и приуныл! А если бы не надо было уезжать, затопил бы я баню, довел ее до кипения (как доводит меня временами до кипения жизнь), и на полке с горячим паром и душистым венником воскликнул: Ура! Мы победим!

Вчера звонила моя дорогая, ее уверяют, что любовь – это грех, что надо идти в монастырь и там замаливать грехи, и нельзя не только смотреть в глаза друг другу, ибо «всё, что в мире: похоть плоти, *похоть очей* и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего», а главная *похоть очей* – красота, а главное её – красота женщины! – но тем более нельзя прикасаться, и даже просто встречаться.

Добро, которое мы можем сделать другим, не может быть ни злом ни грехом; к чему стремишься в любви, к собственным ли удовольствиям или к тому, чтобы дорогому для тебя человеку стало лучше? Если заботаешься о другом как о раненом позаботился самаритянин, которого и Христос поставил в пример добродетели, то даже жестокий и грозный Бог постесняется такую любовь назвать греховой.

2. Комментатор и критик как необходимый читатель

Меня упрекают в том, что я вторичен, что я только ругаю, хвалю или комментирую чужие сочинения, вместо того, чтобы писать свои собственные (хотя лучше, говорят, и собственные не писать!)

Но поводы и следствия соединяются подчас очень причудливо.

Недавно сетовал мне некий знакомый на дворянскую литературу девятнадцатого столетия: На кой ляд она нам нужна? Произведение должно развлекать, утешать или образовывать – но чем нам, живущим через полтора века, могут быть интересны их мысли и переживания? Что мне интересного и поучительного может сказать Пушкин?

И я не нашелся, что ответить.

Пушкин по большей части пишет не для развлечения и не для широкого читателя. И дворянское и советское общество навязывали его читателю по какой-то не то чтобы иррациональной, но прямо таки трансцендентной причине, быть может, не отдавая себе в этом отчета. Так бывают умнейшие люди, неинтересные в широком круге разговаривающих, если у них главные темы разговора футбол, спорт, рыбалка, охота, выпивка и бабы... Правда, у Пушкина можно найти почти все, но, боюсь, слишком «высокопарно», и ему могла бы сказать женщина Юля, как мне: «Пишешь всякую «фуфню», а ты бы написал что-нибудь для нас, для народа!»

И кажется в унынии, что скоро некому будет его читать...

Но, к счастью, есть некий круг писателей, размышляющих о том же, о чем размышлял и Пушкин, и только им он по настоящему и нужен.

Два года назад я был в Михайловском с Володей Т., мы сидели на берегу Сороти с сыном Т. А. Шумовского Иосифом Теодоровичем, написавшим о Пушкине в Михайловском прекрасную книгу, он читал Пушкинские стихи наизусть, глядя на окрестные деревеньки, берег, лес, поля и дороги, и я понял, что Пушкин писал для нас троих, как теперь понимаю, разговаривая с ним, что он временами писал для меня одного.

Я думаю о том, что такое народ, что нас к нему привязывает и привязывает ли, и не там ли Родина, где хорошо, и надо ли за нее отдавать жизнь, как и за женщину, и надо ли их любить до гроба... И те, которые у костра пьют водку и говорят о рыбалке, тоже нуждаются в Пушкине, но не для развлечения, а для разговора.

Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Стихотворение загадочное... Не всё и мне в нем понятно. Но его я разбирать не буду, так как теперь спокоен, обменявшись в дороге с Александром Сергеевичем двумя-тремя фразами: ему уже подали дилижанс, а я лечу на «Ласточке». Я всю жизнь сетую, что у меня мало читателей, но все же их есть несколько человек, притом замечательных, каждый на вес золота!

Намного ли больше их и у Александра Сергеевича, особенно в наш не читающий век, когда пишущих неизмеримо больше, чем читающих? И я, редактор, критикан, комментатор, – лучший читатель классических авторов! Но если они, великие, писали для таких, как я, то и этого достаточно: больше ли читателей у Гомера, Платона, Аристотеля, Канта? Вот собирался недавно наш философский кружок, просуществовавший двадцать пять лет: после двух расколов осталось, кажется, пятеро, во всяком случае, на последнем собрании нас было столько. Но и во времена Аристотеля больше ли собиралось на их дружеские пирушки, прочитайте в поэме Платона «Пир»; а во времена Канта больше ли было читателей у знаменитого философа? Правда, Кант был знаменит, но это определялось тем, что сам слой пишущих и читающих был узок, и знаменитым приходилось быть или не быть именно в этом узком кругу.

3. Любовь как СИНТЕЗ духовного и плотского

Шопенгауэр пишет (якобы) Метафизику любви, в которой кроме биологии, то есть инстинктов, сходных у всего живого, да и то в абстрактно-пустой форме, нет более ничего. Половой инстинкт, соединяющий двух особей противоположного пола, показан почти неразличительно, только что если «малорослые мужчины тяготеют к большим женщинам, блондинки любят brunetов и т.д.» – и все в таком роде. Но откуда почерпает поэт подлинное знание вещей и явлений? Либо из своего духовного опыта, либо из своего сердца. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром/ Москва, спаленная пожаром/, Французу отдана?» – спрашивает юный Лермонтов. И ему ли искать ответа на этот вопрос у историков, или историкам у него? Вот так и что такое любовь: поэты и влюбленные знают это лучше засушенных престарелых философов!

Поэтому и я всмотрюсь в собственную душу и ее воспоминания, они мне скажут больше правды.

Почти все биологические явления, и в том числе так называемые *инстинкты*, то есть словно бы бессознательные движения (природа которых не стала понятнее от того, что мы их поименовали) непременно связаны с эмоциями и размышлениями. Половой инстинкт у мужчины, заключающийся в *стремлении к обладанию и наслаждению* (а Шопенгауэр пишет, кстати, «инстинкт обыкновенно и присущ только животным, и к тому же преимущественно низшим, которые меньше всего одарены умом»), вероятно, имея в виду мужчин, и в этом случае он довольно пронизителен), все же, несмотря на их примитивность, неотделим от стремления к красоте и восхищения ею.

К женщине меня почти только красота и тянула, и я настолько бывал восхищен и очарован ее прелестью, что обычно на этом и останавливался, не делая больше никаких движений (да и другие поэты, даже и более мужественные, чем я, чувствовали так же, например, Есенин: «Мне бы *только смотреть на тебя*, Видеть глаз темно-синий омут...»).

А любовь с первого взгляда и была похожа на то, что испытываем мы в изобразительном музее, останавливаясь перед очаровавшей нас картиной, мы проходим мимо нее и вдруг бросаем мимолетный взгляд и застываем!..

И кстати, мне никогда не приходилось завоевывать женщину, добиваться ее, даже выбирать не приходилось, и так как в картинной галерее мой восхищенный взор останавливается перед десятками полотен с изображениями женщин, то очевидно, что восхищаюсь я красотой без цели зачать с красоткой совместного ребенка (или хотя бы испытать с нею наслаждение).

Господи, и каким глупостям приходится выражать!!! А если прочитать, что пишет Платон о цели искусства, о необходимости цензуры и убогом выборе того, что можно разрешать, в назидательных и воспитательных целях, а что необходимо карать, огнем и мечом, то даже и советская свирепая цензура покажется сносной. А запрет христиан на изображение уныния, отчаяния, сомнения?! Так у них ли искать ответы на вопрос, что такое любовь, смешавшая в себе все, что принадлежит жизни?!

Итак, женщину я любил как цветы, как северное сияние, как утреннюю зарю и как вечернюю, как сестру и богиню, как читательницу и ученицу, поклонницу, слушательницу, подругу, возлюбленную...

Но я ее не соблазнял, не совращал, не тащил в кусты. Мне достаточно было смотреть на нее или с нею разговаривать. Вероятно, и ей этого было достаточно, слушали меня девушки или девочки всегда восхищенно, правда, бывало и так, что те правильные женщины, которые оказывались случайно рядом, когда я запевал свою песнь соловья, предлагали меня расстрелять.

Приведу два случая восхищенной влюбленности.

Мне двадцать два года, я учитель, она учится в восьмом классе (не у меня), мы сталкиваемся впервые после уроков в пустом коридоре. Она красива как утренняя заря в середине мая, как капелька росы на лепестке алого мака. Мы остановились, я утонул в ее синих как предгрозовое небо глазах. Как возникает любовь? Она уже существует, некий небесный поэт пишет стихотворение о встрече учителя и ученицы, и мы встречаемся, и мы пропадаем. Но я уже был обручен, через день приезжала моя невеста, поэтому с юной красавицей я встретился еще только раз, в сумерки, уходя из школы (и на завтра я насовсем уехал). Мы стояли и смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова, мы были счастливы как в раю, и одновременно несчастны, но ни тени огорчения или ропота: наша встреча была из тех, которые оправдывают жизнь.

В другой раз ей было девятнадцать лет, и мне чуть больше, и я еще свободен, но не свободна она, мы шли навстречу друг другу по коридору матмеха, остановились, и первое, что она сказала, что она замужем.

Я буду стоять на другой стороне улицы, когда вы будете приходить на лекцию, ответил я ей. Она немного подумала и предложила помочь ей в подготовке к экзамену, мы сели за парту, открыли учебник, и время остановилось, потом она меня поцеловала.

Когда же мы соблазняли друг друга или же выбирали?

И если целью любви мужчины является обладание, то почему я отказался, чтобы она стала моей любовницей, когда она мне это предложила?

Или это другая любовь, или я не такой мужчина, о которых пишут философы, или это не те философы, которые могут нам объяснить, что такое любовь. Впрочем, даже когда пятилетнее дитя говорит: «Мамочка, я тебя люблю!» – она понимает чувством, что такое любовь, еще не умея читать. А это та же самая (почти) любовь (только другая форма ее), которая связывает мужчину и женщину. (Впрочем, литература нам показывает, что их невозможно свести к общему знаменателю, поэтому и я, говорящий по крайней мере не тривиальные глупости о любви, ничего, существенно ее исчерпывающего, о ней не скажу. И даже апостол Павел, которого я часто цитирую, сказал о любви не о той, которую испытывают мужчины, но и «не о любви к ближнему», а о любви сострадания и восхищения вместе, во всяком случае, хотя его любовь безмерно кроткая, она и трагическая, может быть та, о которой сказал Тютчев как о сиянии «любви последней, зари вечерней».)

А половой инстинкт у женщины? Читаем у Шопенгауэра: «женщинами руководит не вкус, а инстинкт... некрасивый, глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины человека образованного, даровитого и достойного» (несчастный философ, не везло ему в любви!); «всякий любит то, чего недостаёт ему самому» – как избито! Наоборот, *всякий любит сообразно*

уровню своей личности, не бывает у благородного человека любви пошлой, да, притом, именно в любви (да еще, вероятно, в тюрьме и на войне) человек раскрывается наиболее полно. То, что у Сократа была сварливая жена, Ксантипа... да у такого развратного пьяницы хорошо хоть такая была!

Но, впрочем, хватит. Природа, якобы, руководит индивидом, и он ведет себя только как камень под действием силы тяжести, поэтому не буду о женщине ссылаться на Шопенгауэра, ничего более умного, чем руководство природы и бессознательного, мы у него не найдем.

Та любовь, о которой мы читаем в романах, которую испытываем сами или наблюдаем в окружающем мире, несколько отличается от той любви, сентенции о которой философ подтверждает ссылками на жизнь жуков или других таких же грациозных животных.

Поэтому далее скажу несколько слов о любви, основанных на моем личном опыте и размышлении.

Половой инстинкт у женщины – это ее материнская любовь, которая распространяется не только на ребенка, но пронизывает и род и народ. Но так как ничто *только биологическое* не является в основании побуждений и действий, составляющих человеческую жизнь, то сердцевинной женской любви является *сострадание*, жалость, сочувствие, точнее говоря, *стремление защитить то существо*, с которым она сталкивается в страдательных отношениях. «Она меня за муки полюбила» – слова Отелло о Дездемоне, прекрасно характеризуют всякую женщину.

Но и высшие духовные проявления человека связаны с плотью, подобно тому, как и Красота вступает с плотью в союз для своего выражения.

Всякая эмоция сопряжена с какого либо рода физиологической основой, с рефлексом или инстинктом, так как человек и дух и плоть вместе, и духовное в нем содержит и плотское (хотя сие не значит, что плотское является главным, а что главное в любви, не задается отношением мужчины к женщине, а только отношением именно этого мужчины к этой женщине).

И поэтому сострадание имеет первооснову и в материнском инстинкте (хотя это не значит, что сострадание вторично), а именно: ребенок наиболее защищен, когда находится в лоне матери, поэтому женщине свойственно некоторое стремление вместить другого в себя, облечь собою, принять в свое лоно (это наряду с половым инстинктом продолжения рода). В соитии мужчина проникает в ее плоть, погружается в нее, в известном смысле растворяется в ней, становится ее частью, а женщина принимает, окружает, облекает, делает его частью себя. И потому и наслаждение женщины имеет более духовный, более интеллектуальный, и более нравственный характер. Возможно, и сама нравственность женской природы. Если вспомнить, как умиляется женщина-крестьянка, когда кормит даже чужого ей человека, то в этом можно тоже найти аналогию с половым инстинктом: так умиляется женщина, когда кормит ребенка грудью.

Мужчина тоже способен любить возвышенно и благородно, если он будет пытаться любить не только грубо эгоистически, но и сострадающе, стремясь отдать себя не для себя, а для другого.

4. *Любовь как Откровение, Благодать и Прорыв*

Все, что мы здесь говорим, и я, и философы, связано с тем, что человек вместе и дух и плоть, и преимущественнее Дух, нежели Плоть (с чем материалисты решительно не согласны), а потому и любовь содержит в себе и духовно-душевное, и плотское, и потому эмоции, побуждения, желания, страхи и надежды, стремления и сомнения – в любви преобладают над ее телесностью; в конце концов, даже когда двое становятся единою плотью, то это, быть может, наивысший духовный порыв. Звуки составляют физическую основу и музыки Скрябина и Рахманинова, и они же – в скрежете ножа, в городском шуме, в грубом хохоте. Музыка не становится менее божественной оттого, что ее звуки исторгаются ударами по клавишам фортепьяно.

Поэтому, даже сужая явление любви безмерно, скажу так, что в мужчине любовь – это синтез восхищения и жажды обладания (но множество еще и других чувств, да к тому же даже самый грубый мужчина не только мужчина, но содержит в себе и нечто детское, и нечто женское); а в женщине любовь – это синтез материнского влечения и стремления защитить и сочувствовать (хотя и стремление к обладанию и наслаждению по-мужски в ней тоже должно присутствовать, не будучи главным).

И все же, и все же... Математическая кривая, например, гипербола, всеми своими миллиардами обыденных точек неотличима от такой же параболы, и только точка разрыва в начале координат делает ее гиперболой. В любви есть нечто, что выше всех предыдущих рассуждений и даже, быть может, их все отменяет. Поэтому роман, или повесть, или новелла о любви (как у Мериме) больше о ней говорят, говоря об одной из миллионов, а философские рассуждения, даже и мои, говоря обо всех сразу, сбиваются на банальности и пошлости. Так ведь и о театре на Фонтанке можно говорить, припоминая спектакли, актрис и актеров, мои записочки и встречи с одной из них, а можно рассказывать об устройстве зала и сцены, что тоже немаловажно и в театре присутствует. Если бы любовь состояла лишь в стремлении к обладанию и наслаждению, то она бы и кончалась тут же, как только достигнута ее цель, но она продолжается на десятилетия, хотя отчасти и видоизменяется, следовательно, в ней есть и нечто другое, кроме инстинкта.

Правда, и математические кривые не все претерпевают разрыв, и не всякая любовь удивит читателя – но много ли мы знаем о тех житейских драмах (в том числе и любовных), которые происходят иногда рядом с нами, скрытые стенами чужих жилищ?

И обычная деревенская женщина с нелепой и разгульной судьбой может стать героиней новеллы, и ее жизнь – не заурядна, хотя в философском исследовании ей не достанется даже запятой. «Счастливы все одинаково, но каждый несчастный несчастлив по-своему», – заметил Лев Толстой в Анне Карениной. Но так же каждый и любит по-своему.

Но среди бесконечного моря влюбленностей, то освещаемых солнцем, то окропленных дождем, встречаются особенные, словно смерчи, ураганы, бури и наводнения, когда сдвигаются материка в индивидуальных судьбах, и даже *парки* перестают ткать их нити.

Что происходит необыкновенного в каждой конкретной любви, то и определяет ее характер, и является ее мистическим центром, ее сердцевиной, является сущностью любви и самой любовью. Пусть даже этот характер не похож на другие, не имеет типических черт, не соединяет данное частное с общим – тем лучше!

Но бывают особенные минуты или только мгновения даже в тех бурях, которые уносят влюбленных. Эти минуты и эти мгновения и определяют судьбу судьбы, вектор множества сил, равно действующих в любовной драме, тогда кажется, что остановилось и само время, или оно закончилось, или происходит его обрушение (если это *особенное* трагично). Это почти то же, что выстрел Шатова (в «Бесах» Достоевского), которого все ждали и торопили, или трансцендентная встреча апостола Павла с Христом по дороге в Дамаск, переменявшая всю его жизнь.

Это *особенное* и есть вся сущность любви, по отношению к чему и плотская и духовная её составляющие не более чем сцена, на которой разыгрывается любовная драма.

Иногда это первая встреча, первое мгновение этой встречи; иногда это некоторое событие, случаемся позже. Состояние, которое мне приходилось испытывать, похоже на Северное сияние, охватившее не только небо, но и все пространство души.

Мистические мгновения присутствия божества называются состоянием Божественной благодати; такие же состояния бывают и в любви. Это же состояние, возникшее после томительной духовной жажды, описывается Пушкиным в стихотворении Пророк, когда *«И внял я неба грохотанье, И горный ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье.»*

Иногда словно бы раздвигается полог, отделяющий Бытие от Инобытия, оказываешься на границе (но вне обоих миров) земного и небесного. Состояние блаженства, подобное состоянию Божественной благодати, передает и музыка Вагнера в опере «Лоэнгрин».

Но не удел ли это только единиц, еще меньшей горстки, нежели та малая горсть, о которой говорит Христос, что она спасена будет?

И не превозношу ли я любовь вместо веры, и не превозношу ли я любовь к женщине вместо любви к Богу?

Но апостол сравнивает любовь и веру, и говорит: *«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.»*

И апостол ясно показывает, что речь идет не о любви к Богу, а о любви к человеку: *«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.»*

Все подлинное, что мы знаем о мире, мы узнаём через любовь. Быть может, это любовь к женщине, или материнская любовь... Или так можно любить и постороннего человека, не мать, не возлюбленную, не друга?

5. *Любовь как единственная форма полноты и целостности мира*

Тысячу уже раз повторяюсь, – но ведь и Евангелия повторяют отчасти друг друга.

Вероятно, у меня уже много сказанного – но разве всё не существенно? Или всем известно?

Итак, *мужчина любит женщину*, потому что им движет *жажда её обладания*, сила, осуществляющая себя через плоть как всемирное тяготение. Эта жажда утоляет себя через наслаждение и сама является наслаждением (и болью). Мужчина стремится заполнить женщину собою, потому что им движет *самоутверждение* (или воля к жизни, как ее называет Шопенгауэр).

Стремясь к обладанию и наслаждению, мужчина осуществляет миссию женщины по продолжению рода, хотя эта его страсть не является осуществлением полового инстинкта в буквальном смысле этого слова, ни сознательно ни бессознательно. Так черви, пожирающие землю, ее рыхлят, но движет ведь ими не инстинкт разрыхления земли?!

Это стремление к обладанию является своего рода плотской составляющей любви. Но мужчиною движет и более возвышенное стремление, он ищет в женщине идеал красоты, но не для обладания, а для восхищения. Женщина – богиня, он возносит ее на пьедестал и ей поклоняется. В ней совершенно все, и походка, и голос, и стан, и лицо, и характер, и отношение к миру.

Обладание требует покорности и унижения от неё, *восхищение* заставляет мужчину поклоняться женщине и ей служить.

Женщина любит мужчину, потому что ею движет, во-первых, *материнский инстинкт*, во-вторых – *сострадание*. Но так как и женщину мужчина в той или иной степени вмещает в себя и может любить не только по мужски, но и по-женски, то, следовательно, часто источником любви и у него является сострадание, как у женщины.

Однако, и эти рассуждения односторонни. Прежде всего, любовь вмещает в себя еще множество разнородных чувств, не связанных ни с физическим наслаждением, ни с материнским инстинктом: и сочувствие, и симпатия, и общность интересов, и привычка, и дружба (лежащая часто в основании любви и в основании брака); во-вторых, мы рассматриваем любовь статически, как она есть, а она динамична, она меняется во времени, в шестнадцать лет подросток движим иногда одною потребностью: затащить в кусты и там ее *трахнуть*, никакой потребностью продолжения рода он не озабочен, но в двадцать пять у него появляется потребность иметь детей и любить их, и он становится другим. Правда, Шопенгауэр говорит, что если мужчина не испытывает потребности в продолжении рода, то это ничего не значит, стремясь к восхищению или стремясь к наслаждению, он исполняет заданное ему предназначение – и все же, поглощая землю, то есть осуществляя *инстинкт потребления* (как и члены буржуазного общества, все эти благонамеренные граждане, озабоченные с утра до ночи работой, едой и приобретением), разве червяк осуществляет инстинкт разрыхления? Нет, им движет первый инстинкт, а разрыхление является косвенным следствием,

хотя, впрочем, если представить Природу в виде конструктора (что, конечно, более соответствует образу Демиурга), и все ее действия представить как телеологически оправданные, как будущие движения и реплики заранее написанной пьесы, то можно видеть и эти две функции как взаимосвязанные, и можно тогда связать и эстетическое восхищение красою с служебной функцией помощи в зачатии: не хочешь опылать цветок, то обладай им и наслаждайся, не хочешь наслаждаться, то восхищайся, а там как-нибудь незаметно... Все сие верно до некоторой степени, ибо в нас действуют и душевные склонности и телесные, но они взаимосвязаны, и красота видима через посредство плоти, и нежность не всегда выразима в словах, но требует и прикосновений... Ладно, вернусь на землю, я отвлекся...

Итак, любовь протекает во времени, наступает и такое время, когда страсть ослабевает, но любящие не расстаются, потому что любовь и не одномерна, она не только в виде прямой линии, но даже в трехмерном пространстве.

Но она соединяет и Бытие и Инобытие.

И в ней находится *Преображение бытия*, когда на ясном ночном небосклоне вдруг начинает гореть и разгораться небесный огонь, «ярче тысячи солнц» (из Махабхараты), и забываются не только инстинкты, но и все глупые рассуждения самонадеянных философов, и предстают и переживаются Истина, Красота, Добро и Предназначение как одно целое.

Попробую на небольшом житейском примере объяснить мною сказанное.

Мы с женой собрались за брусникой в начале сентября, долго ехали на двух электричках, ожидали, пересаживались, тряслись в автобусе по пыльной дороге с ухабами, шли пешком четыре километра по грязной дороге с лужами, потом свернули в болото и через параллельные гряды, то поднимаясь на них, то вновь погружаясь в болото, тащились еще три километра, жена падала, я ее поднимал, сам уже изнемогая, наконец поднялись на последнюю гряду и перед нами открылась Ладога, сверкающая в лучах заходящего солнца. Дыхание прервалось, восхищение заполнило каждую клеточку тела и каждый импульс души.

Вот, оказывается, зачем мы так трудно тащились!

Есть и в любви этот узел бытия, это сердце вселенной, этот гремящий водопад неподвижного времени, этот вдруг охвативший весь мир неопалюющий огонь, это превращение плоти и ее красоты в нескончаемое сияние!

Та любовь, которая повелевается как «любовь к ближнему», это любовь родовая, это необходимость любить своих близких и своих единоплеменников. Но эта любовь не направлена на конкретного человека и не имеет страсти, поэтому в ней нет напряжения воли – и не о ней возвышенные строки апостола Павла. Но она не что иное как *милосердие*, без которого и мужская страсть, и женское сострадание (стремление защитить), и восхищение – ничто. Это любовь *безличная*, ко всякому прохожему, но без нее и любовь *личная* несущественна. Следовательно, самоутверждение и страсть к обладанию и наслаждению, восхищение, материнское чувство, сострадание и милосердие, Дух и Плоть вместе – вот что такое любовь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Личность, семья, народ

1. Раздраженные замечания по разным поводам...

4 июня, четверг, 17-45. Еду в Университет на концерт, в сумке термос с чаем для милки, на коленях компьютер... Хотя книга моя мне уже надоела, но надо бы что-то и «о народе написать, не все об интеллигенции», – но что хорошего о нем я могу написать? Повторюсь, что Народ, как я теперь думаю, это уже не Личность, а семейный союз двух, мужчины и женщины, мужчина в последнее столетие ведет себя плохо, пьет, дебоширит, лупит свою вторую половину почем зря, а та все терпит, и все своего "Иванушку" пытается оправдать.

Гнать этого Иванушку надо из дому, а не оправданье подыскивать да на поруки брать!

Но как и Любовь – не только влечение плоти, но и сложная жизнь двух душ, восхищение и сострадание; да сверх того еще и сверхБытие, сверх-Состояние, Прорыв земного в небесное, то не та же ли троичность объяснит и народ? Не объяснит ли троичность и Личность, в которой соединение души с телом не снимает трагизм бытия? Если не усугубляет?..

Красиво сказано у Владимира Соловьева: «*Народ не то, что он думает сам о себе во времени, но что Бог думает о нем в вечности!*» – только эта красивая фраза ничего не объясняет. Не думаю, что надо отменить все, что думает народ сам о себе, хоть что-то и он думает верно, а потому я слегка изменил бы сказанное: *Народ не только то, что он сам о себе думает, но и...* А все же, пока мы не знаем, что именно думает о нас Бог, не будем успокаиваться сказанным. Ибо и это только красивые слова, и философы и богословы, ссылающиеся на Бога, ничем не рискуют, проверить их нельзя, не пойдешь ведь у Бога спрашивать, говорил он тому-то то и сё...

21-31. Большой симфонический оркестр, Первый концерт для скрипки с оркестром Моцарта и Пятая симфония Бетховена...

От университета шли пешком до Василеостровской, начинаются белые ночи, нам предстал изумительный город... Какое громадное культурное наследие мы имеем в нем сегодня, как много дал европейский девятнадцатый век! Двадцатое столетие богато техническими достижениями, – но что мы можем прочитать существенного о творцах двадцатого века?

2. Бог или народ?

Бог еврейского народа совпадал с самим народом, они были неразделимы, повеления любить Бога и любить ближних дополняли друг из друга, ибо ближние были единоплеменники, и потому семейная и родовая любовь и была «любовью к ближнему». И когда Апостол Павел в Послании к евреям задал им роковой вопрос, принимают ли они нового Бога, Христа, то евреи от него отказались, чтобы сохранить своего народного Бога, и христианство стало религией языческих народов. Бог отделился и от Народа и от человека, уже не совпадая с ними, а противостоя, поэтому, утверждая в основании всей жизни

любовь к Богу, приходилось отказываться и от любви «половой», между мужчиной и женщиной, и от родовой, а, следовательно, и от народа и от человека (и *любовь к ближним*, сохранявшаяся как необходимая заповедь, становилась схоластической, ни на чем не основанной любовью к случайным прохожим, и даже не ожесточившись с милосердием).

Здесь мне придется сделать удивительное замечание.

В женской любви важнейшее значение имеет сострадание, милосердие, желание защитить то, что нуждается в помощи, принять внешнее внутрь себя, облечь собою, а точнее говоря, облечь внешний мир тою своею частью, из которой этот внешний мир появляется. Защитительный инстинкт оказывается связанным с вынашиванием плода и с зачатием. Принимая в себя семя – что и является истоком бытия и последующего рождения мира, женщина укрывает его от внешнего, скрывает в себе, что онтологически связано с стремлением к тому, чтобы защитить семя.

Мужчина осаждает и штурмует крепость, женщина сопротивляется, препятствует проникновению его в свой стан, а затем стремится укрыть его целиком в своем лоне, то есть в табуированной части своей плоти.

Следовательно, тайна любви не отделима от плоти и от источника жизни, но тайна любви не может быть отделена и от рождения нового человека, от семьи, от рода, а, следовательно, и от народа.

Повелевая не любить женщину, не прикасаться к ней, повелевая относиться к женщине как к чему-то низкому, грязному, скверному, источнику греха, христианство отрекалось и от народа, и от мира – миру сему (земному) противопоставляя мир небесный, и отвергая необходимость и возможность улучшения сего мира.

На днях один критик мои «Записки об улучшении мира» назвал фантазиями подростка, советуя улучшать себя самого, а не мир.

Чем же заменить любовь к женщине, семье, природе, народу и окружающему нас миру, любовь к культуре, истории, «к родному пепелищу и отеческим гробам»? «Любовью к ближнему» – бессодержательной фантазией старцев, не способных к любви? Не способных уже и к «фантазиям подростка»?

И культура в целом и даже музыка неотделимы от плоти. Симфония не существует только как умозрительное множество звуков, ее идеальное содержание воплощено в них через музыкальные инструменты, которые различимы в ее звучании, существуют и оркестр и музыканты, и на одну из них я смотрю и движения ее руки с скрипкой дополняют симфонию... Плоть романа содержится в языке, в слове, в интонациях, в нем слышатся то уличный говор, то одесский колорит, то развязность толпы, то строгость науки. Не говоря уж о живописи, архитектуре, ваянии, в которых плоть почти является духом, как дерево, мрамор и бронза в скульптуре, масло или гуашь в картине, камень или дерево в здании.

Иллюзии не только не поднимают к духу, но развращают читателя или зрителя. Я плакал, сопереживая любви в романах Натальи Троицкой, но возможно ли заплакать о неразделенной *платонической любви*, читая

платоновский «Пир», где о любви рассуждают беспутные пьяные философы, взирая на юношей, но не на дев?

И не вдохновляют меня страховские и леонтьевские описания святой любви на Афоне, и Владимир Соловьев и Александр Блок, писавшие о бесплотной любви к «Прекрасной даме», не возвысили мне душу так, как *«Мне бы только глядеть на тебя, Видеть глаз темно-синий омут!»* Сергея Есенина.

И любовь к человечеству меня не вдохновляет так же, как *«Если кликнет рать святая: Кинь ты Русь, живи в раю! Я скажу: Не надо рая! Дайте родину мою!»* И отец мой на Безымянной высоте погиб за Родину, которая нас породила в страсти и первородном грехе, за свою и за мою мать, но не за человечество!

А перечтите послания апостола Павла, особенно его «К Евреям»! Вот где драма страдающей национальной любви, как он метался, прежде чем воскликнул, отрекаясь от веры предков, неотделимой от их пепелищ: «Отныне несть ни Еллина, ни Иудея!»

Возможно ли любить, не стремясь к таинству плоти, даже не к наслаждению ею, а именно только к сознанию и ощущению таинства? Из какого источника истекает любовь, из плоти и сладости ее или из жажды уберечь, защитить, помочь? Из обладания или сострадания? Или из того и другого?

Смысл любви и в томлении плоти, и в восхищении, и в сострадании, и в рождении ребенка, и даже, вероятно, не все мне еще открыто...

Мне предстоит спасти одну женщину, одну семью и один народ. Так мне сказали волхвы и подтвердили музы. И забота о спасении собственной души не тревожит меня. Конечно, я не уверен, что мне удастся исполнить порученное, но я ищу дорогу, и хотя бы пока мысли и образы, слова и строки...

3. Предназначение России

«...какова же та *мысль*, которую [Россия] скрывает за собою или открывает нам; каков *идеальный* принцип, одушевляющий это огромное тело, какое новое *слово* этот новый народ скажет человечеству; что желает он *сделать* в истории мира?» – спрашивает Владимир Соловьев в «Национальной идее». И отвечает: «ни один народ не может жить в себе, чрез себя и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное участие в общей жизни человечества. Органическая функция, которая возложена на ту или другую нацию в этой вселенской жизни, – вот ее истинная национальная идея, предвечно установленная в плане Бога.»

Вот где истоки и смысл Русской революции, которая была русской настолько же, насколько справедливы эти слова о призвании России служить миру. Мы словно бы всю историю призваны носить жар для других нашими руками, и татаро-монгольская орда остановилась на наших землях, растворяясь в них и не дойдя до Европы; и от Наполеона мы Европу спасли (хотя Кутузов и был против перехода русских войск через границу и преследования Наполеона после его исшествия из России); и от Гитлера. А что заслужили? Ненависть почти всех народов этой самой Европы. Так в чем же призвание

России? И возможно ли говорить о призвании, игнорируя национальную личность, растворяя ее во всеобщем, делая частью чуждого безнационального, бесплотного целого?! Все эти высокопарные слова о духовном предназначении, когда Россия больна и народ вымирает, не только бесплотны, но и бездушны, не только бездушны, но и далеки от духа любви. Необходимо и впрямь «различение духов», ибо и дьявол дух, и воинство его духовно, Интернет переполнен славословиями духовной любви – но не новое ли скопчество, под знаменем духа, в наступлении, то же самое, что во времена иконоборчества?! И разве Ислам не под знаменами духа стремится ныне вновь завоевать Европу?

4. Свобода, справедливость, любовь

Я о России писал уже немало, поэтому не буду анализировать далее ни Вл. Соловьева, ни Достоевского, ни Страхова.

Хотя христианство и несовместимо с любовью к собственному народу и с национализмом, как несовместим с любовью к собственному народу и интернациональный «русский» социализм (как и национальный немецкий), но я более уже не буду нападать ни на социализм, все о нем сказано у Шафаревича в его книге «Социализм как явление мировой истории», ни на христианство, достаточно о нем сказано у Розанова в его «Людах лунного света». Пусть существуют в России и коммунисты и православная церковь – я только против государственной поддержки этих двух институтов общественного бытия. Пусть и партии и церковь существуют за счет своих сторонников.

Если и справедливо, что католицизм ищет справедливость, протестантизм свободу, а русское православие ищет любовь, то чтобы найти все три категории бытия, надо искать их на другой дороге, и я вижу эту дорогу в национальном сознании и в национальной культуре. Впрочем, хотя я и заметил, что Европа нас ненавидит, но я не хочу Россию противопоставлять Европе: мы не должны ни растворяться в ней (как и во вселенском человечестве Достоевского и Владимира Соловьева), ни противостоять ей, ибо у нас одни корни: сначала эллинская культура, затем римская цивилизация и государственность, затем христианство. А потом Возрождение и Просвещение и злосчастные Революции, у них Французская, у нас псевдоРусская.

5. Читателю

Для кого я писал? Вероятно, я искал (по Ухтомскому) «достойного собеседника», так что все таки писал не для себя одного. Но общенародный читатель меня не прочтет, потому что неинтересны ему исследования и о христианстве (которое ему уже кажется давно позавчерашним днем, он о нем и не вспоминает), и о социализме (которое ему кажется днем вчерашним, он о нем тоже уже забыл, он строит светлое будущее для себя одного или для своей семьи). Читатель-христианин меня не поймет тоже – ибо только я, возражающий схоластике «любви к ближнему», движимый природными чувствами милосердия и жалости, тащу пьяных, зимой и летом, от зимнего коглована и от больно бьющейся каменной дороге, – но более никто.

А поэтому пусть уж читатели меня не читают, но хотя бы пишут свое, и я их прочитаю, пойму, посочувствую и объясню. Ибо это парадоксальное отношение двух, читающего и пишущего, только и возможно в наше хотя и трагическое, но пустое, бездушное и не духовное время.

Это удивительное отношение осуществилось потому, что я еще не научился читать, но существеннейшая моя связь с ними состоит в том, что я их не только читаю, но обдумываю, анализирую и понимаю (или стараюсь понять), то есть, являюсь, прежде всего, их редактором. А они, писатели, мои единственные подлинные читатели, они читают мои комментарии и книги, и иногда откликаются на мои «Записки редактора».

6. Трагедия бытия и Любовь

А что же за книгу я уже как будто дописываю? Это удивительно, но тема ее мне еще так и не стала ясной, и хотя я не возражаю критикам и справа и слева, что книги мои вторичны, избиты, бездарны и *ни о чём* – но и боюсь их переписывать и исправлять, так как энергия моя уже иссякла, да есть и другие дела кроме книги.

Но все же книга эта удивительна, так как писал ее я не один, ночью приходили изредка музы (поэтому поместил я несколько стихотворений), а под утро волхвы. И те и другие мне что-нибудь сообщали, проснувшись, пытался я сказанное ими записать на бумагу.

6 июня, суббота, 11-00. Сегодня Пушкинский день, наверное, знаменательно, что сегодня я дописываю последнюю главу (так я думал – *13 сент., редактируя и сокращая*). Мне казалось, что последние строки ее непременно должны быть трагическими, не такой уж я надеющийся, уверенный, не такой уж я самоуверенный, чтобы книга началась и закончилась как похваление.

Пока ее я писал, вмешательство сверхъестественных сил было несомненно. Отдельные идеи я мог понять только с их помощью, а многое узнавал впервые, так впервые я осознал троичность Любви (между мужчиной и женщиной), впервые я стал предчувствовать, что и Народ троичен, что в нем не только две противостоящие личности, мужская и женская, но и нечто, что их объединяет и над ними возвышается, только эту третью ипостась народа, то, чем он является в синтезе, я вижу пока смутно и ничего об этом не написал еще.

В еще несомненное было вмешательство сверхъестественных сил в мою собственную жизнь. Чувства, идеи и события ее должны были выстраиваться таким способом, чтобы я писал о любви не только из книг и из воспоминаний, и из воображения, хотя бы и творческого, но и из собственного действительного духовного опыта. И так все и было.

Кратко повторю кое-что.

В любви (особенно в любви мужчины к женщине) есть стремление и страсть (двойкой природы, и физической, природной, и метафизической, надприродной), есть и сочувствие, сострадание, нежность; и есть еще Нечто, что «*ярче тысячи солнц*».

Женщина любит еще особенной «материнской любовью», которая отчасти повторяет и чувственное притяжение, и нежность, и сострадание, но имеет

особенное, отличающее ее от всякой другой любви, свойство: *потребность защитить, уберечь, помочь, спасти.*

Несмотря на то, что и в этой любви есть природная основа (как в человеке есть и душа и плоть, но не одна только душа, но при этом душа не вырастает из плоти, и не зависима полностью от нее, и не является следствием ее), но во всем существенном эта любовь является самой высокой формой любви и пронизывает собою отношения в природе, в семье, в обществе, так что и сама Земля является как «Мать-сыра-Земля».

Любовь между мужчиной и женщиной поэтому включает в себя всё почти человеческое (включает иногда и ненависть, и разочарование, и тоску и скуку), и самое возвышенное, что есть в человеке: стремление к восхищению красотой и стремление защитить и спасти другого, того, кого полюбил.

Земная плотская страсть присутствует во всем, и в этом тоже, но страсть к восхищению красотой и стремление спасти другого не происходят из стремления к обладанию; все чувства отчасти двойны, духовны и природны, и все же стремление к обладанию надо отделять от восхищения красотой, ибо отождествление всего человеческого, его мыслей и эмоций с веществом, насмешливо говоря, это просто болезнь человеческого сознания, не способного к дуалистическому пониманию бытия (не говоря уж о сверхбытии, которое тоже отчасти присутствует в нашем мире).

«Нет чувства выше товарищества!» – восклицал Гоголь, возвышая это чувство даже над материнской любовью; «Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать» – добавлял Тютчев.

Я им не возражаю, так как мои рассуждения о любви-спасении навеяны сходными чувствами, и то товарищество, которое направлено не к себе, а к другому, и то сочувствие, которое так же направлено к другому – это та же любовь-спасение, которая присутствует в материнской любви, и я испытывал те же самые чувства, и потребность Спасения, и Сочувствие-благодать, и вдохновенное чувство умиленной дружбы.

Высшие силы заставили меня испытать весь этот сложный комплекс чувств для того, чтобы я возразил вульгарному и пошлomu низведению высокой человеческой любви только к животному инстинкту (несомненно, присутствующему и в человеке), и чтобы возразил той идеализации человеческих чувств, которая лишает их жизни и превращает в пустые бессодержательные схемы (в любовь к «Прекрасной Даме» и в стремление выработать новую двуполоую личность).

Любовь есть Тайна. И плоть человека (особенно женщины) – Тайна. Таинственна и красота, более таинственна, чем стремление к добру и бескорыстной помощи. Я эти тайны не разгадал и не собираюсь срывать с них покровы, я о них напомнил как о Тайнах, я их хоть несколько защитил от вульгаризации. А мне в помощь (но и в величайший дар всей моей жизни) была дарована свыше способность любить ДЛЯ спасения, а не для владения.

Но и жизнь трагична, и любовь тоже. И я чувствую, что блаженство должно скоро кончиться, и мне тоже придется *обливаться слезами.*

Почему «и мне тоже», сейчас объясню.

По служебным делам в некоем учреждении разговорился я с юной девушкой, подарил ей уже три свои книги, разговаривал с ней о любви, она почему-то была со мной откровенна, и призналась, что приходится ей временами *обливаться слезами*.

При другой встрече она уже была весела и сказала, что у нее уже все хорошо. А на днях *обливалась слезами* снова. Но при этом добавила, что так и должно быть, потому что *жизнь – это трагедия*. Трагична и женская доля, и женщине так и суждено быть попеременно счастливой и несчастливой, но женщины сильные, не надо их слишком жалеть, они выдержат всё, и слезы их высохнут тоже.

Потом сердито добавила: И достаточно с вас, идите уж, мне надо работать.

Я особенно-то и не приставал к ней, поэтому обиделся. Но так как и я наполовину женщина, то стал ожидать я слез для себя.

Не забывайте о пользе страданий!
Надо, чтоб жизнь иногда унижала.
Видел и смерти я подлое жало,
Знаю и тщету беззвучных рыданий.
Что наша жизнь? То блаженство, то горе.
Но предаваться унынью опасно.
Только проплывший житейское море,
Знает, что жизнь пусть горька, но прекрасна!

И дождался...

7. Последние замечания

Наконец-то я понял и смысл, точнее, бессмыслицу «любви к ближнему». Часто, впрочем, и сами христиане не повторяют этот библейский завет буквально, посему говорят иногда о милосердии, с которым надо относиться к тем, кто страдает и нуждается в помощи. И разумеется, что милосердие необходимо, оно скрепляет мир, но оно *не является* любовью.

Так что же находят христиане в Новом Завете?

Одни обращают внимание прежде всего на онтологию, переживают идею личного греха и греховности человеческого рода, стараются жить добродетельно, помня при этом, что если грехи не искупить, то попадешь в ад, но раскаиваясь и уповая на милость Божию, будешь прощен. Христос простил блудницу, простит и нас. Это упование на заступничество доброго Бога, переживание Его как доброго прежде всего привлекает сердца и к Учению и к самой личности Спасителя (а что он говорил о малом остатке только тех, кто спасется при втором пришествии, об этом как-то и не думается).

Другие обращают внимание на эсхатологию, верят в вечную жизнь и ждут Воскресения, христианство им дает надежду и избавляет от страха смерти.

Есть и третьи, монахи-отшельники и схимники, живущие в скитах и пещерах, как о том пишет Константин Леонтьев в Записках об Афоне. Зачем подвергают себя страданиям и истязаниям они, чего этим хотят добиться, я не знаю и понять не могу. И что приобретают они, отказываясь от красоты и сладости женщины, а также от семьи и детей?..

Есть и четвертые, богословы, писатели и философы, особенно богоскатели и богостроители. Комментировать их сложно, и спорить с ними еще сложнее, так как они не способны к диалогу с инакомыслящими.

Сказал Христос «Аз есмь истина и Путь», сказал и апостол Павел, что этот мир пройдет, и не надо в нем что-либо менять, а жить надо аки во гробе, то есть НЕ жить. А тогда все смыслы поисков, строительства, деятельности внутри этого мира отпадают, единственное, что можно было бы делать, это жить в пещере, питаясь лишь плодами с окрестных деревьев или акридами и диким медом... Но нет, новые христиане уверяют, что построен только один этаж, и мы еще будем строить и строить... разве здание христианства не достроено?

Наконец, об отношениях христианства к национальному государству: *«Истинная Церковь всегда осудит доктрину, утверждающую, что нет ничего выше национальных интересов»* (Вл. Соловьев).

Ну и, кажется, должно быть ясно, что – или *национальные интересы*, или интересы христианства, притом понимаемые как интересы вселенского христианства (по Вл. Соловьеву). (Как должно было быть ясно, что с христианскими интересами не совпадают никакие интересы, ни науки, ни культуры, ни семьи, ни любви).

Прощаясь с читателем... Несколько человек, все же, меня прочитают?

Но мучает меня не то, что читателей мало, а – стоющую ли книгу я написал?.. По-видимому, нестоющую...

И что же дальше? Продолжать в этом же роде нельзя. Значит, надо сделать перерыв, если только это не последняя книга... Может быть, я умру?

Или написать что-то более серьезное, например, Историю Новой философии?

Волхвы и музы ушли. Если они не вернуться, то ничего толкового я уже не напишу. А эту книгу напечатаю в четырех экземплярах и три отдам трем своим верным читательницам. Что-то они скажут?

Ну, что ж – до встречи?!

8. Пушкин

6 июня, суббота, 20-00. Двести шестнадцать лет со дня рождения Пушкина. Он был, несомненно, трагической личностью, верил в приметы, в черную кошку и в зайца, перебежавшего дорогу, почему и спасся от 14 декабря 1825 года, так как иначе тоже пошел бы на Сенатскую площадь за своими друзьями; верил в предсказания, любил женщин, написал о них прекрасные стихи, из-за них (и высокого чувства чести, как и у Лермонтова), погиб, был народен, но перед народом не лебезил ("Поэт, не дорожи любовью народной!"), был аристократичен, не любил чернь (и высокородную и низкородную), и сказал, обращаясь к ней, *"радующейей унижению высокого, слабостям могучего"*, в защиту гения: "Врете, подлещы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе!"

Пушкин был русским патриотом ("О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России"), но на утверждение Хомякова, будто у русских больше христианской любви, чем на Западе, он отвечает с некоторою

досадою: «Может быть; я не мерил количества братской любви ни в России, ни на Западе, но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны». И прибавляет далее: «Если мы ограничимся своим русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только „приходскую“ литературу».

Почувительно сравнить Пушкина с Владимиром Соловьевым, крупнейшим русским философом (и тоже поэтом).

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чувствуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Какова отличительная особенность христианской литературы?

В ней нет *этого мира*, нет природы и природного человека (русского или француза), нет страстей, природной любви, нет истории, нет движения. В ней застывшая навсегда Истина, вне времени и вне жизни.

Все апологетические писатели, пишущие о мифе, поднимаются над жизнью, или отходят от нее в сторону.

Но как же церковь, богослужение, исповедь, сознание греха и раскаяние? – Да только это и живое, потому что это жизнь самого верующего человека, обращающегося к вере, или жизнь священника.

Именно поэтому, возражая застывшей Истине, противопоставившей себя Миру и Жизни, и возражая слабостям и неправдам церкви, я в целом церковь вовсе не обличаю и не призываю верующих перестать верить и не ходить в храм. Я в него и сам хожу, хотя и редко, и с церковной литературой соприкасаюсь, хотя и редко и косвенно.

Даже на музыкальные концерты хожу в протестантские храмы, и много раз с удовольствием слушал православный церковный хор.

Кто находит помощь своей душе в христианском мифе, того я с радостью похваляю, но кто через миф начинает ругать и мою русскую историю, и культуру, с теми я спорю, да они и совсем недавно были, как правило, приверженцами коммунистического мифа.

Пушкин был трагической личностью, но при этом он был живой, погруженный и в жизнь и в мир, и этот мир не был тенью *того*. Он был и вдохновенный и страстный, и вбирал в себя этот мир, и воспевал его, и преображал своей лирой. Он был поэтом русского мира, и религиозные образы в его поэзии присутствуют в той только мере, в какой религия входит

в бытовую и духовную жизнь светского человека, не монаха, не священника, не богослова, не религиозного философа. (И в связи с этими строками о Пушкине я вдруг почувствовал, как односторонне смещен центр тяжести всей русской философии в сторону мифа – кроме Данилевского – и у Киреевского, и у Хомякова, и у Аксаковых (детей), и у К. Леонтьева, и у Вл. Соловьева, и у Бердяева, Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Карсавина...)

Но пусть говорят музы и пока *помолчат колокола*.

Зависеть от властей, зависеть от народа –
 Не все ли нам равно? Бог с ними!.. Никому
 Отчета не давать; *себе лишь самому*,
Служить и угождать; для власти, для ливреи
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здесь и там,
 Дивясь божественным природы красотам,
 И пред созданьями искусств и вдохновенья
 Безмолвно утопать в восторгах умиленья –
 Вот счастье! Вот права!

И несколько слов о природе: что это – Моцарт, Шопен, Скрябин?

Буря мглою небо кроет,
 Вихри снежные крутя.
 То как зверь она завоет,
 То заплачет как дитя.
 То по кровле обветшалой
 Вдруг соломой зашумит,
 То как путник запоздалый
 К нам в окошко застучит.

Русский человек рождается, к счастью, не только с русской историей, чрезмерно варварской, не только с русской политической действительностью, еще более варварской, не только с засилием черни во всех областях жизни, но и с величайшей русской культурой и с ее сильнейшим гением – Пушкиным!

9. И слезы и блаженство

Да, судьба этой книги удивительна! Может быть, я и плохо ее написал, но высшие силы принимали и принимают в ней участие.

И необыкновенно то, что уже готов был простаться с жизнью, и вдруг чудо преобразило события дня, и слезы сменились блаженством.

И кое-что, не самое ли главное, узнал я о любви. Мы все задаем вопрос, что такое любовь, а судьба отвечает на другой вопрос: *Что такое жизнь?*

Жизнь – это любовь!

И другой важный вопрос предстал мне в другом свете: из какого стремления возникает любовь? Из плотского или духовного?

Возражая вульгарным материалистам, я пытался объяснить, что единство двух стремлений приводит к любви, но теперь понимаю, что истина еще тоньше: к любви приводит *стремление любить*, сама потребность в любви.

Человек сначала рождается во плоти, постепенно возрастают и плоть и душа, как будто с нуля.

Но до некоторого мистического события человек представляет собою существо обыденное, потом с ним происходит то, что я называю «духовным рождением», некий переворот всего его самочувствия; происходит его *одоухотворение*.

Но еще прежде этого переворота душа начинает томиться и метаться, она испытывает то, о чем Пушкин пишет в «Пророке»: *Духовной жаждою томим...*

Без этого томления духовной жаждою духовное рождение не произойдет.

Вот точно также без томления о любви не происходит встреча с любовью.

Влюбление является результатом томления, не нуждающемуся в любви Амур не пошлет своих стрел...

И самое высокое блаженство состоит в переживании состояния влюбленности. Он встретил ее, «девушку своей мечты», зажегся огонь с первого взгляда, который пролетел как молния между их глазами, или это произошло иначе, и они уже были знакомы – но всегда это происходит как вспышка, и в счастливые первые дни его не заботит даже то, любит ли она его, он счастлив тем, что любит он.

И так и должно быть: *любить – блаженство само по себе!*

Но, вероятно, благодаря Пушкину, в моей жизни происходит еще одно чудо, я получаю две премии, одна состоит в том, что я влюбился, а другая в том... но я боюсь продолжать, я тоже суеверен, как и Пушкин.

Однако, пусть снова говорят музы.

Я обольщен сияньем чудных глаз...
Нет, неспроста сорвалось с губ признание:
«Я слышу в вас и птичье щебетанье,
И Талии мимический рассказ,
И солнечного света трепетанье...»

Я обольщен печалью роковой.
Как облако, она на Вас нисходит,
Терзает власть, чудит, зовет, заводит,
Ворует сон, мечты, любовь, покой.

Ах, милая, скажи в ненастный час:
«Я вас ждала в пересеченье взоров
Не для того, чтоб суета повторов
Как ветра шум вновь одолела нас
Усталостью ненужных разговоров.

Я Вас ждала, и Вы пришли. Зачем?
Чтоб стать другим? Собою? Мною? *Всем?*»

Пытаюсь понять, о чем моя книга, наконец соглашаюсь с тем, что это роман обо мне самом, о том, что значила и значит любовь в моей жизни и как я способен любить сам.

 За что меня мучает ночь? За грехи, за любовь, самоменье?
 Так что же мне делать, теперь и стихов не писать?
 Сдружиться с природой, ее увяданьем и тленьем –
 И с тайною мукой, но с благостным явным смиреньем,
 Как горькая ягода, с ветки пожухлой свисать?
 За что меня мучает мир, обещавший богатство и славу?
 А разве и небо меня утешает вполне?
 Я думал, что избран, и всё суждено мне по праву.
 И ждал слишком долго – но нет, не себе на забаву,
 А только в подмогу! Да разве тут речь обо мне?!

ДЕРЕВНЯ

Встану утром рано, затоплю печку, наколю дров к обеду.
 Прокошу, вскопаю, хоть грядку, да прополою.
 Если этого мало для счастья, то через неделю снова приеду,
 Потому что и мир мой счастлив, что я его так люблю.
 И все же душистой ночью при лунном блеске,
 Когда мне совсем не спится и как кошка мурлычет печь,
 Еще и звезды с небес бросают мне прочные лески,
 Пытаясь меня поймать и за собою увлечь.
 Что же сулит мне вечер, медленно сгорая в закате,
 Вечное ль наслажденье труда, красоты, борьбы?
 Пусть я сойду с небом на самой высокой плате:
 Сестрам отдам я сердце, слово – внемлющим братьям.
 Только рабы нёмы, мы – не рабы!

Почему я теперь вдруг стал видеть всеобъемлющую широту любви, что она словно целая роща со множеством побегов и переплетений, что она пронизывает мир во всех его ипостасях, будучи цельной, связанной, как соната, и общей темой, и мелодией, и исходным чувством или образом, и разрешением?

Во-первых, потому, что в центре любви – женщина, потому что она является для мужчины центром вселенной, целью вождения и образом восхищения, или сама стремится обольстить и восхитить, иногда безотчетно для себя. А далее она становится источником родовой любви, пронизывающей и мужчину, и детей, и род и народ, который она и порождает.

Во-вторых, мне было дано любить, стремясь прежде к восхищению прелестью и красотой женщины, а затем уже – стремясь к обладанию (но чаще не смея пересечь некую границу, которую я ощущал как роковую).

И в третьих, и женщины меня любили не так, как других, чаще жаждали во мне друга, чем любовника. Они меня почти всегда любили, редко отвергали, но... Правда, я счастлив, что женщины меня любили именно так, словно бы Высшие силы заботились о том, чтобы я познал идеальные формы любви и не опустился слишком близко к земле.

Вот отчего и теперь я избран ими силами, чтобы написать про любовь, и заново испытать ее совершенство, ибо мною движет *не стремление к обладанию, но восхищение и сострадание.*

Почему я пытался примириться и с христианским учением и с коммунистическим? Потому что при всем моем раздражении на человека, на народ, на историю, *я их люблю*, я хочу помочь им возвыситься, и в этой надежде уповаю на культуру, на творчество, на труд, но не уповаю на террор и конец света.

Но как я, крестьянский сын, отношусь к русской истории, в частности, к девятнадцатому столетию, в котором крестьяне были закабалены (как, правда, и при советской власти?) Я принимаю культуру дворянского общества, а в остальном готов повторить слова Шекспира «Чума на оба ваши дома!»

И все же я эту книгу закончу стихами о любви, а не проклятьями.

Да и чудеса в моей жизни еще не закончились, по-прежнему судьба предоставляет мне право и возможность испытать любовь не эгоистическую, не для своего удовлетворения (хотя бы даже не плоти, но тщеславия), но *любовь как милосердие, восхищение, заботу*.

Полночь... Буду верить в будущее, исправлять ошибки, надеюсь, и музы и волхвы меня простят и меня не покинут... И друзья и родные тоже. И немногие читатели. Может быть, меня не покинет и мой неведомый Бог, которого я всю жизнь ищу, но не уверен, что он до меня снисходит...

Впрочем, жизнь еще не окончилась...

Миф нельзя опровергнуть, указывая на его противоречия, потому что и сам человек, состоящий из **души** и **плоти**, противоречив, желания и стремления земные и небесные в нем причудливо переплетаются, как вода, воздух и солнечный свет в растении, производящем цветок и плод. Глупо объяснять человека, представляя его в виде машины, и так же невозможно – только физиологически. Но и объяснять человека, исходя из одних духовных влияний, несправедливо, даже если «дьявол с Богом и борются», как говорил Достоевский, за душу человека, то и в самом человеке (а особенно в женщине) загадочное соединение и противостояние духа и плоти, светлого и темного, трансцендентного и земного, жертвенного и сладострастного.

Писать я не научился, пишу длинно и скучно, почти бессодержательно, но то, что небо и земля во мне сошлись в **ЛЮБВИ к женщине**, и я пытаюсь ее понять как основной и основополагающий источник жизни, восхищаясь красотой и движимый состраданием, и Помощь и Заботу ставлю во главу мира, а не земную жажду – *меня оправдывает!*

Странная тишь и сушь
В хаосе пустых дел.
Лишь прикосновение душ
В вечном притяжении тел
Робко растворяет тоску
И поднимает в высь,
И пули, подлетая к виску,
Поют мне: Посторонись!
Вера, надежда, страх,
Воздух и тих и сух.
Не превращаемся в прах
Только в соединении двух.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ «РОМАН С ФИЛОСОФИЕЙ»

1. Роман...

7 июня, воскресенье, около полуночи. Нет, не радуюсь я тому, что так много написал, а огорчаюсь, словно бы проговорил в гостях весь вечер, никому не давая слова сказать, и никто не прерывал, но договаривать приходится на пороге, и словно бы еще все надо договорить то, что и намеревался сказать, а не сказал.

Правда, если бы не было всего ранее сказанного, то разве сумел бы я на пороге договорить? Да я только дополняю, отчасти кратко повторяю и разъясняю – так и на уроке в последние несколько минут учитель спрашивает: что мы сегодня узнали нового, о чем я вам сообщил? Ага, то-то и то-то...

Ну так успокоюсь, все равно ничего не поправить. На будущее: надо уже закончить этот бесконечный роман, обратиться к философии, она труднее, многое придется перечитать, многое прочитать впервые, если Математику я писал восемь лет, авось и Философский роман растянется на столько же, и читатель к тому времени уже успеет дочитать мои четыре книги «Записок редактора» и уже меня простит... а, может быть, даже соскучится.

Что представляет собою художественный роман? Это грандиозное здание, состоящее из героев (личностей, образов, характеров), идей и событий. Это словно бы воссоздание действительного мира – однако, это совсем другой, особый мир, подобный действительному, но не совпадающий с ним, как идеальные геометрические фигуры не совпадают с теми, которые рисуют волны и ветер на морском берегу или рука ребенка на листе бумаги. Фигуры героев связаны в целостности и вполне отвечают определениям и теоремам, и сочетания их связаны, как архитектурные ансамбли, а в подлинной жизни таких безупречных связанностей нет, каждый не в большей степени вместе с другими, как и сам по себе.

И все же придуманный (идеальный) мир романа более подлинен, нежели тот мир, который мы находим извне себя. Героев (то есть, выдающихся личностей) в реальном мире нет, никто не стремится выработать самостоятельное мировоззрение, а каждый принимает нечто готовое, навязанное либо семьей, либо школой, либо обществом; идеи повторяются вычитанные из книг и газет (а теперь уже из неумолкающего ящика); события... они тоже заурядны, рождение, крещение, школа, учебное заведение, выпивка, тусовка, работа, зарплата, редко-редко тюрьма по пьяной драке... – но... так мы видим каждого человека и его мир извне, и всегда несправедливо, но каков он внутри? Быть может, и в нем льются «неведомые миру слезы»? Да, и в нем тоже. Как и в тебе, самомнеющий автор, а, может быть, даже более. Иногда человек закрыт от скромности, застенчивости, опасения; иногда он не умеет себя выразить так, как привычный «водолей» (то есть я) – но выразил ли и я сам себя? Разве меня видят другие так, как видят любящие глаза? И вижу ли и я других так, как тех избранных, которыми бываю очарован?

Художественный роман подлинно открывает двери в реальный мир, поэтому он изображает и передает этот мир полнее, точнее, глубже и действительнее, чем обыденное зрение; так и любовь «одевает единственные очки», в которых мы видим сущность, а не только явление.

Но *художественный роман* одновременно и преобразует этот реальный мир, как затем и культура в целом, входя в повседневную действительность (реальность, то есть материю бытия), превращает ее в одухотворенное бытие, в *действительность* в собственном смысле этого слова.

Но роман сосуществует вместе с художником и его талантом. Помимо героев, идей и событий в романе присутствует та материя, которая формирует его содержание; это текучая материя, и она подобна либо воде, либо вину. Читая гениальный роман, мы пьем вино, читая роман рядовой, мы пьем воду (которая тоже утоляет нашу жажду, поэтому не следует думать, что литература должна состоять только из гениальных произведений; так и дворцы в городе выделяются на фоне рядовых добротных строений, но потеряются среди себе подобных. Да и не утратим ли мы естественный вкус, если перестанем пить воду и будем утолять жажду только вином?)

Возвращаясь к способности романа пронизать действительность более глубоко и подлинно, чем обыденное зрение, приходится думать, что существующее существует двояко: оно существует и через полог, отделяющий его от случайного восприятия, и в своей отчасти сокрытой подлинности. Так и солнечное затмение недавно я наблюдал, одевая темные очки: эти очки не создавали иллюзию, они только устраняли то, что препятствует зрению.

Зрение влюбленного подобно зрению художника, и только оно верно.

2. Любовь...

И теперь уместно (хотя и на пороге) договорить о любви. Эта книга была не только о литературе и не только о философии, она была обо мне, но не о моей повседневной жизни (которую, впрочем, подчас важнее редких духовных взлетов), но о жизни иной, протекающей то во сне, то в воображении, то в *инобытии* (которое присутствует в нашей жизни почти всегда, как присутствует лунный свет, даже когда луна не видна), то в особых душевных и духовных порывах. Жизнь художественной природы не ограничивается тем, что видимо окружающим, иногда любовный роман возникает, развивается и со вздохом заканчивается, пока на остановке в вагон метро впорхнула восторженная красotka, порывом движения ее прижало к философу, она покраснела, стрельнула глазами, затем они оба улыбнулись друг другу, затем она растерянно прошептала: «но я уже выхожу», они еще раз обменялись уже печальными взглядами и вздохами, укоряющими несовершенство судеб, она вышла и на перроне, обернувшись, помахала рукой...

Любовь преобразует и воспитывает о мужчину, если он любит женщину благодарно и нежно, и тогда ей удастся созидать из него тонкого и благородного человека (к такой любви относится и любовь между матерью и сыном, и любовь между возлюбленными – и преобразование тем сильнее, чем меньше плотского в отношениях между любящими). Как я говорил, я баловень судьбы, женщины любили меня почти всегда как друга, и не хотели

со мной расставаться, и были мне благодарны (как и я им, мало благодарный, но все же...), и благодать осеняла такую любовь.

Тот дар судьбы и неба, который я на предыдущих страницах туманно упоминал, дар вдвойне и втройне, мне была дарована возможность любить для спасения и наслаждаться возвышенным откликом.

Но я должен был ответить таким же чистым ограничением своих порывов. А возможно ли любить, не стремясь к обладанию и наслаждению?

Любовь, в которой плоть даже не подразумевается и не притягивает – невозможна, тогда это нечто иное, например, *дружба*, восхищение, призвание, единство взглядов...

Только *любовь, в которой влюбленные в силу обстоятельств ограничивают свои претензии, порывы, желания – совершенная любовь*, хотя и мучительная. Хотя и бесконечно несчастная, но и бесконечно счастливая.

Но это не платоническая бесплотная любовь (о которой я думаю, что она воображаема, ибо привязанности без плоти, например, дружба или даже "влюбленная дружба" не подменяют собою любовь).

Однако, можно относиться к другому с нежностью, включающей в себя восхищенное переживание другого существа во всей его целостности, от звуков голоса до запаха волос, но вести себя как монах или ангел. Такая любовь и прекрасна и действительна, и она распространена в мире более, чем можно подумать, каждая девушка в девятнадцатом столетии (которое мы часто порицаем) умеряла порывы возлюбленного до свадьбы. Но это было временное ограничение – а если "нельзя" совсем? *Другая любовь*, в которой сострадание и жажда спасения, восхищение и нежность становятся преобладающими и вытесняют "инстинкт плоти", дает самое возвышенное и острое наслаждение, вместо страсти приносит «благодать Божию».

3. Вера и любовь. Любовь и чувственность...

Чистота – это подавленная чувственность, и она прекрасна; отсутствие же чувственности пугает, как новая, неслыханная форма разврата.

Н. С. Гумилев

Несколько раз в продолжение книги я пытался начать примирение и с христианством и с социализмом: нет, у меня ничего не получается, переубедить верующих невозможно, даже в Сталина, и вера как любовь...

Выпало мне в жизни три мучительные загадки: Россия, Женщина, Бог (во множестве Его ликов)... И все же женщина оказалась самой милосердной, даже не соглашаясь со мною, она меня слушала. Эта женщина, из духа и плоти, притягивалась ко мне и меня любила. А разве Россия не женщина? Я так думал, но она оказалась, эта страна, совершенно другой, нежели родильницы народа, ее населяющие. Она притягивается к грубым и жестоким, а идеальная женщина любит и жалеет мягких и нежных...

Многое еще не договорил я, но мы не расстанемся, по крайней мере, я не расстанусь с теми, кто меня любит и читает. Ради вас напишу еще, но не буду вас мучить, а буду свои слова просеивать сквозь самое частое сито.

Казалось бы, естественно назвать *чувственностью* все то в любви, что связано с плотью и стремлением к плоти – но разве любовь не связана с плотью всегда, так что бесплотной половой любви (кроме противоестественной любви к родной партии) не существует?

С чем именно борются монахи, удаляясь в пустыню и бичуя плоть? Надеюсь, они борются не с искушением любви, а только с плотскими стремлениями – без любви. Обнаженные красивые и чувственно привлекательные девушки, являющиеся им в видениях, скорее всего, еще не могли успеть вызвать к себе любовь, а вызывали только вождление, или, по выражению апостола, «похоть плоти, похоть очей», так что с этой похотью без любви они и сражались.

И, в таком случае, *чувственностью* следует назвать не все то в любви, что связано с стремлением к плоти, а обольщение плотью без любви. Однако и это ограничение кажется односторонним, если исходить из замечания Гумилева. Плотские стремления изначально чувственны, но их можно ограничивать. Надеюсь, что Гумилев оказался неточен, и под *подавленной чувственностью* (то есть в таком бы случае буквально исчезающей, *перестающей быть*) он имел в виду *чувственность, подчиненную воле и целомудрию*, и существующую, так сказать, под арестом.

И, следовательно, неверно разделять любовь между мужчиной и женщиной на *духовную* (не содержащую в себе *обольщения плотью*), и эротическую, *чувственную* – всякая плотская (родовая) любовь обольщена плотью, иначе это уже не любовь (так же как всякий человек состоит из духа и плоти, в противном случае это не человек, а либо дух, ангел, либо уже неживое тело).

Но все же любовь эта бывает и возвышенной и низкой, в зависимости от того, насколько значительно в ней вождление, страсть... хотя и это неверно: обольщение плотью является одновременно обольщением ее красотой – а разве влечение к красоте менее духовно, менее одухотворенно и возвышенно, чем обольщение интеллектуальными и нравственными качествами возлюбленной?! Так ли уж надо порицать чувства, которые вызывала Настасья Филипповна у Рогожина и Манон Леско у кавалера де Грие? И я, обольщенный нежностью и красотой, не уверен, что всегда могу разделить их на составляющие их части... Следовательно, бывает любовь и возвышенной и низкой, но только ли страсть, чувственность в этом повинна, и только ли бесчувственность делает любовь целомудренной и возвышенной.

4. Любовь и Долг...

Если обстоятельства вынуждают усмирять, подавлять, ограничивать жажду телесного обладания, или даже совсем жертвовать своим желанием физической близости с возлюбленной, то от этого любовь не становится более или менее духовной; любовь остается тою же, какую и была, но человек ведет себя благородно. Все наши побуждения и поступки соразмеряют себя с Долгом, и если верность Долгу преобладает, и им определяются отношения любящих, то во многих случаях они достойны восхищения. Однако должен ли что-нибудь Вронский Каренину? И обязан ли он был ему уступать любимую женщину?

На этот вопрос я не смогу ответить. Более того, в каждом конкретном случае пусть отвечает за себя герой или героиня любовной драмы, а я буду отвечать тоже только за себя (и за нее)... Но как? Пока еще не знаю...

К тому же многое определяется тем, какие цели (сознательные или бессознательные) стоят перед любящими. Или это *обладание и наслаждение*, или это *соединение*, или *Спасение*...

5. Смысл Любви

Объективный материализм, как и объективный идеализм (вместе с спиритуализмом) рассматривают мир как нечто пассивное, лишенное своей собственной воли и судьбы, лишенное свободы. В мире материи частицы движутся под воздействием *силы матерьяльного тяготения*, в духовном мире – под воздействием такой же внешней силы, назовем ли мы ее *инстинктом*, или *Волей к жизни*, как Шопенгауэр. Но это не воля отдельных частиц, существ, личностей, это всеобщая воля, родовая, видовая, воля Природы, Мироздания, Мирового духа, Бога, отрицающие собственную волю индивидуальности.

«В чем смысл любви?» – спрашивает Шопенгауэр, и отвечает уверенно, как древнегреческий оракул: «В том, чтобы два индивидуума подходящего возраста, способные к рождению детей, нашли друг в друге наиболее подходящих партнеров для производства наилучшего потомства», – что хорошо согласуется с теорией Дарвина о половом подборе и эволюции.

Он и она выбирают себе дополнение в супружескую пару по множеству параметров, и по уму, и по душевным качествам, и по росту, и по цвету волос, по вкусу, по обаянию, и так далее... После того как подбор завершился удовлетворительным результатом, они влюбляются друг в друга (вероятно, чтобы не разбежаться слишком быстро, потому что мужчина, объясняет Шопенгауэр, не склонен к верности, как только он овладел самкой, тут же смотрит в сторону, нет ли еще другой, подходящей по росту, цвету, возрасту и темпераменту.

А как же любовь с первого взгляда? А как же «она меня за муки полюбила», «я помню чудное мгновенье», «мы странно встретились и странно разоидемся», и вся остальная мировая литература, повествующая о любви, где как будто никогда не возникала мысль о подборе партнера по цвету, росту, возрасту и темпераменту?

Анализировать такую «Метафизику любви», возражать ей? Правда, блестящий философ-спиритуалист Владимир Соловьев эту заботу возложил себе на плечи и блестяще с нею справился, он показал, что сила любовной страсти никак не связана с удачливостью потомства, и даже напротив, в результате любви потомства вовсе нет, в то время как заурядные браки по расчету, по тихой склонности, по необходимости вполне «продуктивны».

Но, увы, радоваться было рано...

В чем же *подлинный смысл любви* вопреки грубым материалистическим построениям рационального философа?

И отвечает увереннее, чем древнегреческий оракул: «В том, чтобы два индивидуума разного пола, представляющие собою не цельную личность, а так сказать, ее половинку, соединились (не сразу, но так же в результате длительной эволюции) в одну цельную личность, состоящую из двух полов, или представляющую из себя взаиморастворение полов в нечто бесполое»...

Но, однако, и та любовь, образцы которой дает нам современная жизнь и литература и искусство, встречает в лице Вл. Соловьева тонкого и умного защитника. И то слава богу, а до того блестящего результата, который нам обещает его теория через много миллионов лет, мы, возможно, еще и не доживем (особенно я), тем более если еще раньше случится конец света, и весь этот неудачный мир с потомками Евы (не только согрешившей, но в результате преступного любопытства вызвавшей и индивидуальную любовь, и родовую, и шквал рождений, каждое из которых является греховным, ибо «лучше человеку не касаться женщины») пойдет в тартарары.

Все же, Вл. Соловьев и в настоящем положении любви (не отвлеченной, не заоблачно-духовной, а той самой, в результате которой мы все появляемся на свет, то есть *в любви половой*) находит важные следствия, она позволяет человеку преодолевать его эгоизм, обращенность на себя: *«Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности.»*

Несомненно, что любовь может упразднить эгоизм, но только любовь, вытекающая из сострадания, сочувствия, или связанная с ними, вмещающая их в себя, в частности, материнская любовь, и отчасти женская любовь к мужчине. Но иногда в любви эгоизм даже усиливается, чему свидетельством ревность, принимающая даже безумные формы, как у Отелло. Любовь как самоутверждение, как стремление к обладанию и наслаждению не упраздняет эгоизма.

Является ли любовь *«Истиной, как живой силой, овладевающей внутренним существом человека»?*

Разумеется, но каждый человек способен сие узнать и почувствовать только в собственном духовном опыте, как и боль постигается только через ощущение, как и музыка непостижима чисто умозрительно, поэтому объяснять более, чем сказано, в каком отношении Истина и есть любовь и, напротив, Любовь есть истина, с помощью философских рассуждений я не буду.

Тем более что и в непосредственном переживании и в поэзии и любовь и музыка превосходят философские ее описания так же, как вода в питье превосходит себя в созерцании. «Помедли, помедли, вечерний день...» – сказано у Тютчева о поздней любви... (а, следовательно, нет любви как единого явления, а множество ее разнообразных примеров, что и показывает нам искусство.)

А, следовательно, справедливо ли искать смысл любви, имея в виду под любовью явление цельное, в то время как разные формы и виды и примеры ее имеют совершенно различный смысл, иногда противоположный?

Любовь как стремление к обладанию и наслаждению самоутверждается и разъединяет, поэтому не о всякой любви можно рассуждать как о подлинной или истинной любви, тем более о *любви как истине*.

Любовь как Истина направлена на того, кого любишь, в совершенстве она не что иное как сосредоточение всех духовных и душевных сил и качеств человека для помощи любимому существу и даже для утверждения его жизни и для его спасения. Любовь как утверждение жизни в другом – это прежде всего материнская любовь, и Шопенгауэр отчасти прав, говоря о воле к жизни не как об индивидуальной воле, а как о воле родовой, но узость и такого представления о любви как о воле состоит в том, что не учитывается при этом переживание страсти, стремление к взаимности и восхищению (в частности, восхищению красотой). Любовь есть чувство и идея, но как идею человека невозможно вместить даже в сложный цельный философский образ, так и идею любви.

Если в христианстве спасение своей души является смыслом жизни, то усилия по спасению души другого человека не могут быть меньше, чем усилия по спасению души своей, следовательно, нет ничего выше, чем спасти другого, даже ценою своей собственной гибели. И поэтому высший смысл Любви состоит в том, чтобы спасти того, кого любишь. Да не для того ли любишь, чтобы спасти? Любовь как сочувствие, сострадание, спасение – вот идеальная духовная любовь, сколько бы ни было в ней страсти и чувственности, вместо надуманной «бесчувственной духовной любви», через которую человек отрывается от индивидуальности.

И поэтому стремление к восхищению красотой в такой любви, и стремление к взаимности, и стремление даже к наслаждению (без обладания), и стремление даже к обладанию в такой любви оправдывается своею высшею целью – спасением души любимого человека.

Но если обстоятельства складываются так, что собственное счастье возможно только ценою чужих страданий? Тогда...

«Но я другому отдана, и буду век ему верна!» – говорит Татьяна Ларина Евгению Онегину, отказывая ему в счастье, а Анна Каренина отказывает в верности своему мужу.

Не мне ее судить, только ее создатель, Лев Толстой, имеет (?) на нее непосредственное право, не меньшее, чем отец, и он осудил ее к варварской гибели.

А что я скажу самому себе? Могу ли я стремиться – кроме высшего духовного стремления к спасению любимого человека – к собственному блаженству? Нет, я не должен стремиться к своему блаженству, если ценою его будет чужая боль – так я должен ответить.

Но как сложится моя собственная жизнь, автора и героя этой книги, какие еще книги я напишу – я не знаю.

Забота о другом, о *другой* – высший нравственный долг человека, и эту половину пути к нему я уже прошел. Но готов ли я к самопожертвованию? Этим вопросом без ответа можно было бы и закончить Книгу о любви, но... Нет, не всё еще сказано...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ **ЛЮБОВЬ К ЖЕНЩИНЕ**

1. Увертюра Любви

24 июня, среда, утро. И этой ночью было плохо, но в прошлую ночь было еще хуже. Физически это было связано с тем, что накануне я выпил, а метафизически – с грехом и с искуплением. Но так как я остался жив, то, значит, искупление мне «зачли», и отпустили из карцера на волю, сказав: *Иди и живи, но больше не греши!*

За эти два дня и две ночи со времени моего греховного питания случилось и передумалось немало, да еще ранним утром сегодня явились волхвы, и с ними я словно бы мысленным взором охватил мою жизнь за последние годы. Правильно или неправильно я живу и как надо жить, они не говорят, они только помогают мне *понимать* происходящее, временами просто диктуют подсказки; и если я не ленюсь записать несколько слов в шпаргалку, то потом рассуждать и писать мне легче и мысль моя глубже.

Сначала я перескажу давно известное, но такова уж моя судьба: запутываться самому и других запутывать в повторах моей мысли и жизни.

Итак, в две тысячи восьмом году, в начале августа, пригласили меня в Москву прочитать заключительную лекцию на Вольном теологическом факультете для дам лет сорока-пятидесяти, получавшим второе, гуманитарное образование. Лекция должна была быть о Канте, но так как я астроном (по образованию), хотя астрономию основательно забывший, а Канта помнил еще хуже, то темой моей лекции было *доказательство плоскости Земли*.

Перед ее началом я уже успел познакомиться с девочкой лет шести-семи, по имени Диана (богиня охоты), она ссадила колено, я на это колено подул, боль, ей показалось, прошла (а я ей объяснил, что дуть буду магически), и она потащила меня играть. Потом началась лекция, и хотя было два небольших перерыва в ее четырехчасовом продолжении, но на игру оставалось времени мало, и девочка тянула меня за рукав и плача причитала: *Ну когда же мы будем играть? Да кончай ты со своею лекцией!*

Мне приходилось спешно, сняв пиджак, залезать под скамьи, она меня оттуда вытюривала, я, видно, играл с нею в сбежавшего каторжника... Потом она должна была меня пожалеть, *спасти* и выйти за меня замуж.

«Какая на самом деле Земля? – спрашивал я. – Мы видим, и даже осязаем ее как плоскую, и так строим дома и мебель, и играем на теннисном корте, бегая по нему, словно он плоский. Но это реальность, данная нам в наших собственных лживых представлениях, говорит Кант, в действительности же каждый предмет, предстоящий чувствам, иной, но каков он, мы никогда не узнаем, потому что наши представления не тождественны его подлинной реальности, тому, каков он сам в себе, *сам для себя*».

Поэтому, привлекая к кантовскому рассуждению более тонкие математические и астрономические умозрения, ученый заключает, что Земля круглая – но это заключение еще дальше от подлинности, ибо оно отстоит даже от тех первоначальных представлений, в которых Земля нам является плоской.

Так мы видим свою жену верной и мягкой, но лживый Яго нашептывает нам, что она изменница, она округла с другими, и только с нами плоская как бумажный лист! Уподобиться ли нам доверчивому Отелло? Нет, вернем наших жен нашим подлинным ощущениям, поверим им вопреки философским нашептываниям разных Яго и воскликнем: Наши жены целомудренны, милы и округлы, но Земля наша плоская!»

Что тут началось! Дамы меня обнимали, плакали и целовали!

«Наконец вы вернули нам нашу землю!» – восклицали они.

Потом был банкет, произносились речи и тосты, и уже «веселый и хмельной» я шел по тихой московской улице, готовясь к чуду, и оно случилось: в вестибюле метро навстречу мне шла прелестная девушка и улыбалась... Она оказалась музой, и я начал вновь сочинять стихи...

И начался новый период моей жизни, который привел меня теперь и к философии, и не только к той «Метафизике любви», которой потчевал нас Шопенгауэр, сводя любовь только к половому инстинкту, то есть только к физике, и даже худшей, чем механическое движение тел под влиянием притяжения, но рядящейся словно бы в насмешку в недействительные одежды эстетики, этики и логики – но я вернулся к философии, опирающейся на историю и культуру и духовный и мистический опыт.

Философия меня разочаровала, она растерянно бродит между грубой физикой и физиологией, не уверенная, что они относятся к плоти или к душе, то стремясь смягчить безумие плоти, то приземлить слишком утонченные душевные чувства – и между парением духа, заимствованным у религиозного христианского мифа и отвечающим жажде небожителей, но не исканиям грешного человека.

Но почти нет драмы идей.

А разве любовь только простое половое чувство сродни голоду и жажде? И разве любовь только эманация божественной воли, прикасающаяся к бытию из инобытия? Человек непостижим только потому, что он не определяется только биологическим детерминизмом, но и не определяется духовной свободой небесных существ – он соединяет в себе и то и другое.

Поэтому его *любовь* – духовный аналог всемирного притяжения, определяющего движение и жизнь матерьяльной вселенной (но красота – как неотъемлемое свойство материи, всемирным притяжением не определяется); и если бы любовь определялась лишь притяжением половым, почти подобным химическим валентным связям (как это показано у Шопенгауэра), то и вся наша вселенная, и вся наша жизнь в этой вселенной, и все наши революции, войны, религиозные поиски и распри, страсти и слезы оказывались бы только декорациями к драме почти механической целесообразности в движении веществ и существ, и наша философия была бы вздором, и наша культура (как об этом и стал думать Лев Толстой на старости лет), и наши духовные поиски, поэзия и любовь.

Может быть, я и впрямь пишу плохо, неинтересно и поверхностно, с тысячами повторов – но я пишу обо всем существенном, что наполняет жизнь и делает ее живой. Я словно бы иду с котомкой по тропинке жизни, а в

котомке история и культура от сотворения Адама и Евы, от злополучного (ах, какое счастье, что оно существовало!) плода с Древа познания добра и зла, в ней же наши вопросы без ответов, и наши лживые ответы, и хотя я не уверен, что умнее других учителей человечества, но я счастлив тем, что и сам я не прямая линия, и живу не в одномерном мире. Мой мир сложен, я его хочу понять. Не так прост и я сам, хотя достаточно прост, чтобы со мною играли дети, не только собственные, но и чужие.

Одна девица сетовала, что я всякую «фигню» пишу, но не пишу для народа, поэтому она только полторы страницы у меня прочитала, но однажды мы встретились с нею на пустынной проселочной вечерней летней дороге... это было только мгновение, но я его помню. Уверен, что помнит и она. И именно поэтому она не прощала меня, только мне Бог дал способность эту самую «фигню» писать вместо океана глубокомысленного вздора, которым толкователи философских и религиозных систем залили умственный земной шар обывателя, и некоторые из них читают и меня, одну такую встретил я в Сибири, пьяную Люську (о которой уже писал, как, впрочем, и об этой, но это не важно и не так плохо, как можно подумать).

Итак, она шла ко мне, чтобы рассказать о своей жизни в обмен на бутылку водки, чтобы я, как литератор, может быть, что-то полезное из ее рассказа для себя приобрел. Между нами было два километра, срочные заботы летнего дня ее задерживали, я звонил ей каждые полчаса, наконец уже около полуночи она ко мне пошла, а я пошел ей навстречу. Было сумеречно, сначала силуэт ее был расплывчат в вечернем воздухе, вблизи смутно забелело лицо и фигура, она пропахла сеном, еще не успела помыться (и волновалась, что мы не успеем встретиться и водка прокиснет). Вероятно, ожидание и волнение что-то уже сдвинуло в нашей чувствительности, и хотя мы были мало знакомы, и между нами была пропасть (в частности, состоящая в том, что девушки, пропахшие сеном, встречались со мною еще когда она не родилась), но вдруг и она и я качнулись навстречу друг другу, я ее обнял, и так мы пошли дальше ко мне. Увы, читатель, между нами ничего «такого» потом не было, потому что мы оба напились – от робости и смущения. Я был робким всегда, она робела рядом со мною тоже.

Так как я словом «любовь» называю всякое движение навстречу друг другу мужчины и женщины в связи с их половой противоположностью (только само содержание любви я не свожу к инстинкту и движению атомов), то и этот наш порыв – тоже любовь. И про этот случай я рассказываю по двум причинам: во-первых, я испытал многообразное душевное состояние, в котором было и эстетическое переживание, потому что она мне понравилась внешне еще при первой случайной встрече, когда она спросила, нет ли у меня спичек, и теперь в вечернем таинственном воздухе удовольствие красоты усилилось; и нравственное, включающее в себя и волнение, и предвкушение удовольствия от того, что с красивой женщиной я буду сидеть за столом и пить водку (причины для крамольных мыслей у меня не было), и желание доброго участия в ее судьбе – ей я надеялся помочь выйти из порочного круга разгула; и были, разумеется, переживания «эротического характера», которые я определять не буду, но которые мы, мужчины, испытываем всегда при

взгляде на привлекательную женщину; во-вторых, чтобы сделать одно глубокомысленное философское заключение, опровергающее рациональность Шопенгауэра в объяснении любви. Сей философ доказывает, что мужчина подбирает в *самке* множество свойств, вплоть до цвета волос, выгодных для последующего потомства, как и *самка* подбирает в *самце* необходимые для ее целей его свойства. Потом, когда их подбор заканчивается обоюдным удовлетворением в правильности их выбора, начинается у них любовный роман. Но философ оставляет в стороне «любовь с первого взгляда»; любовь, связанную только со звуками голоса (я услышал объявление об отправлении поездов на вокзале и пошел ее искать, она сидела в справочной, я вызвал ее погулять по перрону и до сих пор помню ее очарование; и, наконец, даже любовное влечение, возникшее от прижатию друг к другу в переполненном вагоне.

Строгий читатель воскликнет, что Шопенгауэр исследовал серьезную любовь, приводящую к браку, а я пишу, пожалуй, о разврате! Ну, хорошо, это разврат, НЕ любовь, *точка разрыва* любви. Математики знают, что исследование функции состоит именно в исследовании прежде всего *точек разрыва*, в которых функция не существует, а поведение функции на бесчисленном множестве точек своего существования как раз почти ничего о функции не говорит. Так и *точки разрыва* в любви: может быть, и любовь Ромео и Джульетты, а тем более князя Мышкина и Настасьи Филипповны – тоже *точки разрыва* любви, но мы почему-то именно на них учимся и что-то существенное узнаем о нашей жизни и о любви, а дают ли нам для знания жизни хоть что-то социологические опросы?

При возникновении начального чувства влюбленности существенное значение имеет то, что я назову прелюдией любви, ее увертюрой, прологом, предисловием, и что труднее всего понять и объяснить. Часто эта прелюдия является Игрой (той самой игрой, в которую играют дети, и которая во многом является репетицией взрослой жизни в целом и любви в частности. И я думаю, что от того, как играет ребенок, как он приучается играть и воспитывается в игре, существенно зависит его поведение во взрослой жизни. Наша взаимная влюбленность с "девушкой легкого поведения" на вечерней легкой дороге возникла из ожидания (когда мы еще не видели друг друга) и встречи – но мы влюбились, томась ожиданием.

2. Любовь и Вера

Согласно Шопенгауэру, половая любовь – исключительно плотское влечение, определяемое животным инстинктом, и если ее нельзя свести к механическим, физическим и химическим свойствам и движениям, то по крайней мере к биологии она сводится всецело, и она то же самое, что и у рыб и у насекомых (сравнивая силу размножения с силой индивидуальной любви в животном царстве, Владимир Соловьев остроумно показывает вздорность построенный материалистического философа). Очевидно, что хотя исследование Шопенгауэра и называется Метафизикой любви, но как раз метафизики в нем и нет, а только физика. Однако, используя саму попытку такого подхода к исследованию, выскажем предположение, что любовь состоит из полового

инстинкта (или биологического влечения, то есть из «физики»), и из метафизики, под которой следует понимать все то в человеке, что не является его только биологической сущностью, но стоит над нею, связано с тем, что в человеке не плоть, не тело, а определяется его душой, следовательно, условно говоря, определяется, в частности Культурой. Разумеется, уже и пол в человеке не только биология, но и душа (смотри на эту тему хотя бы прекрасную книгу Вейнингера «Пол и характер»), но в человеке еще есть происхождение (сословная принадлежность), национальность, положение в обществе, вероисповедание, образование и культурный уровень. Все это присутствует в той или иной форме и в любви, но все же понятие Метафизики любви включает в себя еще и нечто другое, чего, возможно, я в какой-то степени касался, но что глубоко показывается только в литературе (в частности, в поэзии) и в музыке. Человек, не глухой к поэзии, не скажет, что все то, что о любви пишут в романах, только некая искусственная одежда, которою мы прикрываем наши плотские желания и устремления. Метафизика любви включает в себя и Искусство и Игру (а зачем, казалось бы, журавлям скрывать в танце свои подлинные желания, или соловьям в песне, или млекопитающим в их «брачных играх»? Пусть даже эти игры определяются биологической целесообразностью, но они все же входят именно в Метафизику (в частности, биолог Любищев показывает, что часто окраска у некоторых животных противоречит функции мимикрии, но имеет только эстетическое назначение, а еще раньше философ Соловьев писал: «У многих видов птиц сложные украшения самцов не только не могут иметь никакого утилитарного значения, но прямо вредны, ибо развиваются в ущерб их удобоподвижности – мешают им летать или бегать, выдают их головою преследующему врагу; но, очевидно, для них красота дороже самой жизни!»)

Чтобы хотя бы смутно, хотя бы приблизительно верно определить, что такое *любовь*, ее надо сравнить с чувствами, ей в чем-то подобными, например, с любовью к Родине, любовью к тиранам (Гитлеру или Сталину), любовью к церкви, любовью к «родной коммунистической партии». Полового инстинкта в последней любви точно нет, найти в нем и метафизику я затрудняю тоже, и последнее предположение состоит в том, что эта любовь определяется неким трансцендентным чувством. Такова же и Любовь к Богу и Вера как основа и выражение такой любви.

Но если Любовь к Богу и Вера – это чувства, определяющиеся как синтез метафизического и трансцендентного чувств, то Любовь триедина, в ней плотское (половое) влечение соединено с метафизическим чувством, как тело (плоть) в человеке с душой, и с чувством трансцендентным, центральным для веры. (Если я не определяю, что такое чувство метафизическое, то тем более не смогу определить трансцендентное чувство).

Если с последней точки зрения взглянуть на литературу, то мы увидим, что взгляд Шопенгауэра на любовь, в обоснование которого он ссылается на литературу, якобы показывающую, что именно *желание обладать и наслаждаться* и является сущностью любви и доказывает ее биологическое содержание, совершенно не верен. Я и в филармонию хожу, чтобы

наслаждаться музыкой, и ташу туда свое усталое тело, но является ли моя любовь к музыке любовью половой? Я и книги собирал, чтобы наслаждаться собранием их, и когда находил, наконец, ту, о которой давно мечтал, шел даже на определенные жертвы (например, отказывал себе в лишней одежде или увеселениях), чтобы ее приобрести, и *наслаждался ее владением* – но являлась ли моя любовь к собирательству книг выражением полового инстинкта? Поэтому притяжение к женщине, то самое «эротическое» притяжение, включающее в себя прежде всего стремление к восхищению ее красотой, то есть «похоть очей» – точно ли это половой инстинкт, призванный соединять два пола для размножения? А разве не входит в любовь чувство восхищения и поклонения в широком смысле этого слова, подобное тому, что испытывает человек и по отношению к звездному небу, и Северному сиянию, и Природе в целом, и которое определяет любовь к Богу? Не поклоняемся ли мы и Богу как женщине и женщине как богине?

Всякое почти чувство, присущее человеку, сложно, многосоставно. Почему человек пьет вино? Только ли для опьянения? То же ли самое он испытывает, когда пьет дешевую водку с пивом, или изысканное вино, наслаждаясь его букетом и ароматом?

Но вернемся к Вере, мы ее обделили. Любовь оказывается триединой, триипостасной, а в вере есть только метафизическое и трансцендентное, но отсутствует земное, вульгарное, связанное с полом и плотским наслаждением, отсутствует *половой инстинкт*.

Но так ли это? Разве не замешано христианство на *отрицании* половой любви, на понятии Греха, прямо следующего только из стремления к обладанию? Ева совершила воистину судьбоносный поступок, вызвав к жизни жизнь в широком смысле этого слова, то есть и любовь, и род и народ, и историю, и труд, и творчество, но и Веру, ибо и Иисус Христос воплотился в человека, чтобы преодолеть последствия ее поступка. Какие два чувства Он объявляет наивысшими для человека? *Любовь к Богу и Любовь к ближнему*.

Но *«лучше человеку не касаться женщины!»* – вот что в центре всего христианского учения. И *«в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.»*

Итак, ни здесь, на земле, не следует жениться и касаться женщины и испытывать к ней плотскую любовь, ни там, на небе.

И вся монашеская жизнь подчинена аскезе, в центре которой *борьба с этим греховным чувством любви к женщине*, поэтому можно сказать, что половое (в форме отрицания) так же является одной из ипостасей веры, как и любви. И как история определилась грехопадением Евы, любовью к ней Адама и рождением детей, и вызванным сим и народом и любовью к своему народу (патриотизмом), так и Метаистория, пришествие Христа для исправления последствий грехопадения и любви, и Вера.

Но ревнивый Бог требует избрать что-то одно: либо любовь к Женщине, род и Народ, либо любовь к Богу, отрицание женщины, божий народ (вместо еллинов и иудеев), церковь вместо государства и культуры.

Но и вся наша жизнь, и любовь и вера словно бы состоят из одних точек разрыва, и мы обречены на совмещение Греха и Святости, Любви и Веры.

Игра сопутствует детской жизни, ей же сопутствует смех, как и светской жизни в целом. Монах же должен быть серьезен, как серьезен Бог. Более того, Бог суров и даже жесток: не он ли утвердил Ад и поставил в нем начальником дьявола?

Нет в церкви ни одной иконы, на которой бы святые смеялись, смех даже иногда порицается как грех – да и естественно, ибо земля – юдоль плача, человеку надлежит страдать, христианин, если не выпадают на его долю мучения, к ним стремится, говорят, что он *сподобился мученического венца*, когда его мучают и распинают.

И Иисус Христос пришел для того, чтобы принести себя в жертву для исправления грехопадения Евы.

Но прежде чем наступит конец света, не обещает Он ничего хорошего, ученикам Своим говорит: «будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое».

«Восстанет народ на народ, и царство на царство; ... Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. ... Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое».

Протопоп Аввакум, защитник «древлей» (серьезной, истовой) веры, почти символ такого из учеников Христа. И хотя он не монах, но для монашества он потрудились не мало, и сам боролся со своими страстями, и двух девиц, своих «духовных дочерей», «спас»: они хотели выйти замуж и родить детей, а он не дал и вверг их в монастырь, всячески обличая их «блудные намерения» (всего-то живое материнское чувство, стремление родить деток, пробудившееся в них). Или кто-то бросит в них камень? Или кто-то бросит камень в меня, за то, что я их жалею и их защищаю? Или бросит камень в меня за то, что я порицаю «проптопа», по выражению моей матери? А я, надо сказать, и перед старообрядчеством имею заслуги, ибо издал в России первый полный научный текст житий Аввакума, боярыни Морозовой и инока Епифания в одной книге. (Да, кстати, и великий русский ученый Ухтомский, сам *монах в миру*, монахов порицал, говоря, что они не хотят трудиться).

Но хватит порицать других, не время ли порицать себя самого?

3. Жертва

Да, позапрошлою ночью мне было плохо, и, конечно, поделом – не только выпил лишнего, но и колобродил... Сначала пил с товарищем на кладбище Александро-Невской Лавры, а потом, уже хмельной, встретился с *подругой*.

Еще при первой с нею встрече мне остро пронзило сердце ощущение боли, которая спрятана у нее внутри, и мне теперь кажется, что безотчетно я словно бы сразу же поклялся ей помочь, спасти от этой боли, научить снова смеяться и радоваться жизни. И с тех пор мы изредка встречались, иногда ходили в театр вместе с близкими и подругами, часто писали друг другу письма, ...

Я только уговорил ее, чтобы мы иногда смотрели в глаза друг другу.

И вот эта встреча, она ехала на дачу, я вызвался ее проводить, и мы решили выпить вина, со мною было красное дешевое Каберне, оказавшееся неплохим вином. Мы наливали его в бумажные стаканчики и пили, закусывая сахариками, и смотрели друг другу в глаза. Казалось бы, характер наших отношений мы уже определили, условившись, что между нами метафизическая черта, которую я не буду переступать, не буду ее искушать и сам искушаться не буду, но только я не соглашался называть чувство, связывающее нас, духовной любовью.

Пусть это будет с моей стороны *просто любовь*, как у всех, говорил я, но мы не будем переходить черту, отделяющую идеальную мистическую привязанность от человеческой любви в ее полноте.

И так мы пили вино, черта, разделяющая нас, была неприкосновенна, мы улыбались, смеялись, и были счастливы, и она тоже была счастлива, я это чувствовал, да она и не скрывала того, что испытывает радость... а я... я испытывал блаженство.

Но нас разделяло слишком многое, кроме того, нас разделяла ее обостренная вера и боязнь греха, которую я с ней разделял (вопреки тому, что диктует природе тот инстинкт, который философ положил в основание любви).

И именно поэтому нас разделяла метафизическая черта, которую мы проложили между нами сами и условились ее не переступать.

В любви есть *притяжение плоти* – и хотя ничто в человеке не тождественно чисто природному, и хотя и чисто природное (или биологическое), как мы уже видели, не совсем отделимо от того, что, казалось бы, принадлежит только человеческому миру, но содержит и эстетическое и стремление к восхищению красотой (даже у птиц), и нравственное, инстинкт, разделяющий добро и зло, позволительное и непозволительное (даже в царстве зверей), и потому и притяжение плоти в человеке не обязательно низко, но может быть и возвышено; но в любви есть и *метафизическое притяжение*, связанное прежде всего с культурой, с притяжением душ, которое не всегда возможно точно определить, в частности, в любви есть ответственность, забота, сотрудничество, взаимопонимание, симпатия, дружба, взаимность, общность отношения к миру (ах, философ, философ, ограничивающий любовь почти только одним биологическим тяготением, подобным голоду!) – все это *входит* в человеческую любовь, как аромат и вкус и букет входят в вино.

Но, наконец, в любви есть и нечто исключительное, особенное, необъяснимое и непостижимое так же, как и то, что вдохновляет религиозное чувство, любовь к Богу и Веру, в любви есть то, что я называю трансцендентной составляющей любви. Как человек триедин, и в нем и плоть, и душа, и дух, так триедина и его любовь. Но то, что я называю трансцендентной составляющей любви, нельзя называть его духовной составляющей, чтобы не подменять любовь к женщине любовью к Богу. Тайственный корень человеческой личности и самого бытия лучше назвать *мистическим*, мистическое пронизывает личность человека и как склонность, и как причина его мыслей и поступков. Так же *мистическое* определяет религиозность, оно же входит в любовь.

В видимых своих проявлениях оно может быть милосердием, великодушием, жалостью, состраданием... Но это таинственное влечение одной души к другой может достигать силы, значительно превосходящей эротическое влечение и желание *обладать и наслаждаться*. В его крайней форме это чувство, направленное на *спасение*, близко материнскому чувству, дружбе, состраданию, и человек, его испытывающий, может пожертвовать всем тем, к чему стремится любовь мужчины.

На следующий день она позвонила и сказала, что проплакала всю ночь и поняла, что и радость, которую она испытывала от того, что смотрела в мои глаза, греховна, и поэтому она со мною больше встречаться не будет.

«Но пока гармония не утвердится в твоей душе, я тебя не оставлю, – ответил я ей. – Если человеческая любовь греховна, то пусть будет дружба, я согласен на все. Я буду помогать твоему примирению с миром, я готов к тому, чтобы ты меня разлюбила, чтобы ты меня не любила совсем. Мне достаточно знать, что ты есть, и изливать на тебя свет любви, который погаснет только со смертью.

Но действительно ли обо мне это верно? В формуле идеальной любви, данной апостолом Павлом, говорится: *«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, ... не ищет своего, не раздражается, ... сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.»*

Но справедливо ли сказать обо мне, что я *«не ищущего своего... всего надеюсь, все переношу»*? Сорадуюсь ли я тому, что она Татьяна Ларина, а не Анна Каренина, и что она *«другому отдана и будет век ему верна»*? **Идеальная любовь не ищет своего**, а ищет спасения, не ищет взаимности, а ищет спасения, не ищет радости для себя, а лишь для того, кого любит. А я оплакиваю свои иллюзии, хотя мне и кажется, что я готов ничего не желать для себя.

4. Непостижимость любви

Многое я понял в последние дни из того, чего раньше не понимал, и что теперь делает меня печальным, как её печалили события ее жизни.

Хотя мне было плохо, и вчера утром я клялся больше не пить ничего крепкого, но заезжал по делу к товарищу, у него почти только пригубил это злуполучное крепкое, плохо мне не стало, но радости не прибавилось.

Говорили о любви, и в частности, о любви «к родной коммунистической партии» и о любви к власти и к тиранам.

Товарищ ответил: «Да, мы, русские, поклоняемся власти и верны ей. И если сегодня нас призовут поддержать указ правительства, чтобы тебе завтра отрубили голову, мы все как один его поддержим. Но если ты ночью сбежишь из тюрьмы и свергнешь это правительство, мы присягнем и тебе с радостью и любовью, потому что народ поддерживает устойчивость государства, он не входит в исследование достоинств правительства, как и Христос призывал подчиняться всякой власти, даже неправедной.

Вот почему мы стояли на коленях перед Царем, потом перед Керенским, перед Лениным, Троцким, Сталиным. Победили бы белые, встали бы перед ними. Прав победитель, а не побежденный, и так же только он и хорош.

А Сталин к тому же выиграл войну.»

Но я ему возразил: «У римлян был царь по имени Пирр, и он тоже победил, но римляне рассудили, что лучше одно поражение, чем две такие победы, и назвали его победу Пирровой. Это был великий народ и он создал великую империю, почти всемирную, и не знал поражений, пока не растворился в покоренных народах.

Значит, мы, русские, не обладаем критическим умом, к тому же у нас не было Брута, бросившего вызов возможному диктатору, но не было и Цезаря, столь великого, чтобы дать имя даже императорской власти.

Не было законов, скрепляющих государство вопреки и независимо от воли власти, мало было и властителей, достойных своего бремени.

Поэтому великим у нас мог стать любой проходимец, случайным порывом ветра вознесенный на трон. Только русский народ может воздвигнуть памятник полководцу, проигравшему все свои битвы, и оплакивать тирана, истребившего народу больше, чем все цари за тысячу лет.»

Товарищ мой оскорбился и сказал, что я бездарный философ, что он в гробу видал мои книги, и швырнул их вслед за мною, когда я уже поспешно ретировался.

И я начинаю понимать, что любовь к тиранам столь же трансцендентна и непостижима, как и поклонение божеству: разве не поклонялись ацтеки своему грозному и жестокому богу, которому в жертву приносились тысячи жизней, разве и не наш собственный Бог уничтожил Содом и Гоморру вместе со всеми их жителями, хотя там жили и безгрешные дети?

Непостижим и всякий человек. Моя Прекрасная дама верит и в Бога и в коммунистические идеалы, хотя ее прабабушка погибла, воюя против белых, а ее прадедушку расстреляли красные. И все же она идеальна, ибо верна идеалам, а я все еще неспособен любить, отрекаясь от себя. Поэтому я несчастлив...

5. Троиединство человека и спасение души

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля миновали.»

Апокалипсис

До Пришествия Христа иудеи ждали Мессию, который обещал их спасти. Они жили в мире, который хотя и был поврежден грехопадением, но который их вера не призывала проклясть и отринуть, и отряхнуть его прах с обуви своей, и «жить аки не жить», словно во гробе. Они надеялись на приход Спасителя, который преобразит сей мир, наполнив его спасением.

Еще с большей надеждою жили еллины и жители Рима, ваятели ваяли изображения прекрасных дев, зодчие строили, поэты писали стихи, крестьяне кормили народ. Были добродетельные и жестокие (как и сегодня), талантливые, трудолюбивые, заботливые... всякие... И все надеялись, и все жили не только в будущем, но и в настоящем, не только на небе, но и на земле, в мире, и были к нему привязаны, любили его и заботились о нем, и чувствовали за него ответственность. Можно сказать, что и в иудейском и в еллинском (античном) мире существовало гармоническое равновесие между миром этим и тем.

И что же случилось? Он пришел, принес Себя в жертву, велел праведным раздать имущество нищим и удалиться нагими в пустыню, и всем верующим в Него велел ожидать конца света, после которого обещал Страшный суд и спасение только для горстки верных, только для горстки – ибо «никто не ищет Бога; все совратилось с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного», как говорит апостол Павел, цитируя Ветхий Завет.

Ибо все жили, как оказалось, в мире, князем которого был Дьявол.

И все Его учение именно поэтому пронизано не только отрицанием мира, но и ненавистью к нему, и только сила жизни, которая содержится в обыденном человеке, удерживает его отряхнуть мир как прах и пойти за Христом (и некому было бы рождать и воспитывать, пахать и сеять, и защищать отчизну, и созидать храмы, и заботиться о тех, кто пошел за Христом).

Но меня больше волнует та жизнь «на вокзале», на которую Он нас обрек, велел во всем покоряться воле Бога (которая не всегда и проявляется – разве кто-то похвастается, что вот ему был голос с Неба?); велел во всем покоряться земной власти, даже несправедливой; не пытаться сей мир улучшить; не заботиться о завтрашнем дне; не прикасаться к женщине... не рождать детей (ибо все во грехе рождены), не устраивать войн (даже освободительных) и революций (а как же твоя святая прабабка, моя дорогая?)... да надо ли и писать стихи и доказывать математические теоремы, как Пушкин и Лобачевский?

Ну, потом «горстка» из нас воскреснет, остальные будут в геенне, и «лучше бы им не родиться!»

А я даже сталинистов не готов обречь на вечные муки, хотя они даже не понимают, что на одной Левашовской пустоши расстреляно перед войной сто тысяч человек – враги народа и «пятая колонна»? И дети и внуки их живы – как они смотрят им в глаза?

На чьи слова ссылались инквизиторы в Средневековье, отправляя на костер невинных людей и юных якобы «ведьм»? Разве не на евангельские?

И вот ходят по улицам евангелисты и проповедуют, что Бог нас любит и уже спас, и мы уже должны радоваться и быть счастливыми – но любит ли? И есть ли уже спасение? И есть ли счастливые?

Ибо и слова «счастье» нет в евангельских текстах, как и «творчества», и «культуры», и справедливости, и равенства, народовластия, природы и науки... Так не царствие ли это Божие для нищих духом?

25 июня, четверг, утро. Но объяснил ли я что-нибудь хотя бы самому себе? Эллинская этика делит мысли и чувства и дела человека на хорошие и плохие, направленные на зло и на добро, и вводит понятие *добродетели*.

Но объясняется ли через него христианство? Нет. Оно учит, что в результате грехопадения и мир поврежден, и душа человека повреждена, и человек отпал от Бога, и целью жизни для христианина является *спасение души*, то есть ее *мистическое преображение*, в результате чего освободится человек от последствий греха, прежде всего от тления и смерти. Для сего же человеку надо верить в Бога и любить Его, хотя апостол Иоанн добавляет, что надо еще и совершать добрые дела во имя Господне, но тем не менее одних усилий человека недостаточно для спасения, окончательно спасает только Бог, а человек только приготовляет душу к спасению.

«И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и *наследует жизнь вечную*... «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.»

Гораздо чаще говорится в Новом Завете о возмездии неправедным и о спасении только *малою остатка праведных* после Второго пришествия, и последние слова противоречат общему осудительному тону Евангелий, и наполняют верующих надеждою на милость Божию.

Однако, *этот мир* все же спасен не будет, об этом говорится неоднократно, *мир сей погибнет*, ибо будет конец света, а после *воскресения* (для праведных) настанет *«новое небо и новая земля»*.

Каким будет человек, и какою будет жизнь после *воскресения*?

У Лермонтова говорится об участи влюбленных так (слишком грустно):

Они расстались в безмолвном и гордом страданье

И милый образ во сне лишь порою видали.

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...

Но в мире новом друг друга они не узнали.

Но вся ли цель поиска истины и Бога состоит в том, чтобы не умереть, а если умереть, то воскреснуть?

Мой отец погиб на безымянном холме, защищая Россию и свою семью и свой народ. Надеялся ли он на *воскресение*? Не знаю.

Когда я сидел в сумасшедшем доме, однажды было роковое мгновение, когда меня привязали к электрическому стулу, чтобы создать из меня нового человека. Я был уверен, что это хуже смерти.

Было и такое в моей (иногда дурацкой) жизни, когда я, поссорившись с девушкой, в которую был влюблен, хотел ей продемонстрировать свою решимость умереть из-за нее – и чуть не умер и в самом деле.

Так только ли жизнью вечной руководится человек в своих поступках?

И действительно ли так может любить человек Бога, что готов отдать для Него все остальное на свете, и любовь к женщине, и любовь к Родине, и семью, и привязанности, и увлечения, и творчество? А получает ли он взамен кроме неизвестного Нового неба еще и любовь Бога к человеку? Ибо Священное Писание пронизывает суровость, безжалостность, космический холод, отсутствие смеха, мягкости, поцелуя, нежности, милосердия, (женского) сострадания.

Я копал землю и сажал цветы и овощи, для пропитания и красоты. Работал, заботился о семье. Дружил – и друзья меня восхваляли. Восторгался девушками и женской красотой, жаждал и наслаждения – но не только. Писал стихи и книги. Слушал музыку. Искал истину и все еще ищу, и озабочен судьбою России не менее чем своей.

Так ли привлекает меня жизнь вечная после смерти, если мне надо спасти Россию и хотя бы предчувствовать плоды моих усилий?

Многим недоволен я в мире, но не хочу отряхнуть его как прах от обуви своей. Я его жалею и хочу исправить, расчистив свалки, озера и реки.

Так надо ли откладывать *спасение* мира и человека до «конца света»?

6. Триединство любви и спасение души

Каждый из нас заботится о близких и друзьях, заботится и о мире, в котором живет, никто, кроме христиан, не думает о том, что и мир и человек погрязли во грехе, а поэтому никому уже не надо и помогать. Да думают ли так и христиане? Может быть, только христианские писатели и сектанты проповедуют «мерзость запустения, реченную пророком Даниилом», только они пишут и о человеческой «святости, которая смердит перед Богом». Но умалая так и мир и себя, невозможно им восхищаться, невозможно, следовательно, его и любить, невозможно восхищаться и женской красотой, видеть в ней, как Владимир Соловьев (вопреки его христианской теологии) «вечную женственность Божию»; и любить женщину не только как земную женщину, но и как и воплощение небесного образа (по Соловьеву). (И в наше безумное время, когда, кроме засилия любви содомической и всякой иной в извращениях еще и религиозное мракобесие воюет с святою земной любовью под знаками древней схоластики, проповедуя любовь христианскую и любовь духовную – но по рогам их мы узнаём их, ибо за душою у них среди патоки и елеса – ненависть к жизни, любви, человеку).

И поэтому, влюбившись, вопреки биологическим схемам Шопенгауэра, я стремлюсь не к обладанию, не к «победе над вражеской крепостью», а пытаюсь помочь *ей* преодолеть приступы отчаяния и разочарования в мире, в жизни, в самой себе. И только ради этого я в *нее* и влюбился (и Вл. Соловьев, заботящийся о преодолении эгоизма, меня поддержит!)

Правда, я еще не смог преодолеть свой эгоизм до конца, и любовь моя не идеальна. Ибо человек триедин, в нем и его биологическая сущность, и культурно-историческая (метафизическая), и трансцендентная. И так же любовь триедина, и мужчина жаждет нежности и прелести женщины, пока в нем и плоть и душа его живы.

Но неужели они в нем всегда сильнее, чем жажда спасения?

Нет, не успокоится мое сердце.

Книга моя дописана, но я еще ничего не узнал основательно. Я не знаю, почему ей однажды понравился, и мы пили красное сухое вино. Никогда уже не узнаю, почему разонравился.

Эпический роман обнимает собою весь мир, и почти все литературные жанры. Таковы Илиада и Одиссея Гомера. Всеобъемлющ роман «Война и мир» Льва Толстого. Разве я его порицал?

В юности я читал статью Стендаля «О любви», не все в этой статье плохо. Но если бы он ее не написал, мы не заметили. Два его великих романа говорят о любви почти всё, и сценою «Красного и черного» является Храм, сценою «Пармской обители» Тюрьма. Сцена, на которой разворачивается драма моих сомнений – моя душа. Неужели все то, что я написал, плохо? Ну, положим. Но я обещаю, что еще напишу лучше, может быть, напишу еще лучше всех. Ибо я еще не узнал, зачем я и сам приходил в этот мир.

Ибо я, обличающий других, и сам в заблуждениях. Я, пишущий о любви и ищущий любовь идеальную, и сам еще не понял, что такое любовь, и не уверен, что способен к любви идеальной.

Я научился поклоняться женщине, но часто и в ней сомневаюсь. Я научился ей прощать всё, но часто и на нее обижен и раздражен. Ибо и она, как я уже писал «существует двояко, в реальной сфере и в идеальной, я бы сказал, что в инобытии, если бы не думал, что *она существует двояко уже здесь*, то есть не только потенциально, но и актуально. *Она идеальная* и есть подлинность, сокрытая занавесом обыденного мира, а та, которая предстает всем как обыденность, это ее искаженная форма здесь-пробытия.»

Подобное говорит и Вл. Соловьев: «Небесный предмет любви только один, всегда и для всех один и тот же – вечная Женственность Божия; но ...задача истинной любви состоит не в том только, чтобы поклоняться этому высшему предмету, а в том, чтобы *реализовать и воплотить его в другом, низшем существе той же женской формы, но земной природы...*» (И как значительно, что именно религиозный философ протягивает мне руку в соприотвлении религиозному обскурантизму!)

Ах, женщина, женщина! Ну почему мне, влюбчивому, легкомысленному, совсем не праведному, по крайней мере, сотканному из слабостей – и именно поэтому я и не смею так сурово обличать человека – встречались только удивительные прекрасные женщины, боящиеся греха? И мне поневоле приходилось стремиться к идеалу – вместе с ними... Хотя, разве они уже не были идеальны? Разве им еще было нужно стать лучше?!

7. Аксиомы существования

Троичны не только человек и любовь, но троично и бытие в целом, или, лучше сказать, троично само *Существование*.

Наши рассуждения и теории завязли в дуализме, в представлении о двойственности бытия, о его онтологическом единстве двух противоположных субстанций и его гносеологическом единстве субъекта и объекта (или, по Канту, напротив, трансцендентном разделении).

Кроме того, бытие мыслится состоящим из материи и сознания или из духа (или души) и тела; причем, хотя я и говорю, что бытие онтологически и гносеологически – единство двух противоположностей (или соединений), но каким образом осуществляется это единство, как представляют собою целое две несводимые, принципиально разные сущности, я не объясняю и не могу объяснить (и не буду стараться, потому что мне это и не важно).

Материя и Дух появляются как две противоположные сущности только в абстрактно схематическом представлении о Бытии как некоей все обнимающей цельности (хотя мой образ *Инобытия* уже показывает неполноту такого представления о *Всём*).

Если мы рассматриваем предмет, например, камень, то бессмысленно ставить вопрос о том, где в камне сознание (или дух), но можно говорить о гносеологическом противостоянии объекта (камня) и субъекта (представляющего этот камень).

Но в самом камне нет не только материи и духа, но нет даже объекта и уж тем более нет субъекта.

Если философ от понятий о всеобщем спускается на грешную землю,

например, рассматривает некоторое явление или Идею (Категорию), или Сущность, представляющую нечто большее чем Идея, например, Любовь, о которой мы теперь говорим, то он и от понятий о духе и материи, объекте и субъекте переходит к более конкретным понятиям, привязанным к любви, а не к Всеобщему (Бытию) как таковому.

Поскольку моя книга уже заканчивается, то некоторые важные утверждения я уже буду приводить без доказательств и даже обоснований, надеясь на тот духовный опыт, который имеется у читателя. Если бы я писал о Моцарте, то тоже не все я бы стал *доказывать*, так как читатель, знающий и любящий музыку Моцарта, только нечто особенное в моих рассуждениях мог подвергнуть сомнению или же отвергнуть (так, я подумал, что «концерты» Моцарта обращены к рядовому слушателю, они популярны, они не требуют от слушателя значительной глубины, и он так и сам думал и на этих слушателей рассчитывал – в отличие, скажем, от Реквиема).

Итак, любовь триединая, в нее входит, прежде всего, тот самый половой инстинкт, к которому сводит Шопенгауэр всю любовь, не делая различия между любовью у человека и любовью у рыб; я лучше скажу, что в любви значительное место занимает «биологическое», которое шире только инстинкта, и оно окрашивает почти все чувства и душевно-плотские движения, входящие в любовь, но не ограничивается только *плотью*.

Но в любовь входит и метафизическое, или душевное, то есть душа, история и культура (и она подобна тому в вине, что делает его изысканным или вульгарным). Если биологическое составляет желание обладания и наслаждения, то к метафизическому относится нежность, сочувствие, и сострадание, и восхищение красотой (даже у животных не все только одно *биологическое*), и стремление к взаимопомощи, и желание ответной любви (требует ли половой инстинкт индивидуального чувства?). Биологическое, являясь своего рода плотской основой любви родовой, еще не делает ее любовью индивидуальной, но только потребность во взаимности делает любовь любовью! И еще таинственная потребность в самом чувстве любви, в её переживании (то, что у Пушкина: «Духовной жаждою томим...»).

Любовь связана с жадной любви, сначала появляется ее желание, а потом уже на человека обрушивается и само это чувство.

Но есть в любви и еще более таинственный источник, который мы назвали *трансцендентным*, подобный тому, который лежит в основании веры, и разница между ними в том, что вера имеет целью спасение собственной души, а любовь направлена на спасение и преображение другого.

Если очевидно, что душа не является свойством тела, его функцией, хотя и неотделима от тела, если также очевидно, что метафизическое содержание любви не следует из «полового инстинкта», то есть из биологии, то и трансцендентные основания любви и веры не вытекают из метафизики человека, то есть из культуры. Потребность в Боге не того же рода, что потребность в познании и размышлении, точно так же и потребность в Любви находится вне Природы человека. Более того, из Веры и Любви следует, что человек не только часть Природы, но и вне ее и не сводим к ней.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Успокоится ли сердце?

1. Запретный плод

Пока наши прародители были в раю, они не ведали стыда (хотя и звери не знают стыда) и не испытывали полового притяжения. Но, следовательно, они не знали и не испытывали Любви, и не томилась жаждой по ней (христианин мне возразит, что они могли испытывать другую любовь, не связанную с «половым инстинктом» – но кто из христиан её, *другую*, испытывал? "Покажите мне этого человека!")

Возможно, тогда у них была иная плоть, и только плод с "Древа познания добра и зла" наделил нас именно этой, тленной *греховной* плотью, которую мы *наслаждаемся* и за которую так жестоко расплачиваемся.

Античный мир был миром, проповедующим радость, христианство принесло с собою отвращение к миру и к его радости, смеху, веселью, наслаждению.

Европейские народы, каждый по своему, пытались приблизить христианство к жизни и к ее оправданию, поэтому «церковная вера» не совпадает с той первоначальной верой, из которой она выросла, с ее ненавистью и к плоти, и к миру, и к женщине, в православие вошли радостные и светлые русские языческие праздники, и даже Пасха (которая вовсе не иудейская Пасха), поминающая Распятие Христа, стала праздником прежде всего Воскресения, в том числе и весеннего воскресения Природы. Богослужбное православие сосредоточилось на проповеди праведной жизни в семье и в обществе, на сознании своих личных грехов (а об онтологическом грехе Евы верующие мало поминуют, да и не подозревают, поди, что это центр всего христианского учения), на покаянии за совершенные днесь грехи и обещании исправиться и не грешить, на причастии и вкушении Духа святого, – то есть на приобщении, соединении бытия и инобытия.

Поэтому, уже на пороге, говорю моим дорогим: как можете, так и веруйте: нужно вам в храм идти, так и идите, а если я духовенство иногда порицаю, то не так уж и сильно, я только предостерегаю против того, чтобы им давать государственную власть и чтобы они вмешивались в дела культуры и общественной жизни, то есть предостерегаю против *клерикализма*, против кабалы святош, за которую мы так дорого заплатили (или уже все забыто?!).

Во взглядах на любовь я расхожусь с христианским учением, но в этом отношении, как вы видите, с ним разошелся и такой выдающийся христианин, как Владимир Соловьев, призывающий даже не только к тому, чтобы поклоняться Женственности Божией (отвергаемой богословием), но «воплотить ее в другом, низшем существе той же женской формы, но земной природы» (как ему удалось найти эту *женскую форму* в «христианской Троице», удивляюсь. В Богородице, которой мы, русские, поклоняемся? Но она не ипостась Бога согласно учению, это только для русских она божественна, и раз Богоматерь, то даже выше Христа (как веровала моя мать, наивно говоря: Ведь это же *Она* Его родила!?! – а Он даже не вышел к ней навстречу!)

Мы все уповаем на милость Божию (что так же восходит к языческим представлениям о Высшей трансцендентной силе как о Заступнице), и русский человек во всякую минуту горести и страха восклицает: *Господи, спаси и помилуй! Помоги и не оставь меня! И помоги моим близким и всем несчастным* (как я добавляю, и как говорит и моя *подруга*, когда молится, чем она меня более всего умилила и влюбила.)

Если именно это упование на ПОМОЩЬ Бога и есть почти вся вера современного просвещенного человека, то разве я против? Нет, это и моя вера! Я только жестокость и суровость, вражду к миру и человеку (особенно к женщине) не приемлю в Мифе (не только христианском), все эти вечные мучения, вар и смолу и скрежет зубовой, а особенно вечность мук (что ужаснуло и отвратило от веры Юсупова – см. Воспоминания).

Итак, моя «Метафизика любви» заканчивается.

Иной читатель воскликнет: «Да не слишком ли много о женском очаровании? Не помешался ли ты на нем?»

Ну уж не настолько, как христианское учение, которое в нем и видит основной грех и источник порчи мира, и весь «ПОДВИГ своей веры» сосредоточивает в том, чтобы не прикасаться к чарующей его (по наущению дьявола, разумеется), для чего даже прибегает к огню и железу.

Нет, я хотя и бегал за ними (сознаюсь), но ведь еще и с советской властью боролся, за что и в тюрьме сидел, и в сумасшедшем доме (и там тоже бегал – за сестричками), и книги собирал (до маниакальной страсти), и в карты играл (тоже до страсти), и водку и вино пил, и работал (никогда не протягивая руку за подаванием, но даже помогая нуждающимся), и книги писал, и издавал их (за что тоже в тюрьме сидел, уже при антисоветской власти, с которой тоже боролся), и с детьми дружил (а как бы ни порицали меня благонамеренные, но дети меня любят!!!), и музыку слушаю, и в театр хожу (там, правда, тоже иногда влюбляюсь)...

А монах борется с *искушением плоти*. И не помешалось ли христианство на ней, если и почти все святые – либо покаявшиеся блудницы, либо не согрешившие девственницы?

Впрочем, мне тоже приходится бороться с плотью. Миленькая рыдала, упрекая меня в том, что и я «как все», и мне тоже «только это и надо», и прямо таки пронзила мне сердце своими рыданиями, и я воскликнул: "Да успокойся, да не нужна мне твоя плоть, и не тянет меня к ней и *не хочу* я тебя!!!"

Любовь триедина. И ради моей страдающей ласточки, ибо ей я хочу помочь прежде всего и научить вновь смеяться и радоваться жизни, я уже отказался от ее плоти, а скоро откажусь от своей (или, по крайней мере, меня об этом уже и не спросят!)

И все же я мечтаю, чтобы мы снова сидели друг против друга, хотя бы и в электричке, не видя публики и забыв про ментов, пили вино из бумажных стаканчиков, и я целовал ее руки, и мы смотрели друг другу в глаза... Нет, мы не перейдем черту, которую провели, но «*О, как мучительно и неотвязно Тебя люблю!*» Обретая и трансцендентное, я не преодолеваю трагедию Бытия. Но и не преодолеваю трагедию Бытия, я вкусил блаженство и благодать мира, красоты и любви!

2. Жизнь как Трагедия и Радость. Вера. Любовь. Надежда.

Я уже надоед читателю своими жалобами на болезни и немощи, особенно плохо мне по ночам, когда кажется, что уже умираю, и иногда так падаю духом, что думаю о смерти и мечтаю умереть. Но я не первый жалуюсь, и не первому мне плохо.

И апостол Павел писал: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.» Счастливей человек!

Удивительное противоречие заключено в христианском мифе: Жизнь – юдоль плача, и жить надо аки во гробе... Мир испорчен онтологически и его невозможно исправить и не надо даже пытаться. Женщина – средоточие зла, любовь к женщине – грех, рождение детей – последствия греха. Спасется только горстка праведных, остальных ждет вар и скрежет зубовый. Но при этом христианин счастлив. Счастье он испытывает в любви к Христу.

А я?

Как говорили мне волхвы: «... поэтому тебе и даются язвы и струпия, и Ангел сатаны тычет острым жезлом в бок, нанося тебе раны. И ныне ты заболел, во-первых, потому, что необходимо искупить тебе свои вины, но и потому, что надлежит утончить твой дух, чтобы он был свободен от земной суеты и смог видеть небесное.»

Увы, я не уверен, что могу видеть небесное, хотя и стенаю.

Преодолеть «жизнь как трагедию» с помощью философии и культуры невозможно, Миф гораздо действеннее, при всех своих внутренних противоречиях. Но ведь эллины не страшились смерти, и римский гражданин воспитывался как человек мужественный, не боящийся смерти, даже без уверенности в воскресении. Так, когда посланцы императора Тиберия пришли к Сенеке, чтобы схватить, он бросился на меч (и так поступали многие). Достигают ли христиане такой силы духа, такой свободы от страха?

Да и я не всегда терял Надежду, как бы ни чувствовал трагизм бытия,

Надежду придает мне ощущение, что Природа пропитана духом как солнечным светом, что все в ее истории и бытии целесообразно, соразмерно, гармонично, построено и строится по законам прекрасного мира!

Надежду придает мне *Любовь как синтез природного, метафизического и трансцендентного.*

Надежду придает мне Любовь как забота о том, что мне дорого.

Так успокоится ли моё сердце?

Нет, сердце мое не успокоится, искать радость в смерти (а этим настроением пронизаны многие писания христианских писателей) как христиане, жаждущие поскорее попасть на страшный Суд и войти в малую горстку избранных, которым обещан рай, я не хочу.

Пока я жив, я переживаю метафизическую связь с культурой и историей: и с *Прошлым* – солнечным Египтом, мудрой Элладой и героическим Римом, Европой и Россией; и с *Будущим*, растущим в семье, роде и народе. И еще не отделился я от Природы, и от своей собственной плоти, которая меня хотя и мучает, но иногда и утешает: глубоким сном после утомительной работы, красотой женщины и природы, «похотью очей» (которую мы можем наслаждаться только благодаря нашей плоти и материи мира), блаженством любви (неотделимым от плоти, даже если оно и следствие слияния душ).

Но я не все отрицаю и в христианстве, оно включило в себя радостные языческие славянские праздники, и церковная ежедневная литургия – приобщение к таинственному предназначению *земной жизни* Спасителя. Таковы же и церковные проповеди и песнопения.

Так разве я против православной церкви? Нет, в ней и я нахожу утешение.

Подумав так, я обрадовался: не так ли мы утешены и культурой в целом, хотя не все в ней совпадает с тем, каковы мы сами; не так ли мы счастливы и в любви: к женщинам, друзьям, народу, природе и культуре? Предметы и явления, которые нам нравятся, словно звуки величественной мировой симфонии, а в Любви они в нее сливаются, Любовь – это не только состояние души человеческой, но и мистериальное вознесение ее к Инобытию.

Если бы я стремился только к собственному счастью и к обладанию женщиной; если бы я стремился к богатству, признанию, славе, к успеху; если бы я стремился достигнуть тех частных целей, которые постепенно возникают перед нами в продолжение жизни, если бы я стремился даже к возвышению, – я никогда не достиг бы счастья, потому что никогда не достижима граница переменчивых желаний. Но *возвышение культуры, спасение России, спасение народа, благополучие семьи и близких, спасение той отдельной души, которая зажигает этот непостижимый любовный огонь* – это не переменчивые желания, а мировые константы бытия. Любовь вносит в бытие трансцендентное духовное преображение, и тогда природное отступает на второй план, поэтому в любви совершается второе – *духовное рождение* личности.

И тогда оказывается, что жизнь для Любви возвышенна, в ней и страх смерти отступает на второй план. Трагедия жизни не преодолевается, но возникает новая надежда... Но успокоится ли в ней сердце?..

Я не отвергаю церковь - смогу ли убедить *ее* не отвергать любовь, считая ее грехом?

Грех может быть связан только с плотью (и то лишь в определенных обстоятельствах), но *разве любовь плотью исчерпывается?*

И поэтому не пожертвовать ли почти всем, к чему стремятся влюбленные? Ибо я не смею быть причиной ее страданий... Я только смею страдать... Но смею ли я жаловаться, баловень судьбы, любимец богов и прекрасных женщин?

Разве то, что я болен – трагедия? Тлением больны мы все...

Или трагедия в том, что я умру? Отвергнутые влюбленные готовы умереть с радостью, только бы не быть отвергнутыми – им ли меня понять?

Или трагедия в том, что «...вечно любить невозможно!»?

Но в любви бывают состояния, когда время останавливается – разве это не вечность?

Отчего же я несчастлив?

Оттого ли, что не исполнил ничего из того, что мне предназначено – но ведь я еще жив?! Вот если бы я уже умер, то мог бы сетовать и сокрушаться по праву!.. И посему не буду терять надежду, ибо любовь и надежда – одно!

Любовь заставляет страдать – но она же и вознаграждает за страдания. Приводит к отчаянию – но она же и утешает. Только любовь наполняет жизнь смыслом и преодолевает страх смерти.

3. Любовь и страсть

Любовь не отделима от страсти, от напряжения чувства и переживания. Любовь к ближнему – если это любовь, – так же должна быть страстной. Но можем ли мы любить *ближних* страстно, стараясь быть милосердными и жалея тех, кто бедствует? Нет, это именно милосердие, великодушие, доброта, жалость, и они спокойны.

Русское слово «люблю» во многих случаях и не означает «люблю», что сбивает с толку человека, плохо чувствующего русский язык, но синонимично «нравится, приятно, предпочтительно», как и «не люблю» не означает непременно ненавижу: я не люблю немцев за их высокомерие и поляков за их спесь и русских за их глупость... Но если я люблю евреев за ум и культуру, то это не значит, что "я их люблю" – я их только предпочту русским, если мне будет предложено в тюремную камеру набрать соседей. А так-то я их «люблю» не более, чем русских, ибо нет типа, который можно любить как всеобщее, я даже о женщинах не могу сказать, что я их люблю, но из них некоторых я люблю больше, чем остальных.

В любовь должна входить страсть, таково даже собирательство книг, творчество, патриотизм, вера, материнская любовь, растворение в «родной... партии», секте, тайном сообществе; таковы даже игра в карты, пьянство, коллекционирование, kleптомания, проституция, блядство и так далее...

«Любовь без страсти» относится к другому: например, к дружбе, симпатии, расположению, увлечению, взаимопониманию, сочувствию, состраданию, жалости, долгу, необходимости, почтению, уважению и т.д.

Итак, Любовь включает в себя страсть!

Такова и Любовь к женщине, проникающая Сущее, дающая ему Корень и Плод, дающая ему смысл, ограничивающая трагедию, открывающая путь к спасению души, открывающая смысл и возможность жертвы, открывающая инобытие и восхищение, единственный подлинный путь к обожанию человека, страсть и милость, сострадание и забота, всемирное притяжение душ, проникающее плоть, *побег из времени*, освобождение от рабства смерти, наслаждение красотой, нежность, распространяющаяся не только на человека, но и на Природу, любовь, открывающая мистические врата к прозрению и восхищению. Любовь к женщине в ее идеальном неотделима от всех духовных ценностей человека, прежде всего от культуры и творчества, от принадлежности к семье, народу, вере!

Я не святой и не праведник, не пророк и не прозорливец. Ни власти у меня, ни богатства, ни славы, ни силы, ни убедительности. От чего страдают ближние и дальние, от того страдаю и я. Одолевают тоска и скука, страх и немощь, то преходящие хвори, то почти постоянные, но о них распинаться не буду. Нет, немощами своими я не хвалюсь, а говорю о них в пояснение, что я один из всех, такой же как все. И женщина меня мучает и привлекает, как почти всех, как большинство (за исключением «людей лунного света» или жителей Содомы и Гоморры). Кому я близок и понятен? Да только тем немногим, которые близки мне, а так, с кем ни говорю, каждый близок только себе. Только я одновременно и особен и всеобщ, и обращен на себя и неотделим от других, и болен сам и сочувствую чужой боли – этому свидетельством вся моя жизнь. Да, герой моих литературных творений – я сам, или почти тот же, что я. Но только я вожу бедным детям одежду, игрушки и книги, разговариваю и вникаю в их жизнь, и только ко мне они восхищенно бросаются в объятия! Но меня любят и женщины и друзья (хотя и не все и из них меня читают), значит, я не могу быть плохим и негодным.

Что я хотел объяснить читателю в этой книге?

Что у любви к женщине три источника, и Плоть неотделима от любви, личности и красоты, не составляя все их существо, и поэтому можно восхищаться красотой плоти и стремиться к наслаждению ею, как мы наслаждаемся запахом и видом цветка и букетом вина, а можно их втоптать в грязь и потреблять вместе с грязью.

Что в любви открывается дверь на небо, томлением о котором томится душа. Открыл ли я ее сам? Нет. Но она мне иногда приоткрывалась, и я что-то видел и слышал и чувствовал неземное.

Что любовь одновременно и то окно, через которое мы смотрим за границу себя, за которым мы осзаем дождь, слышим грозу, видим северное сияние...

Что любовь делает нас счастливыми, но она же делает и несчастными. Женщина предстает мне в разных образах – возлюбленной, жены, подруги, ученицы, дочери, – поэтому я счастлив. Женщина предстает мне как непостижимая и недостижимая Тайна бытия, как Грех и воздержание от греха, как любящая и отвергающая – поэтому я несчастлив.

Она предстает мне и как мое собственное литературное творчество, как русский народ и Россия. Но они не удовлетворяют моим ожиданиям, и сердце мое болит.

Женщина и моя любовь к ней неизмеримо шире обладания и наслаждения, и поэтому я не во всем всеобщ, в этом я исключителен, и эта исключительность отгораживает от меня читателя некой стеной, и когда я пишу про «похоть плоти», «похоть очей», страсть и вожделение, читатель возмущен моей грубостью, а когда я пишу про «робкое дыханье» и «прикосновения бестелесных взглядов», читатель возмущен моей якобы выдуманной утонченностью.

И только мгновениями я бывал счастлив в любви, но бывал счастлив и в обыденном, наполненном работой и заботой и любовью к семье, родным и друзьям и мучительной почти ненавидящей любовью к России.

31 июня, среда, утро. И этой ночью я думал о смерти, но вдруг в семь часов утра раздалась возгласы: Вставай, лежебока, скорее дописывай свою книгу! После смерти отоспишься, если только не попадешь в переплавку...

Странный философ Владимир Соловьев, предполагающий эволюционное соединение мужчины и женщины в единую личность... Странный он потому, что в женщине видит высшее воплощение земной красоты, и в ней же предлагает «воплотить... вечную женственность Божию» (как будто ей недостаточно своей?). Но все таки женщину он поэтически поднимает до Божества.

По-видимому, в молодости он был влюблен не совсем счастливо, искать новый предмет своей неутоленной страсти не стал, теперь надеется воссоединиться с *нею* в вечности – и прекрасно, но зачем растворяться друг в друге буквально? Разве не сказано в евангелии от Матфея, что «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? ... посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»? И, следовательно, надо ли заставлять природу слеплять из двух полов один, чтобы стать единым? Нет, большее единство, когда они двое становятся одним в любовной страсти, из которой проистекает и род и народ.

И посему мы видим, что та любовь, которую я пытаюсь утвердить и защитить, та *половая*, по выражению Шопенгауэра и Владимира Соловьева, *любовь*, пронизывает все отношения людей.

Очевидно, что она является основанием любви между мужчиной и женщиной, хотя это и не отменяет метафизический и духовный (трансцендентный) характер такой любви, как и то, что в человеке соединены душа и плоть, не означает ни того, что личность человека состоит в душе, ни того, что она состоит в теле.

Математическое рассуждение, показывающее, что в понятие явления могут входить и граничные и предельные точки, не принадлежащие даже границе, и точки экстремума, и точки разрыва, и особые решения, соединяющие точки множества частных решений (как постоянная кривая, по которой движется своею вершиной переменная кривая общего решения – так колесо движется по дороге, постоянно касаясь ее), единственный способ точного и глубокого и полного рассуждения. И поэтому норма человеческих отношений – любовь между мужчиной и женщиной одновременно *природная* (эротическая, половая), *метафизическая* (укорененная в душе и культуре) и *трансцендентная* (духовная, необычайная, религиозная). Отклонение от нормы (узаконенное подчас в те или иные исторические периоды) – это любовь *содомическая*, однополая, между мужчинами. (Женская аналогичная любовь представляет собою исключение, часто сводящееся к пылкой дружбе или относящееся к пределу нормы).

Итак, норма любви – *любовь природная* (но это не значит, что она у человека совпадает с любовью в природе, у человека ничто не совпадает с тем, что в естественном мире, а только может быть подобно той или иной стороной, человек – это соединение двух миров, естественного и сверх-естественного (как мы уже договорились, мое изложение *аксиоматическое*,

такое же как у поэта – поэт не доказывает свои утверждения – *читающий да разумеет!* (А кто не разумеет, пусть и не читает!)

Новый Завет пронизан *страстным* отрицанием природной любви, и как следствие, ненавистью к миру, стремлением к смерти, жаждою поскорее попасть на небо, в центре отрицания *страстная нелюбовь*, находящая, как ни странно, отклик прежде всего в женских сердцах, как и христианство в целом находит в них отклик. Это или предельная точка в любви или точка разрыва ее, и в соответствии с моими рассуждениями страсть, объединившую Новозаветные проповеди, ее психологию, ее метафизику и ее трансцендентность, правильно назвать «бесполой любовью». Она отчасти беспредметна, бесцельна, включает в себя «любовь к Богу» (Иисусу Христу), которая иногда является страстью, особенно в католических странах, пытается включить и «любовь к ближнему», которая любовью не является, так как в ней нет страсти. Но наибольшая страсть находится в *отрицании*, а предметы ее разнообразны.

Кроме женщин *страсть ненависти и отрицания* распространяется на что-нибудь другое, например, на еретиков, ведьм, дьявола, иноверцев, инородцев, язычников, ученых, актеров (вспомним протопopa Аввакума и его битвы с скоморохами), кулаков, подкулачников, буржуев, эксплуататоров...

Итак, «*бесполой любовь отрицания*» является важнейшим чувством, одухотворяющим христианское учение, как и «спасение души».

Но призыв не касаться женщины и исключить половую любовь приводит и к нежелательным последствиям, к той самой содомии (однополой любви), которую Библия презирает (а о ее распространении ныне среди священнослужителей высокого ранга неоднократно говорил и Ватикан и наш профессор Духовной академии дьякон Кураев).

Итак, *природная любовь* проявляется в норме в виде двуполой любви и вне нормы в любви однополой и бесполой, следовательно, она троична.

Бесполой любовь устремлена к своей родине – трансцендентному, инобытию, «тому миру», поэтому бытие, сей мир ей ненавистны.

Половая любовь устремлена и к Природе, и к «миру сему», культуре, народу, семье, метафизике в широком смысле этого слова, но она же устремлена и к трансцендентному, так как в нее входит страсть и воля к *спасению души*.

Некоторые половые отклонения имеют религиозные соответствия, христианство пронизано страстью к страданию, такую же страсть мы находим в мазохизме. Монашеская половая аскеза находит соответствие в скопчестве.

В Евангелии о них говорится так: «ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые осклоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.»

Итак, мы видим, что любовь подобна *всемирному тяготению*, соединяющему планеты и звезды и притягивающему к Земле все то, что на ней расположено; ему же подчиняется движение и вод морских и рек, и движение ветра, казалось бы, почти бесплотного, и движение всякой плоти. Любовь же притягивает живые существа и соединяет их, проявляясь и через плоть, и

через душу, и через дух. Но она же устанавливает и преграды, то есть разъединяет, иначе в Природе не было бы разделения, обособления и индивидуальности. Без плоти любовь не полна и неполноценна, как и человек не существует без плоти. Но как солнечное тепло, впитываемое землей, устремляется затем вверх, так и любовь устремляется к небу. Не бойтесь того, что и красота не бесплотна, и любовь не бесплотна, но сие не значит, что в красоте и в любви не бьется духовное сердце.

Нет ничего возвышенного, что было бы чрезмерно возвышено, если говорится о любви. И то же относится к красоте. И то же относится к состраданию и спасению души. Ибо хотя мы не живем без тела, но и не для одного тела живем, как то же сказано и о хлебе.

В мире много зла и неправды, но из этого не следует, что мир следует отвергнуть. Даже молоко, которым питали нас в детстве коровы-кормилицы, не чисто, и прежде чем его пить, следует его процедить. И в чистой родниковой воде плавают ветки и листья и всяческий иной мусор; я часто пил родниковую воду, иногда просто став на колени и склонившись к воде – но прежде я дул и на воду, чтобы траву и листья отогнать к краю.

В любви есть почти все, что есть в человеке, и не всегда любовь делает его лучше; если развращает власть, то может развратить и любовь. Единственное, что не развращает, это стремление к тому, чтобы любовь доставляла радость тому, кого любишь, а потом уже мне самому.

Не сказал я о любви в семье, но ее знает каждый. Но надо сказать о *детской любви*, она разнообразна. Сила этой любви зависит от возраста, в детстве мы любим сильнее всего – но иначе, и хотя всякая любовь в конечном счете произрастает из той самой природной любви, и даже любовь к собирательству книг (ибо и сами книги произросли вместе с народом и культурой в некотором смысле из половой любви, поелику и любовь мужчины, и его стихи, и его творческие устремления вдохновлены женщиной), но только детская любовь свободна от плоти, она-то воистину духовна. Проповедуя возвышенную любовь, устраняя из любви плоть, религия любовь сужает, засушивает, лишает энергии природной жизни; любя изначально душевно, ребенок возвышает и того, кого любит. Но и в детской любви есть страсть, и когда маленькая Кристия закричала, узнав, что я приходил и не дождавшись ее, ушел: «Мама, скорее бежим за В.И.», она была маленькой женщиной, но еще без плоти.

Что иногда девушки меня любили, не диво, и Дон-Жуана любили, и «хромого беса» любили – но в меня влюблялись и невинные девочки!

Но «хватит с тебя!», повторяю я слова одной такой маленькой дамы.

Да, любовь непостижима. «Блажен, кто смолоду был молод» – но разве не блажен и тот, кто остался молодым? Я оплатил Любовь, которую не заслуживал (ибо был не лучше других), своими стихами, этой книгой, в которой я прославляю женщину, но еще более тем, что после всех безумств и жажды наслаждения я поднялся до любви, в которой способен к жертве, способен уже и не требовать ответной любви, и готов любить не ради награды, а ради самой любви и спасения души той, которую любишь!!!

Трагедию жизни я не преодолел. Но, может быть, все еще мало люблю, поэтому? *И надо больше любить и меньше заботиться о себе, а больше о мире, который любишь?!*

32 июня, четверг, утро, после встречи с волхвами. Вчера близ полуночи гуляли с женой по городу, встречая Белые ночи (коих уже разгар, но все времени не было, сажал на огороде картошку, иная уже зацвела, а последнюю картофелину посадил я два дня назад).

Книга моя меня уже измучила, да и насущные дела я из-за нее забросил, поэтому и о болезни пока не буду думать, авось еще умереть не успею...

Многое приходится повторять, потому что пишу я не для знающих (этим моя книга пофиг, они и так уже все это знают), а для незнающих, которые многому удивляются и даже негодуют.

Но я – человек нормы. У меня замечательная семья, благодаря которой я еще жив, тесная квартира, получаю я четверть пенсии (но не голодаю), стены заставлены стеллажами с книгами (которые мне некогда читать – смотри выше), старый-престарый дом в деревне, вот-вот покосится, если его не починить хоть слегка (некогда, смотри выше), огород, который я наконец-то уже засадил картошкой (ожидаю голода, ибо доллар все выше), друзья, которые «требуют меня к ответу», подружки (деревенские девочки, которые мои книги еще не читают, и другие постарше, которые восторгаются моими книгами только потому, что меня любят), и другие еще...

Не во всем я принадлежу к норме, но все же я самый усредненный, самый народный, самый общий человек, близкий и понятный и соседу в деревне, и молочнице, у которой беру молоко и ношу ей из города для детей то, что передают мне друзья, и продавщице в магазине, с которой успеваю перемолвиться двумя-тремя фразами, и авторам, которых я редактирую (судя по их откликам), и моим немногим читателям и моим оппонентам...

И тем понятен, которые со мною не пьют (и они думают, что я человек благонамеренный), и тем, которые со мною пьют (и они знают, что я неблагонамеренный, особенно те две феи, с которыми я выпивал недавно, но которые почему-то меня все равно любят... или потому, что и я их люблю, но люблю не только для себя, но и для них).

Я человек общий и живу для таких же как я (как во многом и Пушкин, за что я по глупости долгое время на него сердился, считая, что он должен быть только для избранных), и книги свои пишу для них же. А мой читатель наивен, живет (кроме немногих) среди иллюзий и мифов, совершенно в них запутавшись (как и я), вот почему я и пишу так много, повторяю по десять раз одно и то же, разжевываю и разъясняю то, что образованным и знающим (*умникам*, по моей терминологии, и *книжникам*, как их именовал Христос, не бывший образование и культуру) понятно было еще при рождении.

Один из моих товарищей именно умник и книжник, и все то, в чем в этой книге я упрекал христианство, он знал еще сорок лет назад, когда я только еще вступил в пустыню вслед за Моисеем, потом за Иоанном, потом за Христом, и вот мои блуждания по ней заканчиваются, я начал вдруг догадываться и смущаться тем, что он уже тогда знал и не смущался.

4. Христианство и Гуманизм

Во-первых, смущала меня противоположность религиозного Мифа и Гуманизма.

Как же возможно, чтобы Содом и Гоморра были погублены за разврат вместе с детьми? – вопрошал я его. И ревностный верующий мусульманин обвешивает себя тротилом и взрывается в самом людном месте, где тоже полно детей? И как же Варфоломеевская ночь и избиение гугенотов, и костры для старообрядцев, и для Жанны, и средневековые пытки, и девять миллионов сожженных ведьм, часто красоток!!!, Торквемада и Савонарола, танки и отравляющий газ для тамбовских крестьян (это уже при власти большевистского мифа), и эта безумная народная любовь к Сталину, который погубил русских больше чем Гитлер, но один из его поклонников недавно сказал, что «мало Сталин сажал и расстреливал, надо было больше»...

Да потому все так, что гуманизм противоположен религиозному мифу (и большевистскому, и сталинскому, и христианскому – вот уж скоро наступит Конец света, и погибнут почти все, и только малая горстка верных будет спасена, Христос пришел, призвал, был распят, чего еще вам надо? Большого даже Он не мог сделать для этого народа лукавого и лживого!)

И как же теперь христиане лобызаются со вчерашними большевиками, которые переломали за семьдесят лет почти все их храмы?

«Глупый ты! – отвечает он. – Ты смотришь на храм как на музей или памятник архитектуры, а христианам важна только вера. Ее приливы и отливы сменяют друг друга, и даже если бы все храмы были сметены отливом, и один только христианин остался, он ожидал бы нового прилива и не заботился об отступниках. Православные не заботятся даже и о пропаганде своего учения, ибо сказал Христос, что перед концом света Евангелие будет проповедано по всей земле – и вот тут-то и грянет возмездие, и «кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. ... тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доньне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.» – вот это единственный христианский гуманизм, и другого не жди.

Ты стены своего дома завесил книгами, собираешь то рукописи, то грамзаписи, то фотографии – но нет ничего более чуждого христианину, чем собирать временное, ибо все это станет завтра тленом.»

Да разве мы и вправду так плóхи, что ничего кроме «конца света»? Ну ладно я, а как же те, кого я люблю?!

Вот эта твоя любовь более всего и чужда религиозному мифу. Ибо:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.»

Не надо собирать сокровищ своих на Земле: «пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест!» – вот так и нынешние сектанты не требуют ли от своих сторонников продать все, что те имеют и вложить в сектантскую общину? То же было и в первых христианских общинах.

Надо и весь этот мир отряхнуть как прах от обуви своей, а ты заботишься то о сохранении храмов, то рукописей, то древних икон, то страдаешь от того, что *она* несчастлива и плачет – а страдать надо было бы тогда, если бы *она* НЕ плакала и не страдала, ибо только через скорби человек и может придти к Богу, и не надо против них восставать, не надо противиться даже злой власти, ибо всякая власть от Бога, не надо противиться ни бедствиям ни мукам, ибо «у вас и волосы на голове все сочтены», и ничто не делается без воли Отца небесного.

Но что же это за жизнь? Так разве можно жить? Да лучше...

А ты разве не читал, как и живут подвижники, вот ты приводил свидетельство Константина Леонтьева о старце на Афоне и о его житии в мокрой пещере, или житие Иоанна в пустыне, питающегося росой и акридами, или апостола Павла, похваляющегося немощами?!..

И подумал я, что наряду с евангельским христианством возникали и еретические движения, пытающиеся приблизиться к *общему человеку*, который и Евангелий-то не читал, и к женщинам прикасался, и рукописи собирал, и книги писал, и города строил, и создал сначала античную культуру, потом великую европейскую культуру (а истинные верующие на Ближнем Востоке и в Афганистане уничтожают целые древние города, и не то же ли самое делали и христиане и большевики, новые творцы мифологии?)

И Церковь все же приблизилась к человеку, к *человеку нормы и середины*, такому же, как и я, и крестит и венчает, и отпевает, а не оставляет «мертвым хоронить своих мертвецов», и среди социалистов тоже пытались создать новый миф о «Социализме с человеческим лицом», которому сочувствовал и я сам.

Но почему же Миф так близок и нужен человеку, что этот же обыденный человек мирится и с миллионами напрасно убиенных в войне, и с инквизицией, и с несправедливой властью, против которой не надо восставать, и с осквернением Природы?

Потому что Бог важнее всего. И в сравнении с Ним человек что пыль при дороге, «бабы еще нарожают», по выражению «маршала Победы» (хотя бабы в России уже и перестали рожать, и русский народ исчезает), – *верующий не заботится о человеке*, ибо и вера и любовь к Богу (или к Сталину) имеют трансцендентный непостижимый источник – как и в любви – разве мы можем открыть очи влюбленному? (Но *разве не влюбленный видит все истинно, а равнодушный не видит?!*)

Но ведь и я любящий, а не только те, кто любит жестокого Бога ацтеков! Может быть, и я создаю Миф, но *в моем мифе и наш удивительный сей Мир, и Россия, и прекрасная женщина, и Любовь к ней и сочувствие к человеку!* И я не хочу неба без Евы, без России, без женщины и красоты!

Но *или Бог, или мир*. Или страдания, бедствия, «юдошь слез», неприкасаемые к женщинам, похваление немощами, смирение, растворение в Боге, то есть *жизнь для смерти* (но зато для вечной жизни) – или жизнь для счастья, любви (подлинной, а не мнимой), для жизни, творчества, духовного возвышения (вместо «блаженны нищие духом»), литературы, музыки, восхищения природой, познания, достоинства (вместо умиления «рабством у Бога»), самоутверждения, – но зато отсутствие *спасения*...

Да, странно всё... И *«кто не с нами, тот против нас...»*

Или Бог, или Человек. Или человек как лист на дереве Бога. Верующие в ничтожество мира и человека не смущаются ни Крестовыми походами, ни избиением гугенотов, ни сожжением ведьм, ни сожжением ученых и философов, ни сожжением книг.

Но избравшие человека тоже ничем не смущаются, и Вторая мировая война (национал-социализм против интернационал-социализма), и уничтожение целых сословий (миллионов людей), и духовное рабство, и сожжение книг вместе с их авторами.

Надо примкнуть или к тем, или к другим. Одна удивительная женщина так и примкнула к ним сразу, и Седьмого ноября, *перекрестившись*, заказала в кафе шампанского, чтобы отпраздновать Великую революцию.

Но окружающие ее не поддержали, и она заплакала.

И я тоже удивительный человек. Мне почему-то показалось, что она правее всех правых (но так как она же и за Революцию, то и левее всех левых), и ее слезинка больше ее веры вместе с их неверием.

Что мне вера и неверие? Ни Бог не пострадает от того, что я предпочту *её* Богу (неужели Бог так тщеславен?!), ни всемирная материя (неужели она почувствует?). Ради того, чтобы моя подруга не плакала, я готов написать новую книгу, в которой я докажу то, что понравится ей. Ибо *если Платон мне друг, то он мне дороже истины*.

Мне больно от того, что она плакала, но грустно ли ей, что грустно мне? И что ночью я снова буду думать о смерти? И даже еще хуже – я буду думать, что она меня не любит.

Любовь – это блаженство. Но она же и заноза в сердце...

5-6. Короткие заметки вдогонку. «Человек ли женщина?»

11 июля, близ полуночи. И все таки июнь прошел, как я его ни удерживал. Снились новые сны, иные были и не совсем грустны...

Перечитываю сию книгу и *редактирую*, то есть прежде всего пытаюсь ее сократить. Прочитал о том, что дети меня любят – а я, как читатель заметил, очень люблю «похвалиться», то тем, что у меня зато картошка на огороде вкуснее, чем у нашей правящей и богатой «элиты», самозванцев, расхватавших страну, то тем, что меня дети и девушки любят, то, что и во многих отношениях я хотя и нищий, но лучше богатых – но не слишком ли часто я об этом говорю? Правда, никто все равно не прочтает...

И все таки, хотя меня не читают, но пишу я для этих, которые читать уже почти не умеют. Я хочу понять себя самого, поэтому сначала пытаюсь понять их.

Встретил Вову, пьяного, у него узнал, что с голоду умер Борода (пил, не закусывая), и ему рассказал, что чуть ли не умирает и Коля, Серегин сын, пил с компанией, потом подрались, и его сильно избили, а в больницу его не берут, у него ни паспорта нет, ни полиса.

И это всё мужчины, которых пригревала когда-то мама Юля (Анина мама), которая и мне нравилась, что нас все четверых упомянутых и сближает. (А что я книги пишу, это так себе, мелочи).

Потом я пришел к Юле, принес ей вещи (у нее сгорел дом), но оказалось, что ей многие приносят, и некуда складывать (она пока живет у сестры).

Кроме Ани, у Юли еще Таня и Илюшка, двух лет (когда я уходил, он мне помахал рукой).

От нас четверых мама Юля отличается тем, что мы все живем пока беспутно, и все мы пили и раньше, как и она, пьем и теперь, и я тоже, и даже я не нашел еще, в чем смысл жизни, а она по крайней мере родила троих, и разрешала беспутным мужчинам к себе *прикасаться* (в чем я не вижу греха, а, напротив, нахожу добродетель).

И вот, хотя мы четверо не лучше Юли, а хуже, но в Интернете спорят, верно ли, что будто бы еще на одном из церковных соборов обсуждалось, *человек ли женщина*, и было постановлено, что все же человек. И многие авторы негодуют на эту напраслину, так как и в Новом Завете не подвергается сомнению, что Бог создал и мужчину и женщину, и Иисус Христос пил вино на свадьбе, и дева Мария благословлена между женами.

Но... благословлено ли рождение детей? Не христианство ли женщину унизило пред мужчиной, призывая «жену убояться мужа»; не общая ли атмосфера средневековья, унижая и всячески третируя человека как падшее и порочное существо, женщину носила и унижала более всего?

И хотя не одно христианство ее презирало, но оно больше всего – ибо вся онтология христианства основана на мифе о грехопадении, о соблазнении Евы Змием, после чего она, соблазнившись, сорвала запретный плод и вкусила, и дала кусить Адаму – так не женщина ли первопричина всех бед?

Сравним с их мифом античные мифы, где уравновешены зло и добро, красота и безобразия, где женщины покровительствуют искусствам и науке, истории, театру и справедливому суду, и где среди людей и богов равно возвышены и мужчины и женщины, и хотя Аполлон возвышен над музами, но вдохновляют поэтов все таки музы.

Даже большевики превознесли Родину-мать, и *мать-героиню* поставили в пример: кого в пример поколениям, обязанным женщине, поставили христиане, весь блуд и непотребства связав с ее природою как причину их? С кем и с чем борется двадцать столетий монашество? Так в чем же вечную женственность мог найти христианин Владимир Соловьев, еще лучший из женоненавистников – ибо только им и питается христианство?!

Спасибо христианскому собору, взвесили, рассудили, мудро постановили: все-таки и женщина – человек, может быть и с натяжкой, но...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

ОСНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА

1. Разделение людей на группы

Ограничусь в своих последних заметках в окончании этой книги Европой и Россией и европейской историей. Кажется, что много важного упустил, но если уже три тысячи лет всё пишут и пишут гениальные и талантливые, серьезные люди и шалопаи (но не всегда пустомели), а не все важное кажется сказанным, то и завершая книгу, ВСЁ важное я никак не скажу. Да и в следующей – сомнительно. Но поелику развожусь с христианством, последнее прости сказано, и стоя на пороге не то прощаюсь, не то оправдываюсь, не то еще упрекаю... В будущем писать буду о другом, о христианстве я сказал все, что имел сказать, и что считаю необходимым для объяснения.

Если бы не те христиане, которых я люблю, и которых мне жаль огорчать, то уже и не писал больше, но перед ними оправдываюсь, чтобы утешить.

Так моя жена меня утешала когда-то, когда я страдал из-за ученицы (но не буду повторяться, а то меня и читатели уже утешать больше не будут)...

Так что, мои дорогие, не огорчайтесь! В каждом человеке заключено столько, сколько мы видим в нем любящими глазами, и то же с учением или мифом, стихотворением или романом. И мои книги читаете только вы, и вам они нравятся, так не то же ли и с христианством? Вас оно утешает больше, чем я, тем более что я не могу сказать, воскреснем мы или нет, и каково будет воскресение (хотя и христианство не говорит – но все таки обещает... хотя и не всем... ну да ладно!) – и о многом другом я сказать не могу (о чем и христианский миф не говорит тоже), но зато в нем содержится одно странное утверждение: *каждому будет дано согласно вере его* и столько и именно то, во что он верит (увы, не согласно личности и делам!).

А что сказать могу я, не ученый (хотя и доказал в математике две выдающиеся теоремы), плохой философ, посредственный писатель, но только, все же, хороший товарищ (как слышал от многих)?

По формальным признакам люди делятся на множество групп (сообществ), как например, разделяются на народы, но эти признаки и деления нисколько не включают в себя те критерии, по которым мы оцениваем личность. Что мы можем сказать о некоем N, зная о том, что он немец? Богатый он или бедный, добрый или злой, талантливый или нет, умный или глупый? Так же ничего не говорит о качествах личности пол и сословие, и женщины бывают продажными, как моя судья, за мзду посадившая меня в тюрьму (что, впрочем, я только предполагаю), и дворяне бывают невеждами, как Митрофанушка. И поэтому бессмысленно сравнивать христиан и коммунистов с беспартийными и атеистами: я и среди коммунистов встречал людей порядочных, и христиане не все были темными.

Правда, некоторые частные признаки, характеризующие личность, все же принадлежат и тем или иным группам: так среди воров (не в обиду будь им сказано) я встретил одного честного, остальным доверять было нельзя. Аналогично и коммунисты в недавнюю эпоху по большей части были людьми

неискренними, карьеристами и приспособленцами, и верующие чаще оказывались людьми зависимыми, покорными, не хватавшими звезд с неба – но только чаще других, но далеко не все.

А хороший он человек или плохой, если ходит в церковь, сказать нельзя, как и про цыгана, еврея, русского. Ибо и среди тех и других есть и те и другие.

Справедливо то, что в каждом мифе есть калейдоскоп мнений, наставлений, проповедей, да и, можно сказать, и миф неоднороден, он состоит из множества малых мифов, иногда разных времен и народов.

Одни из приверженцев усваивают одно, а другие другое, как и из учения о коммунизме и пролетарской революции: кто-то вдохновляется всеобщим равенством и обобществлением баб, кто-то «разрушением всего мира (насилия)», но немногие веруют и в царство общего труда и справедливости. Вот и становятся они разными, от чекистов НКВД и членов расстрельных команд – до стахановцев и пламенных комсомольцев.

То, что христианство было враждебно культуре и апостол Павел возмущался идолами на улицах Афин, осталось в крови и в сердце почти каждого христианина, но все же книг они уже не сжигают и ходят в театры, любят «идолами» в Летнем Саду и в Павловском парке... Но я разве спорю с этими, разве я спорю с листьями, которые выросли на ветвях христианского древа? Я спорю с Учением, изложенным в Священном Писании, и у святых отцов и православных философов, преимущественно монахов. Вариации на христианскую тему – это, возможно, совсем другое учение, как и ленинизм и сталинизм не совпадают с марксизмом, как и дети не всегда похожи на родителей...

Принадлежность к полу, к тому или иному народу, к той или иной группе не характеризует личность, нельзя сказать, что цыган хуже или лучше татарина, то же и в сравнении немцев и евреев – хотя историческое, метафизическое положение и влияние народов или других групп не одинаково, и их вклад в культуру, и их воздействие на культуру в отдельные периоды истории может быть положительным или пагубным.

Евреи обладают своими особенностями, это народ религиозного мифа, народ преимущественно одной книги, я как то назвал их *закваской истории*, как то бывает с тестом – но хлеб не выпекается из одной закваски, поэтому ни лучше они других, ни хуже, и в русскую революцию они сыграли свою особенную роль, которая имела роковые последствия для Российской империи, однако вина за падение России лежит на русском народе, но не на евреях и инородцах, как и за падение Римской империи вина лежит на римлянах, а не на готах или вестготах.

И все же каждое утверждение верно не до конца, поэтому христианство ответственно за упадок античной культуры, точнее, за ее погром, как и марксизм – за разрушение культуры России.

И хотя принадлежность к группе не характеризует конкретную личность, но те или иные особенности личности в разных группах встречаются не одинаково, поэтому можно говорить о предрасположенности тех или иных групп к тому или другому. Поэтому для военных характернее мужество, для

женщин мягкость, для поэтов мечтательность... Можно ли сказать, что христиане доброжелательнее и милосерднее к «ближним» (а им даже предписано ближних любить), чем не христиане? Увы, сказать так нельзя. И если думать, что назначением христианской проповеди была выработка «добротного самаритянина», то дело христианства провалилось, и сколько «добротных самаритян» было на заре их, столько же и на закате.

Но разве для того пришел Христос, чтобы призвать всех стать добрыми, помочь стать добрыми? Нет, Он пришел призвать к *вере* и помочь уверовать в Бога и возлюбить Бога, а все остальное, как Он убеждал, приложится.

Ибо целью сего пребывания в мире является Спасение, но для него необходима вера в Бога и в Иисуса Христа, и достаточно для Спасения только веры, ибо по вере и будет дадено – следовательно, пришел Иисус Христос проповедовать веру и принести себя в жертву для преодоления онтологического греха, повредившего мир, о том говорит и Символ веры, находящийся в основании христианства.

2. Что принадлежит человеку и что воскресает в нем?

По воскресении мы окажемся в царствии Божию, воскреснув и в духе и во плоти. Но какими мы воскреснем, и что в нас воскреснет?

Иисус Христос воскрес вместе с язвами от гвоздей, так что даже Фома смог возложить в эти язвы свои персты. Но вспомним, что в то же время Его не узнали по воскресении ни Мария Магдалина, ни ученики Его:

«А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.

И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.»

Так что я не имею свидетельств, чтобы сказать, что какими мы умрем, такими и воскреснем, но также и что воскреснем совсем другими. Нет, не знаю. Вероятно, и никто не знает, и каждый узнает только по воскресении.

Но сие относилось к плоти, к внешнему виду.

А как же то, что относится к душе и духу? Воскресает ли тот же самый человек, с тем же характером, отношением к миру, теми же пристрастиями, чувствами, привычками? Или он по воскресении не узнает и сам себя – а тогда что же значит такое *воскресение*?

Если же воскресает тот самый (по душевным хотя бы свойствам), который умер, и последовал слову Учителя, сказавшего: «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; ... и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником», то есть кто возненавидел и мир сей, и все, что в сем мире любил – то как мне пребывать с ними рядом по воскресении – мне, любящему и отца и мать, и жену и детей, и Россию, и женщин, и страдающих, и прекрасных, и соблазнительных и прелестных, стихи и музыку и божественную природу?

Если бы мне предложили, посадив в тюрьму, самому избрать, с кем я буду сидеть в одной камере, то я избрал бы нескольких евреев по культуре их, образованности и деликатности, нескольких буддистов по кротости их, и нескольких русских, чтобы не забыть и про дерзких и беспокойных, хотя с ними и хлопотно (так что, как видно, люблю я и свой народ и Россию только «особенной *странной любовью*») – но не хуже ли мне будет в раю среди христиан, ненавидевших все то, что я любил, чем в тюрьме в общей камере? И так ли уж я стремлюсь жить любой ценой? Нет, не любой ценой я стремлюсь продолжаться, а только *достойной*.

И другое еще важнее: Воскресение обещано только христианам по вере их, еще и не знаю, достанется ли оно мне, но вот что отцу моему, защитившему Россию, и всех русских и нерусских в России, и христиан и нехристиан, оно не достанется, несомненно. Хотя отец мой и жизнь свою отдал за Россию и за своих солдат минометного взвода, чтобы спасти их, но так как кончал офицерскую школу, то вступить был обязан в партию антихристиан, и хотя сам был и кротким и честным, мужественным и достойным, то и останется он на Безымянной высоте, где и погиб.

Уместно ли мне будет воскресать с теми, кто ненавидел нашу землю, чем остаться и умереть с теми, кто полил ее своей кровью?

3. Основания человека

Мы уже увидели, что человека нельзя свести только к природе, нельзя его одной *природою* объяснить, как и все живое, дескать, этическое (нравственное) вырастает постепенно из материи, и в человеке так же *вырастает из плоти мысль*... Я уже вяну от этих слов, как если меня попрыскать какой-нибудь дурной кислотой, так надо ли на них отвечать?

Мысль (логическое) присуща уже вороне, она мыслит по другому, нежели человек, но... находит орех, начинает клювом его долбить – это еще инстинкт (понятию которого, впрочем, материалисты-биологи не дали внятного определения), затем, сморщив лоб... ага! – берет в клюв камень, взлетает высоко и обрушивает камень на орех! Какой же процесс предшествует ее героическому поступку? Несомненно для любого хотя бы слабо мыслящего, что это тоже мыслительный процесс, хотя и не выраженный в словах (а я раньше и сам тоже так думал, что мысль и слово неразделимы).

О нравственности у животных этологи заметили уже многое, не буду повторять, читай умные книги, читатель!

Впрочем, удобно словом *природа* называть те основания, которые в человека заложены уже с рождения или хотя даже и приобретаются, но встречаются в нем предшествующую способность усвоения всяких таких приобретений, то есть имеют потенции этих оснований (например, язык: или он в человеке уже есть, но припоминается, как на этом настаивает Платон, или его еще в ребенке нет, но по крайней мере есть особенная врожденная способность к приобретению и усвоению языка).

Итак, в человеке несомненна биологическая природа (и самим словом *природа* его биологию мы и назвали).

Но есть в человеке еще и способность отличать красоту, чувствовать гармонию (как и в птицах, в соловьях и журавлях, например, и из них одни более способны петь и оценивать певческое, другие способны более танцевать и оценивать танец в брачных играх), способность чувствовать и понимать добро и зло, верное и неверное (то есть нравственное и логическое), одним словом, способность быть человеком, нуждаться в культуре, усваивать ее, понимать ее (искусство, философию, поэзию, науку) – и это все я назову *метафизической* природой человека.

И есть, наконец, в человеке третья способность, третье основание, которое его пронизывает как тепло и солнечный свет пронизывают даже сырой и холодный воздух, и которое не объяснимо даже метафизически: Вера и Любовь как особые всемирные тяготения, не только иррациональные, странные, мешающие биологии и искусству и философии и самой жизни даже, не сводимые к ним (и любовь как поиски наилучшей самки для рождения наилучших детей только в бреду философу и может причудиться!), и вера как охмурение эксплуататорами (хотя и это справедливо тоже!), и как глупая фантазия, страх или недоумение неразвитой старушки, несущей хворост в костер Яна Гуса (хотя и это справедливо тоже!), и любовь как неуправляемое вожделение подростка, как злоба инквизитора, сжигающего ведьму за то, что она ему *не дает*, а *дает* другим (хотя он в этом не сознается самому себе!) – но все же являющаяся подлинному человеку не как бесовское наваждение, но как божественное северное сияние – это третье основание, породившее и Гомера, и Евангелия, и храмы, и костры, и бросание, взявшись за руки, с пятнадцатого этажа (ибо читай, мой умный читатель, не глупые паточно-женские книжки про любовь, а хотя бы "Страну падонкаф!"), и Тристана и Изольду, и боярыню Морозову и протопопа Аввакума!!! – это основание *трансцендентное*.

Итак, человек триипостасен, как и Божество, включающее и Бога-отца, и Бога-Сына, и Бога-ДухаСвятого, и состоит из трех *природ*: естественной *Биологической*, к которой прежде всего восходит *Плоть*; *Метафизической*, к которой восходит *Душа*; и *Трансцендентной*, к которой восходит *Дух*.

[И не в этом ли, в частности, смущавшее меня, как и многих других, различие *души* от *духа*?]

Верующий человек согласится, надеюсь, с тем, чтобы *веру* выводить из особенных *трансцендентных* начал, отличных от всего того, из чего выводится все остальное в человеке, но смутит его, возможно, что и любовь имеет те же самые непостижимые начала. Но более ли таинственны основания веры, нежели основания любви, которую поставил апостол Павел даже выше веры? Отличает их только то, что Любовь мужчины к женщине хотя и имеет сложную триипостасную природу, в своем биологическом основании *природная* в буквальном смысле слова (на чем Шопенгауэр как яростный материалист и остановился), в своей же метафизической сущности, сердцевине этого чувства, если не всегда объяснима, то по крайней мере является основанием культуры, и ею представлена в необозримом множестве оттенков и форм, хотя и неисчерпаема, как море в бурю, а в своем

трансцендентном основании и проявлении таинственна и сокрыта, как и вера, и соперничает с верой по силе притяжения.

Что есть в вере, чего нет в любви к женщине?

Готовность умереть за божество, быть за него и за верность ему распятым – в них одинаковы.

Сила чувства и верность есть в обеих.

Сила поклонения, коленопреклонения, возвышения?

Влюбленный поклоняется больше, он бредит своим божеством, носит его на руках, обливает слезами, восторжен, возносит молитвы и благословение!

Глубина переживания, блаженство, достигаемое в переживании? Но в любви есть еще и ревность – особенный трагизм сомнения, разочарования, переживания измены, приводящий к свержению кумира, к преступлению, как убийство Дездемоны и Настасьи Филипповны...

Правда, особого рода ревность пронизывает и веру. Нет таких преступлений, нет таких пыток и казней, на которые не пошли бы и властвующая церковь и фанатики, чтобы наказать отпавшего от них единоверника или еретика, чтобы принудить верить как большинство! Влюбленный, по крайней мере, не убивает своих соперников только за то, что те влюблены в предмет его страсти по своему.

Еще ревнивее Бог-отец, возревновавший Еву настолько, что изгнал ее из отчего дома вместе с Адамом, а когда захотел простить их и вернуть в родной дом, оказалось, что уже мир изменился настолько, что надо принести в жертву родного Сына, чтобы искупить ее невольный грех. Но так возлюбил Бог человека, что и Сына своего не пожалел, послал на распятие... (а епископ Монтанелли пожертвовал своим сыном для Бога! – если ты читал "Овода", современный читатель, которого мы когда-то перечитывали по семь раз!)

4. Обоснование национализма

Моего ребенка и мою жену я люблю неизмеримо больше, нежели чужих жен и чужих детей, а евангелие мне велит всех любить одинаково.

Да к тому же евангелие мне велит свою собственную семью даже возненавидеть, если я хочу стать христианином. Но нет, лучше я изберу и жену и детей и даже возлюбленных вместо такого сурового Бога!!!!

Но все же нельзя сказать, чтобы не собственных своих, то есть *других* я не был способен любить – что бы не мог им сочувствовать, когда они в том нуждаются, отдавать им должное, понимать, испытывать симпатию, доверие, дружескую привязанность. Я только *страсть*, как равно изливаемое на всех чувство, на русского, цыгана и еврея, на мою родину, Россию и Русь, на немецкую отчизну, Фатерлянд, на цыганскую раздольную волю под кочевой кибиткою и еврейскую Родину, привязанную к Библии – и где Библия, там и дом – не приемлю. Страсть может быть только одна, и можно изменить своей родине во имя сияющих очей и нежных персей прекрасной полячки, как Тарасов Ондрий, но любить равно в битве немца и русского невозможно. Или зазя мой отец сложил свою голову на Безымянном холме за Русь, «за веру, царя и отечество», за сына своего младого и жену молодую любимую и за

безусых юнцов, еще не миловавшихся с девками?! А не воскликнул, как апостол Павел, что несть отныне ни еллина ни иудея, но все во Христе одно?!

И я более русский, чем другие, и русские мне ближе, чем другие, как одна дева ближе других дев. Но значит ли это, что я на других дев не смотрю, презираю их, не дам выпить воды, когда они жаждут, не подам корочку хлеба, когда они алкают, не одену (хотя бы с плеча) когда они изнемогают от холода, и откажу в том, чтобы приютить и помочь?

Но все же, встретив на чужбине своего, услышав русскую речь, более радостно бросаешься навстречу, нежели на речь немецкую или английскую.

Но значит ли это, что вот русских любишь, а других НЕ любишь?

Да всякие у них есть, как и русские, одних любишь, других нет. Я и русских по большей части не люблю, из всего народа люблю только малую часть, да и ту не всю, больше красивых девушек, да и тех не всех...

Вот, например, цыган, русский офицер, мы пили с ним джин и коньяк, он играл на гитаре, а я жаловался ему на несчастную любовь...

Или соседская еврейская семья угощала нас с женой знатным ужином, часто голодных студентов.

Правда, чаще всего евреи и чеченцы своих привечают больше, и на чужой родине помогают друг другу, а русские готовы глотки друг другу порвать – так берите с тех пример, а не с себя!

Но что хорошего даст нам неприязнь к другим (не говорю уж о злобе), когда мы и своих не умеем любить?!

К тому же мы, некогда великий народ, создали нашу общую Родину, потом и империю, не всегда спрашивая на то согласия тех, кого принудили жить с нами вместе – так эта исторически сложившаяся многоплеменная Русь не нуждается ли в объяснении, защите, понимании и любви?

Единственное, в чем она не нуждается, это в превращении общего дома в проходной двор, в гостиницу для всех, в общежитие для еще не имеющих своей семьи. Нет, своя семья есть у каждого народа и у каждого племени в России, а Россия – это общая большая семья для всех. Но в семье есть глава семьи, и садясь за стол, домочадцы ждут, когда он перекрестится и даст знак к трапезе. Это и есть для меня, русского, Евангелие национализма.

А как же другие? О других заботится общее государство, общая Родина, память, традиции, общая культура и единый главный для всех язык. Иначе мы не будем единым народом.

Я ведь тоже не вологодский и не рязанский, я потомок сибирских казаков, пришедших на эти полудикие земли вместе с Ермаком, а пращур мой был даже правой рукой Ермака (за что я уж не излишне ль собой горжусь?).

У нас, сибиряков, тоже есть и свои местные воспоминания, и традиции, и наша общая «малая» родина, в отличие от общей, России.

Пусть же и у удмуртов и у мари, у башкир и татар будет такая же малая родина – но может ли единая страна и единый народ (единый не в племенном, а в историческом смысле) разделяться политически, как не разделяется политически Великобритания на Шотландию, Англию и Уэльс?

Пушкин по матери был из немцев, но был великим русским поэтом. И даже его завистник Булгарин, лях из ляхов, был русским писателем, а Барклай Де Толли стоит рядом с Кутузовым. Равенство гражданских прав и отсутствие прав политических для народов, входящих полностью (как удмурты) или отчасти (как немцы или поляки) в состав единой страны – вот одна из главных заповедей моего Евангелия национализма (но сие не значит, что не дано права создавать свои местные школы и учиться на своем родном языке в таких школах, а иначе нам не устроиться сообща без обид для каждого частного, если мы в пылу вульгарного равенства будем требовать преимуществ то для одного, то для другого)...

А будет ли Россия империей (но непременно конституционной, а не абсолютистской) или Республикой, это не главное.

5. Неопределимые основания человека

То русский народ переломал все иконы и попов закопал живьем в землю – а то вдруг начал строить храмы и озлобился на богохульников...

Не то же ли самое и в любви?

Вдруг, коснувшись нечаянно, взглянув, ВЛЮБИЛСЯ без памяти.

От слов Яго сошел с ума и задушил.

Верили-верили, как своей бабе, с которой прожили тысячу лет, а тут еврейская красотка в кожанке, с сигаретой в алых губках и маузер на боку – *з глудзу зыхал матрос и пошел штурмовать Зимний...*

Хотя, правда, целое столетие не интеллигенция ли эту революцию готовяляла? Радищев, Герцен, марксисты, Блок, Бальмонт и другие...

И с чего вдруг снова разуверились в построении справедливого общества на Земле? И уверовали в справедливость на небе? Но во что же именно?

Нет, не в проповедь Нового Завета, не в Жития святых, не в сочинения Отцов церкви – разве их кто-нибудь читал, если и Маркса, кроме меня, не читали (ну, *умники* читали даже больше меня – но разве обращаю я к умникам? С умниками ли спорю? Они и без меня всё знают, и даже лучше, но по своему, как марксисты, которые на одно мое глупое слово приводили сто умных, только объяснить сегодня не могут, куда этот мудрый марксизм подевался... И куда вчера было подевалось христианство, и откуда оно снова сегодня взялось...

Верующий народ, как и вчера, верит в проповедь любви и милосердия, опасается грехов, верит в Христа и в его повседневное заступничество (а не только после Страшного суда), верит отпущению грехов, причастию, молитве и церковной литургии, и «жизни будущего века» – все как вчера, когда верили в коммунизм. Это такое "домашнее христианство", как еще вчера был "домашний марксизм-ленинизм", и они безвредны – пока не поработают душу человека и не начинают регламентировать и общественную и частную жизнь. Но человек ничему не учится, и он может трижды проходить одно и то же минное поле, взрываясь. Достиг ли он счастья, пока «на все была божья воля?» Достиг ли он счастья, доверившись «уму, чести и совести эпохи», то есть воле партии?

Новый Завет, угрожающий Страшным судом, погибелью мира, когда спасется только малый остаток, то есть почти никто, повелением словно НЕ жить, не смотреть на женщину, не прикасаться к ней, НЕ желать ее – не воспринимается верующими как действительное христианство.

Верующий верит во что-то свое, быть может, каждый по своему...

Он отождествляет веру в Христа (и Его любовь к нам) с каким-то *сверхгуманизмом* и в этот сверхгуманизм и верит. И разве это плохо? И пусть верит. Разве я лучше его, верующего, счастливого и надеющегося? – которому достаточно хотя бы «на ночь *со слезой* Игнатия Брянчанинова прочитать» (как говорила мне вчерашняя комсомолка, объясняя, почему в церковную лавку для продажи не взяла «Житие» протопопа Аввакума.).

Да, пусть верит... И все начнем сначала: одичание Европы, сожжение ведьм, рабство, крепостное право, отвоевание гроба господня, Жанна Д*Арк, Вольтер, Французская революция, разгром России (но перенесем ли мы еще один разгром?). Если человек замкнут собою, весь смысл жизни сосредоточен только на смерти и воскресении и «как батюшка скажет», то ему достаточно христианства – зачем только он рожал и зачем сам родился? Когда-нибудь те из них, кто устанет от добровольного рабства, «на ночь со слезой» зададут себе этот вопрос... если не будет поздно...

6. И мои основания неопределимы

Кто нашел все ответы на свои вопросы в Новом Завете (не читая его) или даже ничего не искал – тому зачем моя книга?

Я объясняю по своему мир... Зачем ему мои объяснения? Следовательно, обращаюсь отныне только к себе. Может быть, отчасти, к *той*, которая меня еще читает, еще не до конца во мне разуверилась. Вот и будет нас двое, читателей моей книги (а разве не то же и Любовь – роман ДЛЯ ДВОИХ?)

Любовь – не грех, она освящена небом, и языческие и христианские и иудейские пророки и боги ее благословляют.

Грехом является только поступок.

Человек, посадивший семечко и забывший о нем, не ухаживающий за ростком, грешен. Тот, кто не сочувствует, не заботится, не помогает хоть некоторым, ближним или дальним, привязанным или случайным встречным, человек плохой, его и к грешникам трудно отнести, ибо грешниками являются люди достаточно хорошие, но оступившиеся.

Надо жить так, чтобы другим было радостно от того, что ты рядом с ними. Разве я не стараюсь так жить?

Я люблю природу, Россию и русский народ (иногда обличая его, как еврейские пророки обличали свой народ, призывая его к покаянию), люблю культуру, друзей и близких. Ненавижу только тех, кто обирает народ, унижает культуру и природу. Зла на себя от частных лиц я и не помню, враги мои только неправедная власть.

Единственный упрек, за который пытаюсь оправдаться, то, что я пишу книги – но и великий поэт говорил: «Пишу для себя, печатаю для денег!»

Мне, правда, денег за них не платят, и печатаю я для немногих верных

друзей – но если для денег печатать книги не грех, то чтобы похвастаться перед друзьями – не больший грех.

Но надо ли и оправдываться? Иисус Христос назидал учеников Своих: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Диво ли, что и мои слова слушают и принимают лишь немногие, ибо и Его учеников не только немногие принимали, но даже, как Он обещал им, что «гнать будут за имя Мое», то так и было.

А я утешен даже тем, что двое или трое читают меня со вниманием, и так ли уж страдаю, что нет передо мною коленопреклоненных толп? Разве многим должно быть интересно, за что изгнали Адама и Еву из Рая, и впрямь ли они виною тому, что смерть пришла в мир? Нет, это интересно совсем немногим, как и Христос предостерегал, что будет только малая горстка достойных царствия небесного...

7. Последние оправдания

Товарищ пишет мне, что книга моя никуда не годится, и Первородный грех совсем не в том, что Адам и Ева захотели стать одной плотью – а в том, что они ослушались запрета Создателя не вкушать плода с Древа познания добра и зла, и сие стало причиною того, что мироздание онтологически повредилось и тление и смерть пришли в мир. Рождение детей стало необходимо, чтобы через родовое бессмертие преодолевать индивидуальную смерть,

Правда, послушание принадлежит к числу важнейших монашеских добродетелей, но через всю историю христианства проходит прежде всего отрицание плотской любви и ненависть к женщине. Частично исключение делается для девственности, но сие только подтверждает мою правоту.

Грех – в соединении мужчины и женщины, в этом отношении Миф выражает не столько сакральную ревность, сколько родовую: такова *ревность мужчины по отношению к женщине*. Даже близкий к святости протопоп Аввакум принудил двух девиц пойти в монашки (ревновал их за себя и за церковь к плотской жизни); а так ли хорошо монашество, погубляющее в человеке одну из двух святынь, из которых он состоит и которые обе сотворены Богом?

Упрекнули мои критики меня и в неумении писать, и в том, что пишу много и длинно, и предложили один сократить мою книгу вдвое, а другой – вчетверо. Но я в хорошей компании: Бунин тоже предлагал сократить вдвое Войну и мир, и даже вызывался взяться за это дело.

Я и сам страдаю, что пишу длинно, и если иметь в виду постороннего читателя, то надо, конечно, писать короче и занимательнее, и лучше не философские рассуждения, а детектив или любовный роман; но если я пишу для себя, то надо писать столько, чтобы разрешить мои затруднения до конца. Те же, кто меня все же читает, это те, кто меня любит, они прочтут и эту мою книгу. Но и о них, и о том, что еще не успел сказать, договорю в Заключении.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (Оправдание графомана)	3
Ч. 1. Иисус Христос. Жизнь, смерть и воскресение	
Глава первая. Одиночество	8
Глава вторая. Рождество	13
Глава третья. Одиночество гения	19
Глава четвертая. Проповеди и деяния	29
ЧАСТЬ вторая. Спасение человека и мира	
Глава пятая. Спасение человека и мира?	35
Глава шестая. Христианство и любовь, истина, красота, добро	51
Глава седьмая. Сочувствие и благодать	57
Глава восьмая. Так спасет ли мир Красота?	67
Глава девятая. Красота и Любовь	84
Глава десятая. Поиски новых оснований	103
Глава одиннадцатая. Христианство и Чаша бытия	123
Глава двенадцатая. Любовь сквозь слезы	132
Глава тринадцатая. Оправдание гордыни	142
Глава четырнадцатая. Завершение споров	153
Глава пятнадцатая. Общие рассуждения о любви	159
Глава шестнадцатая. Разговоры с волхвами	172
Глава семнадцатая. Другая любовь	181
Глава восемнадцатая. Разговор за Круглым столом	197
Глава девятнадцатая. Разговор за Круглым столом (продолж.)	213
Глава двадцатая. Разговор за Круглым столом (окончание)	229
Глава двадцать первая. Новый разговор семи собеседников	242
ЧАСТЬ третья. Любовь, народность и культура	
Глава двадцать вторая. Мужчина и женщина. Род и народ	265
Глава двадцать третья. Личность и народ. Временное и вечное	278
Глава двадцать четвертая. Смысл любви	288
Глава двадцать пятая. Личность, семья, народ	298
Глава двадцать шестая. Роман с философией	311
Глава двадцать седьмая. Любовь к женщине	318
Глава двадцать восьмая. Успокоится ли сердце?	332
Глава двадцать девятая. Основания человека и народа	346

На 1-ой стр. обложки – акварель Марии Лансере. 1900. (страничка из «Девичьего Альбома» начала XX века). См. Журнал МЪра за 1994 г.

Василий Иванович Чернышев

**ЛЮБОВЬ
КАК ВСЕМИРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ**

Книга первая
Очарование любви

Подписана в печать 29 сентября 2017
Формат 60x90 1/16 **22,5** п. л., **360** стр.
24 x **15** = 360

Издательство «NAPISANO PEROM».
Санкт–Петербург, 16-я линия

Печать по требованию

Санкт–Петербург

2017

ДЛЯ ЗАМЕТОК



